

ШАГИ

/STEPS

Т.9. №4 2023

Журнал Школы актуальных гуманитарных исследований
The Journal of the School of Advanced Studies in the Humanities

ТЕМЫ НОМЕРА:

-  Полемика и публичные дебаты позднего Средневековья и раннего Нового времени
-  (Авто)биографическая печаль: эмоции в личных нарративах и исследовательских практиках XVI–XXI вв.
-  Меланхолия эго-документа
-  Печаль и идентичность
-  Эмоциональные сообщества

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК

ШАГИ

/STEPS

Т.9. №4 2023

Журнал Школы актуальных гуманитарных исследований

Основан в мае 2015 г.
Издается четыре раза в год



ПРЕЗИДЕНТСКАЯ
АКАДЕМИЯ

Москва
2023

ШАГИ
ШКОЛА АКТУАЛЬНЫХ
ГУМАНИТАРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

THE RUSSIAN PRESIDENTIAL ACADEMY
OF NATIONAL ECONOMY AND PUBLIC ADMINISTRATION
INSTITUTE FOR SOCIAL SCIENCES

SHAGI

/STEPS

Vol. 9. No. 4 2023

The Journal of the School of Advanced Studies in the Humanities

Established in May 2015

Issued quarterly



PRESIDENTIAL
ACADEMY

Moscow
2023

ШАГИ
ШКОЛА АКТУАЛЬНЫХ
ГУМАНИТАРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Главный редактор

С. Ю. Неклюдов — д-р филол. наук, Российский государственный гуманитарный университет, Россия; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Россия

Редакция (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Россия)

М. В. Ахметова — канд. филол. наук, зам. главного редактора

М. В. Гаврилова — канд. филол. наук, ответственный секретарь

Н. П. Гринцер — д-р филол. наук, куратор направления «Античная культура»

И. В. Еришова — д-р филол. наук, куратор направления «Историко-литературные исследования»

И. А. Женин — канд. ист. наук, куратор направления «История»

М. С. Неклюдова — PhD, куратор направления «Культурология»

Н. В. Петров — канд. филол. наук, куратор направления «Теоретическая фольклористика»

Д. А. Худяков — канд. филол. наук, куратор направления «Востоковедение. Сравнительно-историческое языкознание»

Редакционная коллегия

Х. Баран — PhD, Университет Олбани, США

Н. Б. Вахтин — д-р филол. наук, Европейский университет в Санкт-Петербурге, Россия

Л. М. Ермакова — д-р филол. наук, Университет иностранных языков города Кобе, Япония

А. Л. Зорин — д-р филол. наук, Оксфордский университет, Великобритания; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Россия

С. Э. Зуев — канд. искусствоведения, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Россия

С. А. Иванов — д-р ист. наук, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Россия

К. Келли — PhD, Оксфордский университет, Великобритания

А. А. Кибрик — д-р филол. наук, Институт языкознания РАН, Россия

А. С. Корндорф — д-р искусствоведения, Государственный институт искусствознания, Россия

М. А. Кронгауз — д-р филол. наук, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Россия

С. Ловелл — PhD, Лондонский университет, Кингс Колледж, Великобритания

А. В. Майоров — д-р ист. наук, Санкт-Петербургский государственный университет, Россия

- В. А. Мау* — д-р эконо. наук, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Россия
- А. Б. Мороз* — д-р филол. наук, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Россия
- С. Ю. Павлова* — д-р филол. наук, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, Россия
- Ю. Л. Слёзкин* — PhD, Калифорнийский университет в Беркли, США
- В. Ф. Спиридонов* — д-р психол. наук, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Россия
- К. А. Учитель* — д-р искусствоведения, Европейский университет в Санкт-Петербурге, Россия
- А. А. Фаустов* — д-р филол. наук, Воронежский государственный университет, Россия
- О. Б. Христофорова* — д-р филол. наук, Российский государственный гуманитарный университет, Россия
- Т. В. Черниговская* — д-р филол. наук, д-р биол. наук, Санкт-Петербургский государственный университет, Россия
- А. Шёнле* — PhD, Лондонский университет королевы Марии, Великобритания

Куратор номера: *М. С. Неклюдова*

Приглашенный редактор: *А. Ю. Серегина*

Научный редактор: *М. В. Ахметова*

Редакторы английского текста: *Х. Баран, К. С. Данилочкина*

Корректор: *Н. В. Сайкина*

Верстка, дизайн: *В. Ф. Лурье*

Веб-сайт: <https://steps.ranepa.ru>

E-mail: shagisteps-ion@ranepa.ru

Адрес редакции: Россия, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 82, корп. 9, ауд. 2409

Тел.: +7 (499) 956-96-47

Журнал включен в следующие базы данных и электронные библиотечные системы: Scopus, Научная электронная библиотека (Elibrary.ru), РИНЦ, Ulrich's Periodicals Directory, Cyberleninka, ЭБС «Лань».

Публикуемые материалы прошли процедуру рецензирования и экспертного отбора.

© Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

© Авторы



ISSN 2412–9410 (print)
ISSN 2782–1765 (online)
Shagi / Steps. Vol. 9. No. 4. 2023

Editor-in-Chief

Sergei Yu. Nekliudov — Dr. Sci. (Philology), Russian State University for the Humanities, Russia; The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Russia

Editorial Team (The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Russia)

Maria V. Akhmetova — Cand. Sci. (Philology), Deputy Editor-in-Chief

Irina V. Ershova — Dr. Sci. (Philology), Responsible for Historical-Literary Section

Maria V. Gavrilova — Cand. Sci. (Philology), Secretary

Nikolai P. Grintser — Dr. Sci. (Philology), Responsible for Classical Studies Section

Dmitry A. Khudiakov — Cand. Sci. (Philology), Responsible for Oriental Studies and Comparative Linguistic Section

Maria S. Neklyudova — PhD, Responsible for Cultural Studies Section

Nikita V. Petrov — Cand. Sci. (Philology), Responsible for Theoretical Folklore Studies Section

Ilya A. Zhenin — Cand. Sci. (History), Responsible for Historical Section

Editorial Board

Henryk Baran — PhD, University at Albany, State University of New York, USA
Tatiana V. Chernigovskaya — Dr. Sci. (Philology, Biology), Saint Petersburg State University, Russia

Liudmila M. Ermakova — Dr. Sci. (Philology), Kobe City University of Foreign Studies, Japan

Andrei A. Faustov — Dr. Sci. (Philology), Voronezh State University, Russia

Sergei A. Ivanov — Dr. Sci. (History), National Research University Higher School of Economy, Russia

Catriona Kelly — PhD, University of Oxford, Great Britain

Andrei A. Kibrik — Dr. Sci. (Philology), The Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences, Russia

Olga B. Khristoforova — Dr. Sci. (Philology), Russian State University for the Humanities, Russia

Anna S. Korndorf — Dr. Sci. (Art Studies), State Institute for Art Studies, Russia

Maxim A. Krongauz — Dr. Sci. (Philology), National Research University Higher School of Economy, Russia

Stephen Lovell — PhD, University of London, King's College, Great Britain

Alexander V. Maiorov — Dr. Sci. (History), Saint Petersburg State University, Russia

Vladimir A. Mau — Dr. Sci. (Economy), The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Russia

Andrey B. Moroz — Dr. Sci. (Philology), National Research University Higher School of Economy, Russia
Svetlana Yu. Pavlova — Dr. Sci. (Philology), Saratov State University, Russia
Andreas Schönle — PhD, Queen Mary University of London, Great Britain
Yuri Slezkine — PhD, The University of California, Berkeley, USA
Vladimir F. Spiridonov — Dr. Sci. (Psychology), The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Russia
Konstantin A. Uchitel — Dr. Sci. (Art Studies), European University at St. Petersburg, Russia
Nikolai B. Vakhtin — Dr. Sci. (Philology), European University at St. Petersburg, Russia
Andrei L. Zorin — Dr. Sci. (Philology), University of Oxford, Great Britain; The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Russia
Sergei E. Zuev — Cand. Sci. (Art Studies), The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Russia

Responsible for the issue: *Maria S. Neklyudova*

Guest Editor: *Anna Yu. Seregina*

Academic Editor: *Maria V. Akhmetova*

English Language Editors: *Henryk Baran, Ksenia S. Danilochkina*

Copy Editor: *Natalia V. Saikina*

Layout Editor, Designer: *Vadim F. Lurie*

Website: <https://steps.ranepa.ru>

E-mail: shagisteps-ion@ranepa.ru

Postal address: Russia, 119571, Moscow, Prospekt Vernadskogo, 82, Corpus 9, Room 2409

Tel.: +7 (499) 956 96-47

The journal is indexed in Scopus, Russian Science Citation Index, Elibrary.ru, Ulrich's Periodicals Directory, Cyberleninka, E.lanbook.com.

All articles published in the journal have been peer-reviewed.

© The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

© Authors



СОДЕРЖАНИЕ

От редакции.....	9
------------------	---

СТАТЬИ

Полемика и публичные дебаты позднего Средневековья и раннего Нового времени

О. И. ТОГОЕВА. «Видение о “Романе о Розе”» Жана Жерсона: дебаты во сне и наяву.....	12
К. Ю. ЕРУСАЛИМСКИЙ. От Европейской войны к церковной унии: Иван Грозный, Стефан Баторий и Антонио Поссевино.....	24
А. Ю. СЕРЕГИНА. «Самообладание» и «неудержимая ярость»: споры о вере в английском католическом сообществе XVII в.	50
М. С. НЕКЛЮДОВА. <i>Ut pictura poesis</i> : визуальная риторика в гомеровской полемике начала XVIII в.	70

(Авто)биографическая печаль: эмоции в личных нарративах и исследовательских практиках XVI–XXI вв.

Меланхолия эго-документа

М. Ю. РЕУТИН. Феномен автоагиографии: к вопросу о замене субъектности в христианской мистике.....	94
М. Л. СЕРГЕЕВ. «Книжная печаль»: о чем переживали составители автобиографий XVI в.?	117
С. М. ВОЛОШИНА. «Наедине я видел его раза три или четыре в жизни»: личная государственная печаль в дневниках М. А. Корфа 1839–1849 гг.	135
Е. Э. ЛЯМИНА, Н. В. САМОВЕР. «Лучше бы мне не видеть монумент Крылова...»: об одной записи в дневнике Шевченко 1858 г.	158
А. В. СТОГОВА. «Каждое мое утро начиналось с Пипса и кофе. Не представляю себе, как я буду теперь...»: цифровое чтение личного дневника XVII в.	177

Печаль и идентичность

В. А. МИЛЬЧИНА. Она или не она: Жермена де Сталь и портрет работы Боровиковского.....	208
О. Б. ВАЙНШТЕЙН. «Why did she provoke so much hostility?»: что огорчало Миранду Сеймур, когда она писала биографию леди Оттолайн Моррелл.....	233
О. М. ЛЕБЕДЕВА. Матильда Холличер, дизайнер одежды: к вопросу о малоизвестных страницах биографии Зигмунда Фрейда и женском творческом труде в первой половине — середине XX в.	244
К. О. GUSAROVA. <i>Fantasies of being somebody: Auto/biographic potential of posing conventions</i>	268

Эмоциональные сообщества

Г. С. ЗЕЛЕНИНА. «Исторической родиной сыт по горло»: реэмиграция из Израиля и создание образа «сионистского ада»	286
Е. А. КЛЮЙКОВА. Корейское хан и диаспоральная меланхолия.....	315

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

В. А. КОРШУНКОВ. Владимир Короленко и православная традиция.....	329
--	-----

РЕЦЕНЗИИ

Ж. М. ЮША. Черкесский анклав Турции: специфика фольклора в иноэтничном окружении	335
---	-----

CONTENTS

EDITORIAL NOTE	9
----------------------	---

ARTICLES

Polemic and public debates of the late Middle Ages and early Modern period

O. I. TOGOEVA. "Le traictié d'une vision faite contre <i>Le Ronmant de la Rose</i> " of Jean Gerson: Debates in a dream and in reality	12
K. YU. ERUSALIMSKII. From European war to Church union: Ivan the Terrible, Stephen Báthory, and Antonio Possevino.....	24
A. YU. SEREGINA. "Composure" and "wild fury": Religious debates in the 17 th -century English Catholic community	50
M. S. Neklyudova. <i>Ut pictura poesis</i> : Visual rhetoric in Homeric controversy of the early 18 th century	70

(Auto)biographic sadness: Emotions in personal narratives and scholarly practices of the 16th–21st centuries

Sadness of an ego-document

M. YU. REUTIN. The phenomenon of autohagiography: On the question of the replacement of subjectivity in Christian mysticism	94
M. L. SERGEEV. Sorrow for books: What did the compilers of 16 th -century autobibliographies worry about?	117
S. M. VOLOSHINA. "I saw him in private three or four times in my life": Personal state sadness in the diaries of M. A. Korf, 1839–1849	135
E. E. LIAMINA, & N. V. SAMOVER. "I wish I hadn't seen the Krylov Monument...": On an entry in Taras Shevchenko's diary from 1858	158
A. V. STOGOVA. "I have had my daily Pepys with coffee, every morning. I don't know what I will do now": A digital reading of a 17 th -century private diary	177

Sadness and identity

V. A. MILCHINA. Is it or is it not she: Germaine de Staël and the portrait painted by Borovikovsky	208
O. B. VAINSHTEIN. "Why did she provoke so much hostility?": What upset Miranda Seymour while writing the biography of Lady Ottoline Morrell.....	233
O. M. LEBEDEVA. Mathilde Hollitscher, fashion designer: On the question of obscure pages of Sigmund Freud's biography and 20 th century women's creative labour	244
K. O. GUSAROVA. Fantasies of being somebody: Auto/biographic potential of posing conventions	268

Emotional communities

G. S. ZELENINA. "Fed up with the historical homeland": Re-emigrating from Israel and creating the image of the "Zionist hell"	286
E. A. KLIUKOVA. Korean <i>han</i> and diasporal melancholia	315

SHORT PAPERS

V. A. KORSHUNKOV. Vladimir Korolenko and the Orthodox tradition	329
---	-----

BOOK REVIEWS

Zh. M. YUSHA. Circassian enclave in Turkey: The specifics of folklore in a foreign ethnic environment.....	335
---	-----

ОТ РЕДАКЦИИ

Первая рубрика этого номера составлена по результатам обсуждения докладов, представленных на круглом столе «Полемика и публичные дебаты позднего Средневековья и раннего Нового времени», состоявшегося 5 октября 2022 г. в Институте всеобщей истории РАН.

Диспуты и полемические кампании в их разнообразных формах (публичные диспуты в университетах, судебных трибуналах и т. п. и их имитация в полемических текстах, рукописных и печатных) были распространенной культурной практикой европейского Средневековья и раннего Нового времени, которая активно задействовалась в условиях конфликтов (политических и религиозных), ученых дискуссий и др. Дебаты и полемические тексты существовали на границе публичной и частной сфер, «ученой» и «вернакулярной» культур. Рациональность выстраиваемых доводов сочеталась в них с очевидной перформативностью, чему способствовало присутствие в полемических сочинениях или описаниях дебатов различных литературных жанров. Именно это смешение жанров и форм отражено в публикуемых исследованиях.

В статье **О. И. Тогоевой** анализируется трактат канцлера Парижского университета Жана Жерсона «Видение о “Романе о Розе”» (1402), написанный в разгар так называемого спора о «Романе о Розе». Автор задается вопросом, зачем Жерсону понадобилось перенести настоящие литературные дебаты, которые шли между сторонниками и противниками «Романа о Розе», в выдуманную реальность сна или видения, но при этом придать им характер судебных прений. **К. Ю. Ерусалимский** изучает формы полемики, развернувшейся в дипломатической переписке — посланиях, которыми в 1581 г., до начала военных действий, обменялись царь Иван Грозный и польский король Стефан Баторий. В статье показано, как в дипломатических документах через построение политических аргументов, исторических экскурсов, риторических фигур преломлялась полемические культуры Московской Руси и Речи Посполитой. **А. Ю. Серегина** рассматривает еще один гибрид жанров: описание «спора о вере» (1634), имевшего место в Англии, в доме Элизабет Кэри, леди Фолкленд, которое стало частью ее биографии, написанной дочерьми и представляющей собой повествование об «интеллектуальном обращении» в католичество при посредстве рациональных аргументов. Основной акцент сделан на поведении диспутантов и их эмоциях, что отражает представления полемистов XVII в. о роли эмоций в процессе религиозного обращения и познания истины. Статья **М. С. Неклюдовой** посвящена французской литературной полемике начала XVIII в., которую спровоцировала публикация в 1714 г. нового, сильно модернизированного перевода «Илиады». Главным предметом обсуждения была правомерность такого обращения с древним сочинением и, соответственно, оценка его действительной или мнимой значимости. М. С. Неклюдова анализирует один из риторических приемов этой полемики, когда творения Гомера приравниваются к картинам или скульптурам.

Вторая рубрика обращена к эмоциональной проблематике. Печаль и ностальгия справедливо считаются одним из конструктивных элементов мемуарных записок: обращаясь к собственному прошлому и превращая его в связанное повествование, мемуарист тем самым компенсирует сопряженное с этим

занятием чувство утраты. Однако меланхолия свойственна и биографическим текстам, прежде всего в силу естественного сопереживания, которое их авторы начинают испытывать к своим героям, по большей части давно оставившим этот мир. Не менее существенным источником печали является профессиональная фрустрация, когда, сталкиваясь с нехваткой и ненадежностью биографических документов, исследователь вынужден балансировать между фактами и домыслами.

В рубрике «(Авто)биографическая печаль: эмоции в личных нарративах и исследовательских практиках XVI–XXI вв.» представлены разные грани этого меланхолического переживания, служащего связующей нитью между автобиографическими текстами, биографическими повествованиями и собственно научными исследованиями. Первый блок посвящен автобиографическим текстам в широком понимании этого термина, то есть повествованиям, имеющим признаки эго-документа. Помимо традиционных видов личных свидетельств, к ним могут причислены такие риторически необычные способы рассказать о себе, какими является автоагиография, о которой пишет **М. Ю. Реутин**, или автобиблиография. Последняя, как показывает **М. Л. Сергеев**, может содержать не только сведения о книгах, но и значительную примесь авторских эмоций. И все же главным источником личной и эмоциональной информации остаются дневниковые тексты, позволяющие контекстуализировать индивидуальные переживания, спровоцировала ли их встреча с царем, как в случае Модеста Корфа (см. статью **С. М. Волошиной** «“Наедине я видел его раза три или четыре в жизни”: личная государственная печаль в дневниках М. А. Корфа (1839–1849 гг.)»), или знакомство с памятником, как в случае Тараса Шевченко (см. статью **Е. Э. Ляминой** и **Н. В. Саминой** «“Лучше бы мне не видеть монумент Крылова...”»: об одной записи в дневнике Шевченко 1858 г.)). Наконец, чтение чужого дневника не только создает эффект погружения в эпоху, но, как показывает исследование **А. В. Стоговой**, способствует читательской меланхолии, поскольку подразумевает неизбежное расставание с героем.

Во втором блоке речь идет об эмоциях, сопровождающих исследовательскую работу и влияющих на ее оптику. Порой от них напрямую зависит проблема идентификации героя или героини, способности распознать его или ее черты в портретах современников. Так, желание увидеть в изображении неизвестной дамы портрет госпожи де Сталь побуждает наблюдателей игнорировать явные несовпадения с подтвержденными описаниями ее внешности (см. статью **В. А. Мильчиной** «Она или не она: Жермена де Сталь и портрет Боровиковского»). А мало обоснованное предубеждение членов Блумсберийского кружка против леди Оттолайн Моррелл, много и активно им помогавшей, получает статус документального свидетельства, вместо того чтобы стать предметом исторического анализа (см. статью **О. Б. Вайнштейн** «“Why did she provoke so much hostility?”: что огорчало Миранду Сеймур, когда она писала биографию леди Оттолайн Моррелл»). Причем в случае леди Моррелл проблема была частично связана с ее саморепрезентацией или, если угодно, позированием, как перед объективом фотокамеры, так и перед взглядом общества. Проблема фотографической самопрезентации, но уже в наше время, посвящено исследование **К. О. Гусаровой**, которая разбирает советы по позированию, активно циркулирующие в массовой культуре. А в статье **О. М. Лебедевой**

реконструкция идентичности героини осуществляется при помощи анализа ее деятельности в качестве дизайнера одежды.

Наконец, третий блок составляют исследования эмоциональных сообществ, формирующихся в ситуации изгнания или добровольного отъезда. С одной стороны, **Г. С. Зеленина** представляет противоречивую гамму переживаний, свойственных русскоязычным переселенцам в Израиль. С другой — **Е. А. Ключикова** демонстрирует, как, используя полулегендарную склонность к меланхолии, американская корейская диаспора пыталась на ее основе реконструировать свою национальную идентичность.

В разделе «Краткие сообщения» публикуется заметка **В. А. Коршункова**, посвященная индивидуальной религиозности В. Г. Короленко. Автор сосредотачивается на эпизоде, описанном в дневнике писателя (перепутавшего летний пост православного церковного календаря с зимним); отталкиваясь от суждения Льва Толстого о Короленко, задается вопросом, веровал ли последний в Бога, и отвечает на него скорее положительно.

О. И. Тогоева

OCRID: 0000-0001-7854-3222

✉ togoeva@yandex.ru

Институт всеобщей истории РАН
(Россия, Москва)

«ВИДЕНИЕ О “РОМАНЕ О РОЗЕ”» ЖАНА ЖЕРСОНА: ДЕБАТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ

Аннотация. В статье анализируется трактат Жана Жерсона, выдающегося французского теолога XV в. и канцлера Парижского университета, «Видение о “Романе о Розе”», написанный 18 мая 1402 г. Данное сочинение было создано в разгар так называемого спора о «Романе о Розе», в котором приняли участие выдающиеся интеллектуалы начала XV в., первые французские гуманисты — Кристина Пизанская, Жан де Монтрей, братья Гонтье и Пьер Коль. Трактат представляет собой рассказ о видении, в котором Жан Жерсон якобы присутствовал на судебном процессе, возбужденном против Жана де Мена, автора второй части «Романа о Розе», носившей ярко выраженный мизогинный характер. В статье подробно анализируются литературные приемы, использованные канцлером университета в этом произведении, жанровая принадлежность трактата, а также поднимается вопрос, зачем Жерсону понадобилось перенести настоящие литературные дебаты, которые шли между сторонниками и противниками «Романа о Розе», в выдуманную реальность и придать им характер судебных прений. Автор приходит к выводу, что в основе трактата Жана Жерсона могли лежать представления о сновидениях как о Божественных откровениях, как о предзнаменованиях грядущих — и вполне реальных — событий. Таким образом, приговор «Роману о Розе» и его автору Жану де Мену должен был быть вынесен не во сне, а наяву, и не вымышленным персонажем, а самим канцлером Парижского университета.

Ключевые слова: спор о «Романе о Розе», первые французские гуманисты, Жан Жерсон, «Le traictié d'une vision faite contre Le Romant de la Rose», средневековые видения, средневековый суд

Для цитирования: Тогоева О. И. «Видение о “Романе о Розе”» Жана Жерсона: дебаты во сне и наяву // Шаги/Steps. Т. 9. № 4. 2023. С. 12–23. <https://doi.org/10.22394/2412-9410-2023-9-4-12-23>.

Статья поступила в редакцию 5 мая 2023 г.
Принято к печати 12 июня 2023 г.

O. I. Togoëva

OCRID: 0000-0001-7854-3222

✉ togoëva@yandex.ru*Institute of World History, Russian Academy of Sciences
(Russia, Moscow)*

“LE TRACTIÉ D’UNE VISION FAITE CONTRE *LE RONMANT DE LA ROSE*” OF JEAN GERSON: DEBATES IN A DREAM AND IN REALITY

Abstract. The article analyzes the treatise of Jean Gerson, the outstanding French theologian of the 15th century and Chancellor of the University of Paris, “Le traictié d’une vision faite contre *Le Ronmant de la Rose*”, written on May 18, 1402. This work was created in the midst of the so-called dispute about the *Roman de la Rose*, in which prominent intellectuals of the early 15th century, the first French humanists — Christine de Pizan, Jean de Montreuil, the brothers Gontier and Pierre Col — took part. The treatise is an account of a vision in which Jean Gerson was allegedly present at the trial brought against Jean de Meng, the author of the second part of the *Roman de la Rose*, which is strikingly misogynistic. The article analyzes in detail the literary techniques used in this work, the genre of the treatise, and also raises the question of why Gerson needed to transfer the real literary debates that were going on between supporters and opponents of the *Roman de la Rose* into a fictional reality and give them the character of judicial debates. The author concludes that Jean Gerson’s treatise may have been based on the idea of dreams as Divine revelations, as omens of future — and quite real — events. Thus, the verdict regarding the *Roman de la Rose* and its author, Jean de Meng, was to be pronounced not in a dream, but in reality, and not by a fictional character, but by the chancellor of the University of Paris himself.

Keywords: the dispute about the *Roman de la Rose*, the first French humanists, Jean Gerson, “Le traictié d’une vision faite contre *Le Ronmant de la Rose*”, medieval visions, medieval court

To cite this article: Togoëva, O. I. (2023). “Le traictié d’une vision faite contre *Le Ronmant de la Rose*” of Jean Gerson: Debates in a dream and in reality. *Shagi / Steps*, 9(4), 12–23. (In Russian). <https://doi.org/10.22394/2412-9410-2023-9-4-12-23>.

*Received May 5, 2023**Accepted June 12, 2023*

Трактат¹, анализу которого посвящена эта статья, был создан в самый разгар так называемого спора о «Романе о Розе». В нем приняли участие наиболее образованные французские интеллектуалы начала XV столетия — Кристина Пизанская, Жан де Монтрей, братья Гонтье и Пьер Коль, а также Жан Жерсон (1363–1429), канцлер Парижского университета. Несмотря на все внимание, которое на протяжении XX–XXI вв. специалисты уделяли этим первым в европейской истории литературным публичным дебатам², «Видение о “Романе о Розе”» почти никогда специально в рамках подобных работ не рассматривалось. Тем не менее данный текст представляет большой интерес для исследователей средневековой истории, что в первую очередь обусловлено его жанровой принадлежностью и необычным содержанием. Речь идет о визионерском произведении, в котором рассказывалось о том, как его автор во сне попал на судебное заседание, где проходило следствие по делу «Романа о Розе» и его автора Жана де Мена (1240/1250–1305).

Трактат был написан 18 мая 1402 г., о чем сам Жан Жерсон сообщал в заключении³. В это время спор о «Романе о Розе» находился в самом разгаре. Как известно, он начался со столкновения Жана де Монтрейя (1354–1418), прево Лилля, королевского секретаря и нотариуса, и Кристины Пизанской (ок. 1364 — ок. 1431). По настоянию своего друга Гонтье Коля (1350/1352–1418), еще одного королевского секретаря, в апреле — мае 1401 г. де Монтрей прочитал «Роман о Розе» (вернее, его вторую часть, автором которой являлся Жан де Мен⁴) и счел его заслуживающим самого пристального внимания. В поддержку идей, высказанных в этом литературном произведении, он написал трактат, который разошелся по Парижу в некотором количестве копий и, в частности, попал в руки Кристине Пизанской⁵. Поэтесса отреагировала на сочинение королевского секретаря крайне резко. В своем ответном послании, составленном в июне — июле 1401 г., она писала, что наставление людей в сексуальных отношениях, их публичное обсуждение, а также обучение мужчин и женщин различным стратегиям обмана, применимым в семейной жизни (что составляло основное содержание второй части «Романа о Розе»), совершенно недопустимо⁶. Это мнение было, в свою очередь, оспорено Гонтье Колем, который назвал письмо Кристины «инвективой» (*invettive*) в адрес Жана де Мена, «истинного католика, выдающегося знатока святой теологии, глубокого философа и прекрасного ученого»⁷.

¹ Его полное название звучало как «Трактат о видении канцлера Парижского университета, направленном против “Романа о Розе”» (*Le traictié d’une vision faite contre Le Roman de la Rose par le chancelier de Paris*) [Le débat 1977: 59–87].

² Подробнее о споре см.: [Langlois 1918–1919; Badel 1980; Lefèvre 1992; Valentini 2016]. На русском языке см.: [Тогоева 2017].

³ «...je me trouvay en mon estude a la vespree, l’an de grace mil IIII^e et II, le XVIII^e jour de may» [Le débat 1977: 87].

⁴ О структуре «Романа о Розе» см.: [Lefèvre 1992].

⁵ Сам трактат, к сожалению, до нас не дошел. О том, что он действительно был написан, Жан де Монтрей сообщал в письме Пьеру д’Альи, выдающемуся французскому теологу и учителю Жана Жерсона, в конце мая 1401 г. [Le débat 1977: 28].

⁶ «Et quant il me souvient des faintises, faulx semblans et choses dissimulees en mariage et autre estat que l’en peut retenir d’icellui traictié, certes je juge que moult sont beaulx et prouffiables recors a ouyr!» [Le Livre 2016: 159].

⁷ «Jehan de Meun — vray catholique, solempnel maistre et docteur en son temps en saincte theologie, philosophe tres parfont et excellent sachant» [Le débat 1977: 9].

В августе 1401 г. к набравшим силу дебатам подключился и Жан Жерсон, выступивший на стороне Кристины Пизанской. В публичной проповеди «*Considerate lilia*» канцлер Парижского университета отмечал: «Мои слова направлены против тех, кто осмеливается рассуждать вслух о постыдных частях человеческого тела и об ужасных [сексуальных] прегрешениях, против тех, кто думает <...>, что не следует стыдиться того, что дано природой»⁸. За этим выступлением Жерсона последовал новый раунд переписки между участниками спора, который завершился зимой 1401–1402 гг., когда Кристина собрала все имевшиеся в ее распоряжении письма в единый кодекс «*Livre des epistres*» и преподнесла его 1 февраля 1402 г. королеве Изабелле Баварской⁹. После этого в дебатах наступил небольшой перерыв, закончившийся появлением трактата Жана Жерсона¹⁰.

К сожалению, специалистам неизвестно, читали ли «Видение о “Романе о Розе”» другие участники спора, поскольку их отзывов на это сочинение не сохранилось. Тем не менее следует предположить, что знакомы с ним они все же были: до нас дошло семь полных рукописей трактата, шесть из которых датируются именно XV столетием¹¹.

Дата написания «Видения» появлялась в тексте совершенно не случайно. Как заявлял автор, сон о воображаемом суде над Жаном де Меном и его произведением якобы привиделся ему «под утро» 18 мая 1402 г.¹² И, проснувшись окончательно, он записал его по свежим следам.

Во сне Жан Жерсон попал на судебное заседание, где председательствовала дама Правосудие в окружении своих советников — Истины и Милосердия¹³. Истцом выступала Непорочность (*Chastete*), которая предъявляла иск Жану де Мену, называя его «*Fol Amoureaux*» (Безумный влюбленный), по имени главного действующего лица «Романа о Розе». Она обвиняла его в том, что он приложил все силы, дабы изгнать целомудрие и заставить девушек торговать собственной невинностью, предаваться самым извращенным сексуальным утехам и не чувствовать за это вины, даря свое расположение всем без разбору — «клирикам, светским [людям], священникам»¹⁴. Жан де Мен

⁸ «*Sit sermo contra illos qui ignominiosas partes corporis et actus nefandos non solum aperta impudentia nominare audent <...> qui de nulla re naturaliter data erubescendum esse dicebant*» [Gerson 1960–1975 (5): 163].

⁹ Полное издание «Книги писем», выполненное по кодексу Изабеллы Баварской, доступно отныне исследователям [Le Livre 2016].

¹⁰ Подробнее о хронологии спора о «Романе о Розе» см.: [Hicks, Ornato 1977: 40–41; Badel 1980: 411–414; Blumenfeld-Kosinski 2006: 322–323; Mcgrady 2011].

¹¹ О рукописях «Видения» см.: [Le débat 1977: lv–lxxxiii; Huot 1993].

¹² «*Par un matin n’a gaires en mon veillant me fut advis que mon cuer ysel s’envola — moie-nans les plumes et les esles de diverses pensees, — d’ung lieu en aultre, jusques a la court sainte de Crestienté*» [Le débat 1977: 59].

¹³ «*...illuc estoit Justice Canonique la droituriere seant sus le throne d’équité, soustenu d’une part par Misericorde, d’autre part par Verité*» [Le débat 1977: 59].

¹⁴ «*Ce Fol Amoureux met toute sa paine a chassier hors de la terre my — qui n’y ay coulpe <...> Et ce il fait par une Vielle maudite pieur que dyable, qui ensaingne, monstre et enhorte comment toutes juesnes filles doivent vendre leurs corps tost et chierement sans paour et sans vergoingne, et que elles ne tiengnent compte de decepvoir ou parjurer mais que elles ravissent tousjours aucune chose; et ne fassent force ou dangier de se donner hastivement, tant que elles sont belles, a toutes villaines ordures de charnalité, soit a clers, soit a lays, soit a prestres, sans differance*» [Le débat 1977: 61].

обвинялся также в том, что он выступает против церковного брака и за свободную любовь, что он распространяет запретные речи сексуального характера, т. е. говорит публично о самом интимном и советует всем вести себя так же¹⁵. Таким образом, заключала истица Непорочность, в ее прошении речь шла об оскорблении ее чести и достоинства¹⁶.

Как и следовало ожидать от средневекового судебного заседания, следующей собравшиеся должны были заслушать речь ответчика, т. е. самого Жана де Мена. Однако, как объяснял далее Жан Жерсон, явиться на заседание тот не мог по причине смерти, а потому вместо него перед дамой Правосудием один за другим выступили свидетели защиты — множество поклонников «Романа о Розе», которые всячески превозносили это произведение и отстаивали взгляды его автора¹⁷. Все они полагали, что о сексуальной жизни можно и должно говорить открыто, поскольку точно так же люди постоянно обсуждают «убийства, воровство, обман и грабежи»¹⁸. Любопытно, что сторонники Жана де Мена не были названы в «Видении» по именам, хотя Жан Жерсон совершенно очевидно имел в виду своих оппонентов в реальном мире — Жана де Монтрейя и братьев Коль.

После их выступлений слово брала Теология (*Eloquence Theologienne*) — адвокат истицы и всего христианского суда (*avocat de la court crestienne*). Ее речь в защиту Непорочности, как и следовало ожидать, занимала большую часть трактата, в ней отводились все возможные аргументы противников и заявлялось, что свободная любовь, к которой призывал Жан де Мен, — безумие и грех¹⁹. Теология настаивала, что «Роман о Розе» необходимо уничтожить, поскольку его чтение растлевает людей, уничтожает их души, толкает на безрассудные поступки²⁰. Идеал отношений между мужчиной и женщиной она видела в брачном союзе, но отнюдь не в свободных сексуальных связях и не в супружеских изменах²¹. Научите своих дочерей раздеваться и прогуливаться в

¹⁵ «Il promet paradis, gloire et loyer a tous ceulx et celles qui acompliront les oeuvres charnelles, mesmement hors mariaige <...> Il, en sa persone, nomme les parties deshonestes du corps et les pechiés ors et villains par paroles saintes et sacrees, ainssy comme toute tele euvre fut chose divine et sacree et a adourer, mesmement hors mariaige et par fraude et violence» [Le débat 1977: 62–63].

¹⁶ «Si vous suppli, dame Justice, de hatif remede et convenable provision sus toutes ces injures» [Le débat 1977: 62].

¹⁷ «Mais pour ce que le Fol Amoureux qui estoit accusey n'y estoit pas (il avoit ja trespasé le hault pas duquel nulz ne revient), on demanda s'il avoit en la court de Crestienté procureurs ou faulteurs ou bien veullans quelconques» [Le débat 1977: 62].

¹⁸ «Seule laidure est de pechié, duquel toutefois on parle ung chascun jour par son droit non, comme de murtre, de larrecin, de fraudes et de rapines» [Le débat 1977: 65].

¹⁹ «...tu as par ta folie — quant en toy est — mis a mort et murtri ou empoisonné mil et mil personnes par divers pechies, et encore fais de jour en jour par ton fol livre» [Le débat 1977: 67].

²⁰ «Mais qui plus art et enflemme ces armes que paroles dissolues et que luxurieuses escriptures et peintures?» [Le débat 1977: 68]; «Crées moy <...> que mauvaises paroles et escriptures courrumpent bonnes meurs et font devenir les pechiés sans honte et ostent toute bone vergoingne, qui est en jeusnes gens la principal garde de toutes bones condicions contre tous maulx» [Ibid.: 75–76].

²¹ «Ovide par expres protesta qu'il ne vouloit parler des bonnes matrones et dame mariees, ne de celles qui ne seroient loisyblement a amer. Et vostre livre fait il ainsy?» [Le débat 1977: 77]; «...dire le contraire seroit erreur en la foy (c'est assavoir dire que selonc droit de nature euvre naturelle d'omme et de fême ne fust pechié hors mariaige)» [Ibid.: 81].

таком виде по улицам — и посмотрите, как к ним будут относиться, — предлагала Теология собравшимся²² и призывала даму Правосудие справедливо рассудить данный спор²³.

Таким образом, трактат Жана Жерсона был вновь направлен против Жана де Мена и его почитателей начала XV в. Канцлер университета по-прежнему поддерживал точку зрения Кристины Пизанской, ратовавшей за женские достоинство и честь, которые во второй части «Романа о Розе» явно ущемлялись. Однако значительно больший интерес, нежели содержание «Видения», представляли, на мой взгляд, форма и жанровые особенности данного трактата.

Прежде всего следует отметить, что текст Жана Жерсона был выстроен в полном соответствии с описанием вполне реальных судебных заседаний эпохи позднего Средневековья. Именно такую последовательность действий участников мы наблюдаем во множестве гражданских и уголовных протоколов, сохранившихся в архиве Парижского парламента или, к примеру, королевской тюрьмы Шатле. Согласно формуляру, после краткого указания на суть конфликта и характеристики заинтересованных сторон следовала в строгой очередности запись их выступлений: заявление истца или его адвоката, речь ответчика или, в случае его отсутствия, его полномочного представителя, наконец, требования истца по возмещению понесенного ущерба и собственно приговор [Тогоева 2022а: 119–151]. Даже суд над мертвецом, каковым к началу XV в. являлся главный обвиняемый, Жан де Мен, во Франции эпохи Средневековья был делом вполне обычным, хотя, конечно, не слишком регулярным [Тогоева 2022b].

Единственное отличие реального судебного заседания от описанного Жаном Жерсоном заключалось в том, что в трактате отсутствовал приговор, который должна была вынести дама Правосудие после всестороннего рассмотрения дела. Иными словами, сон автора обрывался на самом интересном месте²⁴, что полностью лишало «Видение» смысла, поскольку его главная цель — в очередной раз осудить произведение Жана де Мена — вроде бы не была достигнута. Как следствие, столь же странным оказывалось само обращение к данному литературному жанру, который не предполагал открытой полемики с оппонентами, хотя в рамках спора о «Романе о Розе» Жерсон прибегал к ней неоднократно (в своих письмах и проповедях) и имел для этого все возможности, учитывая его высокий статус и авторитет как в церковных, так и в светских кругах [Delaruelle et al. 1962: 837–869].

Совершенно очевидно, что речь Теологии, адвоката Непорочности, представляла собой развернутые суждения самого канцлера Парижского университета о «Романе о Розе» и его втором авторе. Все то же самое содержалось в его более ранних и — что важнее — значительно более публичных выступлениях. Особенно это касалось проповедей, писавшихся и произносивших-

²² «Mais an surplus, par ce meismes motif on prouveroit que on doit aler nus et fere nus tout et par tout sans avoir honte; et croy qu'ainsy le soustenroit selonc sa position. Or voise, qui ainsy le maintient, parmi les rue pour esprouver comment Raison le deffendra d'estre huyés et abayé et ordoyé!» [Le débat 1977: 83].

²³ «Si soit ung tel livre osté et exterminé sans jamais en user, par especial es parties esuelles il s'abonne des personnaiges diffamés et deffandus, <...> on ne li porroit fere plus grant contraire ne plus le haïr» [Le débat 1977: 86–87].

²⁴ «Eloquance ot fenie quant je n'aperceu l'eure que mon cuer ravola comme il estoit voley; et sans rien oïr de la sentence, je me trouvay en mon estude» [Le débat 1977: 87].

ся по-французски, т. е. рассчитанных на широкий круг слушателей [Mcgrady 2011; Тогоева 2018: 21–28]. Никаких новых идей Жерсон в «Видении» не высказал, а потому вопрос о необходимости оформлять эти мысли в некое подобие художественного текста через анализ его содержания решить практически невозможно. Однако мы можем поразмышлять над другой проблемой и попытаться понять, почему заочный спор с почитателями «Романа о Розе» был оформлен не просто как судебный диспут, но как диспут, происходящий во сне.

Термин «видение» (*vision*), использованный в названии трактата, уже ко многому обязывал его автора. Именно в этом жанре были созданы многие знаменитые художественные тексты эпохи Средневековья: «Плач Природы» Алана Лилльского (XII в.), «Видение Тнутдала» (ок. 1149 г.), «Чистилище св. Патрика» Марии Французской (XII в.), «Божественная комедия» Данте (1321 г.), «Сновидение старого паломника» Филиппа де Мезьера (1389 г.), «Книга пути долгого учения» Кристины Пизанской (1402–1403 гг.). Собственно, сам «Роман о Розе» (как его первая часть авторства Гийома де Лорриса, так и вторая) также представлял собой рассказ о сновидении, посетившем главного героя [Lefèvre 1992: 1308–1310; Accarie 2004: 469–472].

Средневековое видение традиционно носило эсхатологический характер: речь в нем шла о загробном мире и странствиях по нему, о проблеме искупления, о духовных исканиях тех, кому эти видения были явлены [Грибанов 1989; Ярхо 1989: 21–43; Харман 2020: 54–77, 110–111; Kabir 2001: 14–48]. Тем не менее иногда речь в них заходила и о каких-то злободневных проблемах, которые вторгались в сон человека [Ярхо 1989: 21–25]. Очевидно, что «Видение о “Романе о Розе”» относилось именно к этому, второму типу, поскольку в центре трактата оказывался насущный вопрос о допустимости публичного обсуждения сексуальности людей начала XV столетия²⁵. Однако в специальной литературе можно встретить утверждение, что подобный перевод проблемы из реальности в формат сна являлся для средневековых авторов способом отстраниться от нее — особенно в том, что касалось как раз интимной жизни, как это происходило, к примеру, в «Плаче Природы» Алана Лилльского или в самом «Романе о Розе». Таким образом демонстрировались нежелание принять действительное положение вещей, стремление переключить внимание читателей, сделать проблему «несуществующей», происходящей из другого мира (в частности, из мира сновидений). Истории, о которых рассказывали те или иные авторы, оказывались вне забот их современников, повествовали об ином, часто выдуманном сообществе [Quilligan 1981; Schibanoff 2001; Burgwinkle 2004: 11–12].

Однако подобную интерпретацию, как мне представляется, сложно применить к трактату Жана Жерсона. Как я уже упоминала, он писал свой визионерский текст в самый разгар спора о «Романе о Розе». С одной стороны, литературная форма «Видения» могла восприниматься современниками как своеобразная пародия на произведение Жана де Мена, где дело также происходило во сне. С другой стороны, сами дебаты между Кристиной Пизанской, канцлером университета и их оппонентами были еще далеки от завершения и ни в коем случае не являлись для участников интеллектуальной «игрой» (*jeu*):

²⁵ Этот вопрос поднимался в это время не только в рамках спора о «Романе о Розе» [Тогоева 2018: 17–47].

они спорили о реальной проблеме, значимость которой Жан Жерсон прекрасно понимал: «Нет ничего опаснее, чем совращать сердца людей неверным учением», — писал он²⁶. Вне всякого сомнения, ему были известны все отрицательные коннотации, с которыми в его эпоху связывалось само пребывание во сне — наиболее опасное время для человеческой души, время дьявола²⁷. Именно поэтому в первых же строках своего трактата Жерсон оговаривался, что видение посетило его уже утром, «когда он просыпался» (*en mon veillant*)²⁸.

Тем не менее на протяжении всего Средневековья существовала еще одна — и очень важная — интерпретация сна как состояния души человека. Рассуждения на эту тему мы находим, в частности, в «Поликратике» Иоанна Солсберийского (1159 г.), который в данном случае опирался на библейские тексты, а также на труды Светония, Вергилия, Макробия, Цицерона, Иеронима и Блаженного Августина. Знаменитый английский схоластик с крайним скепсисом относился к любым сновидениям, за одним-единственным исключением. Речь шла о Божественных откровениях как о предзнаменованиях грядущих — и вполне реальных — событий²⁹. Таковыми он признавал сон Кальпурнии об убийстве Юлия Цезаря³⁰, сон Сципиона о взятии Карфагена, видения, посещавшие апостола Иоанна, пророков Даниила и Иезекииля, а также два сна о тощих коровах, пожирающих тучных, истолкованные Иосифом египетскому фараону³¹.

На мой взгляд, именно такой вариант видения подразумевал и Жан Жерсон, описывая свое посещение судебного процесса³², возбужденного против Жана де Мена и его «Романа о Розе»: речь в данном случае шла не об игре воображения и не о дьявольских иллюзиях, но о пророчестве, которое послано свыше, а потому должно обязательно исполниться. Вот почему автор «не успевал» услышать во сне приговор, вынесенный на этом вымышленном

²⁶ «Briefment ce n'est point jeu, et n'est plus perilleuse chose que de semer mauvaise doctrine es cuers des gens» [Le débat 1977: 69].

²⁷ На этой идее базировались все сочинения самого Жана Жерсона, посвященные проблеме колдовства как иллюзии, насланной Нечистым на своих жертв именно во сне [Тогоева 2016: 124–127].

²⁸ См. примеч. 12.

²⁹ «Non tamen, licet omina vana esse, fidemque auguriis asseram non habendam, ideo signorum, quae a dispositione divina ad erudiendam creaturam concessa sunt, fidem et fructum evacuo. Multipharie siquidem multisque modis a suam Deus instruit creaturam, et nunc elementorum vocibus nunc sensibilibus aut insensibilibus rerum indiciis, prout electis noverit expedire, quae ventura sunt manifestat» [Ioannis Saresberiensis 1909 (1): 68]; «Verum hanc visionum, quas quies inducit, divisionem per opposita non fieri certum est; cum eadem pro parte sit visio, aliunde oraculum, et propter rerum figuras possit somniis aggregari, et universas eorum species quandoque contingat» [Ibid.: 96]. Подробнее о трактовке снов у Иоанна Солсберийского см.: [Swinford 2012].

³⁰ «Praeterea Calpurnia uxor eius ea nocte, quam is in terra ultimam gessit, vidit eum multis vulneribus confectum in sinu suo iacere, rogansque ut die sequenti a curia abstinere, non obtinuit, ne ille in vita sua aliquid timidum quocumque auspicio egisse videretur» [Ioannis Saresberiensis 1909 (1): 67].

³¹ «Visio Affricani, Apocalipsis apostoli, Danielis et Ezechielis oracula, somnia Pharaonis et Ioseph eorum quae dicta sunt faciunt fidem» [Ioannis Saresberiensis 1909 (1): 96].

³² Жан Жерсон, вне всякого сомнения, был хорошо знаком с «Поликратиком» Иоанна Солсберийского: либо с латинским оригиналом, имевшимся в королевской библиотеке, либо с его французским переводом, выполненным в 1372 г. Дени Фульша по заказу Карла V Мудрого [Lachaud 2014: 424–428].

разбирательстве дамой Правосудием: ее место явно планировал занять сам канцлер Парижского университета, и последующие события, как кажется, в полной мере подтверждают эту гипотезу.

Всего через полгода после появления «Видения о “Романе о Розе”», зимой 1402–1403 гг., Жан Жерсон отправил Пьеру Колю письмо, содержащее исключительно резкую критику всех предшествовавших высказываний его оппонентов. В который раз он повторял, что «книги, слова и изображения», возбуждающие в людях похоть, должны быть изгнаны из «нашей республики христианской религии»³³. Он вновь заступался за Кристину Пизанскую, которая, по его мнению, верно указывала поклонникам Жана де Мена на то, что чтение его романа может заставить покраснеть не только королей, но и любого достойного и скромного человека³⁴. Он разделял предположение поэтессы, высказанное еще в письме Жану де Монтрейю, о том, что автор «Романа о Розе» совершенно не случайно интересовался проблемой вседозволенности плотских утех, будучи, очевидно, весьма озабочен этим вопросом³⁵. Однако более всего доставалось в письме самому Пьеру Колю, которого Жерсон обвинял в полнейшей безграмотности, в плохом знании Библии³⁶, трудов Блаженного Августина³⁷ и даже мужской и женской анатомии³⁸.

Именно это письмо канцлера Парижского университета и стало в итоге тем приговором, которого он, если довериться его «Видению», так и не услышал во сне. Как отмечал в свое время Пьер-Ив Бадель, послание Пьеру Колю положило конец спору о «Романе о Розе»: после его прочтения оппоненты Кристины Пизанской и Жана Жерсона поняли, насколько неравны их силы, и предпочли более не возвращаться к проблеме свободной любви и сексуальной вседозволенности [Badel 1980: 482]. Таким образом, сон, представлявший собой не что иное, как Божественное откровение, стал явью.

Источники

Le débat 1977 — *de Pisan Ch., Gerson J., Montreuil J. de, Col G., Col P.* Le débat sur le Roman de la Rose / Ed. par E. Hicks. Paris: Champion, 1977.

³³ «Illic peroratum satis arbitror scripta, verba et picturas provocatrices libidine lascivie penitus execrandas esse et a re publica christiane religionis exulandas» [Le débat 1977: 162].

³⁴ «Illud subinde mulier hec prudenter attulit quod ad lecturam actoris tui erubescerent regine — erubescerete ingenia bene morata ingenuoque pudore predicta» [Le débat 1977: 168].

³⁵ «Vide potius ne actorem tuum iste dolus infecerit: dum enim amoris carnalis inducit vituperia — cuius laudes sepius extollit, — quidni secundum tuam noticiam faciles ad illum animos pronoiores reddere studuerit» [Le débat 1977: 170].

³⁶ «Sed quod addis membra secreta mulierum sanctificata olim ex more fuisse, nescio qualis te Biblia ducuerit nisi forte tu aliam a nostra te penes habueris, — aut si non movet te seducitque illud Luce: “Omne masculinum adaperiens vulvam, sanctum Domino vocabitur”» [Le débat 1977: 166].

³⁷ «Legatur non ego sed Augustinus in *De Nuptiis et concupiscencia*, presertim in secundo librum «...» Putasti tamen arbitror quod putare non debueras: puerum ideo esse in statu innocentie, vel quia ignorans est, vel peccati actualis nundum reus. Sed originalem corruptelam morbide concupiscencie advertere mens tua debuerat, que ab ea ut omnes pessundatur» [Le débat 1977: 164].

³⁸ «Dicis itaque quod puer biennis aut triennis sit in statu innocentie. Hec est heresis Pelagii, quam asserens pertinaciter hereticus est censendus» [Le débat 1977: 164].

Le Livre 2016 — Le Livre des epistres du debat sus le *Romant de la Rose* / Ed. critique par A. Valentini. Paris: Garnier, 2016.

Gerson 1960–1975 — *Gerson J. Oeuvres complètes* / Ed. par P. Glorieux: 10 vols. Paris: Desclée, 1960–1975.

Ioannis Saresberiensis 1909 — Ioannis Saresberiensis episcopi Carnotensis Policratici / Recognovit C. C. I. Webb. T. 1–2. London: Oxonii E Typographeo Clarendoniano, 1909.

Литература

Грибанов 1989 — Грибанов А. Б. Заметки о жанре видений на Западе и на Востоке // Восток — Запад. Исследования. Переводы. Публикации. Вып. 4. М.: Гл. ред. вост. лит. изд-ва «Наука», 1989. С. 65–77.

Тогоева 2016 — Тогоева О. И. Еретичка, ставшая святой. Две жизни Жанны д'Арк. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016.

Тогоева 2017 — Тогоева О. И. «Прения, преисполненные любезности». Кристина Пизанская и ее оппоненты-мужчины в споре о «Романе о Розе» // Адам и Ева: Альманах гендерной истории. Вып. 25. 2017. С. 50–71.

Тогоева 2018 — Тогоева О. И. Дела плоти. Интимная жизнь людей Средневековья в пространстве судебной полемики. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2018.

Тогоева 2022a — Тогоева О. И. «Истинная правда»: Языки средневекового правосудия. М.: АСТ, 2022.

Тогоева 2022b — Тогоева О. И. То, что мертво, умереть не может? Самоубийцы и похороненные заживо в уголовных судах средневековой Франции // Одиссей. Человек в истории — 2022. М.: ИВИ РАН, 2022. С. 217–229.

Харман 2020 — Харман Д. Д. Чистилище святого Патрика — и другие легенды средневековой Ирландии. М.: АСТ, 2020.

Ярхо 1989 — Ярхо Б. И. Из книги «Средневековые латинские видения» // Восток — Запад. Исследования. Переводы. Публикации. М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1989. Вып. 4. С. 18–55.

Accarie 2004 — Accarie M. Théâtre, littérature et société au Moyen Age. Nice: Serre, 2004.

Badel 1980 — Badel P.-Y. Le Roman de la Rose au XIV^e siècle. Etude de la réception de l'œuvre. Genève: Droz, 1980.

Blumenfeld-Kosinski 2006 — Blumenfeld-Kosinski R. Jean Gerson and the Debate on the *Romance of the Rose* // A companion to Jean Gerson / Ed. by B. P. McGuire. Leiden: Brill, 2006. P. 317–356.

Burgwinkle 2004 — Burgwinkle W. E. Sodomy, masculinity, and law in medieval literature. France and England, 1050–1230. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2004.

Delaruelle et al. 1962 — Delaruelle E., Labande E.-R., Ourliac P. L'Eglise au temps du Grand Schisme et de la crise conciliaire (1378–1449). Paris: Bloud & Gay, 1962.

Hicks, Ornato 1977 — Hicks E., Ornato E. Jean de Montreuil et le débat sur le *Roman de la Rose* // Romania. T. 98. 1977. P. 34–64, 186–219.

Huot 1993 — Huot S. The *Romance of the Rose* and its medieval readers: Interpretation, reception, manuscript transmission. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1993.

Kabir 2001 — Kabir A. J. Paradise, death and Doomsday in Anglo-Saxon literature. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2001.

Lachaud 2014 — Lachaud F. Filiation and context: The medieval afterlife of the *Policraticus* // A companion to John of Salisbury / Ed. by Ch. Grellard, F. Lachaud. Leiden: Brill, 2014. P. 377–438.

- Langlois 1918–1919 — *Langlois E.* Le traité de Gerson contre le *Roman de la Rose* // Romania. Vol. 45. 1918–1919. P. 23–48.
- Lefèvre 1992 — *Lefèvre S.* Roman de la Rose // Dictionnaire des lettres françaises. Le Moyen Age / Sous la dir. de G. Hasenohr, M. Zink. Paris: La Pochothèque, 1992. P. 1308–1310.
- Mcgrady 2011 — *Mcgrady D.* De “l’onneur et louenge des femmes”: les dédicaces épistolaires du *Débat sur le Roman de la Rose* et la réinvention d’un débat littéraire en éloge de femmes // Etudes françaises. Vol. 47. No. 3. 2011. P. 11–27.
- Quilligan 1981 — *Quilligan M.* Allegory, allegoresis, and the deallegorization of language: The *Roman de la Rose*, The *De planctu Naturae*, and the *Parlement of Foules* // Allegory, myth, and symbol / Ed. by M. Bloomfield. Cambridge (Mass.): Harvard Univ. Press, 1981. P. 163–186.
- Schibanoff 2001 — *Schibanoff S.* Sodomy’s mark: Alan of Lille, Jean de Meun, and the medieval theory of authorship // Queering the Middle Ages / Ed. by G. Burger, S. F. Kruger. Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 2001. P. 28–56.
- Swinford 2012 — *Swinford D.* Dream interpretation and the organic metaphor of the State in John of Salisbury’s *Policraticus* // Journal of Medieval Religious Cultures. Vol. 38. No. 1. 2012. P. 32–59.
- Valentini 2016 — *Valentini A.* Introduction // Le Livre des epistres du debat sus le *Rommant de la Rose* / Ed. critique par A. Valentini. Paris: Classiques Garnier, 2016. P. 7–138.

References

- Accarie, M. (2004). *Théâtre, littérature et société au Moyen Age*. Serre. (In French).
- Badel, P.-Y. (1980). *Le Roman de la Rose au XIV^e siècle. Etude de la réception de l’œuvre*. Droz. (In French).
- Blumenfeld-Kosinski, R. (2006). Jean Gerson and the Debate on the *Romance of the Rose*. In B. P. McGuire (Ed.). *A companion to Jean Gerson* (pp. 317–356). Brill.
- Burgwinkle, W. E. (2004). *Sodomy, masculinity, and law in medieval literature. France and England, 1050–1230*. Cambridge Univ. Press.
- Delaruelle, E., Labande, E.-R., & Ourliac, P. (1962). *L’Eglise au temps du Grand Schisme et de la crise conciliaire (1378–1449)*. Bloud & Gay. (In French).
- Gribanov, A. B. (1989). Zametki o zhanre videnii na Zapade i na Vostoke [Notes on the genre of visions in the West and in the East]. In *Vostok — Zapad. Issledovaniia. Perevody. Publikatsii* (Vol. 4, pp. 65–77). Glavnaia redaktsiia vostochnoi literatury izdatel’sstva “Nauka”. (In Russian).
- Hicks, E., & Ornato, E. (1977). Jean de Montreuil et le débat sur le *Roman de la Rose*. *Romania*, 98, 34–64, 186–219. (In French).
- Huot, S. (1993). *The Romance of the Rose and its medieval readers: Interpretation, reception, manuscript transmission*. Cambridge Univ. Press.
- Iarkho, B. I. (1989). Iz knigi “Srednevekove latinskie videniia” [From the book “Medieval Latin Visions”]. In *Vostok — Zapad. Issledovaniia. Perevody. Publikatsii* (Vol. 4, pp. 18–55). Glavnaia redaktsiia vostochnoi literatury izdatel’sstva “Nauka”. (In Russian).
- Kabir, A. J. (2001). *Paradise, death and Doomsday in Anglo-Saxon literature*. Cambridge Univ. Press.
- Kharman, D. D. (2020). *Chistilishche sviatogo Patrika — i drugie irlandskie legendy* [St. Patrick’s Purgatory — and other legends of medieval Ireland]. AST. (In Russian).
- Lachaud, F. (2014). Filiation and context: The medieval afterlife of the *Policraticus*. In Ch. Grellard, & F. Lachaud (Eds.). *A companion to John of Salisbury* (pp. 377–438). Brill.
- Langlois, E. (1918–1919). Le traité de Gerson contre le *Roman de la Rose*. *Romania*, 45, 23–48. (In French).

- Lefèvre, S. (1992). Roman de la Rose. In G. Hasenohr, & M. Zink (Eds.). *Dictionnaire des lettres françaises. Le Moyen Age* (pp. 1308–1310). La Pochothèque. (In French).
- Mcgrady, D. (2011). De “l’onneur et louenge des femmes”: les dédicaces épistolaires du *Débat sur le Roman de la Rose* et la réinvention d’un débat littéraire en éloge de femmes. *Etudes françaises*, 47(3), 11–27. (In French).
- Quilligan, Mt. (1981). Allegory, allegoresis, and the deallegorization of language: The *Roman de la Rose*, the *De planctu Naturae*, and the *Parlement of Foules*. In M. Bloomfield (Ed.). *Allegory, myth, and symbol* (pp. 163–186). Harvard Univ. Press.
- Schibanoff, S. (2001). Sodomy’s mark: Alan of Lille, Jean de Meun, and the medieval theory of authorship. In G. Burger, & S. F. Kruger (Eds.). *Queering the Middle Ages* (pp. 28–56). Univ. of Minnesota Press.
- Swinford, D. (2012). Dream interpretation and the organic metaphor of the State in John of Salisbury’s *Policraticus*. *Journal of Medieval Religious Cultures*, 38(1), 32–59.
- Togoeva, O. I. (2016). *Eretichka, stavshaia sviatoi. Dve zhizni Zhanny d’Ark* [Heretic turned Saint. Two lives of Joan of Arc]. Tsentr gumanitarnykh initsiativ. (In Russian).
- Togoeva, O. I. (2017). “Preniia, preispolnennye liubeznosti”. Kristina Pizanskaia i ee oppo- nenty-muzhchiny v spore o “Romane o Rose” [“A debate full of pleasantries”. Christine de Pizan and her male opponents in the dispute over the “Romance of the Rose”]. *Adam i Eva: Al’manakh gendernoi istorii*, 25, 50–71. (In Russian).
- Togoeva, O. I. (2018). *Dela ploti. Intimnaia zhizn’ liudei Srednevekov’ia v prostranstve sudebnoi polemiki* [Works of the flesh. Intimate life and judicial polemics in the Middle Ages]. Tsentr gumanitarnykh initsiativ. (In Russian).
- Togoeva, O. I. (2022a). “*Istinnaia pravda*”: *Iazyki srednevekovogo pravosudiia* [“Veritable Truth”: The languages of medieval justice]. AST. (In Russian).
- Togoeva, O. I. (2022b). To, chto umerlo, umeret’ ne mozhет? Samoubiitsy i pokhoronennnye zazhivo v ugolovnykh sudakh Frantsii [What is dead cannot die? Suicides and those bur- ied alive in the criminal courts of medieval France]. In *Odissei: Chelovek v istorii — 2022* (pp. 217–229). (In Russian).
- Valentini, A. (2016). Introduction. In A. Valentini (Ed.). *Le Livre des epistres du debat sus le Rommant de la Rose* (pp. 7–138). Classiques Garnier. (In French).

* * *

Информация об авторе

Ольга Игоревна Тогоева

доктор исторических наук
главный научный сотрудник, Институт
всеобщей истории РАН
Россия, 119334, Москва, Ленинский пр-т,
д. 32а
Тел.: +7(495) 954-42-96
✉ togoeva@yandex.ru

Information about the author

Olga I. Togoeva

Dr. Sci. (History)
Chief Research Fellow, Institute of World
History, Russian Academy of Sciences
Russia, 119334, Moscow, Leninsky Prospekt,
32a
Tel.: +7(495) 954-42-96
✉ togoeva@yandex.ru

К. Ю. Ерусалимский^{ab}

ORCID: 0000-0002-3961-2376

✉ kerusalimski@mail.ru

^a Европейский университет в Санкт-Петербурге
(Россия, Санкт-Петербург)

^b Санкт-Петербургский институт истории РАН
(Россия, Санкт-Петербург)

От Европейской войны к церковной унии: Иван Грозный, Стефан Баторий и Антонио Поссевино

Аннотация. Эпистолярная полемика между Стефаном Баторием и Иваном Грозным, развернувшаяся в 1576–1578 гг. и достигшая непримиримости в 1579–1581 гг., завершилась благодаря посредничеству Святого Престола. Миссия иезуита Антонио Поссевино в Речь Посполитую и Россию наложила отпечаток на ход дипломатической переписки и переговоров, открыв для сторон новые перспективы на фоне обозначившихся планов по подготовке церковной унии, противостояния Реформации и турецкой угрозе христианским государствам. В статье уточнены выводы предшествующих исследований о ходе переговоров и смещен акцент с проектов Рима на многостороннюю оптику, позволяющую увидеть, как менялись позиции всех трех основных участников в ходе миротворческой миссии. Основное внимание уделено письму Ивана Грозного польскому королю от 29 июня 1581 г., ответу Стефана Батория от 2 августа 1581 г., составленному при участии коронной и литовской канцелярий, а также «речам» Ивана Грозного, представленным в Старице 12 сентября 1581 г. На этих пространных высказываниях завершилась «горячая» эпистолярная и устная фаза в войне Ивана Грозного и Стефана Батория, однако ею лишь открылись усилия Антонио Поссевино по достижению целей Святого Престола.

Ключевые слова: Иван Грозный, Стефан Баторий, Антонио Поссевино, дипломатическая переписка, Ливонская война, Ям-Запольский мир

Благодарности. Исследование выполнено в рамках проекта Российского научного фонда № 21-18-00181. Автор выражает благодарность за ценные советы и помощь в доступе к литературе К. С. Коноплянко, С. В. Полехову, В. В. Рыбакову, А. Ю. Серегинной, С. Г. Яковенко.

Для цитирования: Ерусалимский К. Ю. От Европейской войны к церковной унии: Иван Грозный, Стефан Баторий и Антонио Поссевино // Шаги/Steps. Т. 9. № 4. 2023. С. 24–49. <https://doi.org/10.22394/2412-9410-2023-9-4-24-49>.

*Статья поступила в редакцию 30 мая 2023 г.
Принято к печати 4 августа 2023 г.*

Shagi / Steps. Vol. 9. No. 4. 2023
Articles

K. Yu. Erusalimskii ^{ab}

OCRID: 0000-0001-7854-3222

✉ togoeva@yandex.ru

^a *European University at Saint Petersburg
(Russia, Saint Petersburg)*

^b *Saint Petersburg Institute of History
of Russian Academy of Sciences
(Russia, Saint Petersburg)*

FROM EUROPEAN WAR TO CHURCH UNION: IVAN THE TERRIBLE, STEPHEN BÁTHORY, AND ANTONIO POSSEVINO

Abstract. The epistolary polemic between Stephen Báthory and Ivan the Terrible unfolded in 1576–1578 and reached its climax in 1579–1581. It ended through the mediation of the Holy See. The Jesuit Antonio Possevino’s mission to the Polish-Lithuanian Commonwealth and Russia left a lasting imprint on diplomatic correspondence and negotiations, opening new perspectives for both parties as well as for the Holy See against the background of plans for a union of Churches and for confronting the Reformation and the Turkish threat to Christian states. The article clarifies the conclusions of previous studies on the course of the negotiations and shifts the emphasis from the projects of the Roman See to a multilateral lens. This allows us to reconsider the positions of the three main participants, which changed during the peacemaking mission. The main attention is paid to Ivan the Terrible’s letter to the Polish king of June 29, 1581, Stephen Báthory’s reply of August 2, 1581, prepared with the assistance of the Crown and the Lithuanian chanceries, and Ivan the Terrible’s ‘speeches’ (*posolskii rechi*) delivered in Staritsa on September 12, 1581. These extensive ‘speeches’ concluded the “hot” epistolary and oral phase of Ivan the Terrible’s war with Stephen Báthory, but they were merely an opening for Antonio Possevino’s efforts to realize the Holy See’s aims.

Keywords: Ivan the Terrible, Stephen Báthory, Antonio Possevino, diplomatic correspondence, Livonian War, Truce of Yam-Zapolskii

Acknowledgments. The study has been funded by the Russian Scientific Foundation, project no. 21-18-00181. I would like to express my gratitude to colleagues K. S. Kopylanko, V. V. Rybakov, A. Yu. Seregina, and S. G. Yakovenko for bibliographic additions and valuable ideas.

To cite this article: Erusalimskii, K. Yu. (2023). From European war to Church union: Ivan the Terrible, Stephen Báthory, and Antonio Possevino. *Shagi / Steps*, 9(4), 24–49. (In Russian). <https://doi.org/10.22394/2412-9410-2023-9-4-24-49>.

Received May 30, 2023

Accepted August 4, 2023

Москва vs Святой Престол vs Варшава

Трехсторонние переговоры Российского государства, Речи Посполитой и Святого Престола 1581–1582 гг. — многоплановое событие, показавшее готовность сторон — и прежде всего властей России и Речи Посполитой — к завершению войны, которая и была связана с Ливонской войной ее действующими сторонами, и была ее частью, и в то же время переросла сугубо ливонскую направленность. Неустойчивость международных отношений на востоке Европы проявлялась в непредсказуемости дальнейшего противостояния на фоне угроз, возникавших по мере ослабления воюющих сторон. Москва несла монолитное православие и идеологию симфонии Православной церкви с царской властью. Речь Посполитая была по своему устройству и религиозной политике монархической республикой, где незадолго до изучаемых событий утвердился принцип веротерпимости. Не прошло даром обсуждение политической унии между Россией и Речью Посполитой, которое не казалось досужей фантазией на фоне королевских выборов в Речи Посполитой. Святой Престол видел опасность в обеих странах, продолжая считаться с «турецкой угрозой», прежде всего для католических стран. В России после Лепанто православная имперская власть претендовала на восстановление Византийской империи под своим патронатом или в качестве своей «отчины», однако в Риме знали о разорительных нашествиях крымских татар на Москву и о нежелании московского государя вступать в открытый конфликт с Османской Портой. В Речи Посполитой в то же время набирала ход Реформация, и королевская власть была не в силах сдерживать тенденцию к расширению толерантности и к политическому усилению реформационных учений в элитах, несмотря на то что для части элиты эти учения служили стимулом к выходу из православия, что открывало новые возможности для католической миссии. При этом избранный на троны Короны Польской и Великого княжества Литовского в 1576 г. король Стефан Баторий пользовался поддержкой Франции и Турции и не приветствовал имевшую некоторую популярность идею антитурецкой лиги.

В этой работе мы обратимся к полемике, развернувшейся между Иваном Грозным, Стефаном Баторием и Святым Престолом в 1581 г., сыгравшей немалую роль в завершении Ливонской войны и подводящей своеобразную черту под многолетним противостоянием. Многие аргументы в этом полилоге про-

звучали впервые с неумолимой прямоотой и позволили обозначить грани между достижимым и недостижимым. Особое внимание мы сконцентрируем на письме царя от 29 июня, ответе короля от 2 августа и устном разборе письма короля царем перед папским легатом 12 сентября 1581 г., когда эпистолярная фаза полемики закончилась. Спор решался на полях сражений в Российском царстве и на переговорах под Ямом Запольским, открывшихся 13 декабря 1581 г. и увенчавшихся 15 января 1582 г. десятилетним перемирием.

Прежде чем обратиться к самой полемике, зададимся вопросом: в чем заключались позиции сторон? Чего они добивались и с каким багажом пришли к середине 1581 г.?

Иван IV стремился удержать земли в Ливонии и Великом княжестве Литовском, завоеванные в 1558–1577 гг. Готовность продолжать войну и отмеченное спутником Антонио Поссевино, Джованни-Паоло Кампана, еще в сентябре 1581 г. упование царя на Бога в достижении новых побед опирались прежде всего на доктрину, выработанную в Москве в годы двух польско-литовских бескоролевий. Царь на первых и вторых элекциях в Речи Посполитой выступил за переход наследия Сигизмунда II Августа в свои руки (неохотно соглашаясь также на кандидатуру своего сына Федора) или под власть Максимилиана II Габсбурга (допуская и кандидатуру его сына) [Флоря 1978; Lulewicz 2002; Kąkolewski 2007]. Тайная готовность разделить земли Речи Посполитой была явлена *urbi et orbi* в полуоткрытом послании Ивана IV Максимилиану II от января 1576 г., которое содержало проект нацеленного против Османской империи династического и военного союза между Москвой и Венной на осколках шляхетской республики [Бачинский и др. 2019]. Когда избранный на троны Короны и Литвы Стефан Баторий получил на Варшавском сейме 1578 г. карт-бланш на отвоение владений Речи Посполитой, в Москве приняли вызов и предприняли попытки закрепить союз с Рудольфом II, сменившим на имперском троне Максимилиана II. В попытках сохранить коалицию Иван IV вступил в войну с польским королем, которого на первых порах не признавал и считал самозванцем, захватившим троны Польши и Литвы у Габсбургов. Поражения царя в Московских походах Стефана Батория 1577–1581 гг. и нежелание Рудольфа II втягиваться в войну настроили Ивана IV более миролюбиво. Он признал формальные права польского короля, был готов на территориальные уступки для установления перемирия, однако явно затягивал переговоры, что постоянно отмечали польско-литовские контрагенты, продолжая балансировать между боевыми действиями и дипломатической торговлей [Новодворский 1904].

Для Стефана Батория задачи определила предыстория российско-польских отношений. Он воевал за владения своих предшественников на троне и был готов решать спор с московским монархом на поле брани, вплоть до рыцарского поединка с Иваном Московским. Восстановление польско-литовской администрации в Ливонии, отвоение ряда приграничных территорий Великого княжества Литовского и мобилизация коронных восточных русских земель не остановили короля. На волне амбициозных заявлений Ивана Грозного, воспользовавшись самой же аргументацией великого князя московского, он выдвинул ряд аналогичных встречных требований. Стефан Баторий требовал вернуть ему все захваченные Москвой русские владения королей, включая

завоевания и аннексии предыдущих правлений — Великий Новгород и Псков, Смоленск, Чернигов, Северскую землю, верховские княжества. Еще в грамоте 1580 г. со всей злой иронией Стефан Баторий дал согласие на использование псевдотитула Ивана Московского «господарь своея Руси». Инициатором этой уловки король быть не мог, поскольку не знал русских языков, но само это оскорбление было частью риторической войны против Москвы, развязанной еще в начале правления короля. Царский титул за Иваном Московским король Стефан отказывался признавать, уверенно парируя попытки лишить его в ответ королевского титула. При этом король, поддерживая политические тенденции своих предшественников в отношениях с Москвой, противостоял не только Ивану IV, но и Святому Престолу, поскольку еще коронационной присягой 1 мая 1576 г. обязался хранить в своих государствах мир между конфессиями в соответствии со статьями Варшавской конфедерации 1573 г. Кроме того, папа Григорий XIII допускал немыслимую для короля возможность царской коронации Ивана Васильевича и союз между царем и королем против Турции. Обсуждение казанских, астраханских и сибирских прав московского царя, как и в последние годы правления Сигизмунда II Августа, сводились к злой иронии о мусульманском царском статусе в мусульманских царствах. Попытки православного монарха воспользоваться посредничеством Святого Престола вызвали у короля ряд не менее ироничных замечаний насчет заявлений великого князя московского, будто бы стремившегося к союзу с католиками. Апелляции Москвы к христианскому единству в Варшаве и Вильно расценивали не иначе как переговорную уловку.

Особую позицию по урегулированию на востоке Европы занял Святой Престол. Григорий XIII в роли посредника допускал продолжение католической миссии, однако в миротворчестве видел шанс на преодоление внутренних противоречий внутри западного христианства и на воссоздание антитурецкой коалиции. Возглавивший депутацию от папы в Россию Антонио Поссевино еще в 1577 г. по поручению Григория XIII редактировал меморандум Жана де Вандевилля о распространении католической веры. Как установлено исследователями в XX в., Поссевино принадлежит особая версия этого сочинения с обширной программой, частью которой было создание Восточного коллегiums и католических миссий, охватывающих православные страны и регионы [Polčín 1957; Donnelly 1988; Mund 2004; Sach 2020]. Трудности для Рима в Речи Посполитой заключались еще и в том, что местная паства, особенно в Великом княжестве Литовском, представлялась в Риме зараженной кальвинизмом и другими реформационными учениями. В идеале укрепление власти Стефана Батория должно было подавить эти ростки, и переговоры с Москвой представлялись в Риме удобным поводом для давления на Великое княжество Литовское. При этом знания о московской церковной истории не оставляли Поссевино и его спутникам слишком больших надежд на скорое обращение москвитов. Трактат «Московия» Поссевино и записки Кампана доказывают, что переговорщики на этот счет и не обольщались. Святой Престол полагался на тот же механизм, который должен был сработать в отношениях польского короля с литовской элитой. Если бы удалось обратить в католичество царя, его подданные подчинились бы своему властелину, и способствовать обращению должна была Иезуитская коллегия в Москве. Этому сценарию могли содей-

ствовать и давнишние стремления Ивана Московского к царскому титулу на Руси (включая Московию и Киев) и в Турции. В свою очередь, это, конечно, затрудняло для Рима путь к единству веры, поскольку допустить существование двух императоров под сенью Святого Престола было невозможно. Антонио Поссевино получил инструкции уступить московскому правителю в его борьбе за царский титул, предложить ему условия для принятия короны из рук римского папы и содействовать в переговорах о признании царского титула Ивана Васильевича в Европе. В переводе грамот Поссевино к Ивану IV и к боярину Никите Романовичу Юрьеву от 15 мая 1581 г. с латыни в кратком титуле присутствует элемент «царь», но в развернутом адресе он добавлен только к части владений великого князя: Казани, Астрахани, после которых значатся Смоленск, Псков, Тверь, «и иных»¹. Поссевино предложил царю объединиться с католичеством, взамен суля исполнение наиболее радужных чаяний русского государя — титул царя и в перспективе Киев и Царьград: «И ты, великий государь, не токмо будешь на прародительской вотчине на Киеве, но и во Царствующем граде (т. е. в Константинополе. — *К. Е.*) будешь, а папа и цесар и все господаи великие о том будут старатца»². Этот сценарий, учитывая политическую принадлежность Киева после заключения в 1569 г. Люблинской унии Короне Польской и настрой Стефана Батория повсеместно отвоевывать у царя земли Речи Посполитой, был возможен лишь в том случае, если в Риме предполагали не только заключение мира, но и последующее создание федерации России и Речи Посполитой. Со своим планом Римская курия не рассталась и после Ливонской войны, однако на 1581 г. он звучал по меньшей мере экстравагантно. Править Константинополем и владеть Киевом было заманчиво, но Иван Васильевич отказался принимать католицизм, а остальные предложения отклонил, сославшись на свой возраст и греховность перемены веры: «И не мьне коли уж переменятьс и на большое господарство хотети. Мы в будущем восприятия малого хотим, а здешнего господарства всее вселенные не хотим»³.

Иезуит в борьбе за христианский мир

Хронологические рамки переговоров хорошо изучены. 21 февраля 1581 г. отправившийся из Москвы в Европу еще осенью предыдущего (январского) года Истомашев был принят папой Григорием XIII и от лица царя просил о посредничестве в переговорах с польским королем. 27 марта Антонио Поссевино вместе с российскими послами направился через Филлах, Грац, Вену, Прагу и Вроцлав к Стефану Баторию в Вильно, где оказался 13 июня, провел переговоры с королем и проследовал за ним в Дисну и под Полоцк, недавно вернувшийся в состав Великого княжества Литовского [Mund 2004: 411; Quirini-Popławska 2012: 248–252; Quirini-Popławska, Burkiewicz 2012: 590]. Король готовился к новому походу против великого князя московского и в переговорах с папским легатом высказал опасения, что его миссия может только настроить «Московита» (т. е. Ивана Грозного) на сопротивление, придаст ему

¹ РГАДА. Ф. 78. Оп. 1. Кн. 1. Л. 37, 39, 39 об., 40.

² РГАДА. Ф. 78. Оп. 1. Кн. 1. Л. 368 об., 373–373 об.

³ РГАДА. Ф. 78. Оп. 1. Кн. 1. Л. 369 об.

сил в борьбе за более выгодные для него условия мира. Успех в грядущей войне не был для короля очевиден, хотя он и был полон решимости продолжать войну. Переговоры с московским посольством во главе с О. М. Пушкиным проходили в начале 1581 г. в ожидании полного отречения Ивана Грозного от Ливонии, однако в придворных кругах и в среде сенаторов Речи Посполитой в каких-то сценариях обсуждалось возвращение царю Полоцка и Заволочья⁴.

29 июня 1581 г. Иван IV, уже зная о готовящемся походе на Россию, направил обширное письмо Стефану Баторию с его посланником Криштофом Держком, который отдал его адресату 15 июля в Полоцке. Письмо московского монарха вызвало бурное негодование в военном лагере. В конце июля — самом начале августа 1581 г. под Заволочьем на трех языках (польском, латыни и русском-рутенском) было составлено ответное послание, которое в двух редакциях (кроме польской) было доставлено царю гонцом Матвеем Проворским. Вероятно, общие консультации с королем по поводу предполагаемого содержания письма закончились к 1 августа. Секретарь коронного канцлера Ян Петровский в своем дневнике Псковского похода приводит ответ короля на польском языке, а в записи от 2 августа рассказывает, как целый день от самого восхода и прямо до заката «все паны и мы» (*wszisczi Pany u my*), т. е. Петровский и Гизий, потратили на ответ царю на «его бессовестную грамоту» (*nad tą niecznotliwą hramothą*). Стефан Баторий не проявил особого интереса («а Panu tesz nie wiem co po tym wdawać w te Lithewskie odprawu»). Литвины должны были вслед за авторами перевести послание на русский (т. е. на рутенский). Все удалось сделать весьма быстро, учитывая, что Петровский сомневался, пойдет ли работа споро («iako to prentko bendzie»). Тем же днем послание и датировано. Показательно, что запись от 2 августа в дневнике секретаря начинается словами: «Господи Боже, дай, чтобы этот Московский подход еще до того, как мы доедем до Пскова» (*Panie Boże day, ze ten Moskiewski zdechł, nis do Pskowa doiedziem*) [ДПП: 42–43].

После очередного раунда переговоров 21 июля в военном лагере под Полоцком Поссевино направился к границе и 26 июля был в Орше. В тот же день, когда под Заволочьем сотрудники королевской канцелярии совместно с литвинами завершали свой масштабный труд, Поссевино направился во владения Ивана Грозного, 8 августа достиг Смоленска и 18 августа прибыл в Старицу, где был принят Иваном IV утром 20 августа⁵.

⁴ AGAD. AR. Dz. V. Sygn. 75. S. 2 (Доминик Аламанни — княгине Катерине с Тенчина Слуцкой, 31 мая 1581 г.).

⁵ Ошибочно мнение о том, что А. Поссевино был принят Иваном IV уже 18 августа (ср. [Mund 2004: 412; Burkiewicz 2012: 168–169; Quirini-Popławska, Burkiewicz 2012: 590]). Ряд источников говорит о том, что 18 августа состоялся лишь въезд в Старицу. На следующий день царя не было в Старице; вероятно, он ездил в Иосифо-Волоколамский монастырь. И лишь 20 августа 1581 г. состоялась первая торжественная аудиенция Поссевино у царя в Старице (РГАДА. Ф. 78. Оп. 1. Кн. 1. Л. 65 об., 76–78 об.; публ.: [ПДС (10). Стлб. 60, 68–70]; см. также: [РК 1605: 211–212 (л. 755 об.); Кампана 2018: 342–345 (18 августа); ВХКИВМ: 193 (л. 193); Мельник 2018: 74–75 (19 августа)]; РГАДА. Ф. 32. Оп. 1. Кн. 4. Л. 105, публ.: [ПДС (1): 840]; РГАДА. Ф. 78. Оп. 1. Кн. 1. Л. 79, публ.: [ПДС (10). Стлб. 70–71]; [Кампана 2018: 232–247, 346–359 (20 августа 1581 г.)]). Данной хронологии событий убедительно следует Данута Квирины-Поплавская. Впрочем, в составленном ею совместно с Лукашем Буркевичем итинерарии Поссевино к 18–20 августа отнесены почему-то пиры у царя, а к 21 августа — первая аудиенция [Quirini-Popławska 2012: 252–253].

Переписка Стефана Батория с Иваном Грозным уже пользовалась известностью, хотя и не очень широкой. Во время походов короля на Полоцк в 1579 г. и на Великие Луки в 1580 г. письма от царя публично обсуждались шляхтой, что отразилось в *silva rerum*. Однако ответные письма короля не были «общим делом», оставаясь в приоритете королевской власти и канцлеров Короны и Литвы. В Москве и тогда, и позднее, вплоть до эпохи царя Михаила Федоровича, послания царя и ответы короля вовсе не имели читателей, а сохранившиеся сборники с подобными письмами, возникшие в XVII в., доказывают лишь то, что приказная бюрократия в какой-то момент составила компендиумы, которые в рукописной традиции сохранились, как и посольские книги, только в стенах Посольского приказа. Свидетелями ответов царя могли быть лишь его сын царевич Иван Иванович и молчаливые придворные.

Показательна рукописная традиция. Послание Ивана Грозного 29 июня 1581 г. (одно из трех, отправленных в тот день царем и думой) известно по 10 спискам. Из них три московских, но лишь один из них в составе посольской книги, и он, к сожалению, дефектный; еще два — краткие выписки XVII в. из формуляра послания. Остальные семь списков — из архивов Речи Посполитой и Ватикана (в том числе краткий латинский перевод). Ответное послание Стефана Батория от 2 августа было прислано в тетрадах, т. е. скрепленными листами или книжкой, и известно по 10 спискам, как отмечено выше — в трех версиях (рутенской, латинской и польской). Из них только один список московский — в составе посольской книги (с рутенской версии; латинские в посольские книги не заносились, приводились в переводах). Наконец, речи царя, адресованные через посредника Стефану Баторию в Старице 12 сентября, отразились в посольской книге по сношениям России со Святым Престолом, поскольку были выданы как устный ответ на письменное послание короля через Поссевино. Сплошное сравнение списков посланий между собой и цитации в ответах показывает, что король слушал далеко отстоящий от оригинала перевод, тогда как царь Иван при ответе пользовался рутенским посланием короля. Некоторые фразы он не комментировал напрямую, а просил толмачей или присутствующих на церемонии знатоков перевести ему. Латинский текст послания 2 августа сильно отстоит от рутенского, и король считал важным демаршем направить обе версии царю, предполагая со своей стороны возможность дальнейшей переписки на латыни, — это могло бы уравнивать стороны в языковом этикете.

Полемика между царем и королем открыта тремя посланиями Ивана Грозного от 29 июня. Их них первое и самое обширное написано от имени царя. Второе — боярами и адресовано к Панам раде Речи Посполитой. Третье касается частной темы, затронутой лишь вскользь в других письмах, — обмена пленными. Царь составил целый трактат о своих правах, владениях и господстве над Стефаном Баторием. Однако именно Иван Грозный первым упомянул Адама — и не для характеристики размеров текста, а в укор за бесконечный поиск обид у предков:

Чово отцы их не умели отыскать, что они кровопроливством отыскивают (*М*: одыскивают) далее, (уж же) (*М*: жь уже) что и от Адама (*так в М*; *А*: Дама) делалося, и тово станеш отискивати!»⁶

⁶ Цитата на основе списка: РГАДА. Ф. 389. Оп. 1. № 591 (*А*). Л. 525 об. С учетом чтений списка: РГАДА. Ф. 389. Оп. 1. № 592 (*М*).

Король в ответном письме скажет, что это Иван Васильевич любой свой упрек начинает «от Адама»⁷.

Письмо короля еще больше, и царь в речах 12 сентября 1581 г. передразнит оппонента — «от Адама» пишет он сам: «...а то не от Адама ли он поминает, что господарей за пять за шесть хочет отыскивати, что от сѣх мѣст лѣт за сто и болши» [ПДС (10). Стлб. 226]. Первое послание царя от 29 июня начинается с недовольства по поводу того, как было принято королем посольство Пушкина. Раздражение Ивана Грозного было вызвано тем, что король отказался от мирных предложений, учитывавших и перспективу раздела Ливонии, и занятые королем владения самого же царя. С этого и началась эпистолярная дуэль: царь перечисляет свои уступки, приводит исторические примеры, убеждает оппонента здравым смыслом — все это чтобы доказать ему, что он должен отказаться от своего «безмерья», прийти на «меру» и остановить кровопролитие («узнаешься и безмерье (М: безмире) отставиш, и на меру сойдеш»)⁸. Царь знает, что войско Батория уже движется к границам его государства, и приводит в ультимативной форме свои прежние попытки договориться, возлагая всю вину за надвигающееся кровопролитие на своего противника.

Ответ Стефана Батория погружен в стихию публичного чтения. Его письмо — это коллективный вызов московской власти как таковой. Оно много-словно и с первых же строк наполнено многократными инвективами. Оскорбительные эпитеты рассыпаны во множестве⁹.

Русская (рутенская) версия	Латинская версия
лист твой велми долъгий, полный спросности и вшетеченства, и омылности (л. 546 об.)	litteras tuas <...> quibus lectis <i>plenissimis</i> (B: <i>levissimis</i>) et <i>vanissimis</i> (II: <i>vanitate</i>), et maledicentia (fol. 2)
всему справы твое спросные и поганьские суть явны, жытье нашо учъство и побожно ест, теж всим явно (л. 547)	impuritatem procacitatemque tuam, ita vitae ac morum nostrorum integritatem honestatemque omnibus cognitam esse
тогда и то учынок хрестияньский (II: хрестьянский учинок), же до тебе лежачого у (М: в) болоте спросности и (II: нет) небаченья твоего склонимся (л. 547)	quovis tempore extrahat, nos itidem recte, si tibi in caeno maledicentiae et impuritatis tuae iacenti, manum porrigamus, tui extrahendi causa

⁷ РГАДА. Ф. 389. Оп. 1. № 591. Л. 569 об.

⁸ РГАДА. Ф. 389. Оп. 1. № 591. Л. 520 об. Курсивом здесь и далее переданы фрагменты текста, к которым в скобках тут же приводятся разночтения по другим спискам, если не обозначено иное.

⁹ В приведенных ниже примерах реконструируем русский-рутенский текст послания Стефана Батория на основе списков Литовской Метрики РГАДА. Ф. 389. Оп. 1. № 591 (А) и № 592 (М), а также Посольской книги РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Кн. 13 (II). Номера листов — по списку А. Латинский текст реконструируем на основе списков Берлинского — GStA-PK. НВА 719 E5 (Б, принят за основу), Варшавского — BN. № 6604 (В) и Римского архива иезуитов — ARSI. Polonia. Opera nostrorum. № 329 I (II), а также издания Тургенева [HRM: 323–350, № CCXXV] (Т).

<i>Естлиж</i> (М: еслиж) слова нашы не будут тебе смаковати, ты сам того прычыною, <i>жес</i> (П: же) ся на нас торгнул наперед несмачными и быстрыми словы (л. 547 об.)	Quod si tibi non iucunda nostra videbitur (B: videbitur nostra) oratio cogitare debebis eam abs te provocatam esse petulantia tua, qua nos prior acerbissime lacerasti
А потом на твое дотыканье неслушное и невстыдливое особы и обычаев наших отповемы	Iterare quae tu scripsisti hominis esset ocio (B: otio) nimium abutentis, et te meminisse putamus quae scribis (П: scribis) (fol. 2 ^v)
Але однак сховаи еси собе <i>перенис</i> (М: препис) того так дольшого бахорства твоего	Utut (B: et ut) est, habes (B: bebes), dubio procul exemplum scripti tui
О, никчемный чоловече, што то бредиш! (л. 567 об.)	Quid ais (B: agis) nugacissime? (fol. 13 ^v)
О, марный чоловече ядовитый, <i>потворцо</i> (М: потварцо) чужого сумнения, злый сторожу своего! (л. 570 об.)	improbe et virulente Calumniator, aliena (BT: alienae) conscientiae (B: conscienciae) criminator, infide custos tuae (П: нет всего отрывка) (fol. 15 ^v)

Один из главных упреков короля в адрес царя в том, что тот отказывается выходить с ним на бой и не защищает своих подданных. Это обвинение звучит в письме погромно. Король выхолащивает образ двуглавого орла, уничижительно сравнивая его с пекущейся о своих птенцах курицей:

И бедная кокош перед ястребом и *орлом* (М: горлом) птенца своя крылами своими окрывает. А ты, орле о двух головах, бо ся так печатаеш, — хороняешься, а не только зраду, але и *кровоприсяжеству* (М: кривоприсяжеству; П: кривоприсяжество) сам кровоприсяжцо!..¹⁰

Эта ироническая эскапада нацелена как в символы государственной власти, так и в имперское наследие, которым кичился царь. Двуглавый орел был символом не только российской правящей династии, но и империи Палеологов, и Священной Римской империи. Стефан Баторий последовательно отстаивал свой статус избранного монарха, считая себя подлинным наследником Римской республики, в отличие от тиранов, претендующих на господство над миром, а на самом деле уподобляющихся фараонам, иудейским несправедливым царям и узурпаторам.

Список инвектив в письме короля говорит о том, что современники Ивана Грозного находили в его эпистолярных манерах не стилистическое своеобразие, а повод для словесной эскалации полемики. Перед нами не особенность литературного дара, а череда дипломатических диверсий, на которые следуют не всегда симметричные ответные эскапады. Было бы логично предположить, что высказывания царя масштаба Первого послания Курбскому 1564 г. и июньского письма Стефану Баторию 1581 г. звучали хоть как-то публично. Однако подобные предположения в обоих случаях опираются лишь на совпадения речевых оборотов в ряде посланий Ивана Грозного и не опираются ни на какие данные о подобных декламациях в России. Царь своими «кусатель-

¹⁰ РГАДА. Ф. 389. Оп. 1. № 591. Л. 570.

ными» речами не «общался с народом» и не бравировал, а пользовался для унижения своих оппонентов.

Король берется за непростую задачу, но именно в ней весь смысл его начинания. Он доказывает противнику, что действительно избран на Королевство Польское и Великое княжество Литовское, но не как безродный шляхтич, а как достойный своих престолов хорошо образованный воин-политик из благородного княжеского рода. На этом строится череда обвинений в адрес царя. «Московит» допустил непозволительные непристойности в отношении королевского «маестата» (суверенитета), принял не как полагается послы Речи Посполитой в 1577–1578 гг., нарушил свои же договоренности с Великим княжеством Литовским и с предшественниками короля, вместо договора с новым королем вторгся в Ливонию, прикрывает свои амбиции ложными и для всего мира смехотворными экскурсами в прошлое и величает себя величайшим правителем на свете, зарвавшись в самовосхвалениях, а сам ведет себя как обычный тиран, супротивный воли Бога узурпатор и насильник, от которого бегут даже его подданные. Достигая своей цели, авторы послания выдерживают лишь самый общий план из послания царя от 29 июня, направляя основные удары в те вопросы, которые для царя нередко не являются первоочередными. Король ведет справедливую войну, воздавая за все эти унижения, но в значительной степени и не поэтому, а по причинам, которые высказаны *explicité* в письме царя: его заявления несут опасность не только королевскому «маестату», но и суверенитету Речи Посполитой (в частности, Жмуди), королевских ленов (Ливонии и Пруссии) и всей Европе.

При перечислении огрехов в поведении царя Стефан Баторий не чурается и гневных выпадов в адрес церковной жизни, очевидно, готовясь к диалогу с Антонио Поссевино и предложениям Святого Престола. Так звучит упрек, что Москва обособлена «от всего хрестиянства», все больше «з нагайцы и з ыными татары, аниж з хрестияны обыцуючы». Упомянув Ферраро-Флорентийский и Тридентский соборы, король высказывает надежду, что царь разрешит в Москве костелы (в острой форме предложено перечислить существующие в России костелы для короля «на реистрыку», в Москве это слово прочитано: «на ристрыку»)¹¹. Москва также готовилась к религиозным прениям, уже зная о приезде Поссевино, и неслучайно в послании царя 29 июня одобрительно упомянута Флорентийская уния, что и вызвало насмешки короля. Царь, как почувствовал Стефан Баторий, со ссылкой на митрополита Исихора наращивал силу для одного-единственного аргумента: если уния уже заключена, то чем мешает королю насаждаемое из Москвы православие в Ливонии: «Ино паны твое то ли хрестиянство держать, что не любяты под греческою верою Лифлянтские земли? А они и своему папе не веруют!»¹² Иван Грозный, конечно, расчетливо наносил удар в область религиозного конфликта польско-литовского общества, одновременно представляя на суд Святого Престола отношение к православию. В Короне и Литве многие подданные короля были православными. Москва не претендует на опеку над ними. От этой идеологической программы, звучавшей в московских памятниках в начале Ливонской войны и в канун Полоцкого похода 1562–1563 гг., в переговорах 1581–1582 гг. царь старательно воздерживается.

¹¹ РГАДА. Ф. 389. Оп. 1. № 591. Л. 559–559 об.

¹² РГАДА. Ф. 389. Оп. 1. № 591. Л. 524.

Программы Стефана Батория и Ивана Грозного в принципиальном для Святого Престола церковно-догматическом вопросе расходились непримиримо и кардинально. Король не видел возможности доверять словам правителя, который вытравил католическую веру в своей стране и при этом под видом заступника христиан безжалостно захватывает христианские земли, принуждая их население принимать православие. Царь делает упор на реформационном расколе внутри Речи Посполитой и требует от Рима признания православия (греческой веры) полноценным христианством — в идеале такой подход царя означал бы, что реформационные вероучения должны быть в Речи Посполитой запрещены, а православие признано равноправным католичеством.

Варвары и барберы

Значительный объем переписки июня — сентября 1581 г. состоял из взаимных инвектив и ответов *verbatim* на эскапады оппонента. Доходит до взаимного высмеивания отдельных выражений и формулировок. Ответы царя на послание короля от 2 августа 1581 г. следуют за текстом оппонента, иногда с подробностями парируя заявления Стефана Батория, иногда двумя словами, в ряде случаев оставляя их без реакции или ограничиваясь ссылкой на другие ответы либо риторическим отказом. Разбор инвектив в свой адрес царь предваряет словами «что мы к нему писали ... — ино то ...», «что будто мы пишем ... — ино ...», «что мы ... — и мы», «а что он пишет ... — ино то ...». В отличие от обширного послания царя Курбскому в 1564 г., задачи проговорить каждое слово Стефана Батория у царя в 1581 г. не было. В основном он в своей речи 12 сентября «цеплялся» за слова, вырывая их из контекста, потроша и высмеивая, лишь изредка приводя в своем ответе несколько слов или фразу из письма Батория. Король и его соавторы поступали сходным образом, чаще не буквально, а отталкиваясь от перевода писем Ивана Грозного и реже придавая значение речевым оборотам. В речи царя сильна нота самоуничижения — римскому легату предъявлены ложные наговоры противной стороны: нам вменяют неслыханные вещи — преступления, которых ни мы не совершаем, ни «от Адама» никогда не было; умаляют в исконных и законных правах; вменяют грехи; грубо оскорбляют; винят в развязывании войны, которую сами же начали; унижают наших послов. В отдельных случаях Иван IV использует риторическое согласие с противником насчет своих слов, подчеркивая тем самым свою правоту и нежелание менять мнения или акцентируя иронические похвалы Стефана Батория, как если бы они были сказаны всерьез. Но все подозрения о покушении на королевское достоинство Иван Грозный признавать отказывается, настаивая, что его слова неверно истолкованы. Царь призывает Антонио Поссевино рассудить спор, акцентируя внимание ученого иезуита на словесной нелепости и нелогичности одних обвинений в свой адрес и историко-богословской неточности других¹³.

¹³ В приведенных ниже примерах реконструируем рутенский текст послания Стефана Батория на основе списков Литовской метрики № 591 (А) и № 592 (М) и Посольской книги № 13 (РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Кн. 13) (П). За основу принят первый из этих трех списков. Латинская версия заслуживает отдельного исследования с учетом реконструкции не только

Письмо Стефана Батория 2 августа 1581 г.	Речь Ивана Грозного 12 сентября 1581 г.
в котором много ущипливе противко нам без прычины наше и непрыстойне не огледаючысе (<i>М</i> : не огледаючися; <i>П</i> : огледаючис (<i>нет</i> не)) на стан свой пишеш (л. 546 об.)	что будто <i>мы пишем не огледаючись на свой стан</i> , — ино наш стан всей вселеннѣй вѣдом, почен от великого Рюрика (стлб. 206–207)
Алетобе самомубольшей (<i>М</i> : болш), кгдаж каждого сердце и sprawy люди бачные з мовы его або статечные, або быстрые судять розумеючы, иж неповстягливе жыветь, который ся неповстягливе на кого пушаеть (л. 547)	что мы <i>неповстягливе живем</i> , — и мы живем встягливо по Божью веленью и по господарскому чину, как нас Бог вразумит, а sprawy наши не шаткие, ни поганские, sprawy наши ведутца, как были при отцѣ нашем и при дѣдѣ (стлб. 207)
К тому видячы то, же всему свету sprawy твое спросные и поганьские суть явны, жытѣ нашо учѣство и побожно ест, теж всим явно, кгдаж есмо в земли той, которая ест на очах всего хрестиянства, вродилися, въсховалися и жыли	а что он про себя пишет, что как он <i>родился</i> и как был до Коруны Полские, и то <i>всему свѣту вѣдомо</i> , и гдѣ будет он <i>в наукѣ</i> был до королевства по которым мѣстом, — ино то он вѣдает, а здѣся тово обычая не ведется в нашем русском что по науком господарским дѣтем ѣздити (стлб. 207)
ведже однак подобно паметаеш, што до кого пишеш (л. 547 об.)	а что Стефан король в своей грамотѣ писал, чтобы <i>нам памятовати, до ково мы пишем</i> , — и ты б то, Антоней, поразсудил по тому ево слову такую гордость, каков он перед нами ставитца высок (стлб. 207–208)
А ты, яко правдивый человек, в которого устах псалмы без престаньку суть, гоньца нашего Гарабурду задержал еси (л. 549 об.)	а что он нас пишет укоряя о <i>задержаньи гонца своего Петра Гарабурды</i> , а пишет к нашему лицу так: <i>а ты яко правдивый человек, в которого в устах псалмы без престанку суть, гонца нашего Гарабурду задержал еси</i> , — ино так и есть (стлб. 210–211)
Послы твое до нас поехали, а войска твое (<i>М</i> : твои; <i>П</i> : <i>нет</i>) до Кеси тягнули (<i>П</i> : тягнуло) (л. 549 об.)	а что он писал в кою пору у него наши <i>послы</i> были, а мы посылали <i>рать свою к Кеси</i> , — и он таки одно говорит тою неправдою, что Лифлянская земля не ево, и то было тогды к тому дѣлу и не пригодилося (стлб. 211)
И прытом якобысь ты был який чудотворец (л. 550)	и он нас зовет святым <i>чудотворцом</i> , — ино то уж потому кто не свят да не чудотворец, и ему то ни против которого господаря не вставать (стлб. 212)

кириллической версии, но также и из письма короля Стефана, приведенных в речах Ивана Грозного от 12 сентября 1581 г. При цитировании речи царя 12 сентября 1581 г. здесь и далее за основу принимаем столбцы по [ПДС (10)].

Курсивом в этой таблице обозначены цитатные заимствования в речах Ивана IV из послания Стефана Батория.

Смотрыж своеє шыроستي, смотрыж своих поважных поступков (<i>П</i> : поступок), з якими послы свое посылаеш! Видечы вже так близкое небезпеченство (л. 553)	да и то он в своей грамотѣ писал, такую гордость и похвалу, и грозу: <i>смотри ж с своей с ширости, смотри ж своих поважных поступков, с якими послы свои посылаеш видячи вже так близкое небезпеченство</i> , — и то наших послов посолство болши подобно на блазенство, нежли на посолство, и он секиру до пня приложил, Луки взял — и то ли Стефан король по-хрестьянски дѣлает? (стлб. 213–214)
перед которым укажы, если што такового от веков в земли твоей было (л. 559)	а что пишет король Стефан, что <i>в нашей земль тово не бывало</i> , чтоб к нам приѣзжали от королевского роду, — ино то преж тово не бывало (стлб. 217)
Затвержай же вже сердце свое, яко хочеш, фараоне московський, о чотырыкрат сто тисечей (черьленых золотых) (<i>М</i> : золотых черьленых) з стороны накладов военных (<i>П</i> : накладу военного) отписуеш (л. 562 об.)	а что он пишет меня <i>фараоном</i> , а просит у меня <i>ста тысячь черьленых золотых</i> , и фараон египецкой никому дани не даывал (стлб. 218–219)
А жаж вже (<i>П</i> : слово ниже после тебе) мы тебе не ознаймили тепер з Вильни, але хотябы аныгел або апостол Божый тебе што поведал, тогды ты не учыниш (л. 566)	а что он гордостью писал, хотя нам <i>и ангел или апостол поведает</i> , а мы тово не послушаем, — ино ещо он ни ангел, ни апостол, что нам его слушати (стлб. 221)
одно то, што ест водлуг твоеє мысли, то вже потол поведаеш, же не ведле обычаев предков наших (л. 566 об.)	а что нам велит <i>подль обычая предков его</i> писати, — и мы извыкли предков своих обычей дѣлати, а литовских предков и чужеземских иных обычаев не извыкли дѣлати и не хотим (стлб. 221)
слышали то послы твое достаточне (<i>П</i> : достаточного не), же чым должей мели ся тые sprawy проволокаати и чым нас до больших коштов (<i>П</i> : костов) прыводили бы (<i>П</i> : выше после чым), же теж не вменшывати, але прибавляти стацей (<i>П</i> : статей) мели есмо, якож же так быти мусить, сама то реч показуеть (л. 569)	да в той же своей грамотѣ писал, чѣм болши <i>проволака</i> будет, тѣм болши <i>ему статей прибавлявати</i> прошения, — и тут которому доброму дѣлу быти (стлб. 225)
так теж за превротного и подступного нас оказати хочеш, поведаючы, же на кони седечы, с тобою обѣсылаемься с послами твоими становим (<i>М</i> : намовля) <...> што есмо тебе подманутися не дали и часу собе зволочы, который у кожного человека ест дорог (л. 569)	а что он пишет, будто мы на нево неподѣлно пеняли, что он <i>на конѣ сидячи с нами обѣсылаецца</i> , а будто мы его тѣм хотѣли <i>оманути</i> , — ино та оманка во всей вселенной знатна... (стлб. 224–226)
хто нас на конь наш посадил, то есмо вжо перед тым выписали (л. 569)	а что он сказывает, что мы <i>его на конѣ посадили</i> , — и мы послѣ полоцкого взятъя чѣм ему поглубили, чтоб он то сказал?.. (стлб. 226)
бо чому еси ест тепер Иоанѣном, а перед тым еси звалъся Иваном Васильевичом (л. 572)	а что он пишет, будто мы то перво пишемся <i>Иоанном</i> , а <i>перед тѣм звалися есмя Иваном Васильевичем</i> , — ино то простое имя... (стлб. 229)

заж ест ты греком яким, рымьянином або влохом, або ишпаном — не москвитином (л. 572)	а что он нас <i>зовет не москвитином</i> , — ино правда есть, что мы не москвичи (стлб. 229–230)
Чы пак то длятого чыниш, же нам ганиш, иж есмо королем обраны? А иж ся есмо с отца короля не вродили... (л. 572)	что <i>мы его ганбим</i> , что <i>он не от короля ся родил</i> , — и мы его не ганбили... (стлб. 230–231)
играти прысегою и крывопрысегати, подкинувши лист (л. 573 об.)	а что пишет он, что будто мы <i>лист подкинули</i> , — ино то пишет о нашей грамотѣ, и мы о том выше сего писали (стлб. 233)
Гдеж ся брат твой Володимер, так много бояр, так много людей побил (II: подело)? (л. 573 об.)	а что пишет о <i>братѣ нашем о князѣ Володимерѣ</i> , — ино князь Володимер от нашего роду исшел... (стлб. 233–234)

В своих ответных речах королю царь краток и безапелляционен в оценках. Он срывается в подробности всего несколько раз, особенно когда переходит к правам на Ливонию, к своим изменникам эрцгерцогу (королю) Магнусу, И. Таубе и Э. Крузе, плененным без боя велижским воеводам, к своему казненному брату Владимиру Андреевичу Старицкому, а также к истокам кровопролития в Ливонии. Часть комментариев о посольском обмене перенесена в отдельный список, и, таким образом, речь перед папским легатом содержит только наиболее важные спорные темы. Крайне неохотно царь комментирует военные успехи Стефана Батория и войны между европейскими монархами (например, упоминаемые королем неоднократно войны Франции с Габсбургами). Да и не по всем из оставшихся для ответа сюжетов Иван Грозный отвечает предметно, нередко звучат личные оскорбления («укоризны»). Неоднократно в устном ответе встречаем слова о том, что в июньском послании царя не было ничего обидного лично для Батория:

...а его есмя не соромачивали ничѣм, а которые и вычеты были, и то было княжеству Седмиградцкому [ПДС (10). Стлб. 212, см. также стлб. 230].

Впрочем, чуть ниже все же нанесен удар по королевскому «имени», в защиту доброй памяти об Иване III:

А что писал о блаженные памяти дѣдѣ нашем великом господарѣ царѣ Иванѣ укорителное слово, как он Великий Новгород в свою волю привел, и мы о том писати не хотим, потому что про нас некоторые правды укоризны не может писати, и он нам за посмѣх лаеет для того, что он не господарской прироженец [ПДС (10). Стлб. 218, см. также стлб. 230].

Все же трудно было прочитать эти слова иначе, чем унижительное напоминание противнику о том, что он государь не по рождению. Для царя это был жест вычеркивания из равных в диалоге, которым он уже интеллектуально не раз справлялся с оппонентами — с Эриком XIV и вслед за ним с Юханом III, а также с Елизаветой Тюдор.

Как бы в развитие этой иронии дальше в своей речи царь неоднократно напоминает, что к польской и литовской истории Стефан Баторий не имеет отношения. Этот сюжет возникает уже в послании 29 июня, где звучит весьма прямолинейно. Царь перечисляет великих князей литовских (последние — еще и короли польские) и добавляет:

А коли тых прежних господарей пишеш предки своими, о (П: и о) чом по их уложению не ходиш, а свое обычаи новые всчынаеш?..¹⁴

Сигизмунда I Старого Баторий называет своим предком («зовет себѣ его предком»). Грубая ирония усиливается за счет намека на то, что король называл в своем послании короля Сигизмунда много страдавшим «богобойным человеком», в ответ на что слышит от царя: «...и он почему своего предка обычаю не ходит?» [ПДС (10). Стлб. 222]. Иван Грозный не отказывает оппоненту в его особой правде, хотя и высмеивает ее при любом удобном случае, но откровенно недопустимым он считает «чтоб во всѣх землях его обычей был, как у него ведетца» [ПДС (10). Стлб. 228]. Это был возврат на аналогичный упрек со стороны короля: «Заж розумееш, жебы везде так (ся справовали) (П: справовалися), яко в Москве»¹⁵. Оба полемиста убеждены, что имеют дело с варварами. Это особенно акцентируется в обсуждении анатомических подробностей того, как под крепостью Сокол королевские люди после поражения царского войска вырезали из трупов воевод и детей боярских «сало и жольч»¹⁶. В Москве это воспринималось как дикость и религиозное преступление. Король же ударяется в подробности, восхваляя хирургию как общехристианское искусство («абы у хоробах и ранах живым помагали»). Этим искусством, как отметил король, и занимались в сентябре 1580 г. под Соколом его «немцы-барьеры» (ср. лат. *barbarius*, польск. *barwierz*). Это слово означает как парикмахера, так и фельдшера. В Москве его прочитали для местной копии, отразившейся в посольской книге: *барберы*. Царь демонстративно вслед за этим прочтением «не понял» короля, обратив в своих ответных речах его объяснение в пользу своих же обвинений: «а о Соколѣ, что такое не хрестыанское дѣло дѣлалось, — и сам король написал какое беззаконное дѣло дѣлалось, а будто барбери» [ПДС (10). Стлб. 227]. Высмеивание это или недоразумение, трудно сказать, но возможно, царь понял это слово в значении 'варвары'. В любом случае для него медицинские объяснения того, как немцы обращались с трупами, вовсе не были оправданием.

Судя по реакции царя на обидные слова короля, «лаями» в Москве считали только оскорбления, содержащие откровенно религиозное, богохульное звучание. Так, царь подробно разбирает фразу из письма короля:

А тот прыдаток у тытуле панств усходных и западных, отьколь тебе врос бес пышный, спротивяючыся Богу, хотел положить столицу свою не *польночы* (П: на полночи), ты себе привлащаш заход и запад, вже толко четвертый кут (с чортом) (П: шортом) Богу *зостави-*

¹⁴ РГАДА. Ф. 389. Оп. 1. № 591. Л. 517 об.

¹⁵ РГАДА. Ф. 389. Оп. 1. № 591. Л. 570 об.

¹⁶ РГАДА. Ф. 389. Оп. 1. № 591. Л. 518 об.

те (П: заставили). Зовешься носителем Креста (М: Криста) Хрыстова, ты, который з дьяволом (П: дияблом) полного усход (и заход) (П: нет) Богу отнимаешь, которого не носишь, але на подданные свое кресты незносные укладаешь (А: буквы кл исправлялись; М: ускладаешь; П: въскладаешь), который кгда ся тебе што пощастить, так ся подносишь фасливе, надуте пишешь и на короли (ся хрестияньские) (П: хрестьянские ся) пуцаешь¹⁷.

Царь отвечает на выпады о присвоении титулов восточного и западного монарха, особо рассуждает о Кресте Христове. И между двумя этими репликами говорит: «а что он нас за посмѣх лаёт, и мы о том не пишем» [ПДС (10). Стлб. 231]. Между темами титулов и Креста Христова в приведенной цитате из Батория только слова короля: «вже толко четвертый кут с чортом Богу зоставите». Мол, все стороны света царь занял своим титулом, оставил Богу только угол, в котором сидит черт.

Прямых упоминаний католичества в России у царя в речи нет. Эта тема обсуждалась отдельно, откладывалась по просьбе Ивана Грозного на мирное время, и лишь в начале 1582 г. царь пресек попытки Поссевино добиться признания римского папы как главы христианства. Прямых апелляций к Поссевино в речах не так много. Обычно к ним прибегает царь, когда чувствует сложность обсуждаемого вопроса или необходимость посредничества из-за глубоких разногласий. Среди них и вопрос о «лице» государя и его «маестате», требовавший точных дефиниций из политической теории, и непреодолимые взаимные подозрения в воинственности и тяге к кровопролитию, которую «ничѣм не утѣшити». Особенно значимый момент — ссылка царя на готовность перед послами Батория поступиться своим «царским именем» при заключении договора. Легат видел грамоту, и царь взывает к его справедливости, чтобы настоять, что не принуждал составить эту грамоту, иначе бы — подразумевает он — можно было надавить и в вопросе царского титула. Легату, кроме того, предложено рассудить, не хуже ли было начинать войну, преступая через крестное целованье, или как сделал царь — задержать «маленько» королевского гонца П. Гарабурду. По всей видимости, очень болезненными и неразрешимыми были для обеих сторон ошибки в дипломатическом этикете и вторжения в область суверенитета.

Царь и в послании 29 июня, и в речи 12 сентября упрекал короля в смерти посла М. Д. Карпова в ходе миссии, намекая на нерасследованные обстоятельства смерти, тогда как Стефан Баторий обрушил на царя множество обвинений в его неподобающем обращении с польско-литовскими посланниками, послами и гонцами. Накал страстей виден по одному тому, что в ответ Ивану Грозному на его обвинения по поводу смерти Карпова Стефан Баторий прямо напоминает своему противнику о таинственных обстоятельствах смерти князя Владимира Старицкого многими годами ранее. Это была, конечно, декларация непричастности короля. В ответ царь возвращает Батория к усобице между Кейстутом и Ягайло конца XIV в., уже чтобы только отделаться от назойливых обвинений в тиранических убийствах. Припоминал король и такие казусы, как захват московским гонцом Г. А. Нащокиным какого-то литвина во время своей

¹⁷ РГАДА. Ф. 389. Оп. 1. № 591. Л. 573.

миссии и незаконный вывоз его на территорию России, на что царь оправдывался, что литвин этот Нащокина обманул.

Ряд упреков в адрес короля нарочито-нравоучительны. Король пишет одно, а на самом деле — все было совсем иначе («и он пишет нам, что мы пишем невѣдомостью, а он сам пишет невѣдомостью») [ПДС (10). Стлб. 218]. Он пишет, что не встает при произнесении титула царя — так вот, пишет ему в ответ Иван Грозный, нужно и вставать, и спрашивать о здоровье (это напоминание о неудачном посольстве Карпова, которое отказалось вести переговоры из-за неучтивости короля). Выпад тут же дополняется словами о том, что Стефан Баторий иронично называет в своем письме царя «святым чудотворцем» — и почему же тогда королю, не святому и не чудотворцу, можно так приветствовать государя? Для сравнения со своей персоной царь называет высших духовных и светских глав в мире («ни папы, ни цесаря, ни турецкого и никоторого господаря») [Там же Стлб. 212]. Этот этикетный вопрос также предложено обдумать самому А. Поссевино. Как ясно из рукописной традиции послания короля, он называл Ивана Васильевича только «чудотворцем», слово «святой» добавил царь уже в своем ответе.

Спор о том, кто более свят, — это оборотная сторона взаимных обвинений в богохульстве. Еще в письме от 29 июня царь упрекал Батория в нарушении крестного целования и возмущенно добавил, что такого не ведется издревле: «И в книгах своих во всих вели искати!»¹⁸ Король не остается в долгу: с издевкой он отзывается об обычае оппонента ссылаться на Псалтирь и, в целом, Святое Писание, призывает его вместо псалмов и «басен бахоров» читать еще и «правдивых летописцов»¹⁹. В ответных речах царь крушит ссылки Стефана Батория на Святое Писание, которые ему, царю, не указ, поскольку и сам Баторий, чтобы говорить подобное, не апостол и не ангел Господень²⁰.

Царь лаконично реагирует на обвинение в тирании: я фараон, но если ты называешь меня фараоном и требуешь дани, то не забывай, что египетские фараоны никому дани не платили. И в ответ за непомерные требования короля в «репарациях» (сумма дани названа у царя намеренно в четыре раза ниже, чем в письме короля, — 100 тыс. золотых) сравнивает его с «турецким», т. е. с османским султаном, которого царь считал патроном Стефана Батория, а в переписке с Максимилианом II за несколько лет до того предлагал изгнать, совместно со Священной Римской империей разгромив Турцию. Упреки царя были крайне неблагоприятны для планов Римской курии по созданию антитурецкой коалиции, в которой значимая роль отводилась бы Стефану Баторию. При этом польский король видел по-своему коалицию, обсуждая ее создание перед походом на Псков на фоне слухов о болезни императора Рудольфа II, позволявших Стефану Баторию поднять вопрос о возможном получении от Святого Престола венгерской короны в случае его смерти. В начале 1582 г., когда Поссевино отчаялся обратить Московию в католицизм, он продолжил борьбу за антитурецкую лигу и перенес акцент на решение взаимного территориального конфликта между Стефаном Баторием и Рудольфом II. Впрочем, потерпел неудачу и в этом [Boratyński 1903; Dopierała 2012].

¹⁸ РГАДА. Ф. 389. Оп. 1. № 591. Л. 517 об.

¹⁹ РГАДА. Ф. 389. Оп. 1. № 591. Л. 558.

²⁰ РГАДА. Ф. 389. Оп. 1. № 591. Л. 566–566 об.; [ПДС (10). Стлб. 221].

Обвинение Ивана Васильевича в тирании у короля действительно тесно связано с предписанием платить разовую дань, однако Стефан Баторий в своем письме возвращается к теме тирании, когда обсуждает принципы правления, себя считая при этом законно избранным по принципам, действующим в Речи Посполитой в традициях Римской республики. Московского тирана он сравнивает при этом с деспотами и признанными в европейской книжности тиранами в ответ на его уподобления самого Стефана Батория Сенахерибу, Амалику и Максенцию:

А будеш же ты нас, человек тых обычаев, прировнявал до Сенахерыбов, Амалехов, *Макъсенътиушов* (М: Максентыушов, буква е из и; П: Макселцыусов), — сам *Каиме* (П: Каине), *Фаларысе* (М: Фваларисе), Фараоне и (П: нет) Ироде, Антиоше! А заж будеш *лгати* (М: и лгати) Духом Светым, а Писмо Оного выворочываючи, нас ганъбил и проклинал, сам будучы волк драпежный, за овъцу ся показывал²¹.

Иван IV не отвечает на эти слова инвективами, поясняя только, что в послании от 29 июня упоминал Сенахериба и прочих потому, «что как тѣ хвалились, так им он хвалитца все рукою своею взять» [ПДС (10). Стлб. 228–229]. Тиранию царь выразительно сводит к самоуверенности и гордыни правителя, обходя стороной все те пороки, которые были закреплены в европейском мышлении за Каином, Фаларисом, Фараоном, Иродом и Антиохом.

«Тирания» правителя для московского государя — не предмет политической философии, а словесное оскорбление, поскольку мыслится не в рамках классификации политических типов, а в качестве допустимой для стороннего человека оценки чужого правления. Гораздо больше Ивана Грозного заботит то, что из его козырей у него пытаются вырвать образ постулируемого в Москве брата императора Октавиана Августа по имени Прус [Ерусалимский 2009] и древние договорные грамоты, древности которых польский король не признавал. Царь парировал последний аргумент тем, что договоры Великого Новгорода и Пскова с Ливонией пишутся «на урочные лѣта», «а болши вѣку челоуѣческаго никому грамоты писати нельзя, а на сто лѣт нигдѣ есмя тово не слыхали, чтоб перемирные грамоты писати, а по смерти кому мочно своя воля дѣлати» [ПДС (10). Стлб. 215]. Это очередной аргумент от «здорового смысла», призванный лишить сомнения польско-литовской стороны всяческих оснований. И это была не единственная отповедь Ивана Грозного Стефану Баторию по поводу датировки грамот. Царь потребовал от короля таким же образом, как тот требовал от российских властей, предъявить ему грамоты («привилье») Ливонии с давнишними королями польскими и великими князьями литовскими («Олгерду, Ягайлу и Витуту, и Казимеру, и старшему Жигимонту»): «и грамоты у короля якие естли на то, и он бы к нам с тѣх грамот писмо прислал» [Там же. Стлб. 214–216].

Сходным образом повел себя Стефан Баторий, когда перед Поссевино отстаивал права польских королей на Псков, ссылаясь на будто бы имеющиеся

²¹ РГАДА. Ф. 389. Оп. 1. № 591. Л. 574. Ср.: РГАДА. Ф. 389. Оп. 1. № 591. Л. 527 об.–528.

в его архиве грамоты, но так их и не показал²². В Москве парировали тем, что единственный законный правитель Пскова из литовских князей «Домонт» (Довмонт-Тимофей) был «случаем взят на Псков» и сам же позднее из Пскова «збежал». Более основательным Иван Грозный считал правление его преемника Александра Невского, а в своих речах, обращенных к римскому легату, царь вспоминал зависимость псковичей от крестившей их русской княгини Ольги. За Довмонтом была замужем племянница великого князя Александра княжна Мария: «Да от тех мест и по ся места николи Псковская земля прислушна к литовским к великим князем не бывала»²³. Господства великих князей литовских Гедиминовичей над предками московских государей в Москве не находили. На этом фоне родословный аргумент набирал силу для дискредитации венгерских предков Стефана Батория: в источнике, близком с Воскресенской летописью и сходном, по нашему предположению, с Лицевым летописным сводом, был обнаружен рассказ о разгроме войском Изяслава Мстиславича и венгерского короля Гейзы II войска Владимира (Володимирка) Галичского на р. Сан в 1152 г., во время которого угорский король применил к киевскому великому князю обращение *отче*. Иван Грозный счел это доказательством старшинства своих предков (к их числу он причислял Изяслава Мстиславича) над венгерскими (король Гейза был предшественником Стефана Батория как правителя Трансильвании) [Ерусалимский 2017].

В сложившихся к лету 1581 г. обстоятельствах ссылки на древности превращались в инструмент затягивания переговоров и статусного торга, в которых обе стороны нивелировали взаимные запросы, поскольку было понятно, что ни старшинства московских великих князей над Арпадами и Ягеллонами, ни прав Ягеллонов на Псков или Москву контрагент никогда дипломатическим путем не признает. Трата времени на эту торговлю при участии римского легата была на руку Москве, но вопрос решался на поле брани и не в пользу Стефана Батория, поскольку его войско увязло под Псковом, и несмотря на успехи его гетманов в разорении и ослаблении России, посредничество облегчало и для короля временный выход из конфликта. Уже после приезда Поссевино из Старицы под Псков (где он находился с 5 октября по 16 ноября 1581 г.) Стефан Баторий отказался от обсуждения долгосрочных планов на создание антитурецкой коалиции и со все большим недоверием относился к идеям об обращении Московии в католицизм. В лагере под Псковом эти планы Святого Престола вызывали только смех [Cieślak 2012: 73–110].

Успехи и провалы

Для Антонио Поссевино важно было рано или поздно перейти к обсуждению духовных материй, в которых он чувствовал возможность радикально решить конфликт сторон в случае их согласия на церковную унию или хотя бы на военный союз под патронатом Святого Престола. 14 февраля 1582 г. Поссевино приехал «к Москве», 16 февраля был принят у царя и приглашен на пир, на следующий день получил память «о Литовской войне», а еще день спустя

²² РГАДА. Ф. 78. Оп. 1. Кн. 1. Л. 231.

²³ РГАДА. Ф. 78. Оп. 1. Кн. 1. Л. 232 об.–233.

вновь принят у царя. Переговоры продлились до 11 марта, и 15 марта легат направился в Рим вместе с посольством Якова Молвянинова²⁴. От своих планов Поссевино не отказался даже после того, как Иван Грозный назвал Григория XIII волком (в сходном значении Стефан Баторий в своем послании назвал волком самого же Ивана Васильевича) и обвинил католиков в обожествлении римского папы (только перед тем царь парировал такое же обвинение в свой адрес со стороны польского короля) и бритье бороды (отец Ивана Грозного эпатировал придворных и духовенство выбритым подбородком, когда женился на Елене Глинской, а сам Иван IV в Лицевом своде до 1558 г., т. е. до возраста 27–28 лет, изображается безбородым). План обращения России сохранялся в силе и после Московских переговоров 1582 г., однако полемика между Стефаном Баторием и Иваном Грозным закончилась уже в сентябре 1581 г. Обе стороны потеряли интерес к продолжению препирательств, и миссия Поссевино достигла удачи уже в том, что стороны отказались навсегда от словесной дуэли. Это не гарантировало успех Святому Престолу в тех задачах, которые должны были решаться иными путями, но меморандум Поссевино — Вандевилля в их решении продолжал служить общим ориентиром.

Между тем в Варшаве и Москве восприняли миссию Святого Престола не только в миротворческом русле. Усилия, во многом развивающие достижения Ферраро-Флорентийского собора в направлении церковной унии, были не вполне уместны для обоих правителей. Этим и вызвана череда иронических, во многом унижительных оценок, которыми был встречен папский легат не только в Москве, но и в Варшаве. Ему не удалось нарушить религиозную гетеродоксию Речи Посполитой и упротить Ивана Грозного построить костел в Москве²⁵. Это не мешало легату на родине распространить слух (возможно, намеренно раздутый до комичной басни) о том, что за деньги, подаренные ему за посредничество в переговорах с королем, Поссевино выкупил пленных на условиях, что они будут копать в Москве фундамент для католического храма, и будто бы этот храм уже возведен²⁶.

²⁴ Отметим неточность в исследованиях Д. Квирини-Поплавской. Первый прием Поссевино у царя в Москве состоялся не 18 марта 1582 г., как полагает исследовательница, а еще 16 марта. И закончились переговоры не 15 марта, а 11 марта, поскольку именно в этот день состоялся «отпуск» легата, что и следует считать официальным завершением посольства (РГАДА. Ф. 78. Оп. 1. Кн. 1. Л. 314–315, 322–322 об., 333–337 об., 343 об.–344, 381 об.–391, 397 об.–398, 418–430 об., 468 об.–469; Ф. 32. Оп. 1. Кн. 4. Л. 135, публ.: [ПДС (10). Стлб. 258–259, 264–265, 273–276, 281, 310–317, 322–323, 339–351, 382; Поссевино 1983: 76–87]). Ср. [Quirini-Popławska 2012: 254–255] (впрочем, уже на с. 256 данного исследования автор точно указывает даты отпуска и выезда Поссевино из Москвы); при этом в итинерарии Поссевино в этом же издании и при участии той же исследовательницы приведена абсурдная дата «трех аудиенций у царя», последняя из которых будто бы состоялась 21 марта, когда Поссевино уже давно не было в Москве; ср. [Quirini-Popławska, Burkiewicz 2012: 591].

²⁵ О борьбе Поссевино наряду с его соратниками по ордену с «политической» политикой Н. Макиавелли и религиозной гетеродоксией в доктрине Ж. Бодена см.: [Höpf 2004: 84–111].

²⁶ Так, в письме Аннибале Капелло кардиналу Луиджи Эсте от 14 сентября 1582 г.: «Что едва мир между двумя государями был подписан, упомянутый Московит дал ему 60 тысяч скудо. Этот синьор сказал, что дарит деньги, чтобы тот употребил их по своему разумению. Хотя пленникам была дарована свобода, Поссевино тотчас велел им копать фундамент для будущей церкви, которая на эти деньги, должно быть, уже построена. Это тотчас вызвало в

Малые цели были все же достигнуты в значительном объеме, и они свидетельствуют о многоплановости миссии Святого Престола. Несмотря на грубость царя в адрес римского папы, между ним и легатом, по всей видимости, была достигнута устная договоренность о неупоминании оскорбительных слов в дальнейших переговорах, вряд ли выгодных для царя в его отношениях с Веной, Венецией и Римом. В Москве легату удалось выпросить у Ивана Грозного выдачу восьми из 22 итальянцев и испанцев, полтора года томившихся в вологодской тюрьме. Легат не терял надежды на освобождение остальных пленных; вместе с тем он приложил немало усилий, чтобы на обратном пути в Рим разрешить территориальные споры между Стефаном Баторием и Рудольфом II, втянуть Венецию в антитурецкую коалицию, оградить московских послов от контактов с православными греками в Европе и продвинуться в католическом обучении русинов, татар и москвитов в иезуитских коллегиях. При этом даже у идеи антитурецкой коалиции был косвенный «второй план». Григорий XIII надеялся на поддержку в Москве миссионеров, направлявшихся из католического мира в Азию.

Оценки миссии Поссевино обычно останавливаются на перспективе Святого Престола, которая намечена выше. Вместе с тем в исследованиях католической миссии малозаметны те последствия, которые наступили благодаря вмешательству римского легата в диалог польско-литовской знати (и прежде всего канцелярий Короны Польской и Великого княжества Литовского) с московским престолом (где знать, возможно, в переговорах не играла существенной роли, но могли влиять церковные главы и отношения царя с попавшим под его горячую руку царевичем Иваном Ивановичем). Впервые за много лет Москва перестала обмениваться оскорбительными письмами с Вильно. Царь отказался от своей излюбленной манеры ведения переговоров — от «кусательных» посланий, которые показывали противникам и всему миру его непримиримость и богоизбранность. Речь царя, адресованная Антонио Поссевино под видом ответа Стефану Баторию, была последним посольским посланием, где звучали взаимные упреки «от Адама». И это уже не было дипломатическое письмо в традиционном понимании. Оно не имело эпистолярного формуляра, было по содержанию и форме «речами», не было включено, по всей видимости, в официальное делопроизводство на российско-литовском направлении и вряд ли получило широкую огласку. Оно вошло только в «папскую» посольскую книгу, отразившую переговоры со Святым Престолом. По крайней мере, в нашем распоряжении недостаточно свидетельств распространения этих речей, сопоставимых с тем влиянием, которое оказали на официальную дипломатию некоторые официальные и полуофициальные письма царя предшествующих лет. Достаточно сравнить переписку лета 1581 г. с посланием царя Стефану Баторию от 1–13 февраля 1582 г., т. е. от тех дней, когда царь готовился к переговорам с Поссевино в Москве. Царь в этом письме декларировал свое полное нежелание продолжать переписку «укорительными и жестокими словами». Это решение Ивана Грозного встретило поддержку Стефана Батория, хотя ни московский, ни польский монархи не отказались от своих завоевательных планов.

тамошнем народе такой прилив набожности и умиления, что мужчины и женщины стремились принести все необходимое для постройки, что только могли» [Дубровский 2013: 40].

Источники

Архивные

- РГАДА. Ф. 32. Оп. 1. Кн. 4 — Российский государственный архив древних актов. Ф. 32 (Сношения России с Австрией и Германской империей). Оп. 1. Кн. 4.
- РГАДА. Ф. 78. Оп. 1. Кн. 1 — Российский государственный архив древних актов. Ф. 78 (Сношения России с римскими папами). Оп. 1. Кн. 1.
- РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Кн. 13 — Российский государственный архив древних актов. Ф. 79 (Сношения России с Польшей). Оп. 1. Кн. 13.
- РГАДА. Ф. 389. Оп. 1. № 591, 592 — Российский государственный архив древних актов. Ф. 389 (Литовская Метрика). Оп. 1. Кн. 591, 592.
- AGAD. AR. Dz. V. Sygn. 75 — Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Archiwum Radziwiłłów. Dział V. Sygnatura 75.
- ARSI. Polonia. ONN. № 329 I — Archivum Romanum Societatis Iesu. Polonia. Opera Nostro- rum. № 329 I.
- BN. № 6604 — Biblioteka Narodowa (Warszawa). Rękopisy. Sygnatura 6604.
- GStA-PK. HBA 719 E5 — Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz. Berlin. HA. XX. HA Historisches Staatsarchiv Königsberg. HBA. Kasten 719 E5.

Опубликованные

- ВХКИБМ — Вотчинные хозяйственные книги XVI в. Приходные и расходные книги Ио- сифо-Волоколамского монастыря 70–80-х гг. / Под ред. А. Г. Манькова. Вып. 1. М.; Л.: Ин-т истории СССР, 1980.
- ДПП — Дневник последнего похода Стефана Батория на Россию (осада Пскова) и ди- пломатическая переписка того времени, относящаяся главным образом к заключению Запольского мира (1581–1582 г.) / Изд. М. О. Коялович. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1867.
- Кампана 2018 — *Кампана Дж. П.* Донесение о путешествии в Московию / Подгот. текста И. В. Дубровского, В. В. Рыбакова; Пер. В. В. Рыбакова; Предисл. И. В. Дубровского // Русский Сборник: Исследования по истории России. Т. 24 / Ред.-сост. О. Р. Айрапетов и др. М.: Модест Колеров, 2018. С. 99–389.
- ПДС — Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностран- ными. Т. 1. СПб.: Второе Отд-е Собств. Е. И. В. Канцелярии, 1851; Т. 2. СПб.: Второе Отд-е Собств. Е. И. В. Канцелярии, 1871.
- Поссевино 1983 — *Поссевино А.* Исторические сочинения о России XVI в. («Московия», «Ливония» и др.) / Пер., вступ. ст. и коммент. Л. Н. Годовиковой; Отв. ред. В. Л. Янин. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983.
- РК 1605 — Разрядная книга 1475–1605 гг. / Сост. Н. Г. Савич, Л. Ф. Кузьмина; Под ред. и с предисл. В. И. Буганова, Н. М. Рогожина. Т. 3. Ч. 1. М.: Ин-т истории АН СССР; На- ука, 1984.
- HRM — *Historica Russiae Monumenta / Ex antiquis exterarum gentium archivis et bibliothecis depromta*, ab A. J. Turgenevio. T. 1. Petropoli: Typis Eduardi Pratz, 1841.

Литература

- Бачинский и др. 2019 — *Бачинский А. А., Ерусалимский К. Ю., Козляков В. Н., Шварц И.* Проект раздела Речи Посполитой между Россией и Священной Римской Империей: Краковский столбец начала 1576 года // *Studia Slavica et Balcanica Petropolitana*. 2019. № 2 (26). С. 134–166. <https://doi.org/10.21638/11701/spbu19.2019.209>.

- Дубровский 2013 — *Дубровский И. В.* Новые документы по истории отношений России и Италии при Иване Грозном // *Русский Сборник: Исследования по истории России.* Т. 14 / Ред.-сост. О. Р. Айрапетов и др. М.: Модест Колеров, 2013. С. 7–72.
- Ерусалимский 2009 — *Ерусалимский К. Ю.* Прус и «Прусский вопрос» в дипломатических отношениях России и Речи Посполитой 1560-х — начала 1580-х гг. // *Хорошие дни: Памяти Александра Степановича Хорошева* / Сост. А. Е. Мусин. Великий Новгород и др.: ЛеопАрт, 2009. С. 276–293.
- Ерусалимский 2017 — *Ерусалимский К. Ю.* Лицевой летописный свод в дипломатии Ивана Грозного // *Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского.* 2017. № 6. С. 14–22.
- Мельник 2018 — *Мельник А. Г.* Богомолья царя Ивана Грозного // *Сообщения Ростовского музея.* Вып. 23 / Под общ. ред. А. Г. Мельника, С. В. Сазонова. Ростов: Гос. музей-заповедник «Ростовский Кремль», 2018. С. 61–79.
- Новодворский 1904 — *Новодворский В.* Борьба за Ливонию между Москвою и Речью Посполитою (1570–1582): Историко-критическое исследование. СПб.: Тип. И. Н. Скороходова, 1904.
- Флоря 1978 — *Флоря Б. Н.* Русско-польские отношения и политическое развитие Восточной Европы во второй половине XVI — начале XVII в. М.: Наука, 1978.
- Boratyński 1903 — *Boratyński L.* Stefan Batory i plan ligi przeciwko Turkom 1576–1584. Kraków: UJ, 1903.
- Burkiewicz 2012 — *Burkiewicz Ł.* Sylwetka o. Antonia Possevina SJ (1533–1611) // *Antonio Possevino SJ (1533–1611): Życie i dzieło na tle epoki* / Pod red. D. Quirini-Popławskiej. Kraków: WAM, 2012. S. 154–183.
- Cieślak 2012 — *Cieślak S., S. J.* Stosunki wyznaniowe w Rzeczypospolitej oraz życie religijne króla Stefana Batorego // *Antonio Possevino SJ (1533–1611): Życie i dzieło na tle epoki* / pod red. D. Quirini-Popławskiej. Kraków: WAM, 2012. S. 73–110.
- Donnelly 1988 — *Donnelly J. P., S. J.* Antonio Possevino's plan for world Evangelization // *The Catholic Historical Review.* Vol. 74. No. 2. 1988. P. 179–198.
- Dopierała 2012 — *Dopierała K.* Problem zagrożenia tureckiego w czasie wojny polsko-moskiewskiej w latach 1579–1582 // *Antonio Possevino SJ (1533–1611): Życie i dzieło na tle epoki* / Pod red. D. Quirini-Popławskiej. Kraków: WAM, 2012. S. 49–72.
- Höpfl 2004 — *Höpfl H.* Jesuit political thought: The Society of Jesus and the state, c. 1540–1640. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2004.
- Kąkolewski 2007 — *Kąkolewski I.* Melancholia władzy. Problem tyranii w europejskiej kulturze politycznej XVI stulecia. Warszawa: Neriton, 2007.
- Lulewicz 2002 — *Lulewicz H.* Gniewów o unię ciąg dalszy. Stosunki polsko-litewskie w latach 1569–1588. Warszawa: Neriton, 2002.
- Mund 2004 — *Mund S.* La mission diplomatique du père Antonio Possevino (S. J.) chez Ivan le Terrible en 1581–1582 et les premiers écrits jésuites sur la Russie moscovite à la fin du XVIe siècle // *Cahiers du Monde russe.* Vol. 45. No. 3/4. 2004. P. 407–439.
- Polčín 1957 — *Polčín S., S. J.* Une tentative d'Union au XVIe siècle: la mission religieuse du Père Antoine Possevin, S. J. en Moscovie (1581–1582). Rome: Pont. Inst. Orient. Stud., 1957.
- Quirini-Popławska 2012 — *Quirini-Popławska D.* O. Antonio Possevino w podróży w latach 1581–1583; pomiędzy Italią, Polską a Moskwą // *Antonio Possevino SJ (1533–1611): Życie i dzieło na tle epoki* / Pod red. D. Quirini-Popławskiej. Kraków: WAM, 2012. S. 237–268.
- Quirini-Popławska, Burkiewicz 2012 — *Quirini-Popławska D., Burkiewicz Ł.* Itinerarium ojca Antonia Possevina SJ (1533–1611) // *Antonio Possevino SJ (1533–1611): Życie i dzieło na tle epoki* / Pod red. D. Quirini-Popławskiej. Kraków: WAM, 2012. S. 584–596.

Sach 2020 — Sach M. “Griechischen” Glaubens und “Erbe von Byzanz”? Fehleinschätzungen, kulturelle Missverständnisse und konfligierende Konzepte über das Selbstverständnis in den Gesprächen zwischen Zar Ivan IV. und dem päpstlichen Legaten Antonio Possevino im Jahre 1582 // Byzanz und seine europäischen Nachbarn: Politische Interdependenzen und kulturelle Missverständnisse / Hrsg. von L. Körntgen et al. Heidelberg: Propylaeum, 2020. (Byzanz zwischen Orient und Okzident; Bd. 17). S. 151–178.

References

- Bachinskii, A. A., Erusalimskii, K. Yu., Kozliakov, V. N., & Shvarts [= Schwarcz], I. (2019). Projekt razdela Rechi Pospolitoi mezhdru Rossiei i Sviashchennoi Rimskoi Imperiei: Krakovskii stolbets nachala 1576 goda [The Project of the partition of the Polish-Lithuanian Commonwealth between Russia and the Holy Roman Empire: The Cracow roll-message from 1576]. *Studia Slavica et Balcanica Petropolitana*, 2019(2, no. 26), 134–166. (In Russian).
- Boratyński, L. (1903). *Stefan Batory i plan ligi przeciwko Turkom 1576–1584*. UJ. (In Polish).
- Burkiewicz, Ł. (2012). Sylwetka o. Antonia Possevina SJ (1533–1611). In D. Quirini-Popławska (Ed.). *Antonio Possevino SJ (1533–1611): Życie i dzieło na tle epoki* (pp. 154–183). WAM. (In Polish).
- Cieślak S., S. J. (2012). Stosunki wyznaniowe w Rzeczypospolitej oraz życie religijne króla Stefana Batorego. In D. Quirini-Popławska (Ed.). *Antonio Possevino SJ (1533–1611): Życie i dzieło na tle epoki* (pp. 73–110). WAM. (In Polish).
- Donnelly J. P., S. J. (1988). Antonio Possevino’s plan for world Evangelization. *The Catholic Historical Review*, 74(2), 179–198.
- Dopierała, K. (2012) Problem zagrożenia tureckiego w czasie wojny polsko-moskiewskiej w latach 1579–1582. In D. Quirini-Popławska (Ed.). *Antonio Possevino SJ (1533–1611): Życie i dzieło na tle epoki* (pp. 49–72). WAM. (In Polish).
- Dubrovskii, I. V. (2013). Novye dokumenty po istorii otnoshenii Rossii i Italii pri Ivane Groznom [New documents on the history of Italy — Russia relations during the reign of Ivan the Terrible]. In O. R. Airapetov et al. (Eds.). *Russkii Sbornik: Issledovaniia po istorii Rossii* (Vol. 14, pp. 7–72). Modest Kolerov. (In Russian).
- Erusalimskii, K. Yu. (2009). Prus i “Prusskii vopros” v diplomaticheskikh otnosheniiakh Rossii i Rechi Pospolitoi 1560-kh — nachala 1580-kh gg. [Prus and the “Prussian question” in diplomatic relations between Russia and the Polish-Lithuanian Commonwealth, 1560s — early 1580s]. In A. E. Musin (Ed.). *Khoroshie dni: Pamiati Aleksandra Stepanovicha Khorosheva* (pp. 276–293). LeopArt. (In Russian).
- Erusalimskii, K. Yu. (2017). Litsevoi letopisnyi svod v diplomatii Ivana Groznogo [The Great Illustrated Chronicle and diplomacy of Ivan the Terrible]. *Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobachevskogo*, 2017(6), 14–22. (In Russian).
- Floria, B. N. (1978). *Russko-pol’skie otnosheniia i politicheskoe razvitie Vostochnoi Evropy vo vtoroi polovine XVI — nachale XVII v.* [Russian-Polish relations and the political development of Eastern Europe in the second half of the 16th — early 17th centuries]. Nauka. (In Russian).
- Höpfl, H. (2004). *Jesuit political thought: The Society of Jesus and the state, c. 1540–1640*. Cambridge Univ. Press.
- Kąkolewski, I. (2007). *Melancholia władzy. Problem tyranii w europejskiej kulturze politycznej XVI stulecia*. Neriton. (In Polish).
- Lulewicz, H. (2002). *Gniewów o unię ciąg dalszy. Stosunki polsko-litewskie w latach 1569–1588*. Neriton. (In Polish).
- Mel’nik, A. G. (2018). Bogomol’ia tsaria Ivana Groznogo [Tsar Ivan the Terrible’s pilgrimages]. In A. G. Melnik, & S. V. Sazonov (Eds.). *Soobshcheniia Rostovskogo muzeia* (Vol. 23, pp. 61–79). Gosudarstvennyi muzei-zapovednik “Rostovskii Kreml’”. (In Russian).

- Mund, S. (2004). La mission diplomatique du père Antonio Possevino (S. J.) chez Ivan le Terrible en 1581–1582 et les premiers écrits jésuites sur la Russie moscovite à la fin du XVI^e siècle. *Cahiers du Monde russe*, 45(3/4), 407–439. (In French).
- Novodvorskii, V. (1904). *Bor'ba za Livoniu mezhdu Moskvoiu i Rech'iu Pospolitoiu (1570–1582): Istoriko-kriticheskoe issledovanie* [Struggle for Livonia between Moscow and the Polish-Lithuanian Commonwealth, 1570–1582: A historical critical study]. Tipografia I. N. Skorokhodova. (In Russian).
- Polčin S., S. J. (1957). *Une tentative d'Union au XVI^e siècle: la mission religieuse du Père Antoine Possevin, S. J. en Moscovie (1581–1582)*. Pont. Inst. Orient. Stud. (In French).
- Quirini-Popławska, D. (2012). O. Antonio Possevino w podróży w latach 1581–1583; pomiędzy Italią, Polską a Moskwą. In D. Quirini-Popławska (Ed.). *Antonio Possevino SJ (1533–1611): Życie i dzieło na tle epoki* (pp. 237–268). WAM. (In Polish).
- Quirini-Popławska, D., & Burkiewicz, Ł. (2012). Itinerarium ojca Antonia Possevina SJ (1533–1611). In D. Quirini-Popławska (Ed.). *Antonio Possevino SJ (1533–1611): Życie i dzieło na tle epoki* (pp. 584–596). WAM. (In Polish).
- Sach, M. (2020) “Griechischen” Glaubens und “Erbe von Byzanz”? Fehleinschätzungen, kulturelle Missverständnisse und konfligierende Konzepte über das Selbstverständnis in den Gesprächen zwischen Zar Ivan IV. und dem päpstlichen Legaten Antonio Possevino im Jahre 1582. In L. Körntgen et al. (Eds.). *Byzanz und seine europäischen Nachbarn: Politische Interdependenzen und kulturelle Missverständnisse* (pp. 151–178). Propilaeum. (In German).

* * *

Информация об авторе

Константин Юрьевич Ерусалимский

доктор исторических наук
профессор, центр «Res Publica»,
Европейский университет в Санкт-Петербурге
Россия, 191187, Санкт-Петербург,
Шпалерная ул., д. 1
Тел.: +7 (812) 383-53-17
научный сотрудник, Санкт-Петербургский
институт истории РАН
Россия, 197110, Санкт-Петербург,
Петрозаводская ул., д. 7
Тел.: +7 (812) 235-41-98
✉ keralimski@mail.ru

Information about the author

Konstantin Yu. Erusalimskii

Dr. Sci. (History)
Professor, Center “Res Publica”, European
University at Saint Petersburg
Russia, 191187, Saint Petersburg,
Shpalernaya Str., 1
Tel.: +7 (812) 383-53-17
Researcher, Saint Petersburg Institute
of History of Russian Academy of Sciences
Russia, 197110, Saint Petersburg,
Petrozavodskaya Str., 7
Tel.: +7 (812) 235-41-98
✉ keralimski@mail.ru

А. Ю. Серегина

ORCID: 0000-0002-9630-5903

✉ aseregina@mail.ru

*Институт всеобщей истории РАН
(Россия, Москва)*

«САМООБЛАДАНИЕ» И «НЕУДЕРЖИМАЯ ЯРОСТЬ»: СПОРЫ О ВЕРЕ В АНГЛИЙСКОМ КАТОЛИЧЕСКОМ СООБЩЕСТВЕ XVII в.

Аннотация. Европейская культура раннего Нового времени была наполнена различными формами публичной полемики, включавшими университетские диспуты, литературные диалоги, печатную полемику и др. Реформация и последовавшие за ней конфессиональные конфликты добавили к этому и диспуты по религиозным вопросам, также принимавшие разные формы. Религиозные диспуты тесно увязывались с обращением в «истинную веру» и могли быть адресованы как национальной аудитории, так и относительно небольшой группе слушателей. Каким образом эти «частные диспуты» воспринимались и описывались теми, в чьем присутствии они происходили? Аудитория полемистов XVI и XVII вв. была хорошо знакома с аргументами обеих сторон. Что же могло считаться победой в ситуации, когда практически каждый шаг диспутантов был предсказуем? В статье анализируется описание «спора о вере», состоявшегося в 1634 г. в доме Элизабет Кэри, виконтессы Фолкленд между англиканским богословом Уильямом Чиллингвортом и иезуитом Томасом Холландом. Диспут проводился для убеждения дочерей леди Фолкленд, новообращенных католичек и будущих монахинь Энн, Люси, Элизабет и Мэри Кэри, которые переживали религиозный кризис. Описание дебатов сохранилось в написанной дочерьми леди Фолкленд биографии матери. Показано, что рассказ о диспуте в тексте тесно увязан с историей перехода матери и дочерей в католичество, представленной как «интеллектуальное обращение» при посредстве рациональных аргументов. Однако в описании основной акцент сделан не на аргументации, а на поведении диспутантов и их эмоциях, что отражает представления полемистов XVII в. о роли эмоций в процессе религиозного обращения и познания истины.

Ключевые слова: полемическая культура, религиозная полемика, публичные дебаты, английские католики, Реформация, Контрреформация, Англия раннего Нового времени, обращение в «истинную веру», Элизабет Кэри, женская (авто)биография

Для цитирования: Серегина А. Ю. «Самообладание» и «неудержимая ярость»: споры о вере в английском католическом сообществе XVII в. // Шаги/Steps. Т. 9. № 4. 2023. С. 50–69. <https://doi.org/10.22394/2412-9410-2023-9-4-50-69>.

Статья поступила в редакцию 5 мая 2023 г.

Принято к печати 30 мая 2023 г.

Shagi / Steps. Vol. 9. No. 4. 2023

Articles

A. Yu. Seregina

ORCID: 0000-0002-9630-5903

✉ aseregina@mail.ru

Institute of World History,

Russian Academy of Sciences (Russia, Moscow)

“COMPOSURE” AND “WILD FURY”: RELIGIOUS DEBATES IN THE 17TH-CENTURY ENGLISH CATHOLIC COMMUNITY

Abstract. Early Modern European culture abounded in various forms of public controversies. These included university debates, literary dialogues, printed polemical works, etc. The Reformation and the resulting confessional conflicts added numerous religious disputations. Religious disputations were closely linked to conversions to the ‘true faith’ and could be addressed to either national audiences or to relatively small groups. How were these ‘private disputations’ perceived and described by those who witnessed such events? In the 16th–17th centuries the European audience was well versed in the arguments of both Catholic and Protestant theologians. What, then, could be considered a victory when almost every argument of the disputants was predictable? The article presents an analysis of a disputation narrative — the story of the debates between an Anglican divine, William Chillingworth, and a Jesuit, Thomas Holland, which were held in 1634 at the house of Elizabeth Cary, Viscountess Falkland. The disputation was organized to help persuade the daughters of Lady Falkland, newly converted Catholics and future nuns Anne, Lucy, Elizabeth and Mary Cary, who experienced a religious crisis. The disputation narrative was part of the biography of Lady Falkland written by her daughters. The story was closely connected to the narrative of the conversion of the mother and the daughters to Catholicism. The process was presented as an “intellectual conversion” through rational arguments. However, the story of the disputation focuses not on the arguments but on the behavior of all the par-

ticipants, and on their emotions. This is a reflection of the views of the 17th-century polemicists regarding the role of emotions and passions in the process of religious conversion and the search for truth.

Keywords: polemical culture, religious controversy, public debates, English Catholics, Reformation, Counter-Reformation, Early Modern England, conversion to the “true faith”, Elizabeth Cary, women’s (auto)biography

To cite this article: Seregina, A. Yu. (2023). “Composure” and “wild fury”: Religious debates in the 17th-century English Catholic community. *Shagi / Steps*, 9(4), 50–69. (In Russian). <https://doi.org/10.22394/2412-9410-2023-9-4-50-69>.

Received May 5, 2023

Accepted May 30, 2023

Европейской культуре раннего Нового времени были известны различные формы публичной полемики. К их числу принадлежали университетские диспуты, судебные заседания, литературные диалоги, полемика в печати и др. Английская культура в этом отношении не была исключением. Она изобиловала диспутами и дебатами различных форм и видов, охватывавших все слои общества, от монарха/монархини и его/ее приближенных до рядовых прихожан обоих полов. Один из главных политических принципов времени опирался на представление о мудром правителе, который прислушивается к совету, причем женщины-правительницы по слабости своего пола наиболее нуждались в наставлениях в делах управления страной и в особенности в делах религии. Соответственно, правитель вне зависимости от пола должен был выслушивать разные советы и споры советников, которые, в свою очередь, должны были уметь отстаивать свою точку зрения [Collinson 1987; McDiarmid 2007]. Это же касалось всех уровней управления: парламента (совета королевства), многочисленных комиссий в графствах, городских советов и т. п. Заседавшие в них дворяне зачастую получали университетское образование (особенно начиная со второй половины XVI в.), где и знакомились с дебатами [Loach 1986; Tyaske 1997]. Кроме того, дебаты активно использовались в обучении и в судебных иннах — правовых школах. Там часто разыгрывались судебные дела, а студентам полагалось выступать в роли обвинителей и адвокатов [Prest 1972: 180–197].

Реформация и последовавшие за ней конфессиональные конфликты добавили к этому и диспуты по религиозным вопросам, также принимавшие разные обличья. Вряд ли будет преувеличением сказать, что диспуты стали важной составной частью того процесса изменения религиозной культуры и практик, которые современники именовали реформацией религии. Диспут воспринимался одновременно как способ и определения границ конфессионального сообщества, и их расширения: ведь религиозные дебаты были для их участников и аудитории средством установления истины. Христиан призывали выбирать веру, следуя доводам разума — наименее поврежденной грехопа-

дением части человеческой природы, — а дебаты должны были решить, какие доводы наиболее убедительны и, следовательно, какая вера истинна.

В XVI столетии религиозные дебаты привлекали большое внимание разнообразных аудиторий и были тесно связаны с распространением протестантских идей. Протестантская Реформация и началась с призыва к диспуту: ее точкой отсчета стали 95 тезисов Лютера, т. е. полемический вызов. В первые годы Реформации за событиями в Виттенберге последовали диспуты Лютера и его сторонников с католиками в Гейдельберге (1518) и Лейпциге (1519), дебаты католиков и протестантов на Регенсбургском рейхстаге (1541), коллоквиум в Пуасси между французскими католиками и гугенотами (1561). Все эти диспуты привлекли внимание всей Европы. Помимо них, в других странах устраивалось множество других публичных дебатов, диспутов и конференций национального и локального уровней. Таким образом, диспут о вере по сути является метафорой Реформации.

В Англии, как в других странах, диспуты были тесно связаны с распространением протестантской Реформации. Отправным пунктом стали Вестминстерские дебаты католических и протестантских богословов (1559). Устраивая их, правительство королевы Елизаветы объявляло подданным, что официальным вероисповеданием страны станет учение, признанное истинным не по капризу слабой женщины — королевы, а на основании доводов богословов. Победа в диспуте была предсказуемо¹ присуждена протестантам, и это решение стало основанием для подготовки елизаветинских религиозных установлений (1559). За ним последовала серия «тюремных» дебатов между протестантами и католиками, в которых последние были арестантами, а их участие в дебатах — не вполне добровольным: дебаты в замке Уисбеч между бывшим епископом Томасом Уотсоном, последним аббатом Вестминстерским Джоном Фекенхэмом и протестантским богословом Уильямом Фалком (1580), диспут между арестованным иезуитом Эдмундом Кэмпбином, Уильямом Фалком и другими протестантами в Тауэре (1581), а также дебаты между иезуитом Джоном Хартом и пуританином Джоном Рейнолдсом (1582). Вскоре начались и диспуты среди протестантов — между пуританами и сторонниками епископального устройства Церкви Англии: Ламбетская конференция (1584). Эти тенденции получили продолжение в правление Якова I и Карла I. Оба царствования открывались большими публичными дебатами, в которых участвовали разные группы английских протестантов: конференция в Хэмптон-кorte между пуританами и сторонниками епископальной Церкви (1604) и конференция в Йорк-хаусе между кальвинистами и арминиянами (1626). Кроме того, устраивались и дебаты между протестантами и католиками. Полемист-протестант Дэниэл Фитли, капеллан архиепископа Кентерберийского, участвовал в дебатах против католического священника Ричарда Смита (1612), затем, вместе с

¹ В ходе дебатов участники — католики, епископы Томас Уотсон и Джон Уайт, были арестованы и отправлены в Тауэр, остальных оштрафовал Тайный Совет. Модератор дискуссии, протестант сэр Николас Бекон, лорд-хранитель королевской печати, не был беспристрастным; его манипуляция дебатами была нацелена на то, чтобы поставить католиков в невыгодное положение обороняющихся [Ayris 2018: 23–33; Rodda 2014: 74–75].

будущим архиепископом Кентерберийским Уильямом Лодом, — в серии дебатов против иезуита Джона Фишера (1621–1625) и Томаса Эверарда (1626)².

Здесь перечислены только самые известные и вызвавшие большой резонанс в Англии XVI–XVII вв. публичные диспуты. Помимо них, устраивались и десятки других религиозных дебатов различной степени формальности, в университетах, на заседаниях церковных судов и в частных домах. Публичные дебаты наряду с полемическими текстами были составными частями полемической культуры раннего Нового времени.

Клирики (практически все английское духовенство к началу XVII в.) получали университетское образование и знакомились с диспутами в их университетской, академической форме. К диспутам привыкли и католические священники, во второй половине XVI в. постепенно вытесненные из английских университетов: первое поколение эмигрантов 1560–1570-х годов еще училось в Оксфорде, а позднее миссионеры получали образование в семинариях, где диспут также был основной формой обучения [Loach 1986: 382–386].

Диспуты и диалоги во множестве присутствуют в литературе раннего Нового времени, в текстах самых разных жанров, и в том числе в полемических трудах. Многие из памфлетов, посвященных религиозным или политическим сюжетам, написаны в формате диалога, имитируют диспут или «конференцию» [Puterbaugh 2000; Серегина 2013: 39]. И даже неграмотные англичане к концу столетия познакомились с катехизисами, которые также составлялись в форме диалога [Green 1996: 8]. Таким образом, все англичане были так или иначе причастны к диалогической культуре, а хорошо образованные мужчины и женщины вполне могли оценить тонкости диалога, качество аргументов и их подачи. Порой они оказывались не только слушателями: представителей религиозных меньшинств могли принудить обосновывать свой выбор веры в диспуте с пастором, причем это требование касалось и мужчин, и женщин. Для мирян, в особенности женщин, готовили пособия по полемическому богословию, как печатные, разных уровней сложности [Серегина 2010а: 41], так и рукописные, существовавшие в разных формах — например, катехизис с расширенным разделом по полемическому богословию³ или энциклопедия с подборкой цитат по основным спорным догматическим вопросам⁴.

Целью религиозных дебатов, как и любых форм религиозной полемики, было обозначение конфессиональных границ и позиций, а также попытка обращения в «истинную веру», хотя организаторы рисковали тем, что слушатели сочтут аргументы другой стороны более убедительными — или таким образом объяснят свое обращение позднее. Публичные дебаты должны были указать слушателям на истину (как ее представляла себе та или иная сторона), убедить их.

² Английские религиозные диспуты второй половины XVI — начала XVII в. детально проанализированы в монографии Джошуа Родды [Rodda 2014: 69–192].

³ Такой катехизис составил в 1595 г. для своей дочери Мэри Энтони Мария Браун, 2-й виконт Монтегю (1573–1629) [Серегина 2010b].

⁴ Двухтомная «энциклопедия» — справочник, позволявший быстро подбирать цитаты из Священного Писания, постановлений церковных соборов и сочинений авторитетных богословов, — была подготовлена английским дворянином-католиком Томасом Трешэмом в качестве свадебного дара дочери Мэри (в замужестве Брэдэнелл) [Серегина 2012; McKeogh 2021].

Форма религиозных диспутов была заимствована у университетских дебатов. Их главным героем был отвечающий (*respondent*). Его задачей было защищать некую позицию (утверждение), которую либо выбирал он сам, либо ему предписывали (как это часто происходило на организованных правительством и церковными властями диспутах). Он же и открывал дебаты речью, в которой обозначал свою позицию. Его оппонент или оппоненты (их могло быть несколько, особенно в случае тюремных дебатов) оспаривали его позицию. В идеале они должны были заставить отвечающего согласиться с позицией, противоположной той, с которой он изначально выступал. Модератор затем суммировал сказанное и подводил итог, объявляя победителя. Обычно эту роль играл клирик или даже король: например, в начале XVII в. на официальных дебатах в Хэмптон-кorte модератором был сам Яков I. Однако в роли модератора мог выступать кто-то из публики, особенно если речь шла о неформальных дебатах, или же такого человека не было вовсе. В последнем случае дебаты открывал их организатор (мужчина или женщина), а судить «поединок» могли все присутствующие [Rodda 2014: 38–42].

В целом, ход дебатов направляли оппоненты: именно они выбирали доводы, при помощи которых атаковали заявленное к дебатам положение, а респондент защищался. Не случайно арестованные католики оказывались именно в этой позиции. Выдвигаемое положение — его выбор обычно определялся политическим и полемическим контекстом — также сильно влияло на ход дебатов, поэтому на согласование его формулировки порой уходило больше времени, нежели на сами дебаты. А отклониться от вынесенного на обсуждение положения значило нарушить правила и практически равнялось проигрышу.

Основным способом ведения дебатов было построение силлогизмов, чтобы при их посредстве заставить противника постепенно, шаг за шагом, отступить от заявленной позиции. Плохо составленный силлогизм грозил обернуться уничижительной критикой оппонента и даже слушателей. Кроме того, использовались подборки доводов (цитат из Писания, отцов Церкви, Аристотеля, правовых кейсов и исторических примеров), позволялось спорить о переводах и обвинять оппонента в незнании языков и т. п. Можно было предвосхитить доводы оппонента, поставить под вопрос его знания, или сформулировать новый вызов внутри дебатов — «Что скажете?» (*What say you to?*), обратиться к аудитории за поддержкой, подчеркивая те или иные доводы, — «Заметьте» (*Note*).

Аудитория, состоявшая из слушателей, знакомых с дебатами, была вполне в состоянии оценить качество и форму поединка, красоту силлогизма, достоинство переводов и др. [Rodda 2014: 51–60]⁵. Однако степень отображения диспута — избранной аргументации и самого действия — в значительной мере зависела от целей составителей описания и жанра текста, в котором это описание находилось.

⁵ Ранее было принято считать, что лишь получившие университетское образование клирики использовали в своих дискуссиях логические построения, причем в тех случаях, когда аудитория тоже состояла из университетских выпускников [Donagan 1991: 318]. Однако уже Майкл Кестье убедительно показал, что участники дебатов считали уместным обращать силлогизмы к мирянам, в том числе женщинам, причем это касалось как публичных дебатов, так и печатной полемики. Сторонником использования логики был, в частности, иезуит Джон Перси (Фишер), диспуты с участием которого посещала героиня данной статьи виконтесса Фолкленд [Questier 1996: 16].

В отличие от печатной полемики, религиозные дебаты оказались обойденными вниманием исследователей [Milward 1977; 1978]. Существует совсем немного работ, в которых рассматривается эта тема в целом [Novikoff 2013; Robinson 2020], хотя отдельным дебатам посвящено множество трудов. Такая же ситуация сложилась и в области исследований истории дебатов и полемики в Англии XVI–XVII вв. Основное внимание уделялось печатной полемике с пуританами [Curtis 1961; Shriver 1982; Collinson 1983; Lake 1988; Donagan 1991; Milton 1995; Hunt 1998; Cromartie 2006], а интерес к диспутам между католиками и протестантами проявился позднее, на рубеже XX–XXI вв. Так, историк английских иезуитов Томас Мак-Кут посвятил статью знаменитым дебатам 1581 г., в которых участвовали богословы-протестанты и арестованный иезуит Эдмунд Кэмпбелл [McCoog 1996]. Питер Лейк и Майкл Кестье анализировали дебаты католиков-мирян, которых принуждали защищать свою веру (отстаивать ее истинность) [Lake 1989; Lake, Questier 1997; Questier 1996: 151–152]. При этом в их трудах рассматривались доводы обеих сторон, но не дебаты как социальная и отчасти религиозная практика. Детали аргументации полемистов, а также политический контекст дебатов 1620-х годов изучались в статьях Тимоти Уодкинса о дебатах и обращениях в католичество родственников и домочадцев королевского фаворита герцога Бекингема [Wadkins 1988a; 1988b]. Джошуа Родда в недавней работе проанализировал именно практику, т. е. то, как были устроены дебаты в Англии XVI — начала XVII в., как они организовывались и велись и т. п. [Rodda 2014]. Это исследование сфокусировано на публичных дебатах, которые устраивались либо правительством, либо придворными и имели большой политический резонанс.

В этой статье пойдет речь о менее формализованных и, вероятно, более распространенных дебатах — а именно тех, которые устраивались в домах частных лиц по инициативе светских патронов, в случаях, когда кто-либо в аудитории испытывал сомнения религиозного свойства. Сомнения возникали в процессе религиозного обращения: речь идет о ситуациях, когда кто-либо из мирян высокого звания, т. е. дворян, был готов к обращению в католичество (или наоборот), но не принял еще окончательного решения [Questier 1996: 75]. Такие ситуации возникали при обращении не только мужчин, но и женщин. Наиболее известным случаем было обращение в католичество матери герцога Бекингема (дебаты между Дэниэлом Фитли и иезуитом Фишером в начале 1620-х годов [Wadkins 1988b]), но в большинстве случаев религиозные диспуты, организация которых была связана с обращением в католичество/протестантизм одной или нескольких женщин, редко отображались в сохранившихся текстах. Однако это обстоятельство вряд ли объясняется редкостью событий такого рода: обращения в «истинную веру» — результат поиска христианином/христианкой пути к Богу — были не исключением, а нормой религиозной жизни раннего Нового времени [Mazur, Shinn 2013]. Скорее дело в особенностях источников, с которыми приходится иметь дело историку.

Основными источниками в изучении практик религиозных дебатов служат отчеты о них, принимавшие различные формы. Лучше всего известны отчеты о дебатах, составленные либо одним из диспутантов, который тем самым заявлял о победе в диспуте, либо кем-то из присутствовавших, возможно «нотарием», которому поручали вести записи. Такие отчеты циркулировали

в рукописях, а в случае политически важных дебатов публиковались [Rodda 2014: 60–64].

Помимо «официальных» отчетов, опубликованных и рукописных, существовали и другие — например, изложенные в письмах зрителей. В особо важных случаях составляли много таких неформальных отчетов, написанных не по просьбе участников, а по собственной инициативе слушателя/слушательницы [Rodda 2014: 65–66]. Кроме того, сохранились и воспоминания о важных для авторов дебатах — в дневниках, мемуарах и т. п. Их гораздо сложнее искать и выявлять; исследователи наталкиваются на них случайно. Вероятно, именно поэтому практически неизученными оказываются диспуты, которые устраивались в частных домах: отчеты о них, конечно же, не публиковались и далеко не всегда были полными. Нередко такие диспуты только упоминаются в текстах, в частности биографических, а рассказ о них оказывается заведомо фрагментарным. Именно такое описание присутствовало в биографии леди Фолкленд.

Но даже полные отчеты далеко не всегда создавались по следам событий, тексты подвергались редактированию, поэтому их содержание никогда не было прямым отражением того, что происходило во время дебатов. Отчеты обычно составлялись в соответствии с принципами полемической литературы. Неотвеченный публичный вызов — именно таким вызовом и оказывалась публикация отчета — приравнивался к признанию поражения, так что зачастую за появлением одной версии следовала другая, альтернативная. Их сопоставление порой помогает выявить важные детали происходившего: то, что одна сторона считала нужным опустить, обнародовала другая [Rodda 2014: 68]. В случае с частными дебатами историки редко располагают конкурирующими версиями: найти хотя бы одну — уже большая удача.

Кроме того, в большинстве случаев диспуты описывались мужчинами и в связи с обращением мужчин. Женщин, как считалось, не обязательно убеждать рациональными доводами: для них достаточно авторитетных советов мужчин — отца, мужа или капеллана. Так, в биографии леди Пархэм рассказывается об обращении в католичество семейной пары. Однако дебаты упомянуты только в связи с обращением мужа. Жена же удовлетворялась лишь советами родственников-мужчин [Серегина 2021b: 60–61].

В настоящей статье анализируется описание диспута, представленного в женской биографии, написанной женщинами — дочерьми главной героини, виконтессы Фолкленд. Случай, когда дебаты, устроенные в ее доме ради обращения дочерей, были описаны в биографическом сочинении, — редкий, почти уникальный. Этот текст не предназначался для публикации, поэтому описание дебатов в нем явно не претендовало на статус «официального» отчета. Зачем рассказ о диспуте был вставлен в биографию? В какой степени мирянки, не получившие формального образования, оказывались в состоянии оценить диспут, разворачивавшийся перед ними?

Дебаты в доме леди Фолкленд близ Лондона, 1634 г.

Элизабет Кэри (урожденная Тэнфилд, 1585–1639) была единственной дочерью и наследницей сэра Лоренса Тэнфилда (ок. 1551–1625), главного судьи Суда Казначейства, который, видимо за неимением наследника мужского

пола, поощрял ее выраженный интерес к чтению. Девушка прекрасно владела французским языком, а также выучила испанский, итальянский, латынь и даже «трансильванский» (вероятно, венгерский) у некоего «трансильванца», которого встретила в доме отца. Кроме того, она интересовалась богословскими трудами, читала отцов Церкви, Кальвина и Ричарда Хукера и мн. др. Интеллектуальные запросы Элизабет кажутся удивительными, но стоит иметь в виду, что семья предназначала ее для придворной карьеры, а среди придворных дам образование ценилось. В 1602 г. ее выдали замуж за сэра Генри Кэри (1576–1633). Отец мужа, сэр Эдвард Кэри, был двоюродным братом лорда-камергера, барона Хансдона (кузена самой королевы Елизаветы), а в число родственников входили елизаветинские придворные династии: Денни, Пикеринги, Ниветты и др.

Генри Кэри получил хорошее образование в Грейс-Инне и в Оксфорде, а затем, как многие молодые дворяне, отправился проявлять свою доблесть на поле боя: он служил в Ирландии, где его в 1599 г. возвел в рыцарское достоинство граф Эссекс, а в начале XVII в. — во Франции и в Нидерландах. Занимал он и заметное положение при дворе, при Якове I став джентльменом королевской опочивальни, хранителем королевских драгоценностей (1603). Но настоящий взлет карьеры Генри Кэри приходится на период доминирования при английском дворе герцога Бекингема, к клиентеле которого принадлежал Кэри: в 1617 г. он был назначен распорядителем (comptroller) королевского двора и членом Тайного Совета (1618–1622), в 1620 г. получил титул виконта Фолкленда, а в 1622 г. отправился в Ирландию в качестве представителя короля (lord-deputy). Жена последовала за ним в Дублин. За годы брака Элизабет стала матерью одиннадцати детей — шести дочерей и пяти сыновей.

В 1626 г. Элизабет Кэри приняла католичество. Ее обращение стало одним из многих среди придворных Якова I и Карла I, принадлежавших к кругу герцога Бекингема. Виконтесса Фолкленд присутствовала на дебатах в Йорк-хаусе (она была близка арминианам [Milton 1995: 85–86]), а формализованному диспуту между протестантом Дэвидом Фитли и католиком Томасом Эверардом предшествовал более непринужденный обмен мнениями, который имело место во время обеда в ее доме [Rodda 2014: 240]. Вскоре после диспута Элизабет Кэри перешла в католичество, что привело к разрыву отношений с мужем и отцом.

Леди Элизабет пришлось жить щедротами друзей, а также старшего сына, унаследовавшего в 1625 г. имущество деда Тэнфилда. После смерти отца Люсиус Кэри, второй виконт Фолкленд, выделил матери подобающее ее рангу содержание и отдал ее под опеку сестер и (на некоторое время) младших братьев, которых Элизабет довольно быстро обратила в свою веру. Умерла Элизабет Кэри в 1639 г. и была похоронена в капелле королевы Генриетты-Марии в Сомерсет-хаусе [Hodgson-Wright 2004; Kelsey 2004; Серегина 2019; 2021b: 50–67].

Интеллектуальные интересы леди Фолкленд, сыгравшие свою роль при обращении в католичество, проявились в ее творчестве. Помимо несохранившихся стихов, Элизабет Кэри была автором пьес — не дошедшей до нас драмы, действие которой происходило на Сицилии, и «Трагедии Мириам, царицы евреев» [Cary 1613] — первого написанного женщиной драматического произведения, опубликованного в Англии (1613). Кроме того, перу Элизабет Кэри принадлежала полемическая «История короля Эдуарда II» (1626/1627,

издана в 1680 г.) — политический комментарий к современным событиям, т. е. к борьбе парламентской оппозиции с королевским фаворитом, герцогом Бекингом [Cary 1680], а также стихотворные жития святых, переводы полемических произведений кардинала дю Перрона [Cary 1630] и собственные полемические сочинения. Последние остались неизданными, а после смерти матери были уничтожены по приказу Люсиуса Кэри.

Подробности жизни виконтессы известны нам из ее биографии. «Жизнь Элизабет Кэри, леди Фолкленд» сохранилась в единственной рукописи из Лилльского архива (куда она попала вместе с другими документами из бенедиктинской женской обители Камбре). Ее первое издание вышло в 1861 г., а в 1994 и 2001 гг. появились новые публикации [Simpson 1861; Weller, Ferguson 1994; Wolfe 2001]. Рукопись датируется 1643–1649 гг. и принадлежит перу одной из дочерей главной героини, Энн или Люси Кэри. Долгое время исследователи не могли прийти к единому мнению относительно авторства, однако последняя публикация биографии указывает на наличие одного автора и нескольких редакторов. Наиболее вероятным автором сейчас считают Люси Кэри, а редакторами — ее брата Патрика, а также двух или даже всех трех сестер-монахинь, прежде всего Энн [Wolfe 2001: 46].

Элизабет (в монашестве Августина, 1617–1682), Люси (в монашестве Магдалена, 1619–1650) и Мэри (в монашестве Винифрида, 1621–1693) вместе со старшей сестрой Энн (в монашестве Клеменция, 1615–1671) были обращены в католичество своей матерью в 1634 г.⁶, причем в этом сыграли свою роль наставления как самой леди Фолкленд, так и ее капеллана — бенедиктинца Джона (в монашестве Катберта) Ферсдона [Cooper, Bradley 2004].

После обращения девушек по приказу короля отняли у матери и отправили к старшему брату Люсиусу, оставшемуся протестантом, несмотря на все старания леди Фолкленд. Впрочем, виконт Фолкленд отличался удивительной для XVII в. веротерпимостью и не просто позволил сестрам уехать из Англии и стать монахинями английского бенедиктинского аббатства в Камбре, но и внес вступительный вклад за каждую из них. Сначала, летом 1638 г., уехали три младшие сестры. Энн Кэри была фрейлиной королевы Генриетты-Марии, и ее семья явно рассчитывала, что девушка останется на родине и вступит в брак. Однако Энн предпочла иной путь и в 1639 г. последовала за сестрами. Все они принесли монашеский обет в 1640 г. Текст был составлен, когда сестры еще жили вместе в одной обители (между 1640 и 1650 г.).

Приведенный в биографии эпизод с описанием диспута не датирован, однако он помещен в контекст рассказа об обращении дочерей леди Фолкленд, которое произошло в 1634 г. Девушки, только что принявшие католичество, еще не избавились от сомнений, проявлявшихся в столкновении с непривычными для них католическими религиозными практиками (текст не уточняет, о чем именно идет речь). С этими сомнениями они отправились к Уильяму Чиллингворту.

Уильям Чиллингворт (1602–1644) родился в семье оксфордского мэра и был крестником знаменитого англиканского епископа и богослова Уильяма Лода. В 1618 г. он поступил в Оксфордский университет, в Тринити-колледж,

⁶ Биографии сестер Кэри приводятся по электронной базе данных [WWTN 2008].

в 1628 г. стал одним из членов его корпорации (fellow). В 1630 г. под влиянием иезуита Джона Перси (Фишера) Чиллингворт перешел в католичество и уехал в Дуэ, где опубликовал трактат о своем обращении. Уже через год, однако, Чиллингворт вернулся на родину: он затруднялся безоговорочно принять основной вероучительный документ Церкви Англии, «39 статей», но и католические взгляды разделял не полностью, что привело его к ожесточенной полемике с католическими богословами. В 1630-е годы Чиллингворт жил в маноре Грейт-Тью (Оксфордшир) у Люсиуса Кэри, где написал свой главный труд — трактат «Религия протестантов» (издан в 1637 г.), в котором обосновывались абсолютный примат Библии в вопросах вероучения и право индивида свободно интерпретировать текст Писания. В начале 1630-х его принимали в доме леди Фолкленд, где он и познакомился с ее дочерьми. В 1638 г. Чиллингворт получил пост канцлера в Солсберийской епархии. В годы гражданской войны он присоединился к армии короля, был взят в плен армией сторонников парламента и умер в заключении в Чичестере в 1644 г. [Chernaik 2004].

В 1634 г. Чиллингворт опять готовился пересечь границу конфессии и вернуться из Католической церкви в Церковь Англии. Его наставления лишь усилили сомнения девушек, и на этой стадии вмешались другие: капеллан сестер, Катберт Ферсдон, мать и друзья. Все они обсуждали происходящее с Чиллингвортом, и в процессе этих обсуждений выявились его не вполне ортодоксальные религиозные взгляды.

Обсуждения вылились в занявшие два дня «беседы»:

Первые два дня прошли в сбивчивых беседах о разных вещах, с несколькими участниками, а именно, отцом Катбертом, мистером [Джеймсом] Клейтоном, еще одним джентльменом-католиком и ею самою [леди Фолкленд]. <...> Мистер Чиллингворт выслушал все сказанное ему так мирно и безмятежно, как если бы его спокойствие и терпение были бесконечными. <...> Благодаря такому поведению через два дня их уважение к нему возросло, хотя он ничего и не доказал им [сестрам Кэри], объяснив это запутанной манерой обсуждения, беспорядочным переоскакиванием с одной темы на другую, а также тем, что против него одного говорили многие, и это его отвлекало [Фолкленд 2021: 352]⁷.

Как мы видим, автор биографии очень четко отделяет «беседы» от случившегося затем диспута, не путая, таким образом, различные формы обсуждений. В число участников входили клирики (отец Катберт, Чиллингворт) и миряне (мистер Чейперлин, леди Фолкленд), мужчины и женщина. В это время не соблюдалось никаких правил диспута: в дискуссиях участвовали многие, а круг тем для обсуждения не был ограничен.

⁷ «The two first days were spent in a confused discourse of divers things, with many several persons, as Father Cuthbert, Mr. Clayton, and another Catholic gentleman and herself; <...> Mr. Chillingworth received all that was said with so calm a serenity as if his peace and patience were immoveable; <...> by this his behaviour at the end of two days his interest in their esteem was much increased, though he had been far from proving anything, which he excused by the confused manner of their discourse, speaking of several things, passing from one to another disorderly, and that many speaking against him alone did distract him» [Simpson 1861: 76–77].

Однако вскоре перешли к организации более формального действа. Оппонентом был Чиллингворт, а вопросы, подлежащие обоснованию, определялись сомнениями дочерей — предметом дискуссии стали богословские обоснования тех практик, которые вызывали у них сомнения (о чем именно идет речь, в тексте не уточняется). Чиллингворт позволили самому выбрать себе респондента (одного), и он назвал не опытного полемиста Фишера (Джона Перси)⁸, а более молодого иезуита Томаса Холланда⁹.

Чтобы исправить положение, ему предоставили выбрать, с кем и как он станет дискутировать. <...> он выбирает незнакомого им (но очень способного) иезуита [мистера Холланда]. Сестры же никогда не встречали ни его, ни кого-либо из его ордена [Фолкленд 2021: 353]¹⁰.

Обговорена была и манера обсуждения.

Он [Чиллингворт] запретил все термины и методы ученых как неподходящие и непонятные тем, для кого говорят, предложив, чтобы диспутанты рассуждали подробно и простыми словами, возражая и отвечая, не прерывая друг друга и не переходя от одного вопроса к другому, пока полностью его не исчерпают, с общего согласия [Фолкленд 2021: 353]¹¹.

Автор биографии указывает, что условия выставлял Чиллингворт, которому был брошен вызов: диспутанты должны были говорить простым языком, избегая технических и ученых терминов, и обсуждать вопросы по порядку. Это условие объяснялось светской и преимущественно женской аудиторией диспута: не имевшие формального образования женщины не были знакомы с университетским жаргоном. Модератора не было, в этом качестве выступали слушатели. Именно им предстояло оценивать, исчерпана ли та или иная тема и кто именно победил.

Автор не приводит аргументов сторон, оценивая происходящее с точки зрения формы диспута, соблюдения и нарушения его правил.

⁸ Перси участвовал во многих публичных дебатах, приведших к обращению в католичество слушателей и слушательниц. Самой известной из последних была графиня Бекингем, мать королевского фаворита [Rodda 2014: 190]. Виконтесса Фолкленд почти наверняка слышала его доводы, так же как и сам обращенный им в католичество Чиллингворт.

⁹ Томас Холланд (иначе Сандерсон, Хэммонд; 1600–1642) был выпускником английской школы в Сент-Омере и коллегии в Вальядолиде. Он был рукоположен в Льеже в 1625 г., а с 1634 г. стал миссионером в Англии. В 1642 г. его арестовали в Лондоне, поскольку пребывание католических священников на английской территории считалось изменой, приговорили к смерти и казнили (10 декабря). В 1929 г. Холланд был канонизирован Католической церковью как мученик [Cooper, Bradley 2004].

¹⁰ «For the remedy of all this, he was to choose the person with whom, and manner how, he would dispute <...> chooses a stranger to them (yet one very capable, for his own credit), being a father of the Society of Jesus [Mr. Holland], whom they had never seen before, nor none of his order» [Simpson 1861: 77].

¹¹ «He forbade all school terms and method, as improper and not understood by those for whom they spoke, but that in long discourses and plain terms they should object and answer; not interrupting one another, nor removing from one thing to another till it were fully satisfied, and by common consent» [Simpson 1861: 78].

Иезуит, очистив его [Чиллингворта] доводы от преувеличений и восклицаний (которыми было приукрашено его рассуждение), легко и ясно ответил на них, так что самому Чиллингворту пришлось нарушить последнее из собственных правил; он первый начал менять тему <...>, и ему пришлось перескакивать с предмета на предмет <...>, пока в конце концов не отклонился от предмета так сильно, что, казалось, просто хотел хоть что-то доказать, хотя эта тема не имела отношения к тому, о чем они говорили, являясь не вопросом религии, но фактической неточностью [Фолкленд 2021: 354]¹².

Чиллингворт не сумел сбить своего респондента, который ответил на приведенные им доводы, и начал перепрыгивать с темы на тему (большой грех для полемиста), а затем стал спорить о мелких фактах. Впрочем, мы только со слов биографа леди Фолкленд знаем о том, что тема, за которую он зацепился, была малозначительной и фактологической.

Стоит напомнить, что все действие затевалось ради аудитории — дочерей виконтессы, которые колебались в делах веры. Эта же аудитория присуждала победу, так что игра на публику была очень важна. Выступавший в роли респондента Холланд не мог контролировать направление дебатов, поэтому чтобы добиться победы, он обратился к манипуляциям, рассчитанным на эмоциональную реакцию его противника и аудитории. Чиллингворт проиграл, потеряв самообладание в ответ на провокацию. Впоследствии он сам понял, что произошло: увидев, как самообладание и смирение перед гневными выпадами возвысило его в глазах девушек, кто-то (сама леди Фолкленд или ее капеллан) сказал об этом прибывшему из Лондона иезуиту. И тот во время диспута постарался вывести Чиллингворта из себя снисходительной манерой отвечать на вопросы словно бы вполсилы, обращаясь к неравному по силе противнику.

Чиллингворт утратил всю свою кажущуюся безмятежность, назвал противника дураком и негодяем, и, получив в ответ на это только улыбку, пришел в такую неудержимую ярость, что раздулся и выглядел столь ужасно, как если [бы] был одержим. К вечеру второго дня (которые он с утра до ночи провел с этим иезуитом) он, казалось, лишился рассудка от гнева и, не имея больше ничего сказать, <...> вместо доказательств стал извергать угрозы беспорядочным потоком страшных слов — ад, проклятие, черти и т. п., произнесенным так ужасно, чтобы запугать тех, кто, как он знал, был склонен к страху. <...> он, видя, что утратил все свои позиции, стремился оправдать свой гнев тем, что иезуиту посоветовали сдерживать свой гнев, и сказали ему, как сильно повлияло на дочерей сдержанное поведение его самого в прошлые дни [Фолкленд 2021: 354–355]¹³.

¹² «But the father stripping his arguments of all his exaggerations and exclamations (with which his discourse was disguised and adorned), easily and clearly answered them, so as he was forced to transgress his last order himself; <...> he was constrained to run from one thing to another <...> till at length he went so far from the matter as he seemed only to aim at proving something, though it had no way relation to anything that had been said, nor no way concerned those they spoke for, being not any question of religion, but matter of fact» [Simpson 1861: 78].

¹³ «He so lost all his pretended serenity, as to be so uncivil as to call the other fool and knave, which being only answered with smiles, put him into such a rage and fury, that he swelled so with

Уловка сработала: Чиллингворт разозлился и перешел на личные выпады, а затем — и просто на крик, превратив диспут в свару и, естественно, проиграв.

Какую роль выполняло описание дебатов в тексте? С точки зрения построения сюжета рассказ о диспуте представляет собой отступление, своеобразную вставную новеллу, центральными персонажами которой являются дочери главной героини, а не она сама. Здесь повествование превращается из биографии в автобиографию: ведь составители жизнеописания леди Фолкленд были непосредственными участниками событий. Обращение дочерей естественным образом следует за обращением матери, причем и то и другое описывается в соответствии с моделью интеллектуальных обращений, которая обычно применялась к образованным мужчинам, и чаще всего к клирикам [Серегина 2021b: 50–67]. Кризис веры, который девушки из семьи Кэри преодолевают благодаря чтению книг, общению с наставниками и рассмотренному диспуту, — такая схема типична для «мужского» пути обращений, описанного в многочисленных «апологиях», вышедших из-под пера духовных лиц [Questier 1996: 13–39].

Присутствие в биографии леди Фолкленд истории о диспуте может быть объяснено свойственным английской религиозной литературе, написанной женщинами-католичками для женщин, стремлением примерить на себя роль миссионера [Серегина 2021a: 275–278]. Помимо добродетелей и благочестия, миссионер должен был демонстрировать познания в богословии, способность к рациональному постижению вероучения, усвоению и воспроизведению рациональных доводов в защиту «истинного вероучения», а также к оценке аргументов оппонентов. Все эти способности проявили сестры Кэри как слушатели Чиллингворта и Холланда. Конечно, монахиням-бенедиктинкам была недоступна прямая миссия в миру, и, не будучи семейными дамами, девушки из семьи Кэри не отвечали за религиозное образование и обращение в «истинную веру» детей и домочадцев, в отличие от матери, позаботившейся о наставлении для своих детей [Серегина 2019; 2021b: 65–66]. Однако и монахини, в особенности сестры аббатства в Камбре, в которое поступили девушки Кэри, были способны повлиять на соотечественников за пределами монастыря благодаря «миссии пера»: они писали, переводили и распространяли наставительные сочинения [Goodrich 2016]. Кроме того, они являлись авторами истории обращения — матери и своей собственной. Такие истории в XVI–XVII вв. были широко распространены. Многие из них, подобно сочинению сестер Кэри, оставались неизданными и не предназначались для печати. Они не только рассказывали о личном религиозном опыте, но и представляли собой свидетельство истинности веры обращающегося [Shinn 2017: 85–86; 2018: 33–35; Rieske 2015; Murray 2009: 74–79]. А присутствующее в биогра-

it, and looked so terribly, that he might well have been suspected to be possessed. And now at the end of his two days (which he had spent from morning till night with this father), seeming to have almost lost his senses with anger, and having no more to say, <...> he was fain, instead of proofs, to thunder out threats, with a confused heap of dreadful words, as hell, damnation, and devils, etc., as dreadfully spoken, seeking to frighten them whom he knew enough inclined to fear <...> he seeing he had lost all he sought there, strove yet to excuse his fury by that which might make it more strange, saying that of his knowledge the Jesuit had been preadmonished to keep temper in all, and had been told how much her daughters had been taken with his show of equality the days before...» [Simpson 1861: 79–80].

фии описание должно было свидетельствовать о способности дам семейства Кэри самим обрести «истинную веру» и привести к ней других.

Рассказ об обращении позволяет также прийти к ряду выводов относительно восприятия диспутов англичанами XVII в. Среди образованных мирян со вкусом к богословию существовали всевозможные формы дискуссий и диспутов на религиозные темы, причем участники прекрасно сознавали различия между ними и разный их статус; формализованный диспут при этом обладал наиболее высоким из возможных. Женщины наравне с мужчинами-мирянами участвовали в общих беседах, но не в диспутах, даже не вполне формализованных: те считались уделом и обязанностью клириков.

Как мы видим, миряне (аудитория) были активными участниками процесса, они же являлись и судьями, выносившими решение и способными оценить аргументы, которые приспособлялись к их восприятию. Зрители — причем не только получившие университетское образование мужчины, но и учившиеся дома женщины — знали, как строятся дебаты, и понимали, например, что перескакивание от темы к теме почти всегда означает поражение. Таким образом, культура дискуссий на религиозные темы охватывала всю образованную элиту английского общества. Однако в проанализированном выше описании диспута не приводились доводы: они были предсказуемыми для подготовленной аудитории, хорошо представлявшей себе репертуар аргументов сторон по тому или иному богословскому вопросу. Автору было интереснее отметить, как держались противники, как они направляли ход дискуссии и обращались к аудитории. Оценивался перформанс, а также поведение диспутантов — как проявление их пороков и добродетелей. Не только интеллект полемиста был важен аудитории, но и добродетельность, поскольку диспут и участие в нем в любом качестве были тесно связаны с обращением в «истинную веру». В этом процессе мотивы обращающегося и обращающего, его/ее благочестие и святость имели принципиальное значение. Грешник, охваченный гневом и другими страстями, не был в состоянии очистить разум настолько, чтобы воспринять истину и, соответственно, оценить истинность вероучения. Поэтому слушатели должны были быть внимательны, оценивая диспутантов, чтобы не заплутать вместе с ними и не отречься от истины, подчинившись чужим страстям.

Источники

- Фолкленд 2021 — Жизнеописание леди Фолкленд (вводная статья, перевод и комментарии А. Ю. Серегинной // Адам & Ева: Альманах гендерной истории. Вып. 29. 2021. С. 265–392.
- Cary 1613 — The tragedie of Mariam, the Faire Queene of Iewry / Written by that learned, virtuous, and truly noble lady E. C. London: By T. Creede, 1613.
- Cary 1630 — Reply of the most Illustrious Cardinall of Perron. Douay: By Martin Bogart, 1630.
- Cary 1680 — The history of the life, reign and death of Edward II, or The history of the most unfortunate prince, King Edward II. London: By J. C., 1680.
- Simpson 1861 — The Lady Falkland, her life. From a MS. in the Imperial Archives at Lille / Ed. by R. Simpson. London: Catholic Publishing & Bookselling Company, 1861.
- Weller, Ferguson 1994 — The Lady Falkland, her life / Ed. by B. Weller, M. Ferguson. Berkeley: Univ. of California Press, 1994.

Wolfe 2001 — Elizabeth Cary, Lady Falkland: Life and letters / Ed. by H. Wolfe. Temple, Arizona: RTM, 2001.

Литература

- Серегина 2010a — Серегина А. Ю. Переводы католической литературы в Англии второй половины XVI — начала XVII вв. // Диалог со временем: Альманах интеллектуальной истории. Вып. 32. 2010. С. 22–44.
- Серегина 2010b — Серегина А. Ю. Религиозное образование мирян-католиков в Англии конца XVI в.: катехизис виконта Монтегю (1597 г.) // Диалог со временем: Альманах интеллектуальной истории. Вып. 31. 2010. С. 186–200.
- Серегина 2012 — Серегина А. Ю. «Католическая энциклопедия» начала XVII в.: формирование исторической памяти английского католического сообщества // Диалог со временем: Альманах интеллектуальной истории. Вып. 40. 2012. С. 51–63.
- Серегина 2013 — Серегина А. Ю. Роберт Парсонс и его «Рассуждение о наследовании английского престола» // Долеман Р. [Роберт Парсонс]. Рассуждение о наследовании английского престола [1594] / Пер. с англ., вступ. ст. и коммент. А. Ю. Серegiной. М.: Ун-т Дмитрия Пожарского, 2013. С. 4–99.
- Серегина 2019 — Серегина А. Ю. Закон и женщина: английское судопроизводство в «Жизнеописании леди Фолкленд» // Электронный научно-образовательный журнал «История». Т. 10. Вып. 10 (84). 2019. URL: <https://history.jes.su/s207987840007787-4-1>. <https://doi.org/10.18254/S207987840007787-4>.
- Серегина 2021a — Серегина А. Ю. Жизнеописание леди Фолкленд: биография или история обращения? // Адам & Ева: Альманах гендерной истории. Вып. 29. 2021. С. 265–281.
- Серегина 2021b — Серегина А. Ю. Обретение голоса. Женщины английского католического сообщества XVI–XVII вв. М.; СПб.: Петроглиф; Центр гуманитар. инициатив, 2021.
- Ayris 2018 — Ayris A. A. “A Battle of Books”: The Westminster Conference of 1559 and the rise of disputative literature: PhD Diss. / Vanderbilt Univ. Nashville, 2018.
- Chernaik 2004 — Chernaik W. Chillingworth, William // Oxford dictionary of national biography online. 2004. <https://doi.org/10.1093/ref:odnb/5308>.
- Collinson 1983 — Collinson P. The Jacobean religious settlement: The Hampton Court Conference // Before the English Civil War: Essays on early Stuart politics and government / Ed. by H. Tomlinson. London: Palgrave, 1983. P. 27–51.
- Collinson 1987 — Collinson P. The monarchical republic of Queen Elizabeth I // Bulletin of the John Rylands Library. Vol. 69. No. 2. 1987. P. 394–424.
- Cooper, Bradley 2004 — Cooper T., Bradley J. Holland, Thomas // Oxford dictionary of national biography online. 2004. <https://doi.org/10.1093/ref:odnb/13547>.
- Cromartie 2006 — Cromartie A. King James and the Hampton Court Conference // James VI and I: Ideas, authority and government / Ed. by R. Houlbrooke. Aldershot: Ashgate, 2006. P. 61–80.
- Curtis 1961 — Curtis M. H. Hampton Court Conference and its aftermath // History. Vol. 46 No. 156. 1961. P. 1–16.
- Donagan 1991 — Donagan B. The York House Conference revisited: Laymen, Calvinism and Arminianism // Historical Research. Vol. 64. No. 155. 1991. P. 312–330.
- Goodrich 2016 — Goodrich J. ‘Attend to Me’: Julian of Norwich, Margaret Gascoigne and textual circulation among the Cambrai Benedictines // Early Modern English Catholicism: Identity, memory and Counter-Reformation / Ed. by J. E. Kelly, S. Royal. Leiden: Brill, 2016. P. 105–121.
- Green 1996 — Green I. The Christian’s ABC: Catechisms and catechizing in England, c. 1530–1740. Oxford: Clarendon Press, 1996.

- Hodgson-Wright 2004 — *Hodgson-Wright S.* Cary, Elizabeth // Oxford dictionary of national biography online. 2004. <https://doi.org/10.1093/ref:odnb/4835>.
- Hunt 1998 — *Hunt A.* Laurence Chaderton and the Hampton Court Conference // *Belief and practice in Reformation England* / Ed. by S. Wabuda, C. J. Litzenger. Aldershot: Ashgate, 1998. P. 207–228.
- Kelsey 2004 — *Kelsey S.* Cary, Henry, First Viscount Falkland // Oxford dictionary of national biography online. 2004. <https://doi.org/10.1093/ref:odnb/4837>.
- Lake 1988 — *Lake P.* Anglicans and Puritans? Presbyterianism and English conformist thought. London: Unwin Hyman, 1988.
- Lake 1989 — *Lake P.* Anti-popery: The structure of a prejudice // *Conflict in early Stuart England: Studies in religion and politics 1603–1642* / Ed. by R. Cust, A. Hughes. London: Longman, 1989. P. 72–106.
- Lake, Questier 1997 — *Lake P., Questier M.* Prisons, priests and people // *England's Long Reformation, 1500–1800* / Ed. by N. Tyacke. London: UCL Press, 1997. P. 195–233.
- Loach 1986 — *Loach J.* Reformation controversies // *The history of the University of Oxford. Vol. 3* / Ed. by J. McConica. Oxford: Oxford Univ. Press, 1986. P. 366–396.
- Mazur, Shinn 2013 — *Mazur P., Shinn A.* Introduction: Conversion narratives in the early Modern World // *Journal of Early Modern History*. Vol. 17. No. 5–6. 2013. P. 427–436.
- McCoog 1996 — *McCoog T. M.* 'Playing the champion': The role of disputation in the Jesuit Mission // *The reckoned expense: Edmund Campion and the early English Jesuits* / Ed. by T. M. McCoog. Oxford: Boydell Press, 1996. P. 119–139.
- McDiarmid 2007 — *The monarchical republic of Early Modern England: Essays in Response to Patrick Collinson* / Ed. by J. F. McDiarmid. Aldershot: Ashgate, 2007.
- McKeogh 2021 — *McKeogh K.* "Flowers of Fathers": Resistance and consolation in a Catholic Manuscript Compilation, Bodleian MSS. Eng. th. b. 1–2 // *Huntington Library Quarterly*. Vol. 84. 2021. P. 307–351.
- Milward 1977 — *Milward P.* Religious controversies of the Elizabethan age: A survey of printed sources. Lincoln: Univ. of Nebraska Press, 1977.
- Milward 1978 — *Milward P.* Religious controversies of the Jacobean age: A survey of printed sources. Lincoln: Univ. of Nebraska Press, 1978.
- Milton 1995 — *Milton A.* Catholic and reformed: The Roman and Protestant Churches in English Protestant thought, 1600–1640. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1995.
- Murray 2009 — *Murray M.* The poetics of conversion in Early Modern English literature: Verse and change from Donne to Dryden. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2009.
- Novikoff 2013 — *Novikoff A. J.* The medieval culture of disputation: Pedagogy, practice and performance. Philadelphia: Univ. of Pennsylvania Press, 2013.
- Prest 1972 — *Prest W. R.* The Inns of Court under Elizabeth I and the Early Stuarts, 1590–1640. London: Rowman and Littlefield, 1972.
- Puterbaugh 2000 — *Puterbaugh J.* "Your selfe be judge and answer your selfe": Formation of Protestant identity in *A Conference betwixt a Mother a Devout Recusant and Her Sonne a Zealous Protestant* // *The Sixteenth Century Journal*. Vol. 31. No. 2. 2000. P. 419–431.
- Questier 1996 — *Questier M. C.* Conversion, politics and religion in England, 1580–1625. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1996.
- Rieske 2015 — *Rieske C.* Doing the paperwork: Early modern converts, their narratives and the (re)writing of religious lives // *The Medieval History Journal*. Vol. 18. No. 2. 2015. P. 404–429.
- Robinson 2020 — *Robinson D. L.* Theatre of truth: Performing public religious disputation in seventeenth-century Europe: PhD Dissertation / Univ. of Toronto. Toronto, 2020.

- Rodda 2014 — Rodda J. Public religious disputation in England, 1558–1626. Aldershot: Ashgate, 2014.
- Shinn 2017 — Shinn A. Gender and reproduction in the *Spiritual experiences* // Conversions: Gender and religious change in Early Modern Europe / Ed. by S. Ditchfield, H. Smith. Oxford: Oxford Univ. Press, 2017. P. 81–101.
- Shinn 2018 — Shinn A. Conversion narratives in Early Modern England: Tales of turning. Cham: Palgrave Macmillan, 2018.
- Shriver 1982 — Shriver F. Hampton Court re-visited: James I and the Puritans // The Journal of Ecclesiastical History. Vol. 33. No. 1. 1982. P. 48–71.
- Tyacke 1997 — Tyacke N. Religious controversy // The history of the University of Oxford. Vol. 4 / Ed. by N. Tyacke. Oxford: Oxford Univ. Press, 1997. P. 569–620.
- Wadkins 1988a — Wadkins T. H. King James I meets John Percy, S. J. (25 May, 1622): An unpublished manuscript from the religious controversies surrounding the Countess of Buckingham's Conversion // Recusant History. Vol. 19. 1988. P. 146–154.
- Wadkins 1988b — Wadkins T. H. The Percy-“Fisher” controversies and the ecclesiastical politics of Jacobean Anti-Catholicism, 1622–1625 // Church History. Vol. 57. No. 2. 1988. P. 153–169.
- WWTN 2008 — Who were the nuns? A prosopographical study of the English convents in exile 1600–1800 / Queen Mary's College, Univ. of London. 2008. URL: <https://wwtn.history.qmul.ac.uk>.

References

- Ayris, A. A. (2018). “*A Battle of Books*”: The Westminster Conference of 1559 and the rise of disputative literature (PhD Diss., Vanderbilt Univ.).
- Chernaik, W. (2004). Chillingworth, William. In *Oxford dictionary of national biography online*. <https://doi.org/10.1093/ref:odnb/5308>.
- Collinson, P. (1983). The Jacobean religious settlement: The Hampton Court Conference. In H. Tomlinson (Ed.). *Before the English Civil War: Essays on early Stuart politics and government* (pp. 27–51). Palgrave.
- Collinson, P. (1987). The monarchical republic of Queen Elizabeth I. *Bulletin of the John Rylands Library*, 69(2), 394–424.
- Cooper, T., & Bradley, J. (2004). Holland, Thomas. In *Oxford dictionary of national biography online*. <https://doi.org/10.1093/ref:odnb/13547>.
- Cromartie, A. (2006). King James and the Hampton Court Conference. In R. Houlbrooke. (Ed.). *James VI and I: Ideas, authority and government* (pp. 61–80). Ashgate.
- Curtis, M. H. (1961). Hampton Court Conference and its aftermath. *History*, 46(156), 1–16.
- Donagan, B. (1991). The York House Conference revisited: Laymen, Calvinism and Arminianism. *Historical Research*, 64(155), 312–330.
- Goodrich, J. (2016). “Attend to Me”: Julian of Norwich, Margaret Gascoigne and textual circulation among the Cambrai Benedictines. In J. E. Kelly, & S. Royal (Eds.). *Early Modern English Catholicism: Identity, memory and Counter-Reformation* (pp. 105–121). Brill.
- Green, I. (1996). *The Christian's ABC: Catechisms and catechizing in England, c. 1530–1740*. Clarendon Press.
- Hodgson-Wright, S. (2004). Cary, Elizabeth. In *Oxford dictionary of national biography online*. <https://doi.org/10.1093/ref:odnb/4835>.
- Hunt, A. (1998). Laurence Chaderton and the Hampton Court Conference. In S. Wabuda, & C. J. Littenberger (Eds.). *Belief and practice in Reformation England* (pp. 207–228). Ashgate.
- Kelsey, S. (2004). Cary, Henry, First Viscount Falkland. In *Oxford dictionary of national biography online*. <https://doi.org/10.1093/ref:odnb/4837>.

- Lake, P. (1988). *Anglicans and Puritans? Presbyterianism and English conformist thought*. Unwin Hyman.
- Lake, P. (1989). Anti-popery: The structure of a prejudice. In R. Cust, & A. Hughes (Eds.). *Conflict in early Stuart England: Studies in religion and politics 1603–1642* (pp. 72–106). Longman.
- Lake, P., & Questier, M. (1997). Prisons, priests and people. In N. Tyacke (Ed.). *England's Long Reformation, 1500–1800* (pp. 195–233). UCL Press.
- Loach, J. (1996). Reformation controversies. In J. McConica (Ed.). *The history of the University of Oxford* (Vol. 3, pp. 366–396). Oxford Univ. Press.
- Mazur, P., & Shinn, A. (2013). Introduction: Conversion narratives in the early Modern World. *Journal of Early Modern History*, 17, 427–436.
- McCoog, T. M. (1996). 'Playing the champion': The role of disputation in the Jesuit Mission. In T. M. McCoog (Ed.). *The reckoned expense: Edmund Campion and the early English Jesuits* (pp. 119–139). Boydell Press.
- McDiarmid, J. F. (Ed.) (2007). *The monarchical republic of Early Modern England: Essays in response to Patrick Collinson*. Ashgate Publishing.
- McKeogh, K. (2021). "Flowers of Fathers": Resistance and consolation in a Catholic Manuscript Compilation, Bodleian MSS. Eng. th. b. 1–2. *Huntington Library Quarterly*, 84, 307–351.
- Milward, P. (1977). *Religious controversies of the Elizabethan age: A survey of printed sources*. Univ. of Nebraska Press.
- Milward, P. (1978). *Religious controversies of the Jacobean age: A survey of printed sources*. Univ. of Nebraska Press.
- Milton, A. (1995). *Catholic and reformed: The Roman and Protestant Churches in English Protestant thought, 1600–1640*. Cambridge Univ. Press.
- Murray, M. (2009). *The poetics of conversion in Early Modern English literature: Verse and change from Donne to Dryden*. Cambridge Univ. Press.
- Novikoff, A. J. (2013). *The medieval culture of disputation: Pedagogy, practice and performance*. Univ. of Pennsylvania Press.
- Prest, W. R. (1972). *The Inns of Court under Elizabeth I and the Early Stuarts, 1590–1640*. Rowman and Littlefield.
- Puterbaugh, J. (2000). "Your selfe be judge and answer your selfe": Formation of Protestant identity in *A Conference betwixt a Mother a Devout Recusant and Her Sonne a Zealous Protestant*. *The Sixteenth Century Journal*, 31(2), 419–431.
- Questier, M. C. (1996). *Conversion, politics and religion in England, 1580–1625*. Cambridge Univ. Press.
- Rieske, C. (2015). Doing the paperwork: Early Modern converts, their narratives and the (re) writing of religious lives. *The Medieval History Journal*, 18(2), 404–429.
- Robinson, D. L. (2020). *Theatre of truth: Performing public religious disputation in seventeenth-century Europe* (PhD Diss., Univ. of Toronto).
- Rodda, J. (2014). *Public religious disputation in England, 1558–1626*. Ashgate.
- Seregina, A. Yu. (2010a). Perevody katolicheskoi literatury v Anglii vtoroi poloviny XVI — nachala XVII vv. [English translations of Catholic texts in the late 16th — early 17th centuries]. *Dialog so vremenem: Al'manakh intellektual'noi istorii*, 32, 22–44. (In Russian).
- Seregina, A. Yu. (2010b). Religioznoe obrazovanie mirian- katolikov v Anglii kontsa XVI v.: katekhizis vikonta Montegiu (1597 g.) [Religious education of lay Catholics in late 16th-century England: a catechism by Viscount Montague (1597)]. *Dialog so vremenem: Al'manakh intellektual'noi istorii*, 31, 186–200. (In Russian).
- Seregina, A. Yu. (2012). "Katolicheskaiia entsiklopediia" nachala XVII v.: formirovanie istoricheskoi pamiati angliiskogo katolicheskogo soobshchestva [An early 17th-century "Catholic

- encyclopedia”: The shaping of historical memory of the English Catholic community]. *Dialog so vremenem: Al'manakh intellektual'noi istorii*, 40, 51–63. (In Russian).
- Seregina, A. Yu. (2013). Robert Parsons i ego “Rassuzhdenie o nasledovanii angliiskogo prestola” [Robert Persons and his “Conference about the next succession to the crown of England”]. In R. Doleman [= Robert Parsons]. *Rassuzhdenie o nasledovanii angliiskogo prestola [1594]* (A. Yu. Seregina, Trans., Intro, and Notes, pp. 4–99). Universitet Dmitriia Pozharskogo. (In Russian).
- Seregina, A. Yu. (2019). Zakon i zhenshchina: angliiskoe sudoproizvodstvo v “Zhizneopisanii ledi Folkland”. [The law and the lady: English judicial practice in the “Life of Lady Falkland”]. *Elektronnyi nauchno-obrazovatel'nyi zhurnal “Istoriia”*, 10(10, no. 84). <https://history.jes.su/s207987840007787-4-1>. <https://doi.org/10.18254/S207987840007787-4>. (In Russian).
- Seregina, A. Yu. (2021a). *Obretenie golosa. Zhenshchiny angliiskogo katolicheskogo soobshchestva XVI–XVII vv.* [Finding a voice: Women in the English Catholic community, 16th–17th cc.]. Petroglif; Tsentr gumanitarnykh initsiativ. (In Russian).
- Seregina, A. Yu. (2021b). Zhizneopisanie ledi Folkland: biografia ili istoriia obrashcheniia? [The “Life of Lady Falkland”: A biography or a conversion story?]. *Adam & Eva: Al'manakh gendernoi istorii*, 29, 265–281. (In Russian).
- Shinn, A. (2017). Gender and reproduction in the *Spirituall experiences*. In S. Ditchfield, & H. Smith (Eds.). *Conversions: Gender and religious change in Early Modern Europe* (pp. 81–101). Oxford Univ. Press.
- Shinn, A. (2018). *Conversion narratives in Early Modern England: Tales of turning*. Palgrave Macmillan.
- Shriver, F. (1982). Hampton Court re-visited: James I and the Puritans. *The Journal of Ecclesiastical History*, 33(1), 48–71.
- Tyacke, N. (1997). Religious controversy. In N. Tyacke (Ed.). *The history of the University of Oxford* (Vol. 4, pp. 569–620). Oxford Univ. Press.
- Wadkins, T. H. (1988). King James I meets John Percy, S. J. (25 May, 1622): An unpublished manuscript from the religious controversies surrounding the Countess of Buckingham’s Conversion. *Recusant History*, 19, 146–154.
- Wadkins, T. H. (1988). The Percy–“Fisher” controversies and the ecclesiastical politics of Jacobean Anti-Catholicism, 1622–1625. *Church History*, 57(2), 153–169.
- Who were the Nuns? A Prosopographical study of the English Convents in exile 1600–1800* (2008). Queen Mary’s College; Univ. of London. <https://wwtn.history.qmul.ac.uk>.

* * *

Информация об авторе

Анна Юрьевна Серегина

доктор исторических наук

ведущий научный сотрудник, Отдел
историко-теоретических исследований,
Институт всеобщей истории РАН
Россия, 119334, Москва, Ленинский пр-т,
д. 32А

Тел.: +7 (495) 938-13-44

✉ aseregina@mail.ru

Information about the author

Anna Yu. Seregina

Dr. Sci. (History)

Leading Researcher, Department
for Theoretical Studies, Institute of World
History, Russian Academy of Sciences
Russia, 119334, Moscow, Leninsky Prospekt,
32A

Tel.: +7 (495) 938-13-44

✉ aseregina@mail.ru

М. С. Неклюдова

ORCID: 0000-0002-5251-931X

✉ neklyudova-ms@ranepa.ru

Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
(Россия, Москва)

***Ut pictura poesis*: ВИЗУАЛЬНАЯ РИТОРИКА В ГОМЕРОВСКОЙ ПОЛЕМИКЕ НАЧАЛА XVIII в.**

Аннотация. В 1714–1716 гг. во Франции завязалась бурная, хотя и кратковременная полемика о том, каково место Гомера в литературном каноне, как следует оценивать его сочинения и как их надо переводить. С одной стороны, противники Гомера подчеркивали аморальность его героев и композиционные недостатки обеих его поэм, их несоответствие современным эстетическим нормам. С другой — сторонники античного поэта указывали на историческую и культурную специфику его сочинений, которые нельзя судить по меркам другой эпохи. При этом обе стороны использовали одни и те же топосы и риторические фигуры, поскольку публичная полемика подразумевала соревнование в искусстве построения аргументации. В статье рассматривается один из таких топосов, приравнивающий Гомера к художнику, а его сочинения — к картинам, и анализируется его назначение и риторическая действенность.

Ключевые слова: Гомер, Анна Дасье, Удар де Ла Мотт, гомеровская полемика, риторика, топос

Благодарности. Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС.

Для цитирования: Неклюдова М. С. *Ut pictura poesis*: визуальная риторика в гомеровской полемике начала XVIII в. // Шаги/Steps. Т. 9. № 4. 2023. С. 70–93. <https://doi.org/10.22394/2412-9410-2023-9-4-70-93>.

Статья поступила в редакцию 30 мая 2023 г.

Принято к печати 29 июля 2023 г.

M. S. Neklyudova

ORCID: 0000-0002-5251-931X

✉ neklyudova-ms@ranepa.ru

The Russian Academy of National Economy
and Public Administration (Russia, Moscow)

UT PICTURA POESIS: VISUAL RHETORIC IN HOMERIC CONTROVERSY OF THE EARLY 18TH CENTURY

Abstract. During 1714–1716, a stormy, if short-lived, polemic broke out in France over Homer and his place in the literary canon. Its participants debated how his works should be assessed and how they should be translated, verbatim or freely. Homer's opponents, led by Houdar de La Motte, pointed to the immorality of Homeric heroes, their stubbornness and cruelty; they also dwelled on the compositional flaws of his poems, showing their incompatibility with modern aesthetic standards. For their part supporters of the ancient poet, led by Madame Dacier, insisted on the historical and cultural distance which separated the works of Homer from modernity, and argued that they could not be evaluated according to the standards of another era. In this exchange of opinions, both sides used the same topoi and figures of speech because they were engaged in public controversy and therefore competed in rhetoric. The article considers one such topos, which equates Homer with an artist — a sculptor or a painter — and treats his writings as sculptures or paintings. This equation represents an interesting twist on the traditional saying 'ut pictura poesis', and is used by both parties, but for different purposes and with varying rhetorical effectiveness.

Keywords: Homer, Anne Dacier, Houdar de La Motte, Homeric controversy, rhetoric, topos

Acknowledgments. The article was written on the basis of the RANEPА state assignment research programme.

To cite this article: Neklyudova, M. S. (2023). *Ut pictura poesis*: Visual rhetoric in Homeric controversy of the early 18th century. *Shagi / Steps*, 9(4), 70–93. (In Russian). <https://doi.org/10.22394/2412-9410-2023-9-4-70-93>.

Received May 30, 2023

Accepted July 29, 2023

В октябре 1715 г. издатель «Nouveau Mercure galant» («Нового Галантного Меркурия») предложил своим читателям несколько тем для обсуждения. Начало списка соответствовало обычному типу «галантных вопросов», которые дебатировались на страницах этого журнала и его предшественников: «До какой степени человеку достойному позволено быть ревнивцем?»; «Должен ли влюбленный подозревать свою возлюбленную в недостатке нежности, если она противопоставляет долг его желаниям?». Однако далее любовные дилеммы неожиданно уступали место головоломкам другого рода:

Было бы весьма любопытно узнать, была ли Елена блондинкой или брюнеткой, но предупреждаем, что ни Гомеру, ни тем, кто клянется его сочинениями, веры нет. Требуется свидетельство очевидца, без которого спорящие стороны не придут к согласию. Обоснованные догадки тоже принимаются, поскольку все несколько устали от этих прений, которые длятся столько времени и всерьез занимают умных людей. <...>

И пусть нам наконец скажут, был ли Гомер или нет, и пусть это будет окончательное «да» или «нет» [Nouveau Mercure galant 1715: 239–242].

Гомер и его герои стали предметом светских разговоров после того, как поэт Антуан Удар де Ла Мотт в 1714 г. опубликовал переработанную версию «Илиады», в которой «позволил себе изменить то, что счел непривлекательным» [Homère 1714: sxxxix]. В обстоятельной «Речи о Гомере», служащей предисловием к переводу, он разобрал сильные и слабые стороны поэмы, подчеркнув ее содержательные, стилистические и композиционные изыяны, из-за которых она не могла быть интересна для современных читателей. Те из них, кто не пожелал бы вдаваться в тонкости критики, мог узнать краткое содержание 170-страничной «Речи» из завершавшей ее программной оды «Тень Гомера». В ней Ла Мотт представил основные недостатки «Илиады», причем устами самого автора, чей призрак является ему с мольбой: «Любой ценой, какой возможно, / Спаси меня от позора быть скучным»¹. Загробная индульгенция оправдывала те радикальные меры, на которые пошел переводчик, «выкидывая целые песни, меняя композицию и даже решаясь на собственные изобретения» [Ibid.: cxliv]. В итоге «Илиада», утратив почти две трети стихов, превратилась в поэму из 12 песен вместо 24.

Эксперимент Ла Мотта, возможно, не получил бы широкой огласки, если бы на него не отреагировала Анна Дасье, ученая эллинистка, хорошо известная своими переводами и комментированными изданиями античных авторов. Собственно, ее прозаический перевод «Илиады», вышедший в 1711 г., и подтолкнул Ла Мотта к созданию стихотворной версии поэмы. А поскольку французский поэт не знал древнегреческого, то, критикуя труд своей предшественницы, он отчасти использовал его в качестве подстрочника. Ответ не замедлил последовать: госпожа Дасье выступила с трактатом «О причинах порчи вкуса» (1714), в котором обрушилась на оппонента со всей мощью своей незаурядной

¹ «A quelque prix que ce puisse être / Sauve-moi l'affront d'ennuyer» [Homère 1714: clxxvij].

эрудиции и неподдельного возмущения². Так завязалась очередная полемика между апологетами античности и критиками-рационалистами, продолжившая логику более раннего «спора о древних и новых»³. Г-жа Дасье, отстаивавшая право Гомера и его героев не соответствовать ожиданиям читающей публики ее времени («Гомер не мог подстраиваться под обычаи грядущих эпох; напротив, эти эпохи должны вернуться к обычаям его времени» [Homère 1711 (1): xxiv]), очевидно принадлежала к стану «древних». Меж тем как Удар де Ла Мотт, предлагавший модернизировать «Илиаду» исходя из современных этических и эстетических соображений, безусловно был сторонником «новых».

Однако гомеровская полемика обладала собственной спецификой⁴, прежде всего в институциональном плане. Если в 1680-е годы главные литературные баталии разворачивались в стенах Академии, то стычки 1714–1716 гг. происходили на страницах журналов, становясь предметом дебатов в салонах и в кафе. Это давало существенное преимущество тем, кто, как Ла Мотт, апеллировал к вкусам и пристрастиям светской публики, делая ее арбитром своего спора с ученым сообществом, которое было легко обвинить в педантизме и слепом поклонении авторитетам. Но такое превращение профессиональной дискуссии в модный конфликт имело свою цену, и, хотя обе стороны выступали с длинными аргументированными «апологиями» или «критиками», их успех часто определялся сопутствовавшими бурлесками, эпиграммами, сатирами, журнальными виньетками, анекдотами и пр.

Как отмечала Наоми Эпп, чей монументальный труд остается лучшим введением в проблематику спора, в большинстве своем прения вокруг Гомера оборачивались «разговором глухих, либо в силу того что противники говорили на абсолютно разных языках, либо потому что они, наоборот, бичевали друг друга в одних и тех же выражениях, но вкладывая в них противоположные смыслы» [Hepp 1969: 709]. С этим трудно не согласиться, если рассматривать содержательную часть дискуссии, по сути состоявшую из стандартного набора аргументов. Однако нельзя забывать и о том, что публичная полемика была риторическим состязанием, в котором противники, располагая примерно одинаковым арсеналом общих мест и авторитетных цитат, показывали свое мастерство тем, как они их использовали. И когда издатель «Nouveau Mercure galant» предлагал своим читателям вопрос, была ли Елена блондинкой или брюнеткой, запрещая при этом ссылаться на Гомера, то он определял условия возможного диспута, целью которого было не установление исторического факта (отсюда шутливая ссылка на очевидцев), а демонстрация ораторских навыков. Очевидно пародийный характер поставленной проблемы не отменял реальности риторической диспозиции; более того, он только ее подчеркивал.

Если посмотреть на гомеровскую полемику как на своеобразное соревнование по наиболее остроумной переработке и перестановке привычных

² См.: [Dacier 1714]. Подробнее о ее позиции в этом конфликте см.: [Cammagré 2010], а также [Hayes 2009: 121–140].

³ Общий обзор «спора о древних и новых» см. в [Lecoq 2001]; стоит отметить, что в последнюю пару десятилетий интерес (и отчасти сочувствие) к позиции «древних» дал толчок к серьезному изучению их аргументации и переоценке смысла спора. См., в частности: [Norman 2011; Fumaroli 2013].

⁴ О месте французской полемики в общеевропейском обсуждении фигуры и значения Гомера см.: [Simonsuuri 1979].

топосов, то повторы обретают свой смысл. Показательным примером такой риторической стратегии является еще одна публикация из «Nouveau Mercure galant», которая также появилась в октябре 1715 г. Это стихотворная «побасенка», посвященная «господину Удару де ла Мотту, автору новой «Илиады»:

Jadis en Grece étoit un Statuaire,
De grand renom. Il s'appelloit Homere.
Il avoit fait cent Heros, & cent Dieux :
Et comme alors, même les meilleurs yeux,
Étoit sujet à d'étranges berluës,
Messieurs les Grecs trouvoient dans ses
Statuës,
Portraits finis, vrais chefs d'oeuvres de l'Art.
C'étoient pourtant, au moins pour la plupart,
Vilains Magots. L'un étoit Cu- de jatte ;
L'autre manquoit d'un tiers d'une
omoplatte ;
L'autre d'un oeil ; qui de front ; qui de nés.

Некогда в Греции жил прославленный
скульптор, звали его Гомер.
Он создал сотню героев и сотню богов.
Но поскольку и тогда даже самые лучшие
глаза могли поддаваться странному
ослепленнию,
то господа греки считали эти статуи
совершенными изображениями, истинны-
ми произведениями искусства. Меж тем
как в основном это были мерзкие хари.
Один был без ног, у другого не было
трети плеча,
у третьего — глаза, у кого-то лба или носа.

Прослышав об этих творениях, римляне захотели их увидеть. Но когда скульптуры привезли в Рим, то они вызвали шквал критики и насмешек; было решено, что резец Гомера бывал «слишком груб или не слушался его пальцев». И вот тут они попались на глаза Вергилию:

Même dit-on, que Virgile les vit,
Et que sous cappe à son tour il en rit.
Mais tost après, sa bonté naturelle
En leur faveur changea son rire en zele.
Il eût pitié de tant d'Estropiés.
Il leur donna des jambes & des bras,
Leur fit des yeux, mit des nés à leurs faces ;
Il rétablit leurs membres en leurs places...

Поговаривают, что когда их увидел
Вергилий,
то тоже исподтишка посмеялся.
Но вскоре по доброте душевной
решил им помочь и от смеха перешел
к делу.
Пожалев сонм калек,
он приделал им руки и ноги,
дал глаза и приставил к лицам носы,
вернув члены на надлежащие им места...

Смерть помешала Вергилию завершить этот титанический труд. Но то, что оказалось не по силам минувшим векам, стало возможно в наши дни благодаря Удару де Ла Мотту:

O! qu'ils sont beaux, ces Dieux & ces Heros
Dans l'Atelier du Docte Houdart ; éclos!
Retirez vous, Savantas, Scholiastes,
Laissez moy voir leurs merveilleux contrastes,
Leur vraye Image. Avoient-ils meilleur air
Ces Champions, lorsqu'habillez de fer,
Las de languir dans une oisive Tente
Ils combattoient sur les Rives du Xante?

О, как прекрасны боги и герои,
Вышедшие из мастерской ученого Удара!
Прочь, начетчики и схолиасты,
я хочу видеть их замечательные фигуры,
их истинные изображения. Могли ли эти
бойцы выглядеть лучше, когда,
облаченные в доспехи,
устав празднично томиться в шатре,
они сражались на берегах Ксанфа?

Ла Мотт, восстановив их черты, вернул им жизнь, и ныне это «они сами, а не их изображения»; более того, они отрекаются от Гомера и признают своим отцом французского поэта. Теперь, Удар, пришло время оставить древних и резцом прославить новых героев, ибо Бурбоны — это Ахиллы Франции, а Людовик превосходит величием всех греческих богов⁵.

7 декабря 1715 г. это же стихотворение появилось в голландских «Nouvelles Littéraires, contenant ce qui se passe de plus considérable dans la République des Lettres» («Литературных новостях, содержащих все наиболее примечательное, что происходит в Литературной Республике»). Как сообщал издатель, оно было прислано ему из Тулузы, предположительно вместе со сведениями об авторе⁶. Им был преподобный Пьер Клерик, почтенный профессор риторики тулузского иезуитского коллежа, переводчик Софокла и Теренция, чьи поэтические сочинения неоднократно удостоивались наград Академии флоралий⁷. При этом, как свидетельствует побасенка, его симпатии были целиком на стороне обновленного Гомера, что биограф XIX в. интерпретировал как «приступ безумия»⁸. На самом деле среди единомышленников Удара де Ла Мотта было не так мало знатоков и любителей античности. К примеру, апробация, выданная его изданию «Илиады» 24 ноября 1714 г., была подписана Пьер-Жаном Бюреттом, ученым медиком, владевшим древними и восточными языками и занимавшимся историей античных гигиены, музыки и танца⁹. Это не помешало Бюретту полностью одобрить труд Ла Мотта. Более того, он был уверен, что «публика примет это сочинение с тем большим удовольствием, что обретет в этой поэме Гомера, достойного своей репутации»¹⁰. А автором одного из наиболее методических возражений г-же Дасье под характерным названием «Критическое исследование “Илиады” Гомера» (1715) был аббат Террасон, который несколько лет спустя занял кафедру греческой и латинской философии в Коллеж Рояль. Иными словами, литературные предпочтения Пьера Клерика отнюдь не были уникальными для человека его профессиональных занятий.

⁵ См.: [Cléric 1715: 101–102, 105, 106–107]. Я опускаю несколько любопытных характеристик, в частности, наличие у Елены лорнета (в котором ей нет нужды, чтобы теперь узнать стены Илиона). Они требуют отдельного комментария, но в целом могут быть описаны как опознавательные знаки бурлеска: к примеру, упоминание стен Илиона, по-видимому, отсылает к «Стенам Трои, или Происхождению бурлеска» (1653) Шарля и Клода Перро.

⁶ Похоже, что оба журнала получили стихотворение и информацию об авторе из одного источника. Поэтический текст очевидно напечатан по одной рукописи с минимальными корректорскими вариациями в наборе (*moy/moi, Xante/Xanthe* и т. д.); что касается сведений об авторе, то «Nouveau Mercure galant» дает их в кратком виде, а «Nouvelles Littéraires» — развернуто, однако по сути они идентичны.

⁷ См.: [Nouvelles Littéraires 1715: 359–360]. Еще одним примечательным образчиком творчества Клерика является его ода «Поэтический энтузиазм согласно системе движения Земли» [Cléric 1703].

⁸ См.: [Faniez 1885: 73]. Любопытно, что при этом Фаньез сообщает, что, согласно местной традиции, Клерик был автором популярных сатирических стихов на диалекте, которые продолжали циркулировать и в XIX в.

⁹ См. его краткий биографический очерк в [Catalogue 1748: xx].

¹⁰ Здесь и далее я по возможности буду указывать даты апробации (одобрения цензора) и даты выдачи привилегии (разрешения на публикацию, выдаваемого автору или конкретному издателю на оговоренный срок) или ее регистрации (внесения в официальный реестр). Это позволяет следить за реальной динамикой спора, в который косвенно оказывались вовлечены и цензоры. См. ниже примеч. 41.

Типологически и стилистически побасенка Клерика относится к бурлеску, который, как напоминал в своем словаре Фюретьер, считался современной литературной формой, скорее всего не имевшей античных аналогов¹¹. Но, в отличие от известного «Вергилия наизнанку» (1648–1653) Поля Скаррона, где песнь за песней пересказывается «Энеида», сочинение Клерика представляет процесс создания «Илиады» и ее усовершенствование сперва Вергилием, а затем Ла Моттом, т. е. как бы прочерчивает историческую биографию эпической поэмы. По справедливому наблюдению Давида Ретсама, в основу этой причудливой композиции были положены два общих места из арсенала обличителей Гомера: с одной стороны, утверждение «прогресса наук и искусств», а с другой — представление о моральной ущербности гомеровских героев [Reitsam 2021: 310]. Сюда же стоит добавить устойчивую характеристику Вергилия как «переводчика» греческого поэта, которая входила в арсенал как про-, так и антигомеровских рассуждений¹². Однако первостепенно важно то, что рамкой для этого набора общих мест служит топос, который ассоциируется с апологетикой Гомера. Представление об авторе «Илиады» как о творце изображений и, соответственно, как о художнике является одной из самых разработанных и многообразных риторических конфигураций, вобравших в себя ряд близких, но необязательно тождественных идей. Часть из них относится к гомеровской поэтике и к образу автора (переводчика, издателя) сочинения, часть — к аналитическим процедурам и способам описания, к которым прибегают полемисты. Границы между первой и второй категорией расплывчаты, поскольку обе существуют в рамках нормативного сравнения поэзии и изобразительных искусств, восходящего по крайней мере к «Поэтике» Аристотеля¹³. Тем не менее внутри этого риторического лабиринта можно выделить несколько магистральных направлений, проясняющих специфику использования топоса «Гомер-художник».

Художник и ритор

В своих комментариях к «Илиаде» г-жа Дасье не раз подчеркивает живописные свойства гомеровского стиха, используя для этого глагол *peindre* ‘представлять, изображать, передавать сходство при помощи карандаша или красок’ и производные от него существительные *peintre* ‘художник’ и *peinture* ‘картина; изобразительное искусство’¹⁴. Естественно, все эти слова могли упо-

¹¹ Фюретьер отмечает итальянское происхождение и слова, и самого явления и с сомнением пишет о возможных античных корнях [Furetière 1690 (1): 346].

¹² Ср.: «Поклонники Гомера утверждают, что Вергилий всего лишь переложил (n’a fait que traduire) его латинскими стихами и передел греческого поэта в римские одежды, и что “Энеида” — не более чем версия “Илиады” “Одиссеи”» [Faydit 1705: 245]. По-видимому, имеются в виду известные и много раз цитировавшиеся слова Даниеля Хейнсия, который в трактате «О построении трагедии» (1611) назвал поэму Вергилия «лучшим изданием Гомера» (optima Homeri editio) [Heinsius 2001: 295].

¹³ Об использовании этого сравнения гуманистами см. классическую работу [Lee 1967]. О некоторых теоретических поворотах этой темы см.: [Graziani 2009: 585–591].

¹⁴ См.: [Le dictionnaire 1694 (2): 208]. Здесь и далее я ссылаюсь на дефиниции Словаря Академии (1694), поскольку они в большей степени отражают лексические установки «древних».

требляться и фигурально, но всегда с оглядкой на их прямое значение. Поэтому и похвалы отдельным пассажирам («какое изображение Марса!»; «какая сила, какое великолепие и звучность в этом изображении!»), и утверждение общего принципа («Гомер во всем великий живописец»; «Гомер всегда живописует, вот почему никогда не было более великого живописца») балансируют на грани между буквальным и переносным смыслом¹⁵. Эта семантическая двойственность была намеренной, поскольку отсылала к способности древнегреческого поэта описывать действие так, чтобы его образ вставал перед глазами слушателя/читателя. Как хорошо знали современники г-жи Дасье, Цицерон в «Тускуланских беседах» упоминал о зрительных качествах гомеровского стиха, парадоксально сочетавшихся с физической слепотой аэда¹⁶. Но при этом им было известно и то, что наглядность описания является базовой частью риторики; с большой степенью вероятности многим участникам полемики в юности приходилось штудировать прогимнасы, о популярности которых в XVI–XVII вв. свидетельствует огромное количество изданий¹⁷. Не говоря о том, что даже среди ученого сословия было немало тех, кто считал, что по выразительности образов Вергилий превосходит автора «Илиады» или по крайней мере стоит с ним вровень¹⁸.

Сам по себе эффект возникновения зрительного образа свидетельствовал о действенности речи, но не предполагал его обязательного переноса в область пластических искусств¹⁹. Тем не менее античная традиция знала прецедент, когда появление скульптуры было напрямую соотнесено с гомеровским стихом. Страбон в «Географии» рассказывает по поводу статуи Зевса из Олимпии, что когда у Фидия спросили, «по какой модели он будет создавать образ Зевса, он ответил: по той, которая представлена Гомером в следующих строках: “Рек, и во знаменье черными Зевс помавает бровями...”» [Страбон 1994: 337]²⁰. Упоминания этого казуса разной степени детальности можно найти в ряде античных источников, от Плутарха или Валерия Максима до Макробия. Когда г-жа Дасье доходит до соответствующего места «Илиады» (I, 528), она прежде всего отмечает «величие, царственность, силу и гармонию» этих и последующих строк и продолжает: «Я отнюдь не удивлена, что в оригинале они когда-то произвели на ум Фидия то воздействие, о котором рассказывают». Но далее ее вариант событий отличается от только что изложенного. Согласно ей, великий скульптор трудился над статуей Громовержца и, «будучи не удовлетворен той идеей и моделью, которые сложились у него в уме, зашел

¹⁵ Во всех процитированных фрагментах употребляются слова *peindre*, *peinture* и *peintre*, которые по-русски приходится передавать разными терминами [Homère 1711 (1): 478; (2): 487, 529, 530].

¹⁶ «Говорят, что даже Гомер был слеп; но описанное им мы видим, словно изображено оно красками, а не словами: ибо есть ли такой край, берег, место в Греции, такой вид и образ битвы, такой строй, такое движение весел, такое человеческое дело или звериная повадка, которую он не изобразил бы так, что хоть он ее и не видит, но нас заставляет видеть?» [Цицерон 1975: 355].

¹⁷ Многочисленные примеры см. в [Green, Murphy 2006].

¹⁸ См., к примеру, мнение отца Рапена, который особо выделяет «Георгики» Вергилия [Rapin 1684: 111].

¹⁹ См.: [Webb 1999]. Во избежание терминологической путаницы я намеренно избегаю говорить об «экфрасисе», тем более что участники спора этим понятием не пользуются.

²⁰ Стих из «Илиады» в пер. Н. И. Гнедича.

в школу некоего ритора, объяснявшего Гомера своим ученикам». Тот как раз разбирал стих, где «черными Зевс помавает бровями», и Фидий был настолько «поражен, что когда вышел оттуда, его воображение было наполнено этим предметом, и он создал одно из прекраснейших своих творений» [Homère 1711 (1): 321–322].

По сути, обе версии говорят об одном и том же: Фидий был вдохновлен гомеровским стихом. Однако выбор г-жи Дасье в пользу той из них, где между Гомером и Фидием появляется своеобразный медиатор, безусловно представляет интерес. Этот вариант восходит к комментарию к «Илиаде» Евстафия Солунского, где, впрочем, главным действующим лицом выступает не Фидий, а Евфранор²¹. Можно было бы предположить, что г-жа Дасье отдает ему предпочтение в силу естественной преемственности между комментариями, если бы не тот факт, что именно в таком виде сюжет о художнике и риторе циркулировал по страницам эстетических трактатов рубежа XVII–XVIII вв. Иными словами, он в большей степени соответствовал представлениям той эпохи — но представлениям о чем?

Для ответа на этот вопрос имеет смысл посмотреть, как сюжет о художнике и риторе перелагался и обрамлялся в других текстах. Так, за три десятилетия до г-жи Дасье его использовал иезуит Рене Рапен. В своем «Рассуждении о поэтике» преподобный отец корректно пересказывал Евстафия, но вспоминал этот эпизод не только в связи с Гомером. Для него — как, собственно, и для г-жи Дасье — история о Фидии/Евфраноре подтверждала возвышенный характер гомеровских образов. А соответственно, Рапен видел в нем иллюстрацию трактата Псевдо-Лонгина²². Это логическая связка важна, учитывая огромное влияние этого сочинения на эстетическую мысль того времени. Хотя оно было известно в ученых кругах задолго до того как за него взялся Буало²³, тем не менее именно после публикации в 1674 г. его перевода на французский язык «Лонгин» становится едва ли не главным авторитетом в области риторики.

В пользу того, что ассоциация между сюжетом о художнике и трактатом «О возвышенном» имела неслучайный характер, свидетельствует довольно причудливое сочинение, которое увидело свет в 1705 г. Хотя оно было озаглавлено «Замечания о Вергилии и Гомере, и о поэтическом стиле Священного Писания», его автор, аббат Фейди, использовал античных поэтов как прикрытие и приманку для читателя; на самом деле его целью была полемика с протестантскими и католическими теологами²⁴. В этом плане его обработка истории

²¹ О соотношении этих историй см.: [Palagia 1980: 56].

²² Уточню, что речь не о прямом утверждении, а о порядке рассуждения: сперва Рапен цитирует Гомера, подчеркивает его способность создавать «образы», ссылается на Лонгина и затем прямо переходит к рассказу о Евфраноре [Rapin 1684: 110].

²³ О его рецепции до появления перевода Буало см.: [Fumaroli 1986].

²⁴ «...я решил попробовать (...), не смогу ли побудить публику с удовольствием читать важнейшие, и притом большей частью неведомые (даже среди теологов) религиозные истины, окружая их и обертывая стихами Вергилия и Гомера, и тем самым воспринять мои доводы против социнианства, спинозизма, кальвинизма, арминианства, квиетизма, и других заблуждений нашего времени...» [Faydit 1705: v^r]. Полное название его сочинения — «Замечания о Вергилии и Гомере, и о поэтическом стиле Священного Писания, опровергающие опасные умозаключения, извлеченные оттуда Спинозой, Гроцием и г-ном Леклерком, а также отдельные мнения отца Мальбранша, сьера Лелевеля и господина Симона».

о художнике особенно показательна, поскольку она находилась на периферии его интересов, а его отношение к Гомеру было скорее скептическим:

Лонгин особенно выделяет у Гомера описание «...» яростного шторма и рассказывает по этому поводу, что одному умелому живописцу никак не удавалось, полагаясь на свою фантазию, изобразить на полотне бурю, так что он в конце концов отказался от этого намерения и в гневе сломал кисти. Но случайно зайдя в школу некоего риторика и услышав, как учитель объясняет ученикам те места из Гомера, где описывается буря, он ощутил волнение, его воображение воспламенилось от этого описания, сделанного в столь живой и яркой манере, его ум воспарил и озарился множеством идей, нагроможденных Гомером одна на другую, и, переполненный ими, он, воротившись к себе, создал совершенную картину бури [Faydit 1705: 7–8].

Как мы видим, история художника и риторика оказывается вставлена внутрь трактата «О возвышенном» и подогнана под другую цитату из «Илиады». Псевдо-Лонгин действительно разбирает гомеровское описание бури (XV, 624–628) в ряду других примеров «возвышенного, проистекающего из обстоятельств», как обозначает этот раздел Буало²⁵. В итоге художник утрачивает имя и индивидуальность, хотя упоминание «школы риторика» по-прежнему идентифицирует его как обитателя античного мира.

Вне зависимости от того, была ли эта интерполяция сделана самим Фейди или у кого-то заимствована, она отчетливо показывает, как повышение значимости того или иного авторитетного сочинения меняет конфигурацию общих мест, как бы втягивая их в свою орбиту. В результате гомеровская полемика 1714–1716 гг. имеет подспудный «лонгиновский» уклон. Так, судя по описанию тех процессов, которые происходят в уме художника, когда он слушает риторика (а через него — Гомера), и Фейди и г-жа Дасье ориентировались на то объяснение наглядности поэтической речи, которое дается в трактате «О возвышенном»:

Эти образы (images), которые порой называют изображениями (reîntures) или вымыслами (fictions), также являются прекрасным приемом, придающим речам весомости, великолепия и убедительности. В общем смысле слово «образ» обозначает любую мысль, подходящую для выражения, и производящую в уме любое изображение. Но в более узком и ограниченном смысле оно обозначает те речи, когда в состоянии энтузиазма и необычайного душевного порыва нам кажется, что мы видим то, о чем говорим, и помещаем это видение перед глазами слушателей [Longin 1674: 35].

Если спроецировать это рассуждение на анализируемый сюжет, то потрясение и волнение художника должны были быть зеркальным отражением состояния риторика, который, произнося и истолковывая стих Гомера, видимо,

²⁵ См.: [Longin 1674: 25–28]. Здесь и далее все цитаты из Псевдо-Лонгина я привожу по переводу Буало, чтобы подчеркнуть терминологическую преемственность.

приходит в состояние энтузиазма. Этот перформативный аспект чрезвычайно важен, поскольку только звучащее слово способно «заражать» слушателя²⁶. Тот же отец Рапен утверждал, что «знавал одного из самых знаменитых живописцев нашего времени, который, когда собирался приступить к работе, распоряжался, чтобы ему читали Гомера, чтобы вознестись духом» [Rapin 1684: 110–111]. Иначе говоря, ритор — он же интерпретатор — выступает необходимым посредником между античным поэтом и практически любой аудиторией, за исключением его собственной.

Портрет и мумия

В предисловии к переводу «Илиады» г-жа Дасье, объясняя свой выбор прозаической формы — едва ли не самый спорный момент ее труда, — предлагала читателям «образ» (image), наглядно представлявший взаимодействие между подлинником и оригиналом. Этот образ, по сути, являлся микросюжетом, который она конструировала вокруг гомеровской героини, используя альтернативные версии ее биографии:

Предположим, что Елена умерла в Египте и что ее тело, мумифицированное со всем присущим египтянам искусством, сохранилось до наших дней и было привезено во Францию. Эта мумия не вызывала бы того восхищения, с каким была встречена живая Елена по возвращении из Трои, когда народы стекались ей навстречу, дабы узреть эту прославленную красоту, которая восстановила Европу против Азии и превратила Трою в погребальный костер для стольких героев. И все же она пробуждала бы любопытство и приносила бы удовольствие [Homère 1711 (1): xxxvj].

Смысл предположения вполне понятен: французский перевод — это равноценная замена, на которую приходится соглашаться тем, кто не имеет доступа к греческому оригиналу. При этом образ мумии позволяет г-же Дасье подчеркнуть идею сохранения преемственности, пускай за счет «умерщвления» гомеровского стиха, и, по мнению Луи Расина, проявить похвальную переводческую скромность²⁷.

Г-жа Дасье напрямую связывала свое решение прибегнуть к языку образов с тем, что речь идет о Гомере: «Где еще могут быть более к месту образы (images), как не при разговоре об отце поэзии?» [Homère 1711 (1): xxxvj]. Вопрос риторический, но на самом деле не столь простой. На первый взгляд, это прямая апелляция к цicerоновской характеристике Гомера и к процитированному выше рассуждению Псевдо-Лонгина о наглядных образах в поэзии. Однако образ мумии Елены — не просто стилистическая виньетка или пастиш, у него

²⁶ Ср. с существовавшим тогда же представлением об актерской игре как своего рода миметической инфекции: актер, играя персонажа, заражается его страстями и передает их зрителям [Thirouin 2007: 122–140].

²⁷ Как он отмечал в своих «Размышлениях о поэзии» (1747), г-жа Дасье, не претендуя передать Гомера во всем его величии, сравнивает свой труд «с трупом Елены» [Racine 1808: 263]. О значении этого сравнения см. также: [Hayes 2009: 132–134].

есть очевидная прагматическая цель. Г-жа Дасье пытается, наперекор устоявшимся представлениям о превосходстве поэзии над прозой, убедить свою аудиторию, что ее перевод является более верным по отношению к «Илиаде», чем поэтические варианты.

Подспорьем ей опять-таки служит Псевдо-Лонгин, который отделял использование образов в поэзии, где их назначение — «потрясать и изумлять», от их употребления в прозе, где они призваны давать четкие и ясные изображения²⁸. Он признавал, что это мощный риторический инструмент, «ибо внимание всегда привлекает и задерживает то, что блестит и сверкает, и ум слушателя легко увлекается образом, являющимся ему посреди рассуждения, который, поражая воображение, мешает слишком пристально следить за доказательствами...» [Longin 1674: 40]. Иными словами, образы подменяют собой рациональные доводы или по крайней мере помогают маскировать логические провалы. Именно так поступает г-жа Дасье, когда доказывает правомочность прозаического перевода «Илиады»: сперва она выстраивает логические рассуждения, а в конце использует необычный образ, чтобы поразить воображение читателей и закрепить в их умах необходимую мысль.

В сущности, к аналогичной тактике прибегает Клерик в своей побасенке, с той разницей, что поэтическая форма позволяет ему как бы слить воедино обе функции образов: они и изумляют, и подкрепляют — или заменяют собой — логику рассуждения. Причем эффект необычности достигается сугубо рациональным способом за счет модификации привычного представления. Так, образ мумии возникает не только потому, что согласно традиции, зафиксированной у Еврипида и ряда других авторов, настоящая Елена во время Троянской войны находилась в Египте. В его основе лежит характерное для французской словесности XVII–XVIII вв. сравнение перевода с портретированием. Поскольку и переводчик и художник имеют дело с «оригиналом», чей образ должен быть воспроизведен при помощи иных, изначально чуждых ему средств, критерием профессионального мастерства в обоих случаях выступает подобие²⁹. К примеру, в 1656 г. в предисловии к изданию «Краткой римской истории» Франсуа де Ла Мот Ле Вайе сентенциозно замечал: «...перевод — это, собственно говоря, портрет сочинения...»³⁰. Полвека спустя Жак де Турей, посвятивший значительную часть жизни переводу речей Демосфена, писал, что «по сути, переводчик — художник, ограничивающийся копированием» своей модели, причем как можно более точным, но не рабским³¹.

Это сравнение играло роль базовой метафоры, которая затем модифицировалась и уточнялась в зависимости от того, как комментатор оценивал проблему соотношения «духа» и «буквы», т. е. вольного и дословного перевода.

²⁸ См., в частности: [Longin 1674: 36].

²⁹ Согласно авторам фундаментальной «Истории французских переводов», появление таких сравнений свидетельствует об изменении статуса перевода, который начинает восприниматься как искусство [Chevrel et al. 2014: 396].

³⁰ Это издание римской истории Луция Анния Флора основано на переводах, сделанных (в учебных целях) братом короля, наставником которого был Ла Мот Ле Вайе [Florus 1656: n. p].

³¹ Эти слова написаны, по-видимому, в начале 1710-х годов и впервые появляются в посмертном издании [Tourreil 1721: 13]; о последующей судьбе этой формулы см.: [Chevrel et al. 2014: 281–282].

Когда Перро д'Абланкур, один из самых влиятельных и вольных переводчиков середины XVII в., представлял свою версию «Истории» Фукидида, то утверждал: «Это не столько портрет Фукидида, сколько сам Фукидид, как бы посредством метемпсихоза обретший иное тело и из грека преобразившийся во француза...». По его мнению, буквализм умерщвляет: чрезмерно «скрупулезные переводчики лишь подменяют живое тело скелетом и превращают чудо в чудовище» [Thucydide 1662. Sig. iiij, iiij].

Г-жа Дасье, по-видимому, подхватывает это сравнение и, заменив скелет на мумию, превращает его в апологию достоверного — но не дословного — перевода, поскольку мумия частично сохраняет контуры когда-то живого тела. Важно уточнить, что такая органическая преемственность не подразумевает «естественного» сходства копии с оригиналом: в другом месте того же предисловия она подчеркивает, что переводчик «скорее похож на скульптора, который воспроизводит картину, или на живописца, который воспроизводит скульптуру» [Homère 1711 (1): xlij]. Тем не менее ее перевод — не картина и даже не гравюра (как его позднее охарактеризует Луи Расин³²), а именно мумия, поскольку этот образ, в противоположность метемпсихозу д'Абланкура, предполагает сохранение исторической специфики артефакта. Напротив, в «Речи о Гомере» Удар де Ла Мотт предсказуемо ратует за превосходство «духа». По его словам, иные переводчики под стать «грубым ремесленникам, которые способны только наложить гипс на лицо, чтобы добиться точного подобия», что можно воспринимать как намек на снятие посмертной маски. Его же симпатии на стороне тех, кого можно сравнить с «умелым живописцем, который, копируя черты человека, умеет одушевить сходство» [Homère 1714: cxlij–cxliij]. Возврат к базовой метафоре как бы оттеняет рациональность и здравый смысл позиции Ла Мотта и одновременно акцентирует внимание на его профессиональном мастерстве.

Картинная галерея

Когда г-жа Дасье вводит образ мумии, она делает это в форме суппозиции (*suppositio*): «Предположим (*supposons donc*), что Елена умерла...» и т. д. Собственно, используемый ею французский глагол *supposer* как раз указывает на то, что речь идет о допущении, открывающем возможность для дальнейших гипотетических построений. Одновременно он как бы оповещает о подлоге, поскольку логические аргументы подменяются необычными и наглядными «вымыслами»³³. В этом плане апологетические изображения Гомера в качестве художника и представление его произведений в виде «картин», видимо,

³² «Любой прозаический перевод прекрасного поэта есть гравюра картины прекрасного живописца. Мне нравится гравюра картины Рубенса: хотя в ней я не обретаю его во всей полноте, но вижу его замысел (*invention*), рисунок и композицию; однако поскольку я не могу видеть его восхитительных красок, которые все оживляют, то произведение мертво» [Racine 1808: 263].

³³ В основном глагол *supposer* употреблялся в судебно-правовой сфере, когда нечто подлинное заменяется фальшивкой (подмена завещания, контракта) или чужое выдается за свое (подмена ребенка) [Le dictionnaire 1694 (2): 290; Furetière 1690 (3): 615].

можно рассматривать как признак внутренней неуверенности автора в надежности отстаиваемой позиции.

К примеру, летом 1715 г. Жан Буавен, ученый переводчик, хранитель королевской библиотеки и профессор греческого в Коллеж Рояль, выступил в защиту Гомера и г-жи Дасье, опубликовав обширную (и по оценкам современников, не слишком убедительную) «Апологию Гомера и Щит Ахиллеса»³⁴. В частности, отвечая на критику Ла Мотта, отмечавшего, что язык «Илиады» монотонен, поскольку в нем повторяются одни и те же выражения, Буавен писал:

Предположим (*supposons*), что есть галерея, наполненная картинами с разными персонажами, каждая из которых представляет отдельную сцену. На одной я вижу Ахиллеса в гневе <...>, на другой Ахиллес отдает Брисеиду, <...> на третьей снова Ахиллес, но теперь жалующийся своей матери Фетиде <...>. Если вид, жесты, выражение и характер Ахиллеса на всех трех полотнах были бы одними и теми же, <...> то было бы справедливо осудить художника <...>. Но если на них повторяются лишь одежды некоторых персонажей, часть каркаса постройки, абрис дерева, горы или облака, то никто не обратит на это внимание [Boivin 1715: 94–95].

Хотя в заключение Буавен цитирует Горация («*Ut pictura poesis erit*»), очевидно, что основные элементы представленной мизансцены — галерея, картины на гомеровские сюжеты, о которых рассказывает повествователь, — отсылают к «Картинам» Филострата Старшего, сочинению чрезвычайно популярному и много раз переиздававшемуся на протяжении XVI–XVII вв., в том числе и во французском (расширенном и дополненном) переводе. Однако сходство это отчасти обманное, поскольку в отличие от античного автора, сопоставлявшего поэтические описания с живописными изображениями³⁵, Буавен сам превращает эпизоды поэмы в серию полотен. Такая подмена как бы придает объективности его «картинам» и позволяет продемонстрировать законный характер мелких совпадений художественных деталей. Парадокс состоит в том, что, несмотря на последовательную защиту «Илиады», самого Буавена несомненно смущали гомеровские повторы, которые он был вынужден отнести на счет поэтической небрежности³⁶.

Однако ученый критик, по-видимому, преследует здесь еще одну цель, поскольку в «Речи о Гомере» Ла Мотт как раз выступал против уравнивания словесных и живописных изображений, тоже приводя в пример воображаемую картину с Ахиллесом:

³⁴ Привилегия зарегистрирована 4 июля 1715 г. Апробация подписана Гийомом Масье, еще одним профессором греческого из Коллеж Рояль, известным переводчиком и к тому времени уже членом Академии.

³⁵ Для меня в данном случае не существенно, в какой мере картины Филострата были воображаемыми или реальными, поскольку речь идет о риторической диспозиции. Об интерпретации Филостратом гомеровских сюжетов см., в частности: [Prioux 2021].

³⁶ См.: «Похоже что в этом, как и во многом другом, Гомер не снисходил до неблагодарного труда слишком тщательных исправлений» [Boivin 1715: 93–94].

Если поэт выбирает бесполезный или неприятный сюжет, то это вызывает у меня лишь скуку и отвращение; меж тем как осуждая художника за выбор сюжета, я тем не менее могу восхищаться совершенным сходством тех предметов, которые он отобрал для картины. К примеру, чтобы не отвлекаться от Гомера, когда он рисует Ахиллеса, собственноручно готовящего трапезу к приходу посланников Агамемнона, когда он показывает мне его исполняющим обязанности повара, меня это неприятно поражает <...>; меж тем как картина, изображающая Ахиллеса в таком положении <...> все же может быть достойной восхищения правдивостью рисунка и красок... [Homère 1714: lxxj–lxxij].

Иначе говоря, в поэме сюжет превалирует над искусством слова, которое не способно перебить впечатление от «неприятного» эпизода, а в случае живописного изображения собственно художественная техника обладает гораздо большей степенью автономии. Эта попытка поставить под вопрос принцип «ut pictura poesis», показав разницу в восприятии вербального и визуального произведения, дополнительно объясняет, почему он так важен для гомеровской апологетики. Превращая «Илиаду» в ряд картин, Буавен как бы освобождает ее образы от тех недостатков, которые связаны с гомеровской стилистикой. Его галерея — не столько объяснение, сколько отвлекающий маневр, заставляющий забыть и о предложенном Ла Моттом изображении Ахиллеса в виде повара, и об отсутствии у самого Буавена внятных доводов в пользу того, почему гомеровские эпитеты имеют право на существование.

Если у Буавена условное «живописное изображение» скрадывает вербальные изыскания «Илиады», то в других случаях этот прием может использоваться противоположным образом, выявляя абсурдность тех претензий, которые к ней предъявляются. К примеру, в «Примирительном исследовании спора о Гомере», вышедшем в свет уже в 1716 г.³⁷, ученый-ориенталист Этьен Фурмон указывал на неуместность этической оценки поведения гомеровских героев, осуждаемых Ла Моттом и его сторонниками за грубость, жестокость и пр.:

Если этот герой не жесток, то он безусловно человечен; однако если все они человечны, то что будет с разнообразием моей поэмы? Не станет ли она утомительно монотонна? что можно сказать о художнике, который решил нарисовать картину одной краской, или на одном полотне изобразит одни носы, глаза, или даже целиком лица? его примут за сумасшедшего или за человека, ничего не смыслящего в искусстве, особенно если он осмеливается выдавать полотно, на котором изображены одни глаза и пр., за совершенную и гармоничную картину. Однако г-н де Ла Мотт требует от Гомера подобного безумия... [Fourmont 1716: 234–235].

³⁷ Интересно, что апробация была дана 20 июля 1715 г. (подписана Филибер-Бернаром Моро де Мотуром, юристом, поэтом и историком-антикварием), а привилегия зарегистрирована в начале августа 1715 г., т. е. либо книга дополнялась, либо публикация по каким-то причинам была отложена. Анализ позиции Фурмона см. в [Hayes 2009: 128–129].

По сути, Фурмон оборачивает идею неполноценности гомеровских образов против критиков, которые ее выдвигают. Клерик в своей побасенке как бы визуализировал моральное уродство эпических героев, а Фурмон, переводя проблему в сферу эстетики, показывает, что одинаково добродетельные персонажи будут еще более ущербны: если в первом случае это калеки, у которых нет рук, ног, глаз, носов и пр., то во втором от них останутся одни носы и глаза.

Как следует из названия сочинения, Фурмон старался придерживаться взвешенной позиции, находя правоту в доводах обеих сторон и равно критикуя их за преувеличения. Результат был не слишком убедителен, в отличие от аналогичной попытки преподобного Клода Бюфье, историка, лексикографа и философа, ратовавшего за неукоснительное следование здравому смыслу. В небольшом эссе «Гомер на арбитраже», вышедшем в конце мая 1715 г.³⁸, он опять-таки возвращается к теме моральной ущербности героев «Илиады», используя при этом сравнение с живописью, что дополнительно свидетельствует об устойчивости ассоциации (утверждение неполноценности героев или сочинения → визуализация их состояния). Однако в его переработке это общее место превращается в аналитический инструмент:

Действительно, даже если герои Гомера были неразумными и неотесанными, если он изобразил их такими, какими они были или какими их представляли в его время, то изъян не в изображении, а в изображенном предмете. Представим себе прекрасного художника, жившего в те времена, когда архитектура еще была бесформенной. Если он великолепно запечатлел дворец, пускай грубый и плохо задуманный по нашим современным меркам, разве его картина не будет прекрасной? Возможно, ответят мне, но картина столь же хорошо нарисованная и изображающая дворец, выстроенный по всем правилам архитектуры, будет еще лучше. Вот это «лучше» я считаю произвольным и относительным с точки зрения живописи, если образ в обоих случаях запечатлен идеально: первая картина будет лучше для тех, кто хочет увидеть изображение дворца, сделанное в прошлом и во вкусе того времени, а вторая — для тех, кто хочет видеть изображение дворца, выполненное сейчас и в современном вкусе [Buffier 1715: 34–35].

Бюфье, как и Ла Мотт, отделяет живописную технику от предмета изображения, подчеркивая исторический характер последнего. Если мастерство художника остается одним и тем же — а обе стороны полемики, как правило, признавали такую возможность, — то его нельзя винить за изображение доступной ему реальности. Здесь Бюфье безусловно солидарен с г-жой Дасье. Но он отказывается быть втянутым в спор об эстетическом идеале, проводя еще одно методическое различие, на сей раз между мастерством живописца и вкусом зрителя.

³⁸ Аprobация подписана ученым медиком Никола Андрю де Буарегар, считающимся родоначальником паразитологии, и датирована 8 мая; привилегия зарегистрирована 20 мая 1715 г.

Палец Микеланджело

Обсуждение техники изображения вплотную подводит нас к вопросу о том, с каким художником можно сравнить автора «Илиады». На него дает ответ еще одно апологетическое сочинение, «Отмщенный Гомер, или Ответ г-ну де Ла Мотту по поводу “Илиады”», которое вышло в свет весной 1715 г., где-то за месяц до труда Бюфье³⁹. Оно принадлежало перу поэта-сатирика Франсуа Гакона и, в отличие от ученых трактатов, каковыми в основном являлись обсуждаемые выше публикации, было обращено к светской публике. На это указывает его форма — письма к условному адресату, в которых прозаические рассуждения чередуются со стихотворными вставками. Это не мешало Гакону яростно (или, как с некоторым раздражением прокомментировал цензор, «с излишней живостью»⁴⁰) нападать на Ла Мотта и его сторонников. В частности, среди многочисленных стихотворных опусов собственного изготовления он предлагал читателям аллегорическую басню «Художник и двое учеников». Ее сюжет был таков: некий умелый, но тщеславный живописец ставил себя выше Рафаэля, которого постоянно критиковал. У него в мастерской висело полотно великого итальянца, с которого один из подмастерьев снял копию, как бы исправив оригинал:

...où critique insolent,
Il supprima d'abord les deux tiers des figures;
Et pour en adoucir les expressions dures,
Y répandit un air plus tendre & plus galant.
[Gacon 1715: 54]

...наглый критик,
Он сперва убрал две трети фигур,
И, чтобы смягчить слишком суровые черты,
Придал им более нежный и галантный вид.

Другой подмастерье сказал, что это чистый перевод красок, «...голову мавра не отмыть добела, только мыло изведешь», и поэтому написал статью, в которой доказывал, что Рафаэль ни в каком отношении гроша ломаного не стоит. Когда они попросили мэтра решить, кто из них прав, он похвалил обоих и вынес их работы на суд Академии; на ее собрании художники исключили из своих рядов гонителя Рафаэля и запретили его ученикам показываться им на глаза.

В этой прозрачной аллегории, переносящей литературную полемику в сферу живописного искусства, наиболее любопытно то, каким художником оказывается автор «Илиады». Как поясняет Гакон, «Гомер — это Рафаэль поэзии, а Рафаэль — Гомер живописи» [Gacon 1715: 55]. Избитая формула (X из одной сферы эквивалентен Y из другой) как бы закрепляет сравнение, которое, как язвительно отмечал выходивший в Гааге «*Journal littéraire*» («Литературный журнал»), по сути ничего не значит⁴¹. Его генезис вполне понятен: в

³⁹ Привилегия была зарегистрирована 15 апреля 1715 г., про апробацию см. ниже примеч. 40.

⁴⁰ Апробация была подписана еще 9 января 1715 г. Жан-Батистом Кутюром, профессором латинской элоквиции Коллеж Рояль, которому книга Гакона явно была неприятна.

⁴¹ Критический разбор книги Гакона заканчивается доносом на цензора, давшего апробацию: «Безусловно, аббат Кутюр не прочитал эту книгу от начала до конца <...> я доношу г-ну Канцлеру, что это человек, недостойный своей должности». См. соответственно: [Journal littéraire 1715: 443, 464].

эстетических сочинениях эпохи античный поэт и ренессансный живописец часто оказывались рядом как образцовые представители своих искусств. Так, в связи с описанием щита Ахиллеса — постоянной мишени критики со стороны рационалистов — г-жа Дасье указывала, что Гомер оживляет изображенные на нем фигуры точно так же, как «мы всегда их оживляем при объяснении картины Рафаэля или Пуссена» [Homère 1711 (3): 479]. Эта мысль в близких выражениях была ранее высказана ее мужем, Андре Дасье, в комментариях к его переводу «Поэтики» Аристотеля, вышедшему в 1692 г.⁴² А если снова обратиться к «Размышлениям о поэзии» Луи Расина, то он утверждал, что «в живописи Рубенс идет по стопам Рафаэля, как Вергилий идет по стопам Гомера» [Racine 1808: 459]⁴³. Однако аналогия необязательно предполагала прямую идентификацию поэта с живописцем. Настаивая на ней, Гакон апеллировал к еще одному ассоциативному ряду, связанному с репрезентацией Рафаэля как сторонника «древних».

Почти за полвека до гомеровской полемики поэт и драматург Жан Демаре де Сен-Сорлен, когда-то один из «соавторов» кардинала де Ришелье, на излете своей карьеры опубликовал трактат «Сравнение французского языка и поэзии с греческим и латинским» (1670). Не отрицая достоинств древних авторов и признавая совершенство античной живописи и скульптуры, Демаре настаивал на «естественной красоте» французского языка, связанной с отсутствием сложносоставных слов, за злоупотребление которыми он, в частности, корил Гомера [Desmarets de Saint-Sorlin 1670: 18]. По его мнению, французская поэзия остается недооцененной из-за того, что судят ее в основном ученые, привыкшие к латыни и греческому, а потому не имеющие вкуса к новым «яствам». Между тем нет никаких причин, почему современные поэты не могут стоять вровень с античными:

Если бы кто-нибудь сказал Микеланджело, что ни один скульптор его времени не может сравниться с древними, он бы посмеялся над ним, как когда-то посмеялся над Рафаэлем из Урбины, превосходным живописцем, который был тогда назначен судить древности, которые временами находили при раскопках римских руин. Микеланджело тайне высек статую Вакха, у которой отбил руку и запер в своей мастерской; затем тайком схоронил ее в какой-то развалине, и через некоторое время ее как бы случайно обнаружили рабочие. Все сбегались, чтобы посмотреть на это великое открытие и высказать свое мнение; Рафаэль был призван с другими известными знатоками и рассудил, что это античная статуя. Микеланджело возразил, что это современная скульптура, но Рафаэль продолжал настаивать, что античная, причем одна из прекраснейших. Наконец Микеланджело

⁴² «Объясняя картину Рафаэля или Пуссена, как можно удержаться от того, чтобы оживить изображенные фигуры и позволить им говорить в соответствии с замыслом художника» [Aristote 1692: 492–493]. Речь идет опять-таки о щите Ахиллеса.

⁴³ Упоминание Рафаэля и Пуссена (см. выше примеч. 42) и Рафаэля и Рубенса показывают, что в споре «пуссенистов» и «рубенсисов» ученые — защитники Гомера — вполне могли оказываться в разных лагерях. Об интересе сторонников «древних» к визуальным искусствам см.: [Fumaroli 2013: 446–447]. Пользуюсь случаем поблагодарить за подсказку И. А. Доронченкова.

послал в свою мастерскую за отбитой рукой, и когда ее приставили, стало понятно, что она принадлежит этой статуе, и он признался, что это его Вакх. Так он посмеялся над судьями и над общим предубеждением, что уважения заслуживает лишь Античность и что современность ее не достойна. Теперь его произведения ценятся так же высоко, как и античные скульптуры [Desmarests de Saint-Sorlin 1670: 28–29].

Этот анекдот был впервые зафиксирован в 1597 г. Жан-Жаком Буассаром, который изложил его в своем труде о римских древностях и достопримечательностях. Рассказывая о Палаццо делла Канчеллерия, он упоминает статую Вакха, которую на протяжении нескольких десятилетий можно было видеть в располагавшихся неподалеку садах банкира Якопо Галли, и приводит историю ее создания. Примечательно, что в его варианте Микеланджело, решив отобрать у Рафаэля славу первого художника Рима, не только отбивает у статуи руку, но и высекает свое имя на основании, а затем маскирует надпись. Таким образом, он доказывает свое авторство двойным способом, при помощи визуальных и вербальных индикаторов. От Буассара история об отбитой руке Вакха попадает в путеводитель по Италии и Риму Франциска Шотта (Скотуса)⁴⁴ и далее начинает циркулировать по самым разным текстам. Не исключено, что параллельно продолжалось и ее устное распространение. Скажем, в 1683 г. льежский каноник Моро излагал тот же сюжет как «рассказ, слышанный от одного старого художника» и показывающий, что «во всех искусствах царит зависть» [Moreau 1683: 332–333].

Трудно сказать, откуда конкретно его заимствовал Демаре. В любом случае он использовал этот пример как бы наперекор своим убеждениям, поскольку считал, что словесные и изобразительные искусства построены на разных принципах. Первое изобретает, а второе подражает неизменной природе, и именно поэтому античная и современная живопись и скульптура равно способны достигать совершенства⁴⁵. Это означало, что мистификация Микеланджело при всей ее наглядности не могла быть напрямую спроецирована на литературную ситуацию, что Демаре с сожалением признавал⁴⁶. Тем не менее он использовал ее для критики ученого педантизма, не способного выйти за пределы узкой сферы затверженного знания. Олицетворением такого отношения к искусству оказывается Рафаэль, которому его предубеждения не позволяют опознать подделку.

Книга Демаре более не переиздавалась, но была не до конца забыта. Так, г-жа Дасье указывала на нее как на возможный источник идей Ла Мотта⁴⁷, а Гакон упоминал ее автора в числе противников Гомера [Gacon 1715: 149, 204]. Однако от Демаре этот анекдот попал в сочинение гораздо более известное и популярное, «Новые разговоры в царстве мертвых» Фонтенеля. В издании 1684 г., сильно расширенном по сравнению с первым, в одном из добавленных

⁴⁴ Судя по текстуальным совпадениям, Шотт либо заимствовал ее у Буассара, либо у них был общий источник. См.: [Schottus 1600: 206].

⁴⁵ См., в частности: [Desmarests de Saint-Sorlin 1670: 8].

⁴⁶ Об этом см.: [Desmarests de Saint-Sorlin 1670: 29–30].

⁴⁷ При этом она утверждала, что книга полностью забыта и один из ее друзей с трудом нашел ее в библиотеке под слоем пыли [Dacier 1714: 6–8].

диалогов фигурирует Рафаэль, который беседует со Стратоном о предубеждениях. В качестве примера он как раз рассказывает про свой спор с Микеланджело о происхождении якобы древней статуи. Но в отличие от канонического варианта, где у Вакха отбита рука, у Фонтенеля речь идет об одном пальце. Рафаэль, судивший «главным образом по красоте статуи, согласно принципам искусства, достойной быть делом рук греков», приписывает ее Поликету или Фидию. «В конце концов Микеланджело показал мне отломанный палец, на что возразить было нечего» [Fontenelle 1687: 207]. Этот жест комичен и оскорбителен вне зависимости от того, был ли это средний палец⁴⁸ или нет, поскольку отсылает к французскому выражению «показать пальцем» (*montrer au doigt*), означающему «поднять на смех»⁴⁹. Иными словами, Фонтенель руками Микеланджело — этого «антагониста древних художников и корифея всех новых», как язвительно писал о нем Фреар де Шамбре [Freart de Chambray 1662: 65], — наглядно демонстрирует свое отношение к «древним».

Как мне представляется, анекдот о Микеланджело является прототипическим по отношению к опусу Гакона и в особенности к побасенке Клерика. Во всех трех случаях речь идет о конфликте вокруг изображения, которое как бы принадлежит и «древним» и «новым», причем переход из одной категории в другую связан с отсеканием лишних или с приставлением недостающих частей. Конечно, когда Гакон заменяет «Илиаду» на картину Рафаэля, он совершает уже знакомый нам риторический подлог: по сравнению с античными произведениями картина почти не испытала губительного воздействия времени, и ее «исправление» не имеет никаких оправданий. Намек на вандализм, пускай чисто символический, совершаемый посредством копирования, несомненно направлен на то, чтобы возмутить читателя. Любопытно, что Клерик в своей побасенке тоже исключает фактор разрушения под воздействием времени, но совершенно из других соображений. Он постулирует, что то состояние, в котором его современники находят античные скульптуры, является исходным, т. е. что они изначально были незаконченными и лишь стараниями более умелых художников, будь то римляне или мастера последних веков, обрели истинную красоту. Его позиция оказывается риторически более успешной (одновременная публикация сразу в двух журналах) не только потому, что сконструированный им образ необычен, ярок и понятен без длинных объяснений, но и в силу того, что он как бы подкреплен реальной практикой реставрации (а иногда радикального восстановления, как это было с «Лаокооном») греческих статуй или, чаще, их римских копий.

Вместо заключения

Когда фонтенелевский Микеланджело показывает Рафаэлю мраморный палец, отломанный от мнимой античной статуи, то тем самым предоставляет доказательство, которое не допускает возражений (*un raisonnement sans réplique*). Не случайно, что из французских версий анекдота полностью исче-

⁴⁸ Об оскорбительности демонстрации среднего пальца напоминает в «Иероглифике» (1556) Пиерио Валериано Больцани [Bolzani 1575: 261*].

⁴⁹ См., в частности: [Le dictionnaire 1694 (1): 339].

зает упоминание о надписи на постаменте (которое было у Буассара) и остается только указующий жест. В сущности, это идеальное воплощение того, как должен функционировать визуальный образ, который, будучи помещен перед глазами оппонента, прекращает спор. Для этого он должен становиться все более наглядным и как бы материальным, превращаясь в картину или статую, причем лучше реально существующую, как «Вакх», который служит связующим звеном между риторическим топосом и действительностью. В конце концов его местонахождение известно, описано, и любой человек может, добравшись до Рима, убедиться в правоте и мастерстве Микеланджело.

Конечно, речь с самого начала идет о дискурсивном фантоме. Когда Буассар опубликовал свой труд, в садах Галли уже не было «Вакха», который был куплен Медичи и перевезен во Флоренцию еще в 1572 г. Была ли у него отломана рука — вопрос, который до сих пор вызывает споры у специалистов. С одной стороны, первые биографы Микеланджело, включая Асканио Кондиви, который рассказывает о «Вакхе», виденном им в Риме, этой детали не упоминают. С другой, существуют две зарисовки статуи с отломанной рукой, одна 1530-х годов, принадлежащая Мартену ван Хемскерку, другая — анонимная, датирующаяся примерно серединой XVI в.⁵⁰ При этом, как уточняет Леонард Баркан, после 1550-х годов ее более никогда не изображают поврежденной⁵¹. Если отвлечься от собственно научной проблемы, это примечательный образчик риторической убедительности визуального образа. Не вызывает сомнений, что сам по себе анекдот недостоверен: в 1496–1497 гг., когда Микеланджело работал над «Вакхом», о славе Рафаэля, как и о его присутствии в Риме, говорить не приходится⁵². И вся история с отломанной рукой была бы полностью сброшена со счетов, если бы ее частично не подтверждали рисунки. Их наличие заставляет исследователей выстраивать различные сценарии того, как и почему «Вакх» сперва лишился руки, а затем ее обрел⁵³. Обратное предположение, что анекдот мог рассказываться по поводу неповрежденной статуи и повлиять на ее изображения, встречается существенно реже: *ut pictura poesis erit*.

Источники

Страбон 1944 — Страбон. География / Пер., ст. и коммент. Г. А. Стратановского; Под общ. ред. С. Л. Утченко. М.: Ладомир, 1994.

⁵⁰ См. их воспроизведение в [Barkan 1999: 203, 205].

⁵¹ Его анализ того, что могло стоять за этой намеренной фрагментацией см.: [Barkan 1999: 201–207].

⁵² Краткий обзор документально подтвержденных обстоятельств, связанных с созданием «Вакха», см. в [Hirst, Dunkerton 1994: 29–35]. Анекдот, как это свойственно нарративам такого типа, как бы «спрессовывает» время, совмещая момент создания «Вакха» во время первого пребывания Микеланджело в Риме с более поздним периодом его работы в Ватикане, где после 1509 г. также трудился Рафаэль.

⁵³ См., в частности, визуально-ориентированную версию истории у Винда, который полагал, что современное состояние скульптуры — следствие неудачного восстановления ее целостности и что рисунки как раз документируют этапы «реставрации» [Wind 1958: 147–157].

- Цицерон 1975 — *Марк Туллий Цицерон. Избранные сочинения* / Сост. и ред. М. Гаспарова, С. Ошерова, В. Смирнова; Вступ. ст. Г. Кнабе. М.: Худ. лит., 1975.
- Aristote 1692 — *La Poetique d'Aristote contenant les regles les plus exactes pour juger du Poëme Heroïque, & des Pieces de Theatre, la Tragedie & la Comedie* / Trad. en François, avec des Remarques Critiques sur tout l'Ouvrage par Mr. Dacier. Paris: Claude Barbin, 1692.
- Boissard 1597 — *Boissard J.-J. I Pars Romanae urbis topographiae & antiquitatum, qua succincte & breviter describuntur omnia quae tam publice quam privatim videntur animadversione digna*. Francoford: Theodorus de Bry, 1597.
- Bolzani 1575 — *Bolzani P. V. Hieroglyphica, sive de Sacris Ægyptiorum literis commentarii Ioannis Pierii Valeriani Bolzanij Bellunensis*. Basile: Per Thomam Gvarinvm, 1575.
- Boivin 1715 — *Boivin J. Apologie d'Homère et bouclier d'Achille*. Paris: François Jouenne, 1715.
- Buffier 1715 — *Buffier Cl. Homere en arbitrage*. Paris: Pierre Praul, 1715.
- Catalogue 1748 — *Catalogue de la bibliotheque de feu M. Burette*. Paris: G. Martin, 1748.
- Cléric 1703 — *Pièces de poésie présentées à l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse pour les prix de l'année M DCC III* / Par le P. Cléric. Toulouse: Antoine Pech, 1703.
- Cléric 1715 — *Cléric P. Conte // Nouveau Mercure galant*. 1715. Octobre. P. 101–110.
- Dacier 1714 — *Dacier A. Des causes de la corruption du goust*. Paris: Aux dépens de Rigaud, 1714.
- Desmarets de Saint-Sorlin 1670 — *Desmarets de Saint-Sorlin J. La Comparaison de la langue et de la poésie française, avec la grecque et la latine: et des poètes grecs, latins & français*. Paris: Louis Billaine, 1670.
- Faydit 1705 — *Faydit P. V. Remarques sur Virgile et sur Homère, et sur le stile poétique de l'Ecriture-Sainte; où l'on réfute les inductions pernicieuses que Spinoza, Grotins et Mr le Clerc en ont tirées, et quelques opinions particulières du Père Mallebranche, du Sieur l'Elevel et de M. Simon*. Paris: Jean et Pierre Cot, 1705.
- Florus 1656 — *Florus. Epitome de l'Histoire Romaine* / Fait en quatre livres et mis en François sur les traductions de Monsieur, Frere unique du Roy. Paris: Augustin Courbe, 1656.
- Fontenelle 1687 — *Fontenelle B. de. Nouveaux dialogues des morts. Premiere partie*. Amsterdam: Abr. Wolfgang, 1687.
- Fourmont 1716 — *Fourmont É. Examen pacifique de la querelle de Madame Dacier et de Monsieur de la Motte sur Homere / Avec un traité sur le poeme epique et la critique des deux Iliades, et de plusieurs autres poèmes*. T. 1. Paris: Jacques Rollin, 1716.
- Freart de Chambray 1662 — *Freart de Chambray R. Idée de la perfection de la peinture démontrée par les principes de l'art et par des exemples, etc*. Mans: J. Ysambart, 1662.
- Furetière 1690 — *Furetière A. Dictionnaire universel, contenant généralement tous les mots François tant vieux que modernes, et les termes de toutes les sciences et des arts*: 3 t. La Haye: A. et R. Leers, 1690.
- Gacon 1715 — *Gacon Fr. Homere vengé, ou Reponse à m. de La Motte sur l'Iliade*. Paris: Etienne Ganeau, 1715.
- Heinsius 2001 — *De constitutione tragœdiæ / La constitution de la tragédie, dite La Poétique d'Heinsius*; Éd., trad. et notes par Anne Duprat. Genève: Droz, 2001.
- Homère 1711 — *L'Iliade d'Homere* / Trad. en François, avec des remarques par Madame Dacier. Paris: Rigaud, 1711.
- Homère 1714 — *L'Iliade: Poème avec un discours sur Homere* / Par monsieur de la Motte, de l'Academie Française. Paris: J. Dupuis, 1714.
- Journal littéraire 1715 — *Journal littéraire de l'année*. [La Haye: T. Johnson]. M.DCC.XV. T. 6. 1715.

- Le dictionnaire 1694 — Le dictionnaire de l'Académie françoise, dédié au Roy: 2 t. Paris: J. B. Coignard, 1694.
- Longin 1674 — *Longin*. Traité du sublime ou du merveilleux dans le discours, traduit du grec // Oeuvres diverses du sieur D*** / Avec le Traité du sublime ou du merveilleux dans le discours; Trad. du grec de Longin. Paris: D. Thierry, 1674.
- Moreau 1683 — *Moreau B.* Considérations morales tirées des ouvrages de la nature et de l'art. Liege: Streel, 1683.
- Nouveau Mercure galant 1715 — Nouveau Mercure galant. 1715. Octobre.
- Nouvelles Littéraires 1715 — Nouvelles Littéraires contenant ce qui se passe de plus considérable dans la république des lettres. T. 2. La Haye: Henri du Sauzet, 1715.
- Racine 1808 — *Racine L.* Œuvres. T. 2. Paris: Le Normant, 1808.
- Rapin 1684 — *Rapin G.* Les Réflexions sur l'éloquence, la politique, l'histoire et la philosophie, avec le jugement qu'on doit faire des auteurs qui se sont signalez dans ces quatre parties des belles-lettres. Paris: François Muguet, 1684.
- Schottus 1600 — *Schottus Fr.* Itinerarii Italiae rerumque Romanarum libri tres. Amsterdam: Apud Joannem Moretum, 1600.
- Thucydide 1662 — *Thucydide*. L'Histoire de la guerre du Péloponèse / Continué par Xénonphon; De la traduction de N. Perrot, sr d'Ablancourt. Paris: Courbe, 1662.
- Tourreil 1721 — Oeuvres de Monsieur de Tourreil, de l'académie royale des inscriptions et belles lettres, et l'un des quarante de l'academie françoise. T. 3. Paris: Michel Brunet, 1721.

References

- Barkan, L. (1999). *Unearthing the past: Archaeology and aesthetics in the making of Renaissance culture*. Yale Univ. Press.
- Cammagré, G. (2010). De l'avenir des Anciens. La polémique sur Homère entre Mme Dacier et Houdar de La Motte. *Littératures classiques*, 72(2), 145–156. (In French).
- Chevrel, Y., Cointre, A., & Tran-Gervat, Y.-M. (Eds.). (2014). *Histoire des traductions en langue française. XVIIe et XVIIIe siècles: 1610–1815*. Verdier. (In French).
- Faniez, A. de (1885). Notice sur le R. P. Cléric, jésuite. *Bulletin de Société archéologique, scientifique et littéraire de Béziers. Deuxième série*, 13, 65–82. (In French).
- Fumaroli, M. (1986). Rhétorique d'école et rhétorique adulte: Remarques sur la réception européenne du traité 'Du Sublime' au XVIe et au XVIIIe siècle. *Revue d'Histoire Littéraire de La France*, 86(1), 33–51. (In French).
- Fumaroli, M. (2013). *Le sablier renversé. Des Modernes aux Anciens*. Gallimard. (In French).
- Graziani, Fr. (2009). L'art de comparer. *Dix-septième siècle*, 245(4), 585–591. (In French).
- Green, L. D., & Murphy, J. J. (2006). *Renaissance rhetoric: Short title catalogue 1460–1700* (2nd ed.). Ashgate.
- Hayes, J. C. (2009). *Translation, subjectivity, and culture in France and England, 1600–1800*. Stanford Univ. Press.
- Hepp, N. (1969). *Homère en France au XVIIIe siècle*. Klincksieck. (In French).
- Hirst, M., & Dunkerton, J. (1994). *Making and meaning: The Young Michelangelo. The artist in Rome, 1496–1501*. The National. Gallery.
- Lecoq, A. M. (Ed.) (2001). *La Querelle des Anciens et des Modernes, XVIIe–XVIIIe siècles*. Gallimard. (In French).
- Lee, R. W. (1967). *Ut Pictura Poesis: The humanistic theory of painting*. W. W. Norton & Co., Inc.

- Norman, L. F. (2011). *The shock of the ancient: Literature & history in early modern France*. Univ. of Chicago Press.
- Palagia, O. (1980). *Euphranor*. Brill.
- Prioux, Év. (2021). Rivaliser avec les “tableaux” d’Homère: les références à l’*εἰδωλοποιία* de l’*Iliade* dans les Images de Philostrate l’Ancien. *Aitia*, 11(2). <http://journals.openedition.org/aitia/8685>. <https://doi.org/10.4000/aitia.8685>. (In French).
- Reitsam, D. D. (2021). *La Querelle d’Homère dans la presse des Lumières: L’exemple du Nouveau Mercure galant*. Narr Francke Attempto. (In French).
- Simonsuuri, K. (1979). *Homer’s original genius: Eighteenth-century notions of the early Greek epic (1688–1798)*. Cambridge Univ. Press.
- Thirouin, L. (2007). *L’aveuglement salutaire. Le réquisitoire contre le théâtre dans la France classique*. Honoré Champion. (In French).
- Webb, R. (1999). *Ekphrasis ancient and modern: The invention of a genre*. *Word & Image*, 15(1), 7–18.
- Wind, E. (1958). *Pagan mysteries in the Renaissance*. Yale Univ. Press.

* * *

Информация об авторе

Information about the author

Мария Сергеевна Неклюдова

PhD

зав. Лабораторией историко-культурных исследований, Школа актуальных гуманитарных исследований, Институт общественных наук, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Россия, 119571, Москва,
пр-т Вернадского, д. 82
Тел.: +7 (499) 956-96-48
✉ neklyudova-ms@ranepa.ru

Maria S. Neklyudova

PhD

Head of the Centre for Studies in History and Culture, School for Advanced Studies in the Humanities, Institute for Social Sciences, The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
Russia, 119571, Moscow,
Prospect Vernadskogo, 82
Tel.: +7 (499) 956-96-48
✉ neklyudova-ms@ranepa.ru

М. Ю. Реутин

ORCID: 0000-0003-4096-9687

✉ mreutin@mail.ru

*Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
(Россия, Москва)*

ФЕНОМЕН АВТОАГИОГРАФИИ: К ВОПРОСУ О ЗАМЕНЕ СУБЪЕКТНОСТИ В ХРИСТИАНСКОЙ МИСТИКЕ

Аннотация. В статье предпринимается попытка осмыслить феномен религиозного сознания. Ставится задача описать как имманентный опыт, психотехнику (работу над собой), то, что само себя понимает и описывает на своем языке с помощью метафизических понятий. Введение посвящено так называемому «Надгробному слову» московского священника Алексея Мечёва, в свое время проанализированному П. А. Флоренским и В. Н. Топоровым. Непонятным и интригующим в «Слове» является то, что оно составлено себе самому в самом похвальном ключе (а отнюдь не в смиренном тоне, как ожидалось бы) и по существу представляет собой прославление себя самого как святого. В частях I и II предлагаемой статьи этот же феномен рассмотрен на материале сочинений немецкой мистики XIV в.: автобиографии «Vita» констанцского мистика Генриха Сузо (1295/1297–1366) и дневниковых записок цюрихской визионерки Элсбет фон Ойе (ум. 1341/1342), дошедших до нас в подлиннике. И в первом, и во втором случае мы обращаем внимание на феномен двойного голосоведения, когда с самыми уничижительными и смиренными самооценками соседствуют высказывания, наделенные перформативной властью и лишённые всякого сомнения в полной и безоговорочной правоте. Так выглядит замена субъектности: по мере устранения человеческой субъектности харизматика в нем разворачивается субъектность Бога, божественной «искорки» — находящейся в нем, однако иноприродной харизматику эманации Бога, по отношению к которой сам харизматик выступает как инструмент. Не ставящее себе никаких пределов, императивное и безапелляционное обнаружение «искорки» в смиренном самом по себе харизматике соответствует прославлению себя в «Надгробном слове» отца А. Мечёва, что подчеркивается в заключении и эксплицируется в выводах.

Ключевые слова: религиозная практика, психотехника, замена субъектности, Я и сверх-Я, двухчастное строение сознания, двойное голосоведение, восполнение (компенсация), mors mystica, мифопоэтический ряд, эманация

Благодарности. Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС.

Для цитирования: Реутин М. Ю. Феномен автоагиографии: к вопросу о замене субъектности в христианской мистике // Шаги/Steps. Т. 9. № 4. 2023. С. 94–116. <https://doi.org/10.22394/2412-9410-2023-9-4-94-116>.

*Статья поступила в редакцию 2 марта 2023 г.
Принято к печати 3 апреля 2023 г.*

Shagi / Steps. Vol. 9. No. 4. 2023
Articles

M. Yu. Reutin

ORCID: 0000-0003-4096-9687

✉ mreutin@mail.ru

*The Russian Presidential Academy
of National Economy and Public Administration
(Russia, Moscow)*

THE PHENOMENON OF AUTOHAGIOGRAPHY: ON THE QUESTION OF THE REPLACEMENT OF SUBJECTIVITY IN CHRISTIAN MYSTICISM

Abstract. The article attempts to comprehend the phenomenon of religious consciousness. The aim is to describe, as an immanent experience, psychotechnics (work on oneself) — that which understands itself and describes itself in its own language with the help of metaphysical concepts. The introduction considers the so-called “Eulogy” of Moscow priest Alexei Mechev, previously analyzed by P. A. Florensky and V. N. Toporov. What is incomprehensible and intriguing about the “Eulogy” is that it is composed to himself and by himself in the most commendable way (and by no means in a humble tone, as one would expect) and essentially is a glorification of oneself as a saint. In parts I and II of the article, the same phenomenon is examined on the basis of works of 14th century German mystics: the autobiography “Vita” by the Constance mystic Heinrich Suso (1295/1297–1366) and the diary notes of the Zurich visionary Elsbeth von Oye (d. 1341/1342), which have survived in the original. In both the first and the second case, attention is paid to the phenomenon of double voicing, when statements endowed with performative power and devoid of any doubt about their complete, unconditional rightness are adjacent to the most derogatory and humble self-assessments. This is what the replacement of subjectivity looks like: as the human subjectivity of the charismatic is eliminated, the subjectivity of God, the divine “spark” unfolds

in him: the emanation of God that is in him, which, however, is of another nature than the charismatic, in relation to which the charismatic himself acts as an instrument. Setting itself no limits, the imperative and categorical discovery of a “spark” in a humble charismatic corresponds to the glorification of oneself in Father A. Mechev’s “Eulogy”, which is emphasized in the Conclusion and explicated in several findings.

Keywords: religious practice, psychotechnics, substitution of subjectivity, Self and Super-Self, two-part structure of consciousness, double voicing, replenishment (compensation), mors mystica, mythopoetic series, emanation

Acknowledgements. The article was written on the basis of the RANEPА state assignment research programme.

To cite this article: Reutin, M. Yu. (2023). The phenomenon of autohagiography. On the question of the replacement of subjectivity in Christian mysticism. *Shagi / Steps*, 9(4), 94–116. (In Russian). <https://doi.org/10.22394/2412-9410-2023-9-4-94-116>.

Received March 2, 2023

Accepted April 3, 2023

Введение

1. Надгробное слово о. Алексея Мечёва

Девятого июня 1923 г. скончался известный священник и старец Алексей Мечёв, настоятель московского храма Николы в Кленниках на Маросейке. Его кончина была связана с событием, поставившим в тупик многих его духовных чад и потребовавшим, чтобы не впасть в соблазн, изрядной веры и любви к своему «батюшке». О. А. Мечёв написал себе самому надгробное слово, выдержанное в самом высокопарном и сугубо похвальном тоне. Вот несколько выдержек из него:

Батюшки о. А. нет больше, хотя и теперь привлёк сюда эти многочисленные толпы он же, но только затем, чтобы проститься с ним навсегда. Он во гробе. И сие — великое страшное событие. Это потеря всеобщая, потеря вознаградимая! <...> Итак, забывающий Бога христианский мир! Приди сюда и посмотри: как нужно устроить свою жизнь. Опомнись! Оставь мирскую суету и познай, что на земле нужно жить только для неба. Вот пред тобой человек, который при жизни был знаем многими, а по смерти удостоился таких искренних слез и воздыханий. А отчего? В чем его слава? Единственно только в том, что он умел жить по Божьи, как подобает истинному христианину. <...> Приидите, наконец, ко гробу сего великого пасты-

ря, пастыря Церкви Русской, и научитесь от него пастырствовать в мире. <...> Кроме личного благочестия, о. А. имел ту высочайшую любовь христианскую, которая долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется о неправде и со- радуется истине (1 Кор. 13, 4–6), и т. д. [Мечёв 1997: 579–581].

23 августа того же 1923 года окончил свою статью «Рассуждения на случай кончины отца Алексея Мечева» о. П. Флоренский. Непосредственной работой стал как раз упомянутый казус, ставший камнем преткновения и соблазна. По существу, Флоренский применяет *ad hoc* в достаточной мере известные концепции, разработанные им в трудах «Иконостас» и в первую очередь «Обратная перспектива». Отдавая должное «юродивости» о. А. Мечёва и его «перпендикулярности миру», Флоренский заявляет, что перед нами «слово автора не о себе, а о своей личности, рассматриваемой со стороны [Флоренский 1997: 586], и что это трудное дело «объективного» изображение себя (Я как Он) по силам лишь отошедшему и умершему для мира человеку.

Умереть для мира — это значит коренным образом уничтожить внутренний водоворот, силою которого все явления в мире мы соотносим с самими собою и разбираемся в них, отправляясь от этого центра перспективы, а не объективно, т. е. в отношении к истинному центру бытия, и не видим их в Боге. В своем восприятии мы всякий раз извращаем порядок мироздания и насилуем бытие, делая из себя искусственное средоточие мира и не считаясь с истинной соотнесенностью всех явлений к истинному средоточию; мало того, даже его, этот абсолютный устой мира, мы опираем на себя, как спутник и служебное обстоятельство нашего Я [Там же: 587].

Между двумя способами самоопределения человека — ложной соотнесенностью мира с собой и его истинной соотнесенностью с Богом — находится, по Флоренскому, разрыв со своей самостью: процедура радикальная, очень похожая на ту, какой учили рейнские мистики с их «отрешенностью» (*abegescheidenheit*), «оставленностью» (*gelassenheit*), «опустошенностью» (*lidikeit*), в суть которой мы сейчас входить не можем. Но, как бы там ни было:

Еще следующий шаг — и он уже видит, именно видит, а не только мыслит, себя со стороны. Он может тогда без ложной скромности хвалить заслуживающее похвалы и умиляться на то, что должно умилять. Он говорит сейчас не о себе, а об некоем, об N. N., и совпадение этого N. N. с его личностью есть частное обстоятельство, не привлекающее к себе его внимания. Не то важно, что через этого N. N. говорил или говорю Я, а то, что говоримое есть истина. Факт существования этого N. N. поучителен и есть радость миру [Там же: 596–597].

И так, до разрыва со своей самостью человек живет в прямой перспективе (художников Возрождения, А. Дюрера), после разрыва с нею — в обратной перспективе (культовой фрески и иконы).

К казусу надгробного слова о. Алексея Мечёва, который был рассмотрен П. А. Флоренским на онтологическом уровне (жизнь в тварном мире и жизнь в Боге) в 2000 г. вернулся наш современник, академик В. Н. Топоров, решив связанную с ним проблему на культурологическом уровне, т. е. не выходя за пределы *здесь-бытия*. Статью «Об одном случае преодоления — опустошения своего Я: “Надгробное слово отца Алексея Мечёва”» В. Н. Топоров начинает с пространных рассуждений о центральной роли Я, об объеме понятия Я в культуре, «об особой Я (“эго”)-сфере, через которую можно увидеть и описать суть и назначение жизни человека, его телеологическую доминанту» [Топоров 2000: 148]. Помимо прочего мы узнаём, что о. А. Мечёв использовал в качестве надгробного слова себе надгробное слово иеромонаха Григория Борисоглебского, произнесенное тем по случаю преставления оптинского иеросхимонаха Амвросия (факт, неизвестный Флоренскому). Также Топоров привлекает к анализу для сравнения речь, произнесенную о. А. Мечёвым в память о рабе Божьем Иннокентии: она имеет строение, сходное с интересующим нас надгробным словом, только знакомое нам распределение материала осуществляется не между скудным Я и изобильным Он, а между такими же Я и Ты, — и это важно в контексте дальнейшего повествования.

Интерпретация В. Н. Топоровым феномена надгробного слова о. А. Мечёва сводится, коротко, к следующему. Жизнь по закону Я препятствует духовному возрастанию, установлению связи с Богом и с ближним-другим, ведь закон этот связывает, и притом отрицательно. Он создает тот Я-ориентированный и (тем самым) Я-оправдываемый мир, который более всего превращает жизнь ищущего освобождения человека в ловушку, фрагмент дурной бесконечности, в сансарическое круговращение. Однако закон Я компенсирует свое общее несовершенство — разумеется, отчасти либо даже условно — выдвижением системы установленных моральных правил, которые в пределах Я-законного мира, в конкретных ситуациях безлюбивого, отчужденно-равнодушного и открыто враждебного общежития оказываются полезными, если даже отдавать себе отчет в их конвенциональном свойстве. Эти моральные правила как раз дают основание рассматривать поведение-позицию о. А. Мечёва, отраженную в составленном им для себя надгробном слове, как неправильную, ошибочную и отрицательную. При этом у о. Алексея имелось тем большее основание выступить против попыток утвердить эти правила не просто как форму и условность, но как положительное содержание. В своей «перпендикулярности», вольно принятом на себя юродстве, он действует не просто негативно-разрушительно по отношению к миру «принятого» и «приличного», миру, в котором живут по законам Я, но и, хотя парадоксальным образом, положительно-созидательно, потому что открывает миру и людям, находящимся в нем, истинные ценности жизни: связь с Богом и с ближним-другим, которая восстанавливает сам этот мир из руин Я-разъединенного состояния. Когда жало Я вырвано, тогда в духовном пространстве человека могут утвердиться Бог и другой, а также связи с ними обоими. Как видим, одновременную принадлежность человека к двум мирам, божественному и дольному (Флоренский), Топоров заменил на два режима, модуса существования и самоопределения человека в этом мире: эго- и теоцентричный. Тем самым он поместил проблему в то поле, в котором с ней только и можно оперировать научными методами, да и вообще сказать о ней что-либо внятное. Нужно заметить,

что изложенные здесь идеи В. Н. Топоров «обкатал» уже ранее, в посвященном рейнской мистике тексте с его очень важным для дальнейших рассуждений образом «чувствительнейшей мембраны», лишенной всего, опустошенной от реального «положительного» смысла, а потому становящейся тем «ничто» («ничем»), которое открыто всему и все улавливает [Топоров 1989: 243].

2. Автоагиография

Мы недаром уделили так много внимания обсуждению надгробного слова о. А. Мечёва, ибо оно переносит нас в самые недра того духовного опыта, вокруг которого сложилась великая «рейнская мистика» первой половины XIV в. Основной проблемой этой мистики как раз и является смещение Я, делегирование своей субъектности Богу, происходящее только при изъятии и преодолении своего Я и всего его содержательного наполнения.

Вот как в исполнении страсбургского и кёльнского проповедника Иоанна фон Штернгассен выглядит проблема, занимавшая о. А. Мечёва, о. П. Флоренского и В. Н. Топорова, проблема смерти — преодоления своего эгоцентричного, привативного Я и выхода на новый теоцентричный уровень (Он):

Если Богу надо во мне говорить, то все творения должны во мне замолчать. Если у тебя есть нечто, что в тебе говорит, то молчит Бог: все вещи должны отговорить. Где Бог, там все вещи отговорили свое. Кто полон Бога, в того ничего не может войти <...> Если что-то в тебе говорит, то не говорит в тебе Бог (Иоанн фон Штернгассен) [Pfeiffer 1851: 253 (ZfDA № 8)].

Единственное делание опустошенного, преодоленного Я — это ничего не делание от себя и сплошное переживание Бога:

Что есть цель моего действия? Что в Боге является действием, то во мне должно быть претерпеванием. Что в Боге является говорением, то во мне должно быть слушанием. Что в Боге является начертанием, то во мне должно быть созерцанием [Wackernagel 1876: 168].

Одновременно с этим опустошением, как дополнительное измерение того же процесса, происходит делегирование своей субъектности Богу, как это описано в «Книге особой благодати» насельницы саксонского монастыря Хельфты Мехтхильды Хакеборнской:

С этими словами Бог втянул ее душу полностью в Себя Самого и объединился с нею — да так, что ей показалось, словно она видит очами Божьими, внемлет Его ушами и говорит Его устами. Она была также уверена, что обладает никаким иным сердцем, как только сердцем Божьим [LSG: 179]¹.

¹ Этот отрывок из «Книги» Мехтхильды Хакеборнской находится в главе 34 части II, озаглавленной «Каким образом Бог дарует душе Свои чувства, дабы та ими пользовалась» (Qualiter Deus animae sensus suos donat ut eis utatur).

Этот отрывок совершенно тождествен надгробному слову о. А. Мечёва. В нем также отсутствует ожидаемое паствой, но в данном случае неуместное смирение-самоуничижение, ведь последнее относится к преодолеваемому Я, но не к обретаемому в этом преодолении Он.

Так выглядит автоагиография. Означающий это явление термин *Autoagiographie* ввела Кристина Рурберг, исследовавшая жития юродствовавшей бегинки из Кёльна XIII в. Кристины Штоммельнской [Ruhrberg 1997: 258]. Чтобы описать это явление по возможности исчерпывающе, мы предлагаем два очерка. Первый посвящен самой ранней автобиографии на немецком языке — «Vita» доминиканского мистика Генриха Сузо (Зойзе) из Констанца (1295/1297–1366), ученика и апологета Иоанна Экхарта. Это произведение выросло из записей, которые втайне от него составляла его ученица Элизабет Штагел сразу после устных рассказов Г. Сузо о своей жизни. Впоследствии произведение вошло в авторский сборник «Exemplar». Второй очерк посвящен «Откровениям» цюрихской визионерки, насельницы монастыря Отенбах Элсбет фон Ойе (ум. 1341/1342). До сих пор не опубликованные и содержащиеся в рукописи Rh 159 городской библиотеки Цюриха «Откровения» представляют собой сравнительно недавно обнаруженный автограф Элсбет фон Ойе, что обеспечивает им совершенно уникальное место, в частности, в истории средневековой культуры и литературы.

I. «Служитель Божий»

1. Ранние этапы жизни Служителя

Сам Г. Сузо пережил в своем становлении по меньшей мере три кризиса. О них повествуется в сочинениях его авторского сборника «Exemplar». Отданный в 13 лет в монастырь, он вел на протяжении пяти лет теплохладную жизнь: «спокойное и привольное житие в свое удовольствие», достаток вина, воды, сон «на соломенном тюфяке» [Сузо 2014: 50], при воздержании от явных грехов. В терминологической системе, принятой в сочинениях Сузо, этому состоянию соответствует термин *gemach* — покой, удобство, уют. Однако, испытывая подспудную неудовлетворенность, «Служитель», так именует себя Г. Сузо в автобиографии, переходит к аскезе. Заметим, что субъективный, имманентный процесс, переход к новой форме благочестия толкуется самим Служителем в объективных понятиях: как «сокровенный, исполненный света Божий призыв» [Там же: 14], как просвещение свыше. В числе аскетических упражнений Сузо — молчаливость, ношение власяницы, вериг, одежд для сна (юбки с иголками, ручных ремней, перчаток с шипами), креста на спине, бичевание тела, использование жесткого ложа либо стула для сна, многолетний отказ от мытья, усиленный пост, сокращение питания, молитвенные бдения на каменных плитах и изнурение холодом тела. Целью этих «внешних упражнений» было укрощение, подчинение, а в пределе умерщвление плоти.

До определенной поры «внешним упражнениям» Служителя не хватало внутреннего нерва, интриги; их прагматика — смирение, умерщвление плоти — такой интригой быть не могла, но интригой стали «страсти Христовы»:

Стоял как-то раз один брат-проповедник после заутрени перед распятием и воздыхал из глубины перед Богом, что не умеет он созерцать Его мученичества и страстей и что ему из-за этого горько, ибо того ему в тот час весьма не хватало [Сузо 2014: 151], —

такими словами начинается «Книжица Вечной Премудрости» Г. Сузо. Ответ Премудрости гласит:

Хочешь ли Меня лицезреть в нетварном Моем Божестве, тогда тебе подобает здесь со Мною познакомиться и Меня возлюбить в Моем страждущем человечестве, ибо таков самый скорый путь к вечному блаженству [Там же: 157].

Страсти Христовы Сузо, он же Служитель, вживил в аскетические упражнения, заимствованные им у египетских анахоретов, так что эти упражнения стали состраданием и «подражанием Христу», чем у анахоретов они не были. Упражнения вылились в своеобразное «театральное действие» (*wartspil*):

И вот, соорудил он себе из дерева крест, бывший длиной с вытянутую руку мужчины и имевший обычную ширину. В него он вбил XXX железных гвоздей, особенно памятуя обо всех ранах Господних и о пяти Его знаках любви. Сей крест он приладил на свою обнаженную спину меж плеч, к самой плоти, и восемь лет постоянно носил его денно и нощно во славу распятого Господа [Там же: 40].

Он вытащил свою плетку с колючими шпильками и начал бить сам себя по телу, рукам и ногам, так что кровь потекла струйками вниз, словно при кровопускании. «...» Он стоял окровавленный и осматривал себя: вид его был плачевным, в некотором роде он походил на Христа, нашего Господа, когда Того подвергали ужасному бичеванию [Там же: 42].

Кратко остановимся на аскезе Г. Сузо, переродившейся в имитационную практику.

2. Имитационная аскеза

В мелких подробностях эта практика описывается в главе 13 автобиографии Г. Сузо. По мере ее реализации возникает соответствующий ей пространственно-временной континуум. Ведь порождаемые образы пространства и времени не существуют порознь, но неразрывно связаны друг с другом — инсценируемое пространство разворачивается за инсценируемое время и длится ровно столько, сколько длится последнее.

Служитель проводил долгое время в инсценировках крестного пути Христа. В игре он задействовал комплекс храмовых и околхрамовых помещений. Каждую ночь после утрени погружался, восседаая, в зале заседаний капитула в «хриstopодобное сопереживание» Господних страданий. Затем подымался, ходил из угла в угол, чтобы от него отпала всякая вялость и чтобы «пре-

бывать бодро и трезво в ощущении [Христовых] страстей», следуя в уме за Спасителем от Тайной вечери до суда пред Пилатом. Сам же крестный путь он проделывал так. Подойдя к порогу капитула, преклонял колена и лобызал первые следы ступней, оставленные Господом. Воспевал псалом о Христовых страстях, выходил в крестовый ход через двери и двигался по четырем его галереям, следуя за Иисусом к месту его крестной казни. В середине четвертого отрезка он преклонял колена перед вратами, когда через них должны были пройти Христос с крестом и его Мать. Миновав галереи, шествовал к дверям храма и поднимался по ступеням к решетке на солее. Вставал под распятие, затем простирался, «мысленно созерцая совлечение Его одеяний и свирепое пригвождение Господа, (...) брался за плетку и пригвождал себя, в вождлении сердца, вместе с Господом ко кресту» [Сузо 2014: 36–37]. Дабы не возникало сомнений, что подобные игры проводились в действительности, вспомним рассказ германского инквизитора XV в. Иоанна Нидера в книге I, главе 11 его «Муравейника» об имевших место в Германии XV в. (в частности, в Нюрнберге) инсценировках крестного пути Иисуса².

Эта медитативная инсценировка начиналась сразу после заутрени. Именно тогда Служитель вычитывал первый свод текстов «Ста созерцаний», составленного им часослова страстей. Часослов страстей (*horologium passionis*) — это авторское чинопоследование келейных молитв, разделенных по числу суточных служб (утрени, часы I, III, VI, IX, вечера и повечерие), на 7–8 сводов текстов, каждый из которых посвящен тому или иному (предположительно происходившему в это же время суток) событию дня крестной смерти Христа³. При методичном вычитывании часослова происходила синхронизация бытового времени и времени архетипического события: в этом времени, синхронизированном с днем крестного пути и распятия Христа, инсценировалась игра, что приводило к созданию иллюзорного пространства по подобию пространства тех же самых крестного пути и распятия. Иллюзорное пространство создавалось в процессе означивания, т. е. приписывания деталям интерьера и быта архетипических смыслов: порог зала капитула — первые следы ступней Иисуса, галереи крестового хода — его крестный путь, середина четвертой галереи — городские ворота, ступени к решетке — склон Голгофы и т. д. Приступая к инсценировке с храмовым крестом, Служитель использовал уже имеющуюся семиотику богослужения. В результате складывалась своего рода священная топография, существовавшая, впрочем, только в течение инсценировки⁴.

² «У многих имеется похвальное обыкновение (...) размышлять над страстями Христа и повторять их» [Formic. 1692: 133–134].

³ Известны часословы визионерок саксонского монастыря Хельффа: Мехтхильды Магдебургской («Струющийся свет Божества», кн. VII, гл. 18), Гертруды Великой («Посланики божественной любви», кн. III, гл. 46) и Мехтхильды Хакеборнской («Книга особой благодати», ч. I, гл. 18; ч. III, гл. 29), а также часослов страстей Г. Сузо («Книжица Вечной Премудрости», ч. III). Как показывает житие Гуты Местин (№ 55), насельницы монастыря Катариненталь, названные часословы уходят своими корнями в спонтанные молитвенные практики, не формализованные или полужформализованные, распределенные по суточному кругу благочестивых размышлений о Христовых страстях (Кт. 157–158).

⁴ Ср.: «Преподобный (Серафим Саровский. — М. Р.) наименовал пустынный холм свой горою Афонскою, дав и другим самым уединенным местам в лесу имена разных святых мест: Иерусалима, Вифлеема, Иордана, потока Кедрского, Голгофы, горы Елеонской, Фавора, — как бы для живейшего представления священных событий земной жизни Спасителя, Кото-

Пространство и время порождаются и связываются друг с другом при помощи действия. Содержание этого действия, инвариант многих и многих его разновидностей заключается в следующем. Испытывая инсценированное страдание, его следует соотнести с архетипическим событием, страстями Христа. Такое соотнесение может описываться, переживаться по-разному: «войти» со своими страданиями, «ввергнуть», «возвести», «замкнуть» свое страдание, «положить и погрузить» все свое устремление в страсти Христовы, «запечатлеть себя и затвориться» в Христовых страстях. Итак, страдая подобно Христу, следует соответствующим образом означить свое страдание, чтобы оно не было «без метода» (*ane wise*) и «неупорядоченным» (*uno^erdenlich*), как у Каина или Иуды [Сузо 2014: 370], но было «правильным» (*wol liden*) и «хриstopодобным» (*cristfo^ermig*), было бы «состраданием» (*mitliden*) Христу [Там же: 36, 95]. Это подается как осознание красоты и пользы страдания. На самом же деле речь идет не о пассивном обретении наличного, уже имеющегося смысла, но об активном наделении страдания смыслом, без чего оно не имеет. Будучи означено, осмыслено, страдание упраздняется:

И вот, пока он сидел, лишенный отрады, случилось так, что духовным образом ему были сказаны такие слова: «Что сидишь? Встань и войди (*vergang dich in*) в Мои страсти, и тогда преодолеешь страдание свое!» Брат быстро поднялся, ибо понял, что слова сии прозвучали с небес, принял на себя (*nam her*) страсти Господни, и в этих страстях утратил страдания свои [Там же: 193–194]⁵.

Испытавший и преодолевший страдание через соотнесения себя со Христом поднимается на новый уровень, что соотносится с воскресением Христовым:

рому он окончательно предал свою волю и всю жизнь. Непрестанно упражняясь в чтении святого Евангелия, он особенно любил читать в этих местах о соответствующих их именам евангельских событиях. В Вифлеемском своем вертограде воспевал он евангельское словословие: “Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!”. На берегу Саровки, как бы на берегах Иордана, вспоминал он о проповеди святого Иоанна Крестителя и крещении Спасителя. Нагорную беседу Господа о девяти заповедях блаженства он слушал на одной горе, лежавшей у Саровки, а на другой возвышенности, названной горою Преображения, созерцал в мысленном соприсутствии с Апостолами славу Преобразившегося Господа. Забравшись в густоту дремучего леса, он вспоминал по Евангелию моление Господа о чаше и, тронутый до глубины души внутренними его страданиями, проливал слезные молитвы о своем спасении. На так названной им горе Елеонской он созерцал славу Вознесения Христа на небо и Его сидение одесную Бога» [Жития святых 2003–2004: 38–39].

⁵ Ср.: «Как-то раз, когда он пребывал в своей келье, глубоко удрученный печалью и досаждаемый невероятной тоской, случилось так, что свыше к нему обратился некий умопостигаемый голос: “Почему ты праздно сидишь и изнываешь в себе? Сейчас же встань и благоговейно поразмысли о страстях Моих; в скорби Моей победишь страдание свое!” Услышав сказанное, брат тотчас поднялся и предался созерцанию [Господних] страстей и, исцелившись этим спасительным снадобьем, впредь никогда больше не чувствовал благодаря его повторному применению такого страдания души» [HSS 1977: 495–496]. Ср. также: «Одному брату-проповеднику, который от этого порока долго и невыносимо страдал и часто молил Бога о том, чтобы ему стяжать от него избавление, было сказано, когда он, подавленный, сидел у себя в келье: “Почему сидишь здесь? Встань и войди в страдание Мое, тогда утратишь всё страдание свое!” Так оно и случилось, и страдание его миновало» [Сузо 2014: 368].

Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновлении жизни, ибо, если мы уподобляемся Христу в смерти Его, то должны быть подобны и Его воскресению. <...> Кто не желает упраздниться вместе с Христом, как он с Ним хочет восстать? Кто не хочет умереть, как и воскреснуть ему? [Там же: 380]⁶.

Итак, поведение харизматика — его аскетические упражнения и образы экстатических созерцаний — выстроено вполне рационально. Кажущаяся же странность этого поведения логично вытекает из специфики той парадигмы смыслов, на которую оно сориентировано и настроено. Оно тщательно вписано в эти смыслы и «странно» в той же мере и тем же образом, как «странно» то, во что харизматик верит.

3. Выход в мир, странствия

Итак, исходное теплохладное состояние, традиционная аскеза, направленная на обуздание плоти, аскеза как имитационная инсценировка и, наконец, последний, четвертый этап жизни Г. Сузо, Служителя, — выход в мир, патронаж женских доминиканских обителей, служение старца, духовника, проповедника. Этому этапу предшествовал кризис. Как водится, имманентный духовный процесс был истолкован как вмешательство и воздействие потусторонних сил. Бог обращается к Служителю:

Ты избивал сам себя своими собственными руками и заканчивал, если хотел, испытывая жалость к себе самому. Отныне Я хочу забрать тебя у тебя самого и желаю отдать тебя, безо всякой защиты, в руки в посторонних людей. <...> До сих пор ты был сосунком и излюбленным баловнем, парил в сладости Божией, словно рыба в пучинах морских. Теперь-то Я у тебя сие отыму, и дам тебе бедствовать и увядать [Сузо 2014: 51].

Навыки, которые Служитель приобрел, инсценируя страдание в келье, он должен теперь проявить в подлинных страданиях в миру, в годы чумной эпидемии (1348–1351). Отныне *imitatio Christi* осуществляется не в запланированных аскетических упражнениях, но в гуще спонтанной, повседневной жизни.

Страданиям, выпавшим на долю Служителя, посвящены главы 21–30 основного произведения Г. Сузо; в отличие от инсценированных истязаний, изображенных в главах 14–18, речь идет теперь о страданиях подлинных, когда Служителю дается «бедствовать и увядать», и он «покинут обоими: Богом и целым миром» [Сузо 2014: 51].

Сами страдания делятся на внутренние и на внешние. Внутренние — уныние и отчаяние, обыкновенно сопровождавшие аскетические подвиги (гл. 21), а также заботы, связанные с окормлением многочисленной паствы (гл. 22). Что касается внешних страданий, «приключений» (*aventuren*), то они начинаются с обвинений Служителя в краже (он-де выкрал дары из часовни), в симуляции чуда (он якобы ради наживы выпачкал собственной кровью распятие) и в

⁶ Ср. Рим. 6:4.

ереси, предъявленных ему на доминиканском капитуле в Нидерландах в связи с его ранними книгами. Эта череда испытаний завершается тяжелой болезнью Служителя, надолго приковавшей его к постели в незнакомом конvente (гл. 23). Далее следуют бегство сестры Служителя с любовником из конвента, ее долгие поиски и водворение в монастырь (гл. 24), павшее на Служителя подозрение в отравлении колодцев (гл. 25), его встреча с разбойником, чудом не стоившая ему жизни (гл. 26), двукратное спасение из воды (гл. 27), поиски Служителя местной знатью с целью его убийства (гл. 28), хула на него собратьев-монахов (гл. 29), его продолжительная болезнь, близость к кончине и даже временная смерть (гл. 30).

Некогда подвизаясь в аскетических упражнениях, Служитель довел идею следования и уподобления Христу *ad absurdum*. Подчинив себе тело, он в полной мере оставался собой, следовал своей воле, руководствовался собственными представлениями о бесстрастии⁷. Он сам выстраивал ситуации, сам строил свое поведение в них, сохраняя при этом риторическую позу страдальца и уподобляясь в своем представлении египетским анахоретам, авве Арсению прежде всего. Теперь обогланный, преданный, брошенный всеми, одинокий, мокрый, озябший, несчастный, он лишен своей внутренней позы пред Богом, людьми и выведен из всякой стандартной роли себя (мученика, девственника), которую ему предлагала традиция и в которую он сам закладывал расхожие представления и обращенные к нему ожидания общества. В самом деле, о какой риторической позе могла идти речь, коль скоро он «сползает от страха на землю» [Сузо 2014: 68], если его, «как ядовитую жабу», собираются «голым насадить на копьё и приподнять задницей кверху» [Там же: 66]? В этом невольном, продиктованном внешними обстоятельствами «совершенном отречении от себя самого» Служитель предстает перед Богом вне своей наработанной роли себя, «в такой обнаженности, в какой и Бог предстоит перед ним» [Там же: 49]. Г. Сузо, наконец, ушел от себя...

Отказ от позы и отречение от себя переживается как опыт бессилия. Во всяком испытании, выпавшем на долю Служителя, он не действует, но претерпевает, оказывается задействован помимо собственной воли. Это вполне соответствует рыцарскому идеалу, как он понят Служителем: не нападать, но быть стойким в напасть. Впрочем, провидением Божиим, как опять-таки полагает Служитель, все складывается в его пользу, причем неизменно старанием сторонних лиц, орудиями этого самого провидения: сельским священником (гл. 25), женой разбойника (гл. 26). Больше того, некогда торжествовавшие в начале новеллы зачастую гибнут к ее концу (гл. 23) — ради вящей убедительности того, что Служитель невиновен, а Бог поругаем не бывает. Каждая из таких новелл представляет собой пуантированную форму, предполагающую резкий событийный поворот, переход из бедственного в противоположное ему положение. Однако этот переход происходит лишь после и (если следовать логике повествования) вследствие того, что Служитель уже не рассчитывает на себя самого, полностью умирает «для себя самого» [Сузо 2014: 72], отказывается от риторической позы и своеволия. Как и при аскетическом делании, он переживает и осмысляет свое страдание в образах Христовых страстей:

⁷ Ср.: «Я, несчастный (...) часто натываюсь на себя самого» [Сузо 2014: 390].

И он вспомнил в сердце своем о том смертельном страхе, который испытал Христос на Масленичной горе. В сем созерцании он переполз из постели в кресло, стоявшее пред постелью, и оставался сидеть в нем, ибо не мог из-за нарыва лежать [Там же: 59].

Мысль о распятом Иисусе Христе остается внедренной в мистический опыт Служителя также на новом этапе его жизни, но если раньше он организовывал вокруг этой памяти свои аскетические упражнения и инсценировки, то теперь он переосмысливает на ее основе жизненные ситуации, в которых оказался по воле задействован.

Обратим внимание, что перформативная практика Г. Сузо в обеих ее разновидностях — в смысле инсценированной игры и в смысле житийности — допускает описание в категориях литературного текста. В самом деле, разве подобная практика не «действие законченное и целое», разве она не «имеет начало, середину, конец»? Серединой каждого казуса этой практики является резкое событийное изменение, перипетия, «перемена делаемого в свою противоположность». Далее: «Цель [трагедии — изобразить] какое-то действие, а не качество», «характеры затрагиваются [лишь] через посредство действий» [Аристотель 1975–1984 (4): 652–657]. Все это мы имеем в автобиографии Г. Сузо, где автор представлен в своем игровом образе, в своей перформативной роли, в роли типизированного (идеализированного) себя и поименован через свою функцию как «Служитель» (*diener*). Служитель — не что иное, как схема Г. Сузо⁸. Такая схема выстраивается на основе действия, причем действия не индивидуального, но вполне безличного, предпосланного Г. Сузо и навязанного ему, чтобы он, «верный подражатель Иисуса Христа» (*verus Iesu Christi imitator*), его исполнял. Действие это — подражание (*imitatio*) действию мифа, Христовым страстям [HSS 1977: 502]. Сам же Служитель, подражатель, исполнитель роли Христа, есть прямая проекция мифа. Персональные черты Служителя — иными словами, все то, что у него осталось от живого Г. Сузо, — имеют отрицательные коннотации. Они сводятся к лени, греховной праздности, неготовности быть образцовым служителем и надлежаще функционировать, а потому подлежат изытью и преодолению. Действие Служителя, если оно не является действием перформативным, вообще говоря, негде получить цельность и структурность — ведь оно их не получает из экономического (и, шире, практического) целеполагания, например, в качестве действия производственного. Перформативное же действие обретает структурность и цельность (начало, середину, конец), заимствуя их у архетипического сюжета, воспроизведением которого является. И чем более точно и полно перформативное действие этот сюжет воспроизводит, тем больше оно приближается к литературному тексту, вплоть до полной неразличимости с ним, не будучи, однако, литературным текстом.

⁸ Ср в этой связи: «Эстетика униформы принципиально схематизирует образ человека: получается схема и “схима” (по-гречески одно и то же слово *σχῆμα*)» [Аверинцев 1977: 114].

4. Стрoение автобиографии «Vita»

Возвращаясь к главам 21–30 о приключениях и страданиях Служителя, содержащимся в части I автобиографии «Vita», следует заметить, что в части II они имеют своим аналогом главы 37–45. В последних снова повествуется о приключениях и страданиях Служителя, но уже в новом регистре: в вымышленной переписке со специально для того введенным третьим лицом, Элизабет Штагель.

Соотношение глав 21–30 и 37–45 весьма показательнo. Во второй серии глав Служитель расплетае любовную интригу в одном из смешанных монастырей (гл. 37), спасает жизнь младенцу, рожденному его духовной дочерью вне брака, при том что последняя клеветнически приписывает отцовство ему (гл. 38), помогает страждущим людям (гл. 39), рассуждает о разновидностях и пользе страданий (гл. 40). В эту же серию глав входят две истории о грешных, запутавшихся в любовных отношениях монахинях, одна из которых становится горбатой по молитве Служителя, о коне, посланном усталому Служителю Богом, о чуде умножения вина во время проповеди в отдаленном скиту (гл. 41). В той же серии воспоминания о товарище молодости (гл. 42), явление распятого Христа в образе Серафима, поиски Служителя незаконнорожденным ребенком каноника с целью убить его (гл. 43), беседа с устройтеlem турниров о рыцарской доблести (гл. 44). В последней главе серии действие возвращается к монограмме IHS⁹, с которой некогда и началось: Э. Штагель вышивает ее на платках и рассылает платки духовным чадам Служителя (гл. 45).

Как видим, главы 37–45 совпадают по тематике с главами 21–30, ведь те и другие имеют общий предмет: внешние искушения и странствия Служителя. На фоне такого совпадения особенно отчетливо проступает содержательное различие между обеими сериями. В части I описан опыт бессилия. Служитель не столько действует, сколько оказывается задействован вопреки своей воле, помимо нее. Он вовлечен в события, терпит, сам того не желая, напасти, но своими поступками не порождает сюжетного действия, хотя при этом и остается героем повествования. Он — подлежащее при пассиве. Если в итоге ситуация складывается в пользу Служителя и он попадает из безнадeжного положения в выигрышное, то причиной тому — *deus ex machina*, не он сам, но Бог, по промыслу которого в целях воспитания Служителя все устраивается во благо последнему. В части I выясняется, что «когда человек предстоит [перед

⁹ IHS — «Iesus hominum Salvator» (Иисус Спаситель людей). Ср. фрагмент гл. 4: («Как он начертал на сердце своем возлюбленное имя Иисусово») автобиографии «Vita» Г. Сузо: «„Ах, Боже всесильный, дай мне нынче силу и власть исполнить мое пожелание, ибо ныне Тебе надлежит втечь в основание моего сердца“. И он начал — проткнул грифелем плоть возле самого сердца и стал тыкать туда и сюда, сверху и снизу, пока не начертал на своем сердце имя “IHS”. От острых уколов из его плоти пролилось много крови, и она побежала по телу вниз к чреву. Из-за пламенной любви ему было на это столь упорно смотреть, что он почти не ощущал боли. Когда он сие совершил, то, израненный и истекающий кровью, взошел из кельи к решетке под распятие и, преклонив колени, сказал: “Ей, Господи, единственная любовь моей души и сердца моего, воззри на великую страсть моего сердца” <...> Так и ходил он израненный любовью долгое, очень долгое время и потом выздоровел, а имя “IHS” осталось, как он и желал, прямо на сердце. Ширина [его] букв была никак не меньше ширины расправленных стебельков, по высоте же были они как сустав у мизинца» [Сузо 2014: 22].

Богом] в такой обнаженности (*entwordenheit*, букв. «разоблаченности». — М. Р.), в какой и Бог предстоит перед ним» [Сузо 2014: 49], то в его бессилии начинается осуществляться всеисие Бога. «Уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2:20) [Там же: 142, 145, 504]. В таком обновленном качестве, бесильным самим по себе, однако всеильным во Христе, Служитель действует в главах 36–45. Некогда с сердцем, ушедшим в пятки, с трясущимися поджилками, прячущийся под лопухом, словом, лишенный всякой риторической позы, от которой ему не удавалось избавиться в аскетических упражнениях, он теперь действует с несвойственной ему прежде властью и дерзновенностью: обличает, наставляет, принуждает, помогает и защищает¹⁰. Бог, бывший *deus ex machina*, превращается в *deus ex intimo*. Служитель — подлежащее при активе. Он становится агентом, хотя и не собственного действия, но действия Божьего, посредством него выходит из сложившихся критических для себя ситуаций, в качестве героя повествования создает литературный сюжет.

Такова траектория жизненного пути Служителя: теплохладное состояние, аскетическая практика, имитационная аскеза, приключения и страдания, наконец, их заключительное переосмысление и обновленная презентация в рассказе, адресованном Э. Штагель.

II. «Распятая возлюбленная распятого Сына»

1. Аскеза и экстазы цюрихской страдальцы Элсбет фон Ойе

Образный мир «Откровений» Элсбет фон Ойе напоминает картину Дали «Осенний каннибализм». Взаимное поглощение доминиканкой-харизматиком Бога и Богом ее¹¹; циркуляция между обоими потоков крови и мозга. В этом жирном кроваво-мозговом месиве (напоминающем будни городских скотобоен) мелькают подобные ограненным алмазам осколки концептуально-образного мира Экхарта: «глубочайшее основание Отца Моего» (Aut. 15, 7–8), «потаенная сокровищница <...> троичности Божьей» (Aut. 105, 12–13), «сокро-

¹⁰ Из этой тенденции, однако, выбивается разве что глава 24, где Служитель (в первой серии глав претерпевающий и пассивный) активно проявляет себя и уводит от любовника своего заблудшую сестру.

¹¹ В автографе Элсбет фон Ойе получил развитие давний, основанный на таинстве Евхаристии мотив взаимного поглощения Бога и человека. Ср.: «Не ты изменишь Меня в себе, как телесную пищу, но ты изменишься во Мне» (*Augustinus. Confessiones. VII. Cap. 10. Punct. 16* [PL (32): 742]). «Разжевываюсь, когда обличаюсь, проглатываюсь, когда наставляюсь, перевариваюсь, когда изменяюсь, разделяюсь, когда преображаюсь, соединяюсь, когда уподобляюсь Ему. Не дивитесь сему: Он съедает нас и съедается нами, да будем теснее с Ним связаны, ведь иначе мы с ним не будем едины» (*Cantic. 2: 448*). «Оное следует так понимать, что Он нас питает Своими духовными дарованиями и также питается нашими духовными деяниями. <...> Так Он питается нами, а мы питаемся Им». Он нас мучает, чтобы мы уподобились вареному мясу, которое утрачивает кровавый цвет, легко протыкается и отходит от костей (GHB: 297). Ср. также строки 601–608 bestiария англо-норманнского священника Филиппа де Таона (ок. 1125): «Те высоки, как гора, / Кто праведно говорит и поступает, / Они — гора добродетелей, / Такими Господь кормится (*D'icels est Deus peüz*); / На тех опора Его, / Кто остерегается зла, / И Он — их пища (*E il est lur pulture*), / Так, как говорит Писание» [Bestiaire 1900: 23].

венная пустыня <...> божественного естества» (Aut. 152, 6–7), «сияние образа в его отражении» (Aut. 154, 1). Страдалица «весьма благоволила» к рейнскому Мастеру, хотя, как утверждает автор ее посмертного жития, никогда не встречала его.

В аскетических упражнениях Элсбет фон Ойе использовала в первую очередь плетку и крест. Вообще ее подвиги внешне напоминали аскезу молодого Г. Сузо.

Когда я была совсем молодой, то сделала себе плетку с иглками и стегала себя ею — да так, что иглы нередко столь глубоко вонзались мне в плоть, что я их едва извлекала обратно (Aut. 77, 13–18).

Ношение на спине креста — двух перекрещенных утыканных шипами и иглами палок — она переживает как распятие: «Как-то раз я мучительно распяла себя на кресте (hat mich <...> gekruzezt)» (Aut. 12, 1–3). Крест подвязывался специальным поясом, тоже снабженным пучками из двух-трех изогнутых гвоздей, глубоко вонзавшихся в бока при дыхании. Когда Элсбет вырывала гвозди из плоти, у нее с боков сыпались черви (Aut. 75, 8–18). Эти последние, кстати говоря, доставляли страдальце много больше хлопот, нежели крест: «Однажды я сидела в великой скорби из-за беспокойства, доставляемого мне крестом; черви несказанно угрызали меня» (Aut. 86, 9–14). Страдания усугублялись долго не стиранной одеждой. Элсбет мучило от ее запаха, ведь, как она замечает сама, «запах был из-за длительного ношения столь отвратительным, что мне казалось, сердце мое опустится в теле» (Aut. 38, 4–7). В рамках аскезы, наложенной на себя, Элсбет до восьми раз поедала мокроту посторонних людей (Aut. 75, 1–4). Не в силах более терпеть, она протестовала, обращаясь к Богу: «Ну, и где же Отеческое милосердие?», и получала в ответ: «А где подобие Сыну?» (Aut. 104, 3–16).

Вот как выглядел рядовой день из жизни Элсбет фон Ойе (пересказываем повествование от первого лица):

Мой крест постоянно вдавливается мне в плоть, как печать в воск, но на это я не обращаю почти никакого внимания из-за беспокойства, причиняемого мне одеждой и поясом, которым затягивается крест. Иногда я носила свое одеяние так долго, что оно вследствие гнилости не могло на мне больше висеть. При этом черви нападали на меня денно и ночью, словно куча муравьев, иного сравнения нельзя подобрать. Однако изнутри себя я принуждалась к тому, чтобы сидеть от часа IX до вечерни и не сметь поднять рук ради защиты от них. Не желая дать себе отдыха, я возвращала червей, сыпавшихся в бесконечном количестве мне в ладони, обратно на тело. Кроме того, я часто обвязывала запястья толстой веревкой, и они отекали так сильно, что «о том не поведать никакими словами». Испытывая кровавую боль и пронзительный страх, я хотела разорвать свои члены до мяса. И вот, когда я так однажды сидела от часа IX вплоть до вечерни, мне было сказано так... (Aut. 61, 6–65, 1).

Конечно, аскеза Элсбет фон Ойе имела имитативный характер. Это очевидно в отношении плетки и креста, но не менее очевидно относительно мокроты и насекомых. Она поедает чужую мокроту, ведь Иисус был оплеван избивавшими его иудеями («Тогда плевали Ему в лице и заушали Его», Мф 26:67), питает собою червей, ибо Христос — это червь, по слову Давида («Аз же есмь червь, а не человек», Пс 21:7). Он укоряет ее: «Ради тебя Я сделался подобным червю! <...> А ты? Ты не желаешь стать Моей пищей?» [ЕО 2009: 414]. Имитирует Элсбет и страдания мучеников (*compassio martyrorum*), уподобляя наносимые ею самой себе увечья ранам от стрел, жерновов и меча [Wünsche 2008: 82–84].

В ушах Элсбет неумолчно звучит голос Божий:

Как ты запечатлела твой крест в твоём сердце, так Я запечатлелся в глубочайшем основании твоей души (Aut. 102, 2–5).

Чем глубже твой крест вдавливаются в тебя, тем глубже ты вдавливаешься в Меня (Aut. 103, 11–13).

Эта реверсивная конструкция, представленная в автографе Элсбет во всем многообразии ее схем, хорошо знакома нам по сочинениям прочих харизматиков обоих полов. Ее цель — вписать действия Элсбет в смысловую парадигму мифа, в котором она обитает (= «играет»). Эти действия страдальца всякий раз «показывает» Богу¹². Перед нами выразительный образец перформативной практики, сопоставимой с имитационной аскезой Г. Сузо. Но если ее изображение в главах 13–18 автобиографии «Vita» можно заподозрить в литературности, то ее описание в рукописи Rh 159 вплотную примыкает к действительности. Элсбет, несомненно, жила именно так, как об этом рассказывала. Она, однако, остановилась на той практике себя, которую Г. Сузо расценивал как подготовительную ступень к своему служению в мире.

2. Структура «Откровений» Элсбет фон Ойе

Хотя записи Элсбет фон Ойе имеют разрозненный характер, в их беспорядочности угадываются достаточно устойчивые структурные звенья, получившие название «событийных единств» (*Geschehenseinheiten*) [Ochsenbein 1986: 436; Hasebrink 2008: 260]. Каждое из единств состоит из двух частей — изображения того или иного аскетического подвига самой отенбахской монахиней и его полученного в очередной аудиции истолкования Богом, с заменой 1-го лица на 2-е: «я» на «ты» (и их производных).

Нередко я так мучительно распинала себя с помощью креста моего, да еще разными способами, о которых написано здесь, что не умею

¹² «[Я] показала сие Богу» (*zeigte es gotte* — Aut. 19, 6–7); «Я показала Богу мучительную боль креста моего» (*Ich zeigte gotte daz pinlich ser mins krúzes* — Aut. 22, 10–11; 46, 12–13; 48, 7–8; 68, 3–4). Ср. обращение Элсбет к Богу: «Покажи мне волю Твою в сем деле» (*unt zeige mir din willen in dirre sache* — Aut. 42, 4–5).

найти другого сравнения, кроме живучей змеи: сия обвилась у меня вокруг тела и высасывает из меня сокровеннейший мозг. Это я порой показывала Богу, ибо по моей слабости мне это было невыносимо. Тогда было сказано так: «Тебе не нужна для несения креста твоего естественная сила, но только живительная мощь Моего божественного естества. Как Отец Мой во всякое время заключает в Меня Свою божественную природу и сущность, так крест твой заключает в тебя благородство Моего божественного естества. Как крест Моего Сына высосал из Моего отцовского сердца вечную жизнь для человеческого рода, так сосет твой крест из Меня мощь Моего мозга» (Aut. 17, 5–18, 14).

Подобно всем остальным приведенное событийное единство состоит из повествования и комментария, описания действия и его легитимации. Если записки харизматика пишутся, чтобы осилить, освоить свой мистический опыт, то это как раз то, что мы имеем в данном отрывке, а именно самоидентификацию посредством смыслов традиции и перформативное утверждение себя, притом не от своего имени, а от имени Бога. Это же соотношение («моей (Элсбет. — М. Р.) слабости» и «живительной мощи Моего божественного естества») наблюдалось между частями I и II автобиографии Г. Сузо. Там Служитель тоже мог сказать вслед за ап. Павлом: «Все могу в укрепляющем меня Христе» (Фил 4:13).

Заключение: структура религиозного сознания

Итак, перед нами развернулись два сюжета, которые совпадают в своих главных чертах не только друг с другом, но и с историей надгробного слова московского священника начала XX в., старца А. Мечёва, в ее толковании о. П. Флоренским и В. Н. Топоровым. Во всех трех случаях речь идет о так называемой *mors mystica*: о полном преодолении, смерти своего Я, что является непрямым условием прибытка, открытия в человеке новых, неисчерпаемых ресурсов («Он»). Изображение человеком своего «Он» и проявлений этого «Он» вовне (в словах, действии, поведении) является его автоагиографией. Топоров предлагает приблизиться к феномену *mors mystica* через жертвоприношение:

Механизм прибытка при этом «преодолении» тот же, что и при жертвоприношении, сопровождаемом аскетическим ограничением, умалением, опустошением, отказом и сознанием своей духовной потребности в этом [Топоров 2000: 172].

Семиозис жертвоприношения состоит в том, что, убивая, расчлняя, потребляя жертвенное животное (маску), ритуальный коллектив причащается ровно тому, что в него закладывает, тем смыслам, которые предварительно полагает в этом животном (маске); однако причащается он им уже в качестве не субъективных, а объективированных, объективных, сообщаемых мистрантам в ранге дара, харизмы. При этом предельная смыслотворческая активность переживается самими мистрантами как их предельная же пассивность. Инс-

ценируемое истощание (смирение) является необходимым условием, чтобы прильнуть к источнику всякого изобилия и получить наполнение со стороны [Реутин 1996: 16–62; 2019: 447–448; 2020: 719]. Праздничное («карнавальное, площадное») голосоведение, как бы это странно и даже кощунственно ни звучало, будет структурно соответствовать слову о. А. Мечёва.

Ровно такое же двухкамерное строение, систему Я и сверх-Я («Он»)¹³ представляет собой внутренний мир позднесредневековых харизматиков, тех же Г. Сузо и Элсбет фон Ойе: при этом Я ассоциируется с долженствующим быть изжитым навыком эгоцентризма, сверх-Я — с Богом в сердце, синтересис, искоркой, словом Бога во мне¹⁴. Взаимодействующие Я и сверх-Я напминают систему сообщающихся сосудов:

Ныне выдохни из себя все ошибки и недостатки, каковыя желаешь, чтобы они погибли в тебе, и втяни в себя из Моего духа все, чем хочешь владеть из числа Моих добродетелей и совершенств. И знай несомненно, что добьешься избавления от всего, что выдыхаешь, и действия всего, что втягиваешь из Моего духа в себя [LDP: 371–372].

Так выглядит «прибыток» В. Н. Топорова, процедура восполнения опустошенного Я со стороны сверх-Я в изображении Гертруды Великой из упомянутого выше монастыря Хельффа. Крайнее смирение (от Я) соседствуют с могучими глаголами Божьими (от сверх-Я) — все, как у московского старца, «батюшки» Алексея Мечёва.

И последнее. Во всех рассмотренных выше случаях — надгробного слова о. А. Мечёва в его толковании П. А. Флоренским и В. Н. Топоровым, автоагиографии «Vita» Г. Сузо, записках Элсбет фон Ойе — мы имеем дело с феноменом делегирования субъектности: харизматиком Богу. При таком делегировании совмещение обеих интенций — самоуничижения (сведения себя к ничто) и безапелляционного голосоведения — обнаруживает свою внутреннюю логику. В этом совмещении нет противоречия, но есть взаимная дополнительность, ведь та и другая интенции относятся к разным субъектам: первая — к тому, что подлежит изъятию, вторая — к тому, что возникает по мере изъятия первого; оно-то (Бог) и обнаруживает себя в голосоведении, в «глаголах со властью»¹⁵.

Занятно было бы описать данный феномен в атеистической парадигме, исключающей всякие метафизические реальности и описывающей трансцендентное, отсутствующее по определению, как имманентное и относящееся к внутренней логике повседневного религиозного опыта. Тогда такой опыт

¹³ Фрейдистское направление в исследовании средневековой немецкой (в первую очередь женской) мистики исчерпывающе представлено в [Beutin 1997–1999].

¹⁴ Ср.: «Желаю начертать имя Мое в твоём сердце, чтобы ему никогда из него не стёрться (...) Хочу глубоко погрузиться в сердце твоё и хочу совершенно заполнить его Собой Самим» [Штагель 2019: 160]; «Сладостное имя “Иисус Христос” имеет особое место в сердце моем. И Он его Сам приготавливает во мне Своей благодатью, когда милосердно запечатлевается в сокровенном моего сердца» [Там же: 276].

¹⁵ Обыкновенно это совмещение понимается как лицемерие, определяющее стиль религиозной (церковной) жизни. Оно было неудачно описано в «Тартюфе» Мольера, поскольку имеющаяся здесь глубокая антиномия был снята признанием Тартюфа «злодеем дерзким».

открывается как психотехника, работа с собой. Церковная же доктрина и ее мифопоэтический ряд (в переопределенном, индивидуализированном каждым харизматиком виде) обнаруживает себя как интерфейс и совокупность своего рода метафор¹⁶. Если каждому персонажу мифопоэтического ряда (Христу, ангелу, Богородице, дьяволу и пр.) соответствует та или иная психическая реальность (например, контрпозиция во внутреннем диалоге), то общаясь с этим персонажем-метафорой, манипулируя им, харизматик работает над собой и своим внутренним балансом. Таким образом производится целенаправленный дизайн сознания.

Источники

- Аристотель 1975–1984 — *Аристотель*. Сочинения: В 4 т. М.: Наука, 1975–1984.
- Жития святых 2003–2004 — Жития святых по изложению святителя Димитрия Ростовского. [Т. 1]. Январь. Барнаул: Изд-во прп. Максима Исповедника, 2003–2004.
- Мечёв 1997 — Надгробное слово, оставленное о. Алексием перед своей кончиной // «Пастырь добрый»: Жизнь и труды московского старца протоиерея Алексея Мечева / Сост. С. Фомин. М.: Паломник: ТУГА, 1997. С. 579–582.
- Сузо 2014 — *Сузо Генрих*. Exemplar / Изд. подгот. М. Ю. Реутин. М.: Науч.-изд. центр «Ладомир»; Наука, 2014.
- Штагель 2019 — *Штагель Элизабет*. Житие сестер обители Тёсс / Изд. подгот. М. Ю. Реутин. М.: Науч.-изд. центр «Ладомир»; Наука, 2019.
- Aut. — *Elsbeth von Oye*. Offenbarungen // Codex Rh 159 der Zentralbibliothek Zürich (Autograph).
- Cantic. 2 — *Bernhard von Clairvaux*. Sämtliche Werke: In 10 Bd. Bd. 6: Sermones super Cantica Cantorum. Innsbruck: Tyrolia Verlag, 1990–1999.
- Bestiaire 1900 — Le bestiaire de Philippe de Thaün / Publ. par E. Walberg. Lund: H. Möller, 1900.
- EO 2009 — Leben und Offenbarungen der Elsbeth von Oye / Hrsg. von W. Schneider-Lastin // Kulturtopographie des deutschsprachigen Südwestens im späteren Mittelalter: Studien und Texte / Ed. by B. Fleith, and R. Wetzl. Berlin; New York: Max Niemeyer Verlag, 2009. S. 395–467.
- Formic. 1692 — Johannis Nideri theologi olim clarissimi de Visionibus ac revelationibus. Opus rarissimum historiis Germaniae refertissimum, anno 1517. Argentinae editum / Recensente Hermanno von der Hardt. Helmholtzstadt: Typis Salomonis Schnorrii, 1692.
- GHB — Geistlicher Herzen Bavngart. Ein mittelhochdeutsches Buch religiöser Unterweisung aus dem Augsburger Franziskanerkreis des 13. Jahrhunderts / Hrsg. von H. Unger. München: Beck, 1969.
- Kt. — Das “St. Katharinentaler Schwesternbuch” / Untersuchung, Ed. und Kommen. von R. Meyer. Tübingen: Niemeyer, 1995.
- HSS — *Seuse H. Horologium Sapientiae* / Hrsg. von P. Künzle OP. Freiburg (Schweiz): Universitätsverlag, 1977.

¹⁶ Радикальное переопределение персонажей христианского мифа в пределах индивидуального опыта хорошо заметно в сочинениях средневековых монахинь, где Христос предстает в виде светового луча либо некой субстанции, «выплескивающейся из уст». Такая утрата визуальной конкретности связана с функционированием образов в рамках индивидуальных психотехник.

- LDP — Sanctæ Gertrudis Magnæ virginis ordinis sancti Benedicti Legatus divinæ pietatis // Revelationes Gertrudianæ ac Mechthildianæ. Opus ad codicum fidem nunc primum integre editum solesmensesium O. S. B. monachorum cura et opera: In 2 t. T. 1. Pictavii; Parisiis: Apud H. Oudin Fratres, 1875. P. 1–613.
- LSG — Sanctæ Mechthildis Liber specialis gratiæ // Revelationes Gertrudianæ ac Mechthildianæ: In 2 t. / Opus ad codicum fidem nunc primum integre editum solesmensesium O. S. B. monachorum cura et opera. T. 2. Pictavii; Parisiis: Apud H. Oudin Fratres, 1877. P. 1–421.
- PL — Patrologiæ cursus completus. Series Latina / Ed. J. P. Migne. Vols. 1–221. Paris, 1844–1864.
- Pfeiffer 1851 — Predigten und Sprüche deutscher Mystiker / Hrsg. von F. Pfeiffer // Zeitschrift für deutsches Altertum / Hrsg. von M. Haupt. Bd. 8. Leipzig: Weidmann'sche Buchhandlung, 1851. S. 209–258.
- Wackernagel 1876 — Altdeutsche predigten und Gebete. Aus Handschriften / Hrsg. von W. Wackernagel. Basel: Schweighauserische Verlagsbuchhandlung Hugo Richter, 1876.

Литература

- Аверинцев 1977 — *Аверинцев С. С.* Поэтика ранневизантийской литературы. М.: Наука, 1977.
- Реутин 1996 — *Реутин М. Ю.* Народная культура Германии: позднее Средневековье и Возрождение. М.: РГГУ, 1996.
- Реутин 2019 — *Реутин М. Ю.* «Распятая возлюбленная распятого Сына». Немецкая мистика позднего Средневековья (Очерк традиции) // Элизабет Штагель. Житие сестер обители Тёсс / Изд. подгот. М. Ю. Реутин. М.: Науч.-изд. центр «Ладомир»; Наука, 2019. С. 339–463.
- Реутин 2020 — *Реутин М. Ю.* Трикстер Мелетинского и средневековый шут // Ad virum illustrium: К 70-летию Михаила Леонидовича Андреева / Ред.-сост. А. В. Голубков, И. В. Ершова, К. А. Чекалов. М.: Дело, 2020. С. 704–725.
- Топоров 1989 — *Топоров В. Н.* Мейстер Экхарт-художник и «ареопагитическое» наследство // Палеобалканистика и античность / Отв. ред. В. П. Нерознак. М.: Наука, 1989. С. 219–252.
- Топоров 2000 — *Топоров В. Н.* Об одном случае преодоления — опустошения своего Я: «Надгробное слово отца Алексея Мечёва // «У времени в плену»: Памяти Сергея Сергеевича Цельникера: Сб. ст. / [Сост. и отв. ред. И. В. Стеблева]. М.: Вост. лит., 2000. С. 148–180.
- Флоренский 1997 — *Флоренский П.* Рассуждения на случай кончины отца Алексея Мечёва // «Пастырь добрый»: Жизнь и труды московского старца протоиерея Алексея Мечёва / Сост. С. Фомин. М.: Паломник; ТУГА, 1997. С. 583–602.
- Beutin 1997–1999 — *Beutin W.* Anima. Untersuchungen zur Frauenmystik des Mittelalters: In 3 Bd. Frankfurt (am M.); Berlin; Bern; New York; Paris; Wien: Peter Lang, 1997–1999.
- Hasebrink 2008 — *Hasebrink B.* Elsbeth von Oye: Offenbarungen (um 1340) // Literarische Performativität. Lektüren vormoderner Texte / Hrsg. von C. Herberichs, C. Kiening. Zürich: Chronos, 2008. S. 259–279.
- Ochsenbein 1986 — *Ochsenbein P.* Die Offenbarungen Elsbeths von Oye als Dokument leidensfixierter Mystik // Abendländische Mystik im Mittelalter. Symposium Kloster Engelberg 1984 / Hrsg. von K. Ruh. Stuttgart: Metzler, 1986. S. 423–442.
- Ruhrberg 1997 — *Ruhrberg Chr.* Verkörperte Theologie. Zum “Leben” der Christina von Stommel // Lustgarten und Dämonenpein. Konzepte von Weiblichkeit in Mittelalter und früher Neuzeit / Hrsg. von A. Kuhn, B. Lundt. Dortmund: Edition Ebersbach, 1997. S. 240–262.

Wünsche 2008 — *Wünsche Gr.* Präsenz der Unerträglichen. Kulturelle Semantik des Schmerzes in den “Offenbarungen” Elsbeths von Oye: Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philologischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität. Freiburg (im Br.), 2008.

References

- Averintsev, S. S. (1977). *Poetika rannevizantiiskoi literatury* [Poetics of early Byzantine literature]. Nauka. (In Russian).
- Beutin, W. (1997–1999). *Anima. Untersuchungen zur Frauenmystik des Mittelalters* (3 Vols.). Peter Lang. (In German).
- Florenskii, P. (1997). Rassuzhdeniia na sluchai konchiny ottsa Alekseia Mecheva [Reflections on the death of Father Alexei Mechev]. In S. Fomin (Ed.). “Pastyr’ dobryi”: *Zhizn’ i trudy moskovskogo startsa protoiereia Alekseia Mecheva* (pp. 583–602). Palomnik; TUGA. (In Russian).
- Hasebrink, B. (2008). Elsbeth von Oye: Offenbarungen (um 1340). In C. Herberichs, & C. Kiening (Eds.). *Literarische Performativität. Lektüren vormoderner Texte* (pp. 259–279). Chronos. (In German).
- Ochsenbein, P. (1986). Die Offenbarungen Elsbeths von Oye als Dokument leidensfixierter Mystik. In K. Ruh (Ed.). *Abendländische Mystik im Mittelalter. Symposion Kloster Engelberg 1984* (pp. 423–442). Metzler. (In German).
- Reutin, M. Yu. (1996). *Narodnaia kul’tura Germanii: pozdnee Srednevekov’e i Vozrozhdenie* [German folk culture: Late Middle Ages and Renaissance]. RGGU. (In Russian).
- Reutin, M. Yu. (2019). “Raspiataia vozliublennaia raspiatogo Syna”. Nemetskaia mistika pozdnego Srednevekov’ia (Ocherk traditsii) [“The crucified beloved of the crucified Son”. German mysticism of the late Middle Ages (Essay on tradition)]. In M. Yu. Reutin (Ed.). *Elizabet Shtagel’*. *Zhitie sester obiteli Tess* (pp. 339–463). Nauchno-izdatel’skii tsentr “Ladimir”; Nauka. (In Russian).
- Reutin, M. Yu. (2020). Trixster Meletinskogo i srednevekovyi shut [Meletinsky’s Trickster and the medieval jester]. In A. V. Golubkov, I. V. Ershova, & K. A. Chekalov (Eds.). *Ad virum illustum: K 70-letiiu Mikhaïla Leonidovicha Andreeva* (pp. 704–725). Delo. (In Russian).
- Ruhrberg, Chr. (1997). Verkörperte Theologie. Zum “Leben” der Christina von Stommeln. In A. Kuhn, & B. Lundt (Eds.). *Lustgarten und Dämonenpein. Konzepte von Weiblichkeit in Mittelalter und früher Neuzeit* (pp. 240–262). Edition Ebersbach. (In German).
- Toporov, V. N. (1989). Meister Ekkhart-khudozhnik i “areopagiticheskoe” nasledstvo [Meister Eckhart the artist and “Areopagitic” heritage]. In V. P. Neroznak (Ed.). *Paleobalkanistika i antichnost’* (pp. 219–252). Nauka. (In Russian).
- Toporov, V. N. (2000). Ob odnom sluchae preodoleniia — opustosheniia svoego Ia: “Nadgrobnoe slovo ottsa Alekseia Mecheva” [On one case of overcoming-devastation of one’s I: “Eulogy of Father Alexei Mechev”]. In I. V. Stebleva (Ed.). “U vremeni v plenu”: *Pamiatî Sergeia Sergeevicha Tsel’nikera: Sbornik statei* (pp. 148–180). Vostochnaia literatura. (In Russian).
- Wünsche, Gr. (2008). *Präsenz der Unerträglichen. Kulturelle Semantik des Schmerzes in den “Offenbarungen” Elsbeths von Oye* (Inaugural Doctoral Diss., Faculty of Philology at the Albert Ludwig University). (In German).

* * *

Информация об авторе

Михаил Юрьевич Реутин

*доктор философских наук
ведущий научный сотрудник,
Лаборатория историко-литературных
исследований, Школа актуальных
гуманитарных исследований, Институт
общественных наук, Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ
Россия, 119571, Москва, пр-т Вернадского,
д. 82
Тел.: +7 (499) 956-96-47
✉ mreutin@mail.ru*

Information about the author

Mikhail Yu. Reutin

*Dr. Sci. (Philosophy)
Leading Researcher; Center for Studies
in History and Literature, School
for Advanced Studies in the Humanities,
Institute for Social Sciences, The Russian
Presidential Academy of National Economy
and Public Administration
Russia, 119571, Moscow;
Prospekt Vernadskogo, 82
Tel.: +7 (499) 956-96-47
✉ mreutin@mail.ru*

М. Л. Сергеев^{ab}

ORCID: 0000-0002-1548-3901

✉ librorumcustos@gmail.com

^a Санкт-Петербургский филиал
Института истории естествознания
и техники им. С. И. Вавилова РАН
(Россия, Санкт-Петербург)

^b Российская национальная библиотека
(Россия, Санкт-Петербург)

КНИЖНАЯ ПЕЧАЛЬ: О ЧЕМ ПЕРЕЖИВАЛИ СОСТАВИТЕЛИ АВТОБИБЛИОГРАФИЙ XVI в.?

Аннотация. В статье рассматривается разновидность «автобиографической печали» — переживания автора, связанные с созданием и публикацией книг. Разнообразные проявления рефлексии и эмоций обнаруживаются в текстах автобиблиографического жанра, который переживал расцвет в эпоху гуманизма и книгопечатания. Эксплицитному выражению авторского «я» в таких, казалось бы, специальных и далеких от субъективности сочинениях способствовал синтез библиографии и биографии, имевший известные античные образцы. Он был характерен и для гуманистических справочников по библиографии, структура которых предполагала включение статьи о самом составителе книги. В работе анализируются два примера таких статей — автобиобиблиографии Конрада Гесснера и Джона Бэйла. Написанные с разницей всего в три года (в 1545 и 1548 гг., соответственно), они, тем не менее, существенно различаются как в аспектах изложения биографии, так и по характеру представления книг. В статье показано, что своеобразие этих текстов в значительной мере обусловлено различиями в самоидентификации и самопрезентации их авторов. Если для Бэйла основополагающее значение имели обретение истинной веры и конфессиональная полемика, то Гесснер, также будучи протестантом, помещает в фокус рассказа собственное становление как автора-гуманиста и взаимодействие с книгоиздателями.

Ключевые слова: Возрождение, гуманизм, история книги, книгопечатание, реформация, Швейцария, Великобритания, раннее Новое время, автобиография, автобиблиография, справочники, самопрезентация

Благодарности. Исследование проводилось в 2022 г. при поддержке «Карамзинских стипендий» Фонда Михаила Прохорова.

Для цитирования: *Сергеев М. Л. Книжная печаль: о чем переживали составители автобиблиографий XVI в.? // Шаги/Steps. Т. 9. № 4. 2023. С. 117–134. <https://doi.org/10.22394/2412-9410-2023-9-4-117-134>.*

Статья поступила в редакцию 7 июня 2023 г.

Принято к печати 5 августа 2023 г.

Shagi / Steps. Vol. 9. No. 4. 2023
Articles

M. L. Sergeev ^{ab}

ORCID: 0000-0002-1548-3901

✉ librorumcustos@gmail.com

^a *S. I. Vavilov Institute for the History of Science
and Technology of the Russian Academy of Sciences,
St. Petersburg Branch (Russia, St. Petersburg)*

^b *National Library of Russia (Russia, St. Petersburg)*

SORROW FOR BOOKS: WHAT DID THE COMPILERS OF 16TH-CENTURY AUTOBIBLIOGRAPHIES WORRY ABOUT?

Abstract. The article examines a type of “autobiographical sadness” — the author’s feelings associated with the creation and publication of books. Varied manifestations of self-reflection and emotions are found in texts of the autobibliographic genre, which flourished in the era of humanism and early printing. The synthesis of bibliography and biography, which had Greek and Roman prototypes and was characteristic, among others, of humanist handbooks in bibliography, contributed to the explicit expression of the authorial “self” in such seemingly technical, dry and “objective” works. The very structure of these handbooks implied the inclusion of an article about its compiler in the text. In this article, two examples of such texts are analyzed — namely, the autobibliographies by the Swiss polymath Conrad Gessner and by the English clergyman and historian John Bale. Written only three years apart (in 1545 and 1548, respectively), they nevertheless differ significantly, in both the organization of the biographical narrative and in the nature of book presentation. The article shows that the peculiarity of these texts is largely due to differences in the self-identification and self-presentation of their authors. While for Bale the acquisition of the true faith and confessional polemics were of fundamental importance, Gessner, though also a Protestant, places his own formation as a humanist author and interaction with book publishers in the focus of the story.

Keywords: Renaissance, Humanism, book history, book printing, Reformation, Switzerland, Great Britain, Early Modern Europe, autobiography, autobibliography, reference books, self-presentation

Acknowledgements. The research was conducted in 2022 with the support of “Karamzin Fellowships”, Mikhail Prokhorov Foundation

To cite this article: Sergeev, M. L. (2023). Sorrow for books: What did the compilers of 16th-century autobibliographies worry about? *Shagi / Steps*, 9(4), 117–134. (In Russian). <https://doi.org/10.22394/2412-9410-2023-9-4-117-134>.

Received June 7, 2023

Accepted August 5, 2023

1

Книга и связанные с ней институты и практики представляли собой важнейшую сферу преобразований, охвативших науку и культуру в целом в XV–XVI вв. Распространялась новая технология передачи информации, установились новые стандарты критики текста, формат научных изданий адаптировался к стремительному росту объемов знания и новым потребностям в информационном поиске (см.: [Eisenstein 1979; Blair 2010]). Все эти аспекты научной жизни находили отражение в автобиографиях гуманистов; причем они влияли не только на событийный ряд этих сочинений, но и на самоидентификацию авторов¹. Образ книги репрезентировал достижения, компетенции и устремления ученых, определял их статус в ученом сообществе, наконец, книга была важной составляющей экономики науки.

Книга воспринималась как воплощение знания и нередко отождествлялась с ним. Это придавало особенный драматизм топосу гибели книг и библиотек, нашедшему яркое воплощение еще в XIV в. в «Филобиблоне» Ричарда из Бери (д’Онджервила, 1287–1345). В четырех «Жалобах» от лица книг выразительно описаны претерпеваемые ими бедствия; приведен и впечатляющий список наиболее значительных утрат²:

Религия египтян, которую так высоко оценивает книга Совершенное Слово — Logostilios; государственное устройство древнейших Афин, существовавших за девять тысяч лет до греческих Афин; песнопения халдеев; рассуждения арабов и индийцев; священнодействия иудеев; зодчество вавилонян; земледелие Ноя; магия Моисея; землемерие Иисуса Навина; загадки Самсона; поучения Соломона о растениях от кедра ливанского до иссопа; противоядия Асклепия; грамматика Кадма; поэмы Парнаса; оракулы Аполлона; плавание Ясона; стратегия Паламеда; и бесконечное множество других на-

¹ Об аспектах идентичности гуманистов см.: [Enenkel 2022].

² Здесь не место обсуждать его достоверность — нас интересует пафос этого пассажа.

учных тайн — все это считается погибшим во время пожара (пер. Я. М. Боровского) [Де Бери 1984: 151–153].

Истории библиотек было посвящено известное антикварное исследование Юста Липсия (1547–1606) «*De bibliothecis syntagma*» (1602). Впрочем, его автор ограничился событиями классического периода: от мифического египетского фараона Осимандуя, упоминаемого Диодором Сицилийским, до последних веков Римской империи³. О книжных потерях нового времени напоминал Конрад Гесснер в эмоциональных строках предисловия к «*Bibliotheca universalis*» (1545):

Но зачем нам оплакивать давно прошедшее? Ведь на памяти наших отцов погибла от чудовищного нашествия турок знаменитая библиотека в Буде, столице Паннонского царства. Король Матьяш «...» наполнил ее самыми разными книгами, в том числе бесчисленным множеством томов на греческом и еврейском языках; после захвата [турками] Константинополя и разрушения множества других богатых греческих городов он приобретал их в самых отдаленных местах Греции, понеся огромные расходы⁴ [Gessner 1545: *2b]⁵.

2

Важнейшим объектом исследований и источником образцов для ученых-гуманистов служили произведения античных авторов: их переводили, комментировали, издавали, использовали как материал для составления антологий, словарей и энциклопедий (см.: [Bloemendal, Nellen 2014]). Впрочем, социальная значимость книг определялась не только их ролью в научных исследованиях и преподавании. Круг чтения, характер чтения, владение книгами и т. д. имели профессиональную специфику, указывали на положение читателя в академической и общественной иерархии (см.: [Кавалло, Шартье 2008: 225–358]). Ученые тексты различных жанров — от писем до энциклопедий — использовались как инструмент коммуникации. Этому способствовало повсеместное распространение разнообразных паратекстов — от титульных листов и посвячительных писем до прибавлений (*Addenda*): в них опубликованный текст преподносился как результат диалога или повод для него (ср. [Lewis 2008; Blair, Patton 2021]).

В истории книг фактически запечатлены все основные этапы жизни ученого: ученические «квалификационные» сочинения; работа на вспомогательных ролях (корректора, переводчика, компилятора); первые собственные публикации; главные труды, приносящие известность; переиздания собственных книг; собрания писем и т. д. В результате как сами книги, так и разговор о них оказываются совершенно естественным способом самоидентификации и са-

³ См. русский перевод, выполненный В. П. Поршневым: [Липсий 2013].

⁴ Здесь и далее, если не указано иное, переводы принадлежат автору статьи.

⁵ Речь идет о библиотеке, собранной венгерским королем Матвеем I Корвином и захваченной турецкими войсками после победы в битве при Мохаче в 1526 г.; о составе библиотеки и судьбе ее книг см., например: [Maillard et al. 2009].

мопрезентации ученого. Неудивительно, что в XVI в. мы наблюдаем расцвет жанра автобиблиографии, принимавшего самые разнообразные и развернутые формы: от издательского каталога в «Письме о положении дел в собственной типографии» (1569) грециста и издателя Анри Этьенна (1531–1598) до исторического повествования «*De libris propriis*» (1570) с изложением обстоятельств написания каждого из трудов врача и антиквара Джона Кайуса (1510–1573). Наряду с этим авторы публиковали краткие списки собственных произведений — в виде раздела или статьи в более крупном сочинении.

Этот период истории автобиблиографии остался в основном за пределами обзора, составленного Ю. Байером и Л. Пенманом [Beyer, Penman 2013], что, впрочем, компенсируется значительным вниманием исследователей к отдельным образцам этого жанра в XVI в. Следует отметить в особенности статьи Я. Маклина и его издание полного корпуса автобиблиографий Дж. Кардано [Cardano 2004], комментированный перевод сочинения Дж. Кайуса, подготовленный В. Наттоном [Caius 2021], издание «Письма» Этьенна в сборнике его трудов, посвященных книгам и книжному делу [Estienne 2022: 273–318].

Как правило, в этих текстах библиографический нарратив переплетался с биографическим — в этом авторы-гуманисты следовали классическим образцам, в особенности сочинению Галена «О собственных книгах», первая часть которого имеет хронологическое расположение и вписывает создание отдельных книг в жизненный путь автора⁶. Для автобиблиографических сочинений гуманистов характерна рефлексия по поводу достигнутых результатов и творческих планов автора; обсуждается его взаимодействие с другими людьми в ходе написания и публикации книг, а также принятие его книг читателями.

Последнему из названных аспектов много внимания уделяет, например, Кайус в «*De libris propriis*». Успех того или иного собственного сочинения он нередко упоминает в качестве обоснования для выхода новых публикаций или вообще — как стимул для продолжения научных занятий. Так, рассказав об издании «Анатомии» (или «Анатомических процедур») Галена, которое вышло под его редакцией в Базеле в 1544 г.⁷ [Caius 1729: 141], Кайус с удовлетворением констатирует:

Возвращаясь к анатомии: когда я понял, что мой редакторский труд оказался полезным, — а понятно это было из того, что эти книги всюду ходили по рукам, так что знаменитый издатель Гильом Ровиллий из Лиона выправил по моему греческому тексту свое латинское издание, а многие примечания из моего комментария перенес к себе почти дословно и напечатал в небольшом томике в Лионе в 1551 г.⁸, — тогда я решил отредактировать также и текст книги Галена «О гигиене» [Caius 1729: 156].

Следует отметить тщательность аргументации, которую использует Кайус: субъективных впечатлений ему кажется недостаточно, и он ссылается на конкретное издание, использовавшее плоды его трудов. При этом он, по-

⁶ См. комментированный русский перевод И. В. Пролыгиной [2017].

⁷ В составе сборника [Galenus 1544].

⁸ Имеется в виду издание [Galenus 1551] (ср. [Caius 2021: 93]).

видимому, пользуется возможностью исправить библиографическую несправедливость⁹.

Итальянский врач и математик Джероламо Кардано (1501–1576) также отслеживал, какой прием встречали его труды и вообще упоминания о себе в сочинениях других авторов. Это занятие нашло отражение в его знаменитой автобиографии (1576 г., изд. в 1643 г.), где помимо библиографической главы («Написанные мною книги. О времени, причинах и обстоятельствах их написания») имеется также каталог «Свидетельств обо мне знаменитых людей» [Кардано 2012: 182–196, 204–209]. В нем по алфавиту расположены 73 имени авторов и названия книг, так или иначе ссылающихся на Кардано. Впрочем, из их числа он выделяет явных недоброжелателей и перечисляет их отдельно, пользуясь возможностью выразить им свое презрение:

Из тех, кто дурно отзывался обо мне, я не знаю никого, кто вышел бы за пределы грамматики¹⁰; я не знаю, как они осмелились причислить себя к разряду ученых. Вот их имена: Бродео¹¹, Фуке¹², Ронделе¹³, Бутео (Боррель)¹⁴, Карпентарий (Шарпантье)¹⁵, Турнеб¹⁶, Флуksада (Де Фуа)¹⁷ и Тарталья¹⁸ (пер. Ф. А. Петровского, с уточнениями) [Кардано 2012: 208].

Замечу, что, за исключением Де Фуа, никого из названных авторов к моменту написания «De propria vita» не было в живых, так что этот пассаж едва ли предполагал какой-то ответ, даже в случае немедленной публикации сочинения.

3

Жанр автобиблиографии, который ставил современных ученых в один ряд с *auctores*, чьи произведения заведомо признавались достойными внимания, нуждался в некотором обосновании. Особенно это было очевидно в тех случаях, когда автобиблиографические статьи включались в труды по библиографии или истории науки. На двух образцах такого рода текстов я остановлюсь подробно, чтобы показать способность «биографической печали» как проецироваться на различные аспекты библиографии, так и в целом репрезентироваться в библиографическом тексте (отсюда многозначность определения «книжная печаль», которое мне показалось уместным для обозначения авторских переживаний).

Важнейшим образцом для ученых, о которых пойдет речь, служила традиция христианской библиографии, начатая сочинением св. Иеронима (ок. 345 —

⁹ В издании Ровиллия я не обнаружил ссылок на Кайуса, т. е. признания его заслуг.

¹⁰ То есть достиг в науках чего-то большего, чем умение читать авторов.

¹¹ Jean Brodeau (ок. 1500–1563), французский филолог и математик.

¹² Leonhart Fuchs (1501–1566), немецкий ботаник и врач.

¹³ Guillaume Rondelet (1507–1566), французский зоолог и врач.

¹⁴ Jean Borrel (Buteo, 1492–1572), французский математик.

¹⁵ Jacques Charpentier (1524–1574), французский философ и математик.

¹⁶ Adrien Turnèbe (1512–1565), французский филолог и королевский книгоиздатель.

¹⁷ François de Foix, comte de Candale (1502–1594), французский математик.

¹⁸ Nicolo Tartaglia (1499–1557), итальянский математик, инженер.

ок. 420) «О знаменитых мужах» (или «О церковных писателях» — оба названия упоминает сам составитель). Этот труд имел целый ряд продолжений в Средние века, к которым примыкает и сочинение «О церковных писателях» (1494) немецкого историка и аббата монастыря в Шпонгейме Иоганна Тритемия (1462–1516)¹⁹. Материал в этих книгах был упорядочен по хронологии, что позволяло новым авторам продолжать «книгописание» с того момента, на котором его оставил предыдущий библиограф. В большинстве из них ряд статей естественным образом завершался очерком о трудах самого автора.

На эту традицию также опирались крупнейшие библиографии середины XVI в.: «Универсальная библиотека» (1545–1555) Конрада Гесснера и «Свод знаменитых писателей Великобритании» (1548–1559) Джона Бэйла²⁰. В их трудах были реализованы две различные возможности развития библиографического жанра: во-первых, заимствование всех собранных предшественниками сведений, но заключение их в принципиально новые содержательные и формальные рамки (Гесснер); во-вторых, сохранение принципов представления информации, с приложением их к иному материалу (Бэйл). Автобио-библиографические тексты, содержащиеся в обоих справочниках, также демонстрируют существенные различия. Для нашего исследования особенный интерес представляет то, что в фокусе авторской рефлексии оказались совершенно разные аспекты ученой биографии.

4

Хотя библиографический *opus magnum* английского историка и религиозного деятеля Джона Бэйла (1495–1563) вышел тремя годами позже первого тома «Библиотеки» Гесснера, он демонстрирует значительно большее структурное сходство с книгами «*De scriptoribus ecclesiasticis*»: статьи в нем расположены по хронологии, рукописная и печатная книга не дифференцируются в качестве объекта описания. Следует иметь в виду, что Бэйл старше Гесснера на 21 год, что, несомненно, сказалось на его восприятии книжной культуры. По этим причинам мне показалось правильным рассмотреть автобиблиографию Бэйла в первую очередь и анализировать очерк Гесснера уже на ее фоне.

В отрочестве Джон Бэйл воспитывался в кармелитском монастыре в Норидже, а затем стал студентом кембриджского *Jesus College*. Несмотря на влияние лютеранских идей на его учителей, он сохранял верность католической вере: около 1531 г. он получил степень доктора богословия и к 1534 г. побывал настоятелем монастырей в Молдоне, Ипсвиче и Донкастере; в этот период он успел написать ряд сочинений богословского содержания. В 1534 г. его обвинили в ереси, а в 1536 г. он отказался от монашеских обетов и женился²¹.

¹⁹ См.: [Arnold 1993: 57–61; Ненарокова 2022]; о работе Иоганна Тритемия с различными источниками как внутри, так и за пределами названной традиции см.: [Steffen 1970: 1273–1291].

²⁰ Очерки, посвященные обоим трудам, у К. Р. Симона до сих пор сохраняют актуальность: [Симон 1963: 114–127, 131–139]. Более подробное исследование библиографического проекта Гесснера было предпринято Ф. Саббой [Sabba 2012], которая, в частности, подробно рассмотрела итальянские источники Гесснера.

²¹ Здесь и далее биографические сведения о Джоне Бэйле в основном заимствуются из статьи Дж. Кинга в «*Oxford dictionary of national biography*» [King 2004].

В последующие годы он сочинял пьесы на сюжеты из Св. Писания, проповедуя взгляды протестантов и пользуясь поддержкой Джона Леланда и Томаса Кромвеля. После смерти Кромвеля в 1540 г. и начала религиозной реакции Бэйл с женой и детьми был вынужден бежать в Германию, где продолжил писать полемические тексты. В Англию Бэйл смог вернуться после восхождения на престол Эдуарда VI в 1547 г.: ему как защитнику протестантской веры было адресовано посвяtitельное письмо к первому изданию английской библиографии; акт поднесения книги королю изображен также на имеющийся в издании гравированной иллюстрации [Bale 1548: A1a]. Тем не менее «*Illustrium Maioris Britanniae scriptorum Summarium*» вышел за пределы Англии — в немецком Везеле [VD16: B 224]. Книга, по замыслу автора, должна была охватывать всю историю литературы, созданной в английских землях, — от Самотеса (внука Ноя), легендарного автора первых кельтских законов [Ibid.: 6a/b], до 1548 г. (когда был завершен «*Summarium*»).

В августе 1552 г. король лично встретился с Бэйлом и представил его на место епископа Оссори в Ирландии. Однако после смерти Эдуарда VI и начала правления Марии I (1553–1558) в соборах вновь начали служить мессу, а Бэйлу после ряда злоключений пришлось бежать в Нидерланды, а оттуда — в Базель, где он прожил до 1559 г. В изгнании вышло второе издание библиографии, под названием «*Scriptorum illustrium Maioris Britanniae catalogus*» [Bale 1557–1559; VD16: B 226]; для него текст справочника был значительно расширен и разделен на два тома. В первом из них на титульном листе о положении автора сказано следующее:

Написал Джон Бэйл из Саффолка, англичанин, некогда епископ в Оссори у ирландцев, теперь живущий в изгнании у германцев из-за исповедуемой им веры в Христа²².

Как видно, религиозная идентификация сыграла важнейшую роль в судьбе Джона Бэйла; неудивительно, что она определила не только структуру и пафос жизнеописания, но и характер представления списка книг в его справочнике. Здесь я остановлюсь на первоначальной версии этого текста, опубликованной в издании 1548 г. [Bale 1548: 242b–244b]²³.

Каждый факт собственной биографии²⁴ окрашивается Бэйлом в конфессиональные тона и сопровождается соответствующей оценкой. Сперва Бэйл объясняет свое пребывание в кармелитском монастыре в юном возрасте решением родителей, которое было вызвано «предрассудками и материальными трудностями»²⁵. Затем еще более категорическую оценку он дает своему обу-

²² «*Autore Ioanne Baleo Sudovolgio Anglo, Ossoriensi apud Hybernos iam pridem Episcopo, nunc apud Germanos pro Christi professione peregrino*» [Bale 1557–1559 (1): α1a].

²³ Во втором издании вступительный текст переписан и несколько расширен, однако его логика и оценки отдельных этапов биографии оставлены прежними; структура автобиографии также не претерпела изменений: [Bale 1557–1559 (1): 702–705].

²⁴ Как и биографий других авторов — ср. [Симон 1963: 137–138].

²⁵ «...parentum meorum partim superstitio partim inopia»; примечательно, что Бэйл считает необходимым оправдывать приверженность католическому учению в тот период (речь идет о 1507 г. и нескольких последующих годах), когда ему еще не существовало очевидной альтернативы.

чению в Норидже и Кембриджском университете: «...меня, мальчика 12 лет от роду, столкнули в бездну кармелитского монашества», так что «...я кружился в водоворотах учений, не имея опытного наставника или ученого покровителя». Спасением становится обращение Церкви к «истокам подлинного богословия»:

В сияющем свете рождения нового Иерусалима увидел я собственную безобразность, но милостью Господа был перенесен в гавань, в которой все воздвигнуто на крепкой скале.

В той же парадигме конфессионального противостояния описано и последовавшее за переходом в протестантизм вступление в брак: «...верной женой взял я себе Дорофею, не будучи более папской тварью, но тварью Божией»²⁶. На этом биографический очерк завершается; о последовавшем изгнании и возвращении в Англию кратко сообщается в конце статьи.

За жизнеописанием следует обоснование издания библиографического труда и особенно включения в него автобиблиографии: для этого используется ссылка на предшественников, церковных библиографов²⁷. Затем Бэйл перечисляет собственные труды: в списке, разделенном на три столбца, даются сведения, соответственно, о названии каждого сочинения и числе книг, из которых оно состоит, также приводятся инципиты. Иными словами, стандарт описания, используемый Бэйлом, соответствует тому, который был введен в конце XV в. Иоганном Тритемием [Steffen 1970: 1302–1314]; он в целом не различает описания рукописных и печатных книг, не дает выходных сведений для последних, несмотря на то что после начала книгопечатания прошло уже целое столетие.

Список сочинений разделен на несколько рубрик в соответствии с хронологическим и языковым критериями. Первый раздел включает труды, написанные до обращения в протестантизм и назван «Сочинения бедного ума, которые я <...> написал, находясь под папской властью» (*Pauperis ingenii syntagmata quaedam sub papismo <...> scripsi*). Им отчетливо противопоставлены те, которые Бэйл «сочинил за пределами папских владений, при евангелической свободе, сперва побуждаемый Леландом²⁸» (*Extra regnum Papisticum, sub Evangelica libertate composui, a Lelando provocatus primum*). Затем следуют труды на английском языке («*In idiomate materno*», «*Brytannico sermone*»), которые подразделяются на стихотворные (комедии) и прозаические. Таким образом, Бэйл отчетливо позиционирует себя не только как протестант в отношении церковных догматов, но и как автор, активно пишущий на родном языке.

²⁶ «...ut non amplius essem papae creatura, sed Dei».

²⁷ У них, в свою очередь, также имелись аналогичные отсылки, как, например, у Иоганна Тритемия и Сигеберта из Жамблу (1030–1112): «По примеру святых отцов: Иеронима, Геннадия и Гонория Августодунского...» [Trithemius 1494: 140a]; «Подражая Иерониму и Геннадию, я написал эту книжечку “О знаменитых мужах”» [Sigebertus 1854: 588].

²⁸ Имеется в виду Джон Леланд (ок. 1503–1552), антиквар, поэт и библиотекарь Генриха VIII; его сочинение «*Commentarii de scriptoribus Britannicis*» стало одним из важных источников библиографии Бэйла — на него он многократно ссылается в тексте («*inquit Lelandus...*»).

Представление собственных книг у Бэйла служит подтверждением событий его жизненной драмы. Труды католического периода не забыты им: они призваны свидетельствовать о деятельности автора в период духовных скитаний и «скудости мысли» (по его собственным словам). Напротив, изгнание не стало предметом специального рассказа в биографической части, поскольку житейским переменам этих лет была противопоставлена непрерывность литературного творчества, начатого с обращением в новую веру. Именно на это время приходится его расцвет: 19 ранним трудам соответствуют 46 сочинений, написанных «вне папской власти». Концовка статьи исполнена как биографического, так и библиографического оптимизма: здесь перечислены будущие сочинения, над которыми Бэйл работал, завершая «*Summarium*» («*in manibus adhuc sunt*»²⁹), и, наконец, сообщается о возвращении на родину «после долгого изгнания, по доброй воле благочестивого короля Эдуарда VI».

5

Швейцарский полимат Конрад Гесснер (1516–1565) к моменту публикации первого тома «*Bibliotheca universalis*» (1545–1555) был значительно моложе Бэйла — автора «*Summarium*» (29 лет против 53). Он принадлежал иному интеллектуальному кругу — не церковному, а университетскому; его преподавательская деятельность была связана с протестантскими академиями в Лозанне и Цюрихе, основанными в 1520–1530-е годы³⁰. Кроме того, с самого начала карьеры Гесснер был тесно связан с книгоиздателями; типографским делом занимались и его двоюродные братья. Все эти обстоятельства повлияли на особенности эго-нарратива (биографического и библиографического), который он включил в свою энциклопедию [Gessner 1545: 179b–183a], следуя примеру церковных библиографов; кроме того, в качестве своих предшественников он называет Августина и Галена.

В отличие от Бэйла, упомянувшего о своих родителях, Гесснер начинает рассказ сразу со школы:

Учителями моими на родине, в детстве и отрочестве, были весьма знаменитые люди <...> у которых я обучился обоим языкам, от самых начатков до среднего уровня³¹.

Затем он рассказывает о своих академических путешествиях — в Страсбург, Бурж и Париж, останавливаясь только на тех подробностях, которые были важны для его становления как ученого. Например, упоминая о частных уроках, которые он давал во Франции, Гесснер отмечает, что он «сам получал огромную пользу, обучая других»³². Чтение классиков во Франции характеризуется им как интенсивное, но беспорядочное:

²⁹ «Которые пока что у меня в руках» (т. е. в работе).

³⁰ Сведения о биографии Гесснера приводятся по наиболее полному ее изложению в книге Урса Лея [Leu 2016].

³¹ «...ad mediocrem cognitionem».

³² «Docendo alios ipse plurimum profecisse mihi videor».

Стремясь получать от занятий удовольствие, по детской привычке, я, менее всего уделяя внимание философии и строгим наукам³³, пролистывал без определенной цели разных авторов — греческих и латинских, историков, поэтов, врачей, филологов, иногда логиков и риторов, но, многое пропуская, лишь отдельные книги прочитывал целиком, лаская свой разум переменой и разнообразием чтения.

Такой образ занятий он объясняет своим восемнадцатилетним возрастом: «В эти годы человек совершенно беззаботен, если у него нет советника или наставника³⁴». Извлекая урок из собственного опыта, Гесснер в первую очередь упрекает родителей, не нанимающих своим детям учителя из экономии денег, а затем увещевает студентов: «Добрые юноши! Настоятельно вам советую: чаще обращайтесь к ученым мужам за советом».

Описание парижского периода имело, вероятно, не только дидактическое значение. Конечно, можно полагать, что, говоря о лагунах в своем образовании, Гесснер не преувеличивал и действительно сожалел о том, что не занимался должным образом науками квадривиума и философией, переходя от филологических дисциплин (тривиума) прямо к медицине (к которой относилась и ботаника). Но столь же вероятным представляется и то, что его слова о мн о г о о б р а з и и книг, с которыми он смог познакомиться, также соответствовали действительности³⁵. Выборочное чтение возможно более широкого круга авторов было именно тем опытом, который необходим для составления универсальной библиографии. Такая интерпретация вполне согласуется с утверждением в посвяtitельном письме к «Библиотеке»:

Я прочел предисловия почти всех книг, которые были под рукой, но извлек из них лишь то, что показалось примечательным [Gessner 1545: *4a].

Таким образом, обнаруживая недостатки в своем образовании, Гесснер вместе с тем представляет себя квалифицированным читателем, знающим о многообразии книг не только из вторых рук и умеющим критически относиться к собственным навыкам.

Следующий важный эпизод автобиографии рассказывает о первой публикации, в которой Гесснер принял участие; с этим опытом связана его «книжная печаль». Приведу этот рассказ целиком:

Я смог отправиться в Базель, чтобы лучше преуспеть в науках, благодаря тому что предстоятели нашей Церкви назначили мне стипендию — такую же, как была у меня прежде. Однако ее оказалось недостаточно для того, чтобы свободно заниматься изучением медицины. Побуждаемый этими обстоятельствами, я взялся допол-

³³ В оригинале *artes*: речь, вероятно, идет о дисциплинах квадривиума; судя по приведенному далее списку, имеются в виду математика и астрономия.

³⁴ «...consiliarius aut hortator».

³⁵ Находясь в Париже, Гесснер приобрел немало книг, но все они были утрачены при пересылке.

нять греческо-латинский словарь³⁶ по лексикону³⁷ Фаворина Камерса³⁸ — самому полному из греческих [словарей], — и увеличил его настолько, что [у Камерса] не осталось ничего, что я бы не привнес в [греческо-латинский] словарь, работая исключительно добросовестно и прилежно. Однако издатель сохранил лишь малую часть моих прибавлений, не ставя меня об этом в известность до тех пор, пока почти весь труд не был уже напечатан, в 1537 году. Возможно, он, поживившись на свое ученое суждение, намеренно исключил часть [дополнений] или же решил сберечь их на будущее, чтобы [при выходе нового издания] заявить о включении новых дополнений. Мне трудно об этом судить, а сам он спустя недолгое время после выхода книги завершил свой жизненный путь³⁹. Право же, очень больно от того, что к моим трудам отнеслись с таким пренебрежением!⁴⁰ «...» Но поскольку и тот издатель, и те, кто [позже] решились вычеркнуть [из текста] еще больше, уже окончили свои дни, я, пожалуй, не буду рассказывать об этих обстоятельствах подробнее.

За этим эпизодом следует рассказ о преподавании Гесснера в Лозанне и о трудах, написанных им в эти годы (1537–1540), после чего биографическое повествование уступает место списку трудов. Как это характерно в целом для «Универсальной библиотеки», в качестве основного объекта библиографии рассматриваются печатные публикации, для точной характеристики которых Гесснер ввел новую схему описания: она включала имена авторов и составителей, название книги, сведения о месте и годе издания, а также об издателе, о формате (в долях печатного листа) и числе страниц⁴¹.

В процитированном пассаже изображено первое знакомство студента — начинающего грециста — с правилами и практиками книгоиздателей второй трети XVI в. Усердие, проявленное им в пополнении словаря по непростому для понимания и поиска информации греческому источнику, не было вознаграждено в той мере, в какой этого мог ожидать автор, не имевший еще опыта взаимодействия с типографами. К 1545 г., когда Гесснер писал автобиографический очерк, он был уже весьма сведущ в этих вопросах⁴², поэтому предложил сразу несколько версий того, почему значительная часть его дополнений не была включена в публикацию. Далее в тексте сообщается еще об одной возможности: обильное цитирование Фаворино могло стать причиной конфликта

³⁶ То есть занялся оплачиваемой работой по заданию книгоиздателя. Чуть ниже Гесснер сетует на то, что сам он «и ему подобные вынуждены писать, чтобы заработать себе на хлеб» (nam ego et mei similes τὸς τὰ βιβλία scribere cogimur) [Gessner 1545: 180b].

³⁷ Имеется в виду [Phavorinus 1523].

³⁸ Guarino Favorino (ок. 1450–1537).

³⁹ Речь идет об Иоганне Вальдере (?–1541); см. о нем: [Reske 2015: 78].

⁴⁰ «Nae istud mihi plurimum dolet tantum laborem nostrum tam negligenter tractatum esse».

⁴¹ Ср., например, [Симон 2010: 122].

⁴² Ср. его жалобу на пагубное воздействие, которое оказывают на ученых бедственное положение и давление книгоиздателей: «Большинство авторов сегодня производят свои труды на свет прежде срока и, дабы получить от издателей жалкое вознаграждение, публикуют их незрелыми, не признаваясь при этом в своем проступке: почти все из них притворяются, чтобы не навлечь на себя бесчестье, а на типографа — убыток, что произошло бы, заяви они, что работают на печатный станок (то есть по обстоятельствам и ради денег)» [Gessner 1545: 180b].

с другим базельским типографом — Робертом Винтером, который как раз собирался переиздать его словарь⁴³.

Гесснера должно было огорчить еще и то, что в словаре 1537 г. не было упомянуто его имя. Этому также есть вполне понятное объяснение: издатели словарей стремились указывать на титульном листе имена авторитетных составителей или названия источников, которые могли послужить рекламой изданию⁴⁴. Имя никому не известного студента-медика определенно не могло увеличить продажи словаря, поэтому и на титульном листе, и в предисловии было помещено только имя издателя, который называет словарь «своим» (*lexicum hoc nostrum*), упоминая также о собственных «трудах и бдениях» (*labores nostri et vigiliae*) [*Lexicon Graecolatinum* 1537: a2a/b].

Изучение последовавших изданий словаря, в которых Гесснер также принимал участие, показывает постепенное повышение его статуса в республике ученых: в словаре 1543 г. его имя по-прежнему отсутствовало на первой странице, однако им было подписано обширное предисловие «О пользе и превосходстве греческого языка» (*Conradi Gesneri medici⁴⁵, de utilitate ac praestantia Graecae linguae <...> praefatio*) [*Lexicon Graecolatinum* 1543: A2a–A7b]; в издании 1545 г. [*Lexicon Graecolatinum* 1545] Гесснер впервые назван составителем непосредственно на титульном листе. Наконец, в издании 1552 г. [*Lexicon Graecolatinum* 1552], когда словарь — после еще нескольких грецистов — редактировал Иоганн Гартунг (1505–1579), а Гесснер отошел от этой работы, но был уже знаменитым ученым, его имя (как авторитетного участника проекта) было не только сохранено на титульном листе, но оказалось набрано первым, к тому же заметно более крупным кеглем, чем имена других участников — Арнольда Арления, Адриана Юния и Иоганна Гартунга.

Конфликт, подробно описанный в эпизоде со словарем, хотя в нем могли присутствовать и личные мотивы, в целом иллюстрирует значение книгопечатания для карьеры ученого в XVI в. Социализация в научном мире предполагала не только установление связей с коллегами и покровителями, преподавание в школах и университетах, но также публикацию собственных трудов. Для этого было необходимо активно взаимодействовать с типографами, учитывать их экономические интересы, обосновывать востребованность своих научных проектов и т. п. Только таким образом гуманист становился полноправным участником книжного мира.

6

Подробность гесснеровского рассказа о словаре делает тем более заметным то обстоятельство, что Бэйл не уделяет специального внимания своему первому сочинению. Впрочем, это легко объясняется из логики его повествования: ранние труды принадлежали католическому периоду жизни, который характеризовался автором резко отрицательно. В жизнеописании Бэйла —

⁴³ Он вышел в 1538 г. [*Phavorinus* 1538]. Об истории издания греческо-латинского словаря 1537 г. см. подробнее и с библиографией в [Сергеев 2014].

⁴⁴ О конкуренции в словарном деле XVI в. см.: [Сергеев 2018]. О функциях титульных листов в изданиях XVI в. см.: [Gilmont, Vanautgaerden 2008].

⁴⁵ В 1541 г. Гесснер получил степень доктора медицины.

лаконичном, но не лишенном при этом эмоциональности и отступлений от строгой фактологичности — акцентированы и отрефлексированы лишь те события, которые связаны с противостоянием «папской» и реформированной веры; этому же принципу подчинено устройство библиографии. Если переломным моментом в рассказе Бэйла стало обретение им истинной веры, то у Гесснера таким был переход от роли читателя к роли автора, т. е. к полноценной научной и литературной деятельности. В ученном мире XVI в., как и в наше время, этот переход обозначался выходом первой публикации. Поэтому рассказ о перипетиях ее появления на свет занимает столь заметное место в очерке Гесснера. Болезненность этого опыта провоцирует не только горестное восклицание («*Naе plurimum dolet mihi!*»⁴⁶), но и необычное для Гесснера библиографическое умолчание: он не только не называет имена типографов, пренебрегших его работой над словарем, но и не описывает издание 1537 г. по введенной им же самим схеме.

Гесснер, как и Бэйл, застал эпоху религиозных перемен — церковной реформы, которая сопровождалась политической борьбой и часто кровавыми событиями. Однако самые бурные события религиозных сражений между швейцарскими кантонами — Каппельские войны (1529–1531 гг.) — пришлось на школьные годы Гесснера⁴⁷; после этого ситуация относительно стабилизировалась. Напротив, в Англии середины XVI в. противостояние реформации и католицизма происходило бурно и с переменным успехом: колебания этого маятника Бэйл заметно ощутил на собственной судьбе, будучи уже взрослым человеком. Значительную часть жизни он провел в изгнании, где были подготовлены оба издания его библиографического труда. Гесснер также столкнулся с гонениями на протестантов⁴⁸ — во Франции в 1534 г. после распространения антикатолических листовок (*affaire des placards*). Но решением для него стало возвращение на родину, а не бегство от нее.

Как видно, в обоих очерках эмоциональность маркировала смену существенных для каждого автора периодов жизни, которая отражалась в равной мере в биографическом и библиографическом изложении. Однако выбор событий, которые можно было считать «переходными», зависел от понимания автором собственной идентичности и того образа себя, который он хотел создать в тексте: если для протестанта Бэйла преобладающей была роль ревнителя веры и религиозного полемиста, то протестант Гесснер был по преимуществу гуманистом и организатором научного знания.

⁴⁶ «Мне, право, очень горько от этого!»

⁴⁷ Об этих событиях Гесснер также упоминает в «Библиотеке», не упуская возможности отметить, что год его рождения совпал с началом швейцарской Реформации: «Ульрих Цвингли из Тоггенбурга, гельвет, подлинно благочестивый и ученый муж <...> у которого я, будучи отроком, слушал в Цюрихе истолкования Ветхого Завета на латинском языке, а также церковные проповеди на немецком, но, увы, лишь недолгое время. Ведь вскоре, в ужасной войне, разразившейся между гельветами, он с позволения Господа пал в сражении за родину в год Спасения 1531, в 11-й день октября. Он первым в Гельветии, около 1516 года (который был годом моего рождения), будучи исполнен веры в Господа, начал создавать основу евангелической [Церкви]...» [Gessner 1545: 343b].

⁴⁸ Следует также иметь в виду, что еще при жизни Гесснера все его сочинения были запрещены Католической церковью, как следует из первого «Индекса запрещенных книг» (1564), утвержденного на Тридентском соборе [Index 1564: 7a].

Источники

- Де Бери 1984 — *Де Бери Р.* Филобиблон / Ред. лат. текста, пер., примеч. и ввод. ст. Я. М. Боровского. М.: Книга, 1984.
- Кардано 2012 — «О моей жизни» Джироламо Кардано / Ред.-сост. Ю. П. Зарецкий; Пер. Ф. А. Петровского [и др.]. М.: Изд. дом Высш. школы экономики, 2012.
- Липсий 2013 — *Липсий Юст.* О библиотеках / Пер. с лат., вступ. ст. и коммент. В. П. Поршнева. СПб.: СПбГУКИ, 2013.
- Bale 1548 — *Bale J.* Illustrium Maioris Britanniae scriptorum, hoc est, Angliae, Cambriae, ac Scotiae summarium. Wesel: D. van der Straten, 1548.
- Bale 1557–1559 — *Bale J.* Scriptorum illustrium maioris Brytanniae, quam nunc Angliam & Scotiam vocant Catalogus. T. 1–2. Basel: J. Oporinus, 1557–1559.
- Caius 1729 — *Caius J.* De canibus Britannicis. De rariorum animalium & stirpium historia. De libris propriis. De pronunciatione Graecae & Latinae linguae. London: C. Davis, 1729.
- Caius 2021 — *Caius J.* An autobibliography / Ed. by V. Nutton. London: Routledge, 2021.
- Cardano 2004 — *Cardano G.* De libris propriis. The editions of 1544, 1550, 1557, 1562, with supplementary material / Ed. by I. Maclean. Milano: Franco Angeli, 2004.
- Estienne 2022 — *Estienne H.* On books / Ed. by J. De Keyser, N. Humble, K. Sidwell. Gent: LYSA, 2022.
- Galenus 1544 — *Galenus.* Libri aliquot Graeci partim hactenus non visi, partim a mendis <...> ad vetustissimos codices repurgati & integritati suae restituti, annotationibusque illustrati per Ioannem Caium Britannum, Medicum. Basel: H. Froben d. Ä; N. Episcopus d. Ä., 1544.
- Galenus 1551 — *Galenus.* De anatomicis administrationibus libri IX / Ioanne Andernaco interprete ... Lyon: G. Rouillé, 1551.
- Gessner 1545 — *Gessner C.* Bibliotheca universalis. Zürich: Ch. Froschauer, 1545.
- Index 1564 — Index librorum prohibitorum cum regulis confectis per patres a Tridentina synodo delectos ... Milano: G. A. Antoni, 1564.
- Lexicon Graecolatinum 1537 — Lexicon Graecolatinum. Basel: J. Walder, 1537.
- Lexicon Graecolatinum 1543 — Lexicon Graecolatinum. Basel: H. Curio, 1543.
- Lexicon Graecolatinum 1545 — Lexicon Graecolatinum novissime ab innumeris mendis recognitum, & insigni accessione auctum per Conradum Gesnerum Tigurinum. Basel: H. Curio, 1545.
- Lexicon Graecolatinum 1552 — Lexicon Graecolatinum post Conradum Gesnerum ... Arnoldum Arlenium ... et post Adriani Iunii Medici ... accessionem, postremo nunc non mediocriter auctum per Ioannem Hartongum. Basel: H. Curio, H. Petri, 1552.
- Phavorinus 1523 — *Phavorinus V.* Magnum ac perutile dictionarium quod quidem Varinus Phavorinus Camers Nucrinus piscopus ex multis variisque auctoribus in ordinem alphabeti collegit. Roma: Zaccaria Calliergi, 1523.
- Phavorinus 1538 — [*Phavorinus V.*] Dictionarium Varini Phavorini Camertis <...> totius linguae Graecae commentarius. Basileae: R. Winter, 1538.
- Sigebertus 1854 — *Sigebertus Gemblacensis.* Opera omnia. Paris: J.-P. Migne, 1854. (Patrologiae cursus completus. Ser. 2; T. 160).
- Trithemius 1494 — *Trithemius J.* De scriptoribus ecclesiasticis. Basel: I. Amerbach, 1494.
- VD16 — Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts (VD16). 1983–2000. URL: <https://www.bsb-muenchen.de/sammlungen/historische-drucke/recherche/vd-16>.

Литература

- Кавалло, Шартье 2008 — История чтения в Западном мире от Античности до наших дней / Под ред. Г. Кавалло, Р. Шартье; Пер. с фр. М. А. Руновой. М.: ФАИР, 2008.
- Ненарокова 2022 — *Ненарокова М. Р.* Блаженный Иероним Стридонский и традиция трактатов «О знаменитых мужах» // «История литературы»: ненаучные истоки одного научного жанра / Отв. ред. М. Р. Ненарокова. М.: ИМЛИ РАН, 2022. С. 38–61.
- Пролыгина 2017 — *Пролыгина И. В.* Гален. О собственных книгах // СХОЛН. Философское антиковедение и классическая традиция. Т. 11. № 2. 2017. С. 636–677. <https://doi.org/10.21267/AQUILO.2017.11.6485>.
- Сергеев 2014 — *Сергеев М. Л.* Греческо-латинский словарь 1537 года: свидетельства составителя и издателя // Vox medii aevi. 2014. № 1 (11). С. 40–46.
- Сергеев 2018 — *Сергеев М. Л.* Греческо-латинские лексиконы XVI в. в оценках лексикографов того времени // Индоевропейское языкознание и классическая филология. Т. 22. № 2. 2018. С. 1213–1232. <https://doi.org/10.30842/ielcp230690152288>.
- Симон 1963 — *Симон К. Р.* История иностранной библиографии. М.: Изд-во Всесоюзной кн. палаты, 1963.
- Arnold 1993 — *Arnold K.* “De viris illustribus”. Aus den Anfängen der humanistischen Literaturgeschichtsschreibung. Johannes Trithemius und andere Schriftstellerkataloge des 15. Jahrhunderts // Humanistica Lovaniensia. Vol. 42. 1993. P. 52–70.
- Beyer, Penman 2013 — *Beyer J., Penman L. T. I.* Printed autobiographies from the sixteenth and seventeenth centuries // Documenting the early modern book world: Inventories and catalogues in manuscript and print / Ed. by M. Walsby, N. Constantinidou. Leyden; Boston: Brill, 2013. P. 161–184.
- Blair 2010 — *Blair A.* Too much to know: Managing scholarly information before the Modern Age. New Haven; London: Yale Univ. Press, 2010.
- Blair, Patton 2021 — *Blair A., Patton M.* A quantitative study of the paratexts in Erasmus-Froben imprints // Erasmus Studies. Vol. 41. No. 2. 2021. P. 99–181. <https://doi.org/10.1163/18749275-04102003>.
- Bloemendal, Nellen 2014 — *Bloemendal J., Nellen H. J. M.* Philology: Editions and editorial practices in the Early Modern period // Brill’s encyclopaedia of the Neo-Latin world / Ed. by Ph. Ford, J. Bloemendal, Ch. Fantazzi. Leiden; Boston: Brill, 2014. P. 185–206.
- Eisenstein 1979 — *Eisenstein E. L.* The printing press as an agent of change: Communications and cultural transformation in early modern Europe. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1979.
- Enenkel 2022 — *Enenkel K.* “Identities” in humanist autobiographies and related self-presentations // Memory and identity in the learned world: Community formation in the Early Modern world of learning and science / Ed. By K. Scholten et al. Leiden; Boston: Brill, 2022. P. 31–80. https://doi.org/10.1163/9789004507159_003.
- Gilmont, Vanautgaerden 2008 — La page de titre à la Renaissance / Éd. par J.-F. Gilmont, A. Vanautgaerden. Turnhout: Brepols, 2008.
- King 2004 — *King J. N.* Bale, John // Oxford dictionary of national biography / Ed. by H. C. G. Matthew, B. Harrison. Vol. 3. Oxford: Oxford Univ. Press, 2004. P. 482–486.
- Leu 2016 — *Leu U. B.* Conrad Gessner (1516–1565): Universalgelehrter und Naturforscher der Renaissance. Zürich: Neue Zürcher Zeitung, 2016.
- Lewis 2008 — *Lewis M. S.* Introduction. The dedication as paratext // “Cui dono lepidum novum libellum?”: Dedicating Latin works and motets in the sixteenth century / Ed. by I. Bossuyt et al. Leuven: Leuven Univ. Press, 2008. P. 1–11.

- Maillard et al. 2009 — Matthias Corvin, les bibliothèques princières et la genèse de l'état moderne / Publ. par J.-F. Maillard, I. Monok, D. Nebbiai. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2009.
- Reske 2015 — *Reske Ch. Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet: Auf der Grundlage des gleichnamigen Werkes von Josef Benzing*. 2. Aufl. Wiesbaden: Harrassowitz, 2015.
- Sabba 2012 — Sabba F. La "Bibliotheca universalis" di Conrad Gesner: Monumento della cultura europea. Roma: Bulzoni, 2012.
- Steffen 1970 — Steffen Ch. Untersuchungen zum "Liber de scriptoribus ecclesiasticis" des Johannes Trithemius. Ein Beitrag zu den Anfängen der theologischen Bibliographie // Archiv für Geschichte des Buchwesens. 1970. Bd. 10. S. 1247–1354.

References

- Arnold, K. (1993). "De viris illustribus". Aus den Anfängen der humanistischen Literaturgeschichte: Johannes Trithemius und andere Schriftstellerkataloge des 15. Jahrhunderts. *Humanistica Lovaniensia*, 42, 52–70. (In German).
- Beyer, J., & Penman, L. T. I. (2013). Printed autobibliographies from the sixteenth and seventeenth centuries. In M. Walsby, & N. Constantinidou (Eds.). *Documenting the early modern book world: Inventories and catalogues in manuscript and print* (pp. 161–184). Brill.
- Blair, A. (2010). *Too much to know: Managing scholarly information before the Modern Age*. Yale Univ. Press.
- Blair, A., & Patton, M. (2021). A quantitative study of the paratexts in Erasmus-Froben imprints. *Erasmus Studies*, 41(2), 99–181.
- Bloemendal, J., & Nellen, H. J. M. (2014). Philology: Editions and editorial practices in the Early Modern period. In Ph. Ford, J. Bloemendal, & Ch. Fantazzi (Eds.). *Brill's encyclopaedia of the Neo-Latin world* (pp. 185–206). Brill.
- Cavallo, G., & Chartier, R. (Eds.). (2001). *Histoire de la lecture dans le monde occidental*. Seuil. (In French).
- Eisenstein, E. L. (1979). *The printing press as an agent of change: Communications and cultural transformation in early modern Europe*. Cambridge Univ. Press.
- Enenkel, K. (2022). "Identities" in humanist autobiographies and related self-presentations. In K. Scholten et al. (Eds.). *Memory and identity in the learned world: Community formation in the Early Modern world of learning and science* (pp. 31–80). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004507159_003.
- Gilmont, J.-F., & Vanautgaerden, A. (2008). *La page de titre à la Renaissance*. Brepols. (In French).
- King, J. N. (2004). Bale, John. In H. C. G. Matthew, & B. Harrison (Eds.). *Oxford dictionary of national biography* (Vol. 3, pp. 482–486). Oxford Univ. Press.
- Leu, U. B. (2016). *Conrad Gessner (1516–1565): Universalgelehrter und Naturforscher der Renaissance*. Neue Zürcher Zeitung. (In German).
- Lewis, M. S. (2008). Introduction. The dedication as paratext. In I. Bossuyt et al. (Eds.). "*Cui dono lepidum novum libellum?*": *Dedicating Latin works and motets in the sixteenth century* (pp. 1–11). Leuven Univ. Press.
- Maillard, J.-F., Monok, I., & Nebbiai, D. (Publ.) (2009). *Matthias Corvin, les bibliothèques princières et la genèse de l'état moderne*. Országos Széchényi Könyvtár. (In French).
- Nenarokova, M. R. (2022). Blazhenniy Ieronim Stridonskii i traditsiya traktatov "O znamenitkh muzhakh" [St. Jerome and the Tradition of "De viris illustribus" treatises]. In M. R. Nenarokova (Ed.). "*Istoriia literatury*": *nenauchnye istoki odnogo nauchnogo zhanra* (pp. 38–61). IMLI RAN. (In Russian).

- Polygina, I. V. (2017). Galen. O sobstvennykh knigakh [Galen. On my own books]. *ΣΧΟΛΗ. Filosofskoe antikovedenie i klassicheskaia traditsiia*, 11(2), 636–677. <https://doi.org/10.21267/AQUILO.2017.11.6485>. (In Russian).
- Reske, Ch. (2015). *Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet: Auf der Grundlage des gleichnamigen Werkes von Josef Benzing* (2nd ed.). Harrassowitz. (In German).
- Sabba, F. (2012). *La “Bibliotheca universalis” di Conrad Gesner: Monumento della cultura europea*. Bulzoni. (In Italian)
- Sergeev, M. L. (2014). Grechesko-latinskii slovar' 1537 goda: svidetel'stva sostavitelia i izdatelia [Greek-Latin dictionary of 1537: Editor's and printer's testimonies]. *Vox medii aevi*, 2014(1, no. 11), 40–46. (In Russian).
- Sergeev, M. L. (2018). Grechesko-latinskii leksikony XVI v. v otsenkakh leksikografov togo vremeni [The 16th-century Greek-Latin Lexica reviewed by contemporary lexicographers]. *Indoevropeiskoe iazykoznanie i klassicheskaia filologiya*, 22(2), 1213–1232. <https://doi.org/10.30842/ielcp230690152288>. (In Russian).
- Simon, K. R. (2010). *Istoriia inostrannoi bibliografii* [History of foreign bibliography]. Izdatel'stvo Vsesoiuznoi knizhnoi palaty. (In Russian).
- Steffen, Ch. (1970). Untersuchungen zum “Liber de scriptoribus ecclesiasticis” des Johannes Trithemius. Ein Beitrag zu den Anfängen der theologischen Bibliographie. *Archiv für Geschichte des Buchwesens*, 10, 1247–1354. (In German).

* * *

Информация об авторе

Information about the author

Михаил Львович Сергеев

кандидат филологических наук
научный сотрудник, Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН
Россия, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 5, литера Б
Тел.: +7 (812) 328-47-12
старший научный сотрудник, Российская национальная библиотека
Россия, 191069, Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 18
Тел.: +7 (812) 310-83-36
✉ librorumcustos@gmail.com

Mikhail L. Sergeev

Cand. Sci. (Philology)
Researcher, S. I. Vavilov Institute for the History of Science and Technology of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg Branch
Russia, 199034, St. Petersburg, Universitetskaya Emb., 5 B
Tel.: +7 (812) 328-47-12
Senior Researcher, National Library of Russia
Russia, 191069, St. Petersburg, Sadovaya Str., 18
Tel.: +7 (812) 310-83-36
✉ librorumcustos@gmail.com

С. М. Волошина

ORCID: 0000-0002-0635-3574

✉ s.m.voloshina@gmail.com

*Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
(Россия, Москва)*

«НАЕДИНЕ Я ВИДЕЛ ЕГО РАЗА ТРИ ИЛИ ЧЕТЫРЕ В ЖИЗНИ»: ЛИЧНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕЧАЛЬ В ДНЕВНИКАХ М. А. КОРФА 1839–1849 ГГ.

Аннотация. Личный дневник российского государственного деятеля М. А. Корфа представляет собой редкий пример слияния интереса личного и государственного, в частности глубоко личного переживания общественно-политических событий. Большинство записей касаются перипетий в высших институтах николаевской власти (царской семье, Государственном совете, министерствах и специальных комитетах). Эти события, как представляется, составляют основной жизненный интерес автора дневников и вызывают у него наибольший эмоциональный отклик, нередко выраженный в минорных тонах грусти и печали. Не менее эмоционально реагирует Корф на внешнеполитические события, в частности на революцию 1848 г. во Франции, а также на недостаточно быстрый, по его мнению, карьерный рост. При этом традиционные причины для печали, например болезни и смерти коллег и знакомых, вызывают у него лишь холодное любопытство. Образ Корфа в дневниках предстает двояким: индивидуальные черты образованного дворянина середины XIX в. сочетаются с характерным для элиты предыдущего XVIII в. восприятием монарха как сакральной фигуры и соответствующим к нему отношением. Печаль и ее формы, выражаемые Корфом в дневниках, рельефно описывают модель властной иерархии, выстроенную Николаем I. В центре этой модели находится сам император — источник основных радостей и горестей для высших чиновников и придворных, при этом печаль их увеличивается в прямой зависимости от расстояния до него.

Ключевые слова: история России XIX в., политическая история России XIX в., Николай I, М. А. Корф, дневники, история эмоций

Благодарности. Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС.

Для цитирования: Волошина С. М. «Наедине я видел его раза три или четыре в жизни»: личная государственная печаль в дневниках М. А. Корфа 1839–1849 гг. //

*Статья поступила в редакцию 15 мая 2023 г.
Принято к печати 27 июля 2022 г.*

Shagi / Steps. Vol. 9. No. 4. 2023
Articles

S. M. Voloshina

ORCID: 0000-0002-0635-3574

✉ s.m.voloshina@gmail.com

*The Russian Presidential Academy
of National Economy and Public Administration
(Russia, Moscow)*

“I SAW HIM IN PRIVATE THREE OR FOUR TIMES IN MY LIFE”: PERSONAL STATE SADNESS IN THE DIARIES OF M. A. KORF, 1839–1849

Abstract. The personal diary of a prominent Russian statesman, M. A. Korf, is a rare example of a fusion of personal and state interests, in particular, of a deeply personal experience of socio-political events. Most of the entries relate to incidents in the highest institutions of the Nicholas I's regime (the imperial family, the State Council, the ministries and special committees). These events seem to be the main life interest of the author and provoke his strongest emotional response, often expressed melancholically: with sadness and distress. Korf reacts no less emotionally to foreign policy events, in particular, the revolution of 1848 in France; as well as, in his opinion, his own overly slow career growth. At the same time, traditional reasons for sadness, such as illnesses and deaths of colleagues and acquaintances, arouse in him nothing but cold curiosity. The image of the author in his diaries appears twofold: the individual features of an educated nobleman of the mid-19th century merge with an approach inherent to the elite of the 18th century, namely, forming the image of a God-like monarch and the corresponding attitude towards him. Various forms of sadness expressed by Korf in his diaries vividly describe the model of the power hierarchy established by Nicholas I. The emperor is the very centre of this model: he is the source of major joys and sorrows for senior officials and courtiers, and their sadness increases in direct proportion to their distance from the emperor.

Keywords: history of 19th century Russia, political history of 19th century Russia, Nicholas I, M. A. Korf, diaries, history of emotions

Acknowledgements. The article was written on the basis of the RANEPА state assignment research programme.

To cite this article: Voloshina, S. M. (2023). “I saw him in private three or four times in my life”: Personal state sadness in the diaries of M. A. Korf, 1839–1849. *Shagi / Steps*, 9(4), 135–157. (In Russian). <https://doi.org/10.22394/2412-9410-2023-9-4-135-157>.

Received May 15, 2023

Accepted July 27, 2023

Дневники государственного деятеля Модеста Андреевича Корфа (1800–1876)¹, которые он более или менее аккуратно вел с 1838 до 1852 г. (в более поздние годы записи редки и нерегулярны), уникальны, в частности, тем, что личная и общественная тематика в них обычно неразделимы.

Большая часть записей посвящена государственной службе и ее нюансам, а также комментариям автора по поводу ее субъектов, властных механизмов, как внешних и очевидных, так и скрытых от непосвященных. Записи содержат эмоциональный отклик автора дневников на описываемые события, и отклик этот часто выражен в минорных тонах — грусти, печали, разочарования и других с ними сходных.

Важнейшую часть жизни М. А. Корфа составляет именно государственная служба: к 1838 г. он на протяжении четырех лет занимает должность государственного секретаря (секретаря Государственного совета — высшего законосовещательного института империи), в 1843 г. получает возжеленную должность члена Государственного совета, в 1849 г. — директора Императорской публичной библиотеки, а в течение 1840–1850-х годов назначается членом нескольких комитетов (в частности, с 1848 г. — последовательно двух комитетов по надзору над цензурой). Печальные комментарии часто относятся к этой важнейшей для Корфа сферы жизни — придворно-государственной.

Стоит отметить, что грусть Корфа не была данью входившей в высших кругах моде на меланхолию (см., например: [Старобинский 2016]); она не лишала его способности действовать в придворно-государственном поле и проявлять активный интерес к происходящим в нем событиям. Корф в своих дневниках представляется человеком сугубо рациональным, и если он не отдавал себе полностью отчета в подспудных, подсознательных мотивах своих чувств и ощущений, то последовательность излагаемых им событий, равно как и приводимые им причинно-следственные связи дают возможность читателю вполне ясно представить причины испытываемой им грусти.

¹ Соученик А. С. Пушкина по Лицею, с 1834 г. — секретарь, а с 1843-го — член Государственного совета, позже — председатель его департамента законов, с 1849 по 1861 г. — директор Императорской Публичной библиотеки, с 1861 по 1864 г. — глава II отделения СЕИВК).

Случай Корфа интересен и тем, что представляет собой редкий пример интериоризации политических, государственных событий, восприятия их как событий личных, интимных.

Большая часть записей относится к событиям в мире высоко-чиновничьем, придворном, к тому социальному полю, что примыкает к императору Николаю I — и полностью управляется и «дирижируется» им. Если попытаться более точно и узко опередить, что составляет жизненный интерес Корфа, то это будут именно соответствующие события, расстановка сил разных агентов, вся запутанная сеть их взаимоотношений и взаимовлияний с центром и движущей их силой — императором, — а также попытки Корфа найти наилучшее для себя место на этом поле. Все описываемые игры на поле ведутся, как представляется из дневников Корфа, ради одного, самого главного счастья — возможности лицезреть царя и общаться с ним, иметь личный доклад, свидание наедине с ним как знак самого высокого расположения. Соответственно, главным несчастьем становится невозможность непосредственного взаимодействия с императором.

Восприятие Корфом монарха как воплощения Бога на земле, подателя всех благ, одновременно обладающего полномочной силой сделать подданного совершенно несчастным, по-видимому, является частью общего российского властного сценария, расстановки отношений между монархом и подданными, во время некоторых правлений актуализирующегося ярче и сильнее. Схожий подход, характерный для придворных и высших чиновников XVIII в., описывает Е. Н. Марасинова, ср., в частности: «В эпистолярных источниках подробно перечисляются представители высших кругов, пользующиеся расположением императрицы (речь идет о Екатерине II. — С. В.) и обойденные ее милостью; приводятся отзывы государыни о том или ином подданном, детально комментируются приемы при дворе. <...> Авторы писем очень ревностно относились к размеру и характеру положенной им награды и крайне болезненно реагировали на малейшее ее несоответствие их статусу в системе чиновной иерархии, весомости заслуги и престижности поощрения современников. Любая несправедливость с точки зрения представителей господствующего класса “при раздавании милостей и мест” повергала их в уныние» [Марасинова 1999: 69, 78].

Разумеется, речь здесь идет далеко не только об арифметическом подсчете царских милостей в их материальном и символическом эквиваленте, но о надзоре над соблюдением иерархии и распределении царской (квазибожественной) милости в пространстве вокруг царя, уменьшающейся с удалением от центра.

Характерную манеру выстраивания иерархии описал Павел Флоренский: «...в сознании русского народа самодержавие не есть юридическое право, а есть явленный самим Богом факт, — милость Божия, а не человеческая условность, так что самодержавие Царя относится к числу понятий не правовых, а вероучительных, входит в область веры, а не выводится из вне-религиозных посылок, имеющих в виду общественную или государственную пользу» (цит. по: [Успенский, Живов 1996: 207]).

М. А. Корф обладал в этом отношении тонким чутьем, воплощая архетипическое мировоззрение в контексте николаевского правления конца 1830-х — начала 1850-х годов.

Так, в беседе с князем Илларионом Васильевичем Васильчиковым (с 1838 по 1847 г. председателем Государственного совета и Комитета министров) Корф прямо дает определение счастья и несчастья. Запись о беседе сделана 24 января 1843 г. Корф в это время уже почти девять лет находится в должности государственного секретаря. Длительное нахождение на «безгласной» должности (он занимался составлением журналов совета, т. е. отчетов о том, что говорилось во время заседаний) к этому времени стало для него причиной огорчения, грусти уязвленного честолюбия и самолюбия².

Поводом для записи стал созыв царем особого секретного комитета (для решения вопросов завершающейся в это время денежной реформы), точнее — приглашения в этот комитет некоего Гофмана. «Еще новый уничижительный удар в моей службе! — комментирует эту новость Корф, добавляя объяснения и жалуясь. — Таким образом, вчерашний мой непосредственный подчиненный будет завтра присутствовать, с равным прочим голосом, в таком собрании, где я остаюсь безгласным секретарем! И никто обо мне не заботится, не думает; сам Васильчиков прехладнокровно объявил мне об этом назначении, как будто бы я был для него человек посторонний, и *свой* только тогда, когда надобно кого-нибудь на трудовую работу»³ [Корф 1843: 61].

Корф попытался объяснить «удар» И. В. Васильчикову: он, Корф, «перенес терпеливо назначение министрами гораздо младших», а «завтра таким же образом могут быть министрами, тоже несравненно младше (...) Брискорн и Шихматов», он же остается «все тем же самым». Васильчикову, однако, доводы не показались весомыми, и Корф записывает их диалог напрямую: «“Помилуйте, да неужели же бы вы согласились поменяться местами с Гофманом?” — “Без сомнения: он не только хозяин самостоятельной части, равной со всеми, но и имеет личный доклад у Государя, — счастье, которое составляет конечную цель всей нашей службы”»⁴ [Корф 1843: 62].

Одна из самых откровенных записей на эту тему, цитата из которой внесена в заглавие статьи, тоже выражает горечь и печаль, специфически сочетающие государственное и личное: Корф опровергает «общее мнение, утвердившееся в публике», что он «какой-то *фаворит, государев любимец*». «А между тем, какие мои отношения к Государю? — размышляет он, — Наедине я видел его раза три или четыре в жизни, в публике он несколько не отличает меня от самых рядовых людей, удостоивая разве приветливым поклоном и редко, редко словом милости, тогда как он, передо мною и в глазах моих имеет длинные беседы с людьми несравненно ниже меня в должности, особенно с

² При этом, если верить записям того же Корфа о заседаниях Государственного совета, составлять вразумительные отчеты о них было делом мудреным, что признавали и сами члены этого совета. Так, граф А. Ф. Орлов после прочтения одного из журналов, написанного Корфом, сделал автору «комплимент»: «Ты братец, так расписываешь наши журналы, что Государь, чего доброго, подумает, что мы умные люди» [Корф 1840: 53].

³ Здесь и далее сохраняется курсив публикации.

⁴ Разрядка здесь и далее моя.

военными, наконец, награды от него непосредственно я не получал ни одной в жизни, кроме лишь благоволения, объявленного им мне в собственноручной резолюции (в 1831-м году) за успешное окончание старых дел Комитета министров...» [Корф 1840: 26–27].

Огорчение Корфа, возможно, несколько напоминает муки покинутого влюбленного: и здесь, и далее он использует язык личных отношений для описания поведения высшей власти, точнее, милостей и сменяющих их периодов холодности Николая I к своим ближайшим подданным. Порой создается впечатление, что выбор подобной лексики и описание иерархии властных отношений как личных — не прихоть и не субъективная интерпретация Корфа, а отражение, регистрация выбранной (сознательно ли?) Николаем стратегии поведения с подчиненными.

Например, Корф описывает праздничную пасхальную ночь 1840 г.:

В эту же ночь я воспользовался впервые правом подходить к целованию с Государем вслед за членами Совета, но это право на этот раз нанесло мне только огорчение. Передо мной шел Панин. Послед обычных двух поцелуев Государь заставил его целовать себя еще третий раз, пожал ему руку и сказал несколько приветливых слов. Но на мою долю досталось только два форменных поцелуя и холодный, полуотворенный взгляд [Корф 1840: 83].

Демонстрация нелюбви при исполнении ритуала, по мнению Корфа, может иметь негативные профессиональные последствия:

Подобная холодность, даже пренебрежение, которых не нахожу причин объяснить, когда дела во всем идут, как никогда не шли, когда все обязанности свои я исполняю с усердием (...) когда все это сам он ежедневно видит (...) естественно, наносит жестокую рану самолюбию, охлаждает жар к пожертвованию на службу сил и здоровья, разрушает всю поэзию и все очарование, без которых так грустно и безотрадно шествовать по нашей прозаической стезе [Корф 1840: 83].

Личные жесты «любви» со стороны монарха не только наделяют объект, на который эта «любовь» направлена, частью его власти, но также включают его в романтизированную область мифа, в котором находится (и который выстраивает) самодержец, тем самым возвышая этот объект, вырывая его из серой действительности.

Любовь царя подвигает и на особенное усердие в службе: позже, в первой записи 1849 г., Корф выражает надежду, что «высшие знаки милости возбуждают порывы угасшего честолюбия» [Дневник 1849. Л. 10].

Предельная сосредоточенность властных механизмов, принятия решений, управления государством и государственными сановниками в одной личности, в одном теле приводит к максимальной фиксации на нюансах непосредственных, личных взаимодействий с ближайшими подданными. Эти личные взаимодействия не только политизируются, но и мифологизируются (см.: [Уортман 2002: 336–543]).

Подобных лексики и манеры описания Корф придерживается в отношении не только себя, но и других подданных. Один из самых ярких в этом отношении эпизодов касается уже упоминавшегося выше И. В. Васильчикова. Корф, вернувшийся к исполнению своих профессиональных обязанностей после отпуска, в записи 11 октября 1840 г. рассказывает о служебной неприятности, произошедшей с «добрым моим Васильчиковым». Последний допустил такой промах, что «во всем городе, во всех классах говорят, что он оставляет свое звание, и что на его место назначается гр. Чернышев». Корфу «надо было добраться до источника этих слухов», и, добравшись, он передает в дневнике «эту историю в самом достоверном рассказе», сделав, как обычно, ссылки на источники полученной им информации. Вопрос касался внутренней политики: во время пребывания Николая I за границей «было очень много важных дел по Комитету западных губерний и в особенности одно, всех важнейшее, о распространении на сии губернии общих русских законов с отменой Литовского статута и конституций и со введением в производстве дел повсеместно русского языка» [Корф 1840: 113–114].

Эта идея «была схвачена и сильно поддержана Государем», однако Васильчиков «во всегдашнем своем попечении о благе России, в том смысле, как он его разумеет, с своей стороны, сильно сопротивлялся этой мере, считая ее во всех отношениях более вредною, нежели полезною, и долженствующею еще более ожесточить против нас неприязненные западные губернии»⁵. Васильчиков, разумеется, мог ожидать гнева царя из-за его несогласия, однако счел, что «для избежания этого нельзя жертвовать истинными выгодами России, которые в глазах его выше царской милости». По словам Корфа, Васильчиков «простер свое сопротивление до явной оппозиции», выразившейся, однако, лишь в «объяснениях» и «неприятных сценах» при подписании общего — согласного с решением царя — журнала Комитета. Неудовольствие Васильчикова стало «самым вожделенным подарком для его врагов, в главе которых стоит гр[аф] Чернышев» [Корф 1840: 114]: разумеется, об «оппозиции» председателю донесли царю.

Далее, также в отсутствие царя, тот же деятельный Васильчиков решил принять некоторые меры против «гибельных последствий неурожая», «жестоко поразившего» «самые плодородные наши губернии». Так как переписка с царем заняла бы много драгоценного времени, Васильчиков «признал нужным составить у себя совещание из министров», где «были положены на меру некоторые распоряжения», о которых и сообщили царю вместе с объяснениями причин такой «решительности» [Корф 1840: 114]. Это решительный шаг показался Николаю чем-то вроде узурпации власти; кроме того, на совещание

⁵ Схожим соображением руководствовался и сам Корф при написании манифеста в марте 1848 г.: вариант манифеста, написанный царем и в итоге опубликованный («Высочайший Манифест о событиях в Западной Европе»), содержал, по мнению Модеста Андреевича, несколько не совсем ясных фраз, которые, как он справедливо предполагал, будут неверно поняты иностранными читателями: «...иное в произведении Государя представляется как бы вызовом к войне, другое как бы напрасным указанием на угрозы, которых нет еще нам ни с какой стороны, третье, наконец, изъявлением надежды на победу, когда нет еще в виду никакой брани» (цит. по: [Волошина 2022: 321]). Надо полагать, подобные соображения о негативном общественном отклике на властные заявления и меры никоим образом не беспокоили самого Николая, в отличие от его ближайшего чиновничьего окружения.

не был приглашен Ф. П. Вронченко — товарищ министра финансов (министр Е. Ф. Канкрин в это время отсутствовал).

Корф проникательно реконструирует рецепцию царем действий Васильчикова (разумеется, проблемы голодающих и пострадавших от неурожая теперь не входили в повестку: дело касалось высшей власти, почувствовавшей угрозу оппозиции и не собиравшейся ее терпеть). Самостоятельность Васильчикова «могла показаться Государю прикосновением к его власти, чем-то вроде “*gouvernement provisoire*”», отсутствие же приглашения Вронченко должно было «утвердить его в мысли об упрямой оппозиции». Николай ответил Васильчикову сухо, по возвращению созвал всех министров без него и создал для обсуждавшегося дела особый комитет, назначив председателем графа А. И. Чернышева. Очевидно, карьере Васильчикова пришел конец: свидетели передали Корфу, что «никогда не выдывали князя столько расстроенным, не было речи ни об чем другом, как об отставке» [Корф 1840: 115].

Николай выждал несколько дней, чтобы провинившийся Васильчиков осознал всю меру вины, пригласил его в Царское Село «обедать, и тут, кажется, последовала сцена примирения». Гроза минула, и Васильчиков остался на своем высоком посту. Однако тонко чувствующий и точно анализирующий показания властного барометра Корф с грустью констатировал: если бы любимый председатель и патрон «спросил о моем *желании*, то, конечно, я отвечал бы не запинаясь, чтобы он оставался, но если бы он спросил *совета*, то ответ мой, столь же несомненно, был бы отрицательный» [Корф 1840: 116].

Здесь важно, что отставка Васильчикова, явно благоволившего Корфу, была бы для последнего серьезным огорчением, однако дальнейшее занятие этого поста было едва ли лучшим решением.

Интересно, что в объяснение этого парадокса Корф применяет «интимную» лексику:

...уже единожды нарушена *девственность* его (Васильчикова. — С. В.) отношений к Государю. <...> Наскучив ему своими частыми прикосновениями, потеряв его дружбу, он даже и в своих понятиях должен считать себя лишенным всякой возможности быть далее полезным России и общему благу... [Корф 1840: 116].

Таким образом, «польза России» и «общее благо» заключаются вовсе не в стремлении оперативно решить создавшуюся проблему и улучшить условия жизни подданных, не в деятельном желании учитывать их интересы и поддерживать положительный имидж высшей власти, но в сохранении хрупкого баланса личного отношения с самодержцем, ценности «девственности» интракций с ним.

Слово, выбранное Корфом, не случайно: в одной из более поздних записей, от 16 октября того же 1840 г., он вновь отмечает: «повторяю, *девственность* прежних отношений *единожды* нарушена», и если «Государь уважает и ценит Васильчикова, как благородную и возвышенную душу», то «едва ли уже его *любит*, по крайней мере, не любит так, как прежде» [Корф 1840: 120–121]. Здесь лексика Корфа вовсе отходит от описания платонических отношений с властью к более тесным, интимным. Подданный не может создать «общее благо» при отсутствии государевой к нему, подданному, любви.

Корф фиксирует частоту, длительность встреч с царем (особенно происходивших наедине) и, разумеется, его настроение и жесты. Так, в 1851 г. «често- и властолюбивый обер-прокурор» Синода граф Н. А. Протасов «воспользовался одним личным докладом своим у Государя, чтоб исходатайствовать объявленное нам <...> высочайшее повеление» [Дневник 1851. Л. 41 об.–42]: речь идет о своеобразном клоне Секретного комитета, созданного 2 апреля 1848 г. при Святейшем синоде для просмотра и проверки книг духовного содержания⁶.

29 декабря 1849 г. Корф с грустью записывает: «Для меня Царскосельские времена нынче уже прошли и я вижу Государя, невидимый для него, только при общих выходах...» [Дневник 1849. Л. 322 об.].

Важно отметить, что Корф почти никогда не приводил описаний снов, но редчайшие исключения из этого правила включают образы царя. «Я видел сегодня странный и страшный сон. Государь после короткой и жестокой болезни внезапно умер», — и Корф во сне «плакал о кончине» своего «благодетеля» [Корф 1843: 109].

Любовь, тепло этого мира и, соответственно, грусть и холод от его отсутствия сосредоточены в центре власти — Николае I, в котором оба «тела короля», вопреки известной концепции Э. Канторовича, совмещаются.

Резюмируя свои отношения с царем, точнее источник милостей к Корфу со стороны высшей власти, автор дневника заключает: «...все шло и идет от лучей, а не от солнца, которое светит на меня совершенно наравне с другими точно так же, как солнце вещественное греет с равным и безотчетным равнодушием всю природу!» [Корф 1840: 27]. Тут, впрочем, Корф противоречит своим же записям: его грусть происходит именно от того, что царь-«солнце» греет его не наравне с другими, менее (по мнению Корфа) достойными.

Еще одно средоточие тепла и любви, если пока не силы и власти, находится (разумеется, в меньшей степени) в наследнике Александре Николаевиче. В феврале 1849 г. Корф описывает аудиенцию у наследника, после которой он вновь грустит от отсутствия должной меры ласки и жестов, ее выражающих:

Аудиенция была милостивая, но только в обыкновенном, официальном смысле слова; по крайней мере мне показалось, что не было той радушной, приятной теплоты, которая в прошлом году отличала отношение Наследника ко мне. Пожатие руки, разумеется, было, но не было поцелуев, которыми прежде всего почти оканчивались, а нередко и начинались наши свидания. Душа моя и совесть чисты. Я в эти отношения принес все что от меня зависело: искреннюю готовность, до самопожертвования, и добросовестный труд, вместе с беспредельною преданностью и самою чистою любовью [Дневник 1849. Л. 53 об.–54].

⁶ Далее в той же дневниковой записи М.А. Корф поясняет смысл «высочайшего повеления»: «...в видах строгого по духу Православной церкви наблюдения за всеми действиями Духовной Цензуры, учредить, применительно к учреждению Секретного Комитета 2 апреля 1848-го года, такой же Комитет при Св. Синоде, с тем чтобы Комитет 2 апреля ограничивался просмотром одних книг недуховного содержания...» [Дневник 1851. Л. 41 об.–42].

* * *

Разумеется, причиной грусти для Корфа было не только равнодушие «солнца» к подданному. Корф грустил и из-за исключительно личных, семейных несчастий, в первую очередь — из-за болезней и смертей близких родственников.

Сама семейная жизнь Корфа была устроена «герметически» и почти не имела точек соприкосновения с его социальной сферой. Корф был женат на своей «вдвойне» двоюродной сестре: их матери были родными сестрами, а отцы — родными братьями, что делало семейные связи менее разветвленными, а семью в широком смысле — более замкнутой⁷. Корфы не давали приемов, разве только для самого ближнего круга, и социальные игры высшего света и высшего чиновничества никак не затрагивали внутрисемейных отношений⁸. Возможно, именно эта прочность семейного круга и крепкие семейные узы (Корф, судя по дневниковым записям, был прекрасным семьянином и попечительным отцом) в определенной мере объясняют его манеру описания светских любовных пождений, любовных прихотей, интимных драм и даже смертей. Даже самые трагические (в записях Корфа — трагикомические) истории не воспринимаются им как причина для грусти, а вызывают лишь острое, но холодное любопытство — любопытство энтомолога и стороннего наблюдателя страстей человеческих.

Именно такое отношение видно и в многочисленных описаниях смертей, будь то смерти от старости, болезней, самоубийств, неудачных родов и т. п.

Такова запись о самоубийстве витебского гражданского губернатора П. П. Львова («Причина этому довольно скандальная», — сообщает Корф, прибавляя действительно скандальные подробности). Заключает же он трагическую новость безэмоциональной констатацией:

В сильном припадке такой ярости он покусился даже было резать свою жену, а когда его к сему не допустили, то он застрелился. В таком виде донесено об этом происшествии и Государю [Корф 1840: 55 (запись 11 марта)].

Более того: записи о болезнях и окончании профессионального и жизненного поприща недоброжелателей Корфа порой носят и вовсе нехристианский, почти торжествующий характер, не имеющий ничего общего с печалью.

Например, в дневнике 1849 г. описана болезнь министра народного просвещения С. С. Уварова: в сентябре «разбило параличом, с отнятием целой стороны, министра народного просвещения графа Уварова, и хотя он еще жив, но мало надежды на спасение». Далее Корф откровенно описывает свое отношение к этому несчастью:

⁷ См., например: [Корф 1840: 94].

⁸ «Кроме семейства и близких знакомых, которые посещают нас без зову, мы почти никого никогда к себе не приглашаем, и не только по одним видам финансовым, но и потому, что при моих отношениях и моем круге знакомства нам надобно звать или весь высший свет или никого, и потому что моя Олинька сама почти никуда не выезжает...» [Корф 1840: 32].

...смерть его я не почту отнюдь потерей ни для государства, ни для человечества. Если и был у него когда-нибудь свой век, то он давно уже его пережил, точно так же, как пережил и милость... [Дневник 1849. Л. 223–223 об.].

(В скобках отмечу, что здесь вновь фигурирует царская «милость» как смысл жизни подданного.)

Абсолютное большинство подобных записей касаются смертей высоких придворных, духовных и министерских чинов, и Корф почти неизменно следует заведенному им самим алгоритму повествования. Сначала он описывает «физиологическую» составляющую болезни и смерти, нередко добавляя макабрических, но оттого не менее интересных ему (или же именно поэтому интересных) подробностей. После «физиологической» части Корф переходит обычно к части «социологической», где описывает прежде всего процесс похорон: отслеживается последовательность (или ее нарушение) всех ритуальных жестов, присутствие или (что более заметно) отсутствие высших государственных чинов (прежде всего царя и великого князя Михаила Павловича), их поведение. Потом автор переходит к анализу деятельности почившего и его достижениям на государственном поприще (чаще всего они оказываются как минимум недостаточными, а сам умерший — недостойным высокого поста, занимаемого при жизни). Последней частью этих некрологов предстает описание тех изменений на социальном, т. е. придворном и чиновничьем поле, что произошли со смертью указанного лица, размышление о перераспределении «социального капитала» между оставшимися в живых и возможных кадровых перестановкам. Здесь Корф упоминает все те скрытые от постороннего взгляда сведения — связи, личные симпатии и антипатии, отношения Николая I (способные изменяться неожиданно и драматично), поддержку определенных «партий»; описывает тонкую сеть дипломатического дискурса, связывающего всех действующих вокруг царя лиц.

Таким образом, нечто глубоко личное, человеческое — смерть — для Корфа становится фактором игры на социальном поле, но не поводом для скорби. На этом поле Корф неизменно играет двойную роль: и включенного наблюдателя, и действующего лица, стремящегося к победе над конкурентами. Здесь, как представляется, уместно применить известное определение Карла Шмитта: «Специфически политическое различие, к которому можно свести политические действия и мотивы, — это различие *друга и врага*» [Шмитт 2016: 301].

После экстенсивного чтения записей Корфа создается впечатление, что для него вся жизнь, за исключением тесного семейного круга и его событий, относится к области политического. И именно эта область представляет для него самый насущный, самый жгучий личный интерес.

Все «действующие лица» социального поля, а значит, и дневниковых записей, делятся Корфом на друзей и врагов. К друзьям относятся, в первую очередь, его покровители, высшие чиновники, способствующие его продвижению по карьерной лестнице. Это, например, М. М. Сперанский, о смерти которого Корф писал с искренней грустью, хотя и в несколько официальных выражениях:

Оба мы вместе (с И. В. Васильчиковым. — С. В.) чувствуем в полной мере неизмеримую потерю, которую грозит России смерть Сперанского <...> С ним угаснет предпоследний *гений* в России, говорю *предпоследний*, потому что мы имеем еще Канкрин... [Корф 1838–1839: 180].

Помимо смертей покровителей предметом огорчения Корфа становятся не единичные смерти, а «статистическая», «массовая» смертность. Корф регулярно приводит в дневниках списки высоких сановников, умерших за единицу времени.

Например, в начале 1840 г. он записывает:

...оглядываясь только на те два года, которые я веду мой дневник, и только на одну нашу Россию, сколько растеряли мы в это время знаменитостей, или, по крайней мере, известностей <...> С февраля 1838-го года я внес в летопись смерти: *из государственных сановников*: Новосильцева, Сперанского, Дашкова, Литту, Лобанова-Ростовского, Родофиникина, Кушников, Ливена, Рожнова, Туттолмина [Корф 1840: 15].

Далее Корф продолжает перечисление умерших, разделив их также по чиновному, профессиональному признаку, либо по родовитости: «из людей не столько значительных, но занимавших тоже более или менее важные посты», «из знатных баричей», «из знатных или известных дам», «из поэтов и литераторов», «из артистов», «из значительных духовных особ» [Корф 1840: 15].

Грусть Корфа здесь социологическая: Россия лишается чиновничьей и профессиональной элиты, и это печально. В такие списки очень редко попадет кто-то извне выше-чиновничьего круга: здесь вновь личное и государственное для Корфа неразделимы.

Совершенно объяснимо одна из самых обширных и проникновенных записей о смерти относится к кончине члена царской фамилии — великого князя Михаила Павловича. 2 сентября 1849 г. Корф пишет о его смерти как о смерти самого близкого человека:

Тяжко рука моя поднимается записать смерть благороднейшего, преданнейшего, ревностнейшего к своему долгу из людей.... 28-го августа, в число своего рождения (28-е января), ровно 51-го года и 7-ми месяцев от рождения, почил в Бозе государь великий князь МП, младший из четырех внуков Екатерины и сыновей Павла... мое бедное сердце мятется среди этого общего равнодушия [Дневник 1849. Л. 212–212 об.].

Редким примером огорчения от смерти «друга» может служить запись о кончине графини М. Д. Нессельроде (от 17 августа 1849 г.). Эта запись весьма показательна для манеры Корфа и его восприятия личного и общего. Прежде всего он обозначает титул почившей Нессельроде, все родственные связи с государственными лицами, а ее личные качества описывает принципиально без прикрас. Причину же своего огорчения автор связывает с несбывшимися

надеждами на ее покровительство, т. е. на действия все в том же социальном поле (примечательно, что в этом своеобразном некрологе Корф использует выражение «социальное поведение»).

И с графиней Нессельроде я лишился истинного и надежного друга; и ее смерть была для меня поразительным ударом! Статс-дама и Кавалерственная дама графиня Марья Дмитриевна Нессельроде, супруга Государственного канцлера, дочь покойного министра финансов графа Гурьева и сестра члена нашего Государственного совета, графа Александра Дмитриевича, по уму своему, просвещению и необычно твердому, железному характеру, была, конечно, одной из примечательнейших, а по социальному своему поведению и влиянию на высшее петербургское общество, одною из значительнейших и даже самою значительнейшею из наших дам <...> Как вражда ее была ужасна и опасна, так и дружба неизменна, заботлива, охранительна, нередко даже до пристрастия и ослепления. Совершенный мушкетер по характеру, впрочем, частью по занятиям, даже по наружности <...> и самый разговор ее вращался всегда в предметах, выходящих из круга обыкновенных дамских бесед. Она любила говорить о высшей администрации и политике — более, однако, внутренней, чем внешней, чтоб не компрометировать своего мужа, — о государственных наших людях, о новых книгах по государственным предметам, о действиях правительства и вновь выходящих постановлениях, соединяя в себе, впрочем, две противоположности: беспредельную преданность не только монархическому началу, но и царственному нашему дому, и вместе взыскательную оппозицию против всех правительственных распоряжений и даже личных действий его членов <...> Салон графини Нессельроде, со смерти князя Кочубея, был, без сомнения, первым в Петербурге; попасть в него, при его исключительности, было чрезвычайно трудно, удержаться в нем, при разборчивости и чрезвычайной гордости хозяйки, почти еще мудренее; но кто принадлежал к нему, тому это служило уже открытым паспортом во весь высший круг <...> Потеря ее (графини Нессельроде. — С. В.) несказанно меня тронула, и тронула тем более, что я намеревался наступающею зимою поручить под сильное ее покровительство нашу Marie (дочь Корфов. — С. В.), при вступлении ее в свет [Дневник 1849. Л. 200–201 об.].

Абсолютное же большинство остальных Корф определяет как врагов — т. е. напрямую так их не называя, но характеристики их столь очевидны и непротиворечивы, что сомнения в отношении к ним Корфа не остается. Победы врагов — и тактические, и стратегические — становятся для него одной из основных причин грусти, тоски и порой даже отчаяния.

* * *

Предметом серьезных огорчений Корфа выступают и политические события, в большей степени — европейские революции 1848 г. Здесь автор дневни-

ков выступает в полной мере человеком государственным, воспринимающим политическое как личное.

Запись от 5 марта 1848 г. свидетельствует о тяжелом душевном состоянии Корфа: ему даже кажется, что на фоне новостей из Франции движения русской государственной машины могут быть лишены смысла.

Во внешнем движении машины все, по крайней мере до некоторой степени, идет по-прежнему: и разводы, и заседания Совета, и дела, и бумаги, и работа Министров; а между тем так и хотелось бы, кажется, спросить: продолжать ли все это...? Страшные вопросы, от которых душа замирает! Все ли, или многие так думают? Бог знает; но знаю, что мои личные чувства самые тягостные, что и никогда не испытывал ничего подобного, по крайней мере в этом роде. Боже, храни Царя! В этом желании, в этой молитве соединяются все желания и молитвы, какие только могут наполнять преданную благу России душу [Дневник 1848. Л. 141 об.].

Горе Корфа вызывают и новости об открытом обществе М. В. Петрашевского, и причина этого горя — осознание, что «царелюбивая Россия» оказалась подвержена западной заразе. 25 апреля 1849 г. Корф записывает:

Но что гораздо еще более занимает в эту минуту Петербург, нежели все военные приготовления, это разнесшаяся как молния по целому городу весть об открытом у нас самих заговоре. К России, преданной, покорной, царелюбивой России, тоже прикоснулась — страшно, больно и как-то оскорбительно, даже унижительно выговорить — гидра нелепых и преступных мечтаний Запада.

Сокрушительное действие революций, поведших доселе везде к одному расстройству и разрушениям, без тени лучшего к общему благу, не устрасила наших безумных слепцов [Дневник 1849. Л. 109].

Впрочем, в конце этих горестных заметок Корф обычно приписывает нечто утешительное:

Как, при всякому подобном случае, сердце изливается от благодарности к Богу, что у нас такой Государь... Как спокойны мы с таким кормчим во всякую бурю... [Дневник 1849. Л. 110].

* * *

Возвращаясь к мировоззренческой иерархии мира Корфа, ее центру и источнику всех возможных благ — императору, — можно легко обозначить одну из основных причин его, Корфа, огорчений, — несправедливому, с его точки зрения, распределению и распространению этих благ среди высшего чиновничества.

Корф довольно часто сетует на «скудость» в людях, т. е. в кандидатурах на высшие государственные посты. Так, жалуясь на «одряхление» Государственного совета, т. е. на значительный средний возраст его членов, автор грустит

по поводу и уровня их интеллекта, и подготовки новых кандидатов. В октябре 1840 г. он пишет, что двое из предложенных Васильчиковым «поспорят в ничтожности с тем, что сидит теперь в Совете», а еще двое — «сенаторы Бутурлин и Демьян Кочубей — люди с некоторым дарованием, но, как слышно по Сенату, страшные и часто напрасные спорщики» [Корф 1840: 127].

В дневниках Корф нередко приводит подробный анализ новых наград, назначений и оценки заслуг их бенефициаров, размышляет о жестах милости со стороны власти, комментирует их символическую значимость и вес. И в этом отношении записи Корфа — ценный материал для изучения отечественных властных механизмов.

Так, 29 августа 1849 г. он делает обширную запись о новых награждениях:

Князю Чернышеву дан титул светлости, и это должно, конечно, признать совершенно в порядке <...> Графу Орлову дан Государев портрет. Хотя и трудно было, в прежние времена, предвидеть, чтобы Орлов достиг когда-либо этой высшей государственной награды, и хотя я лично считаю Орлова человеком более у нас вредным, нежели полезным; но если взять в соображение, что Государь, с своей стороны, смотрит на него, вероятно, совсем иначе <...> Но что составляет совершенную уже неожиданность, я думаю и для самого получившего, это пожалование графу Адлербергу — Андрея. Главноначальствующий над Почтовым департаментом, где все делает за него директор Прянишников; человек честный и добрый, но без всякого дарования, без всякой умственной высоты, без науки и почти без слова, притом один из младших генералов от инфантерии и, за исключением гр. Панина, самый младший из всех министров — этого для него шага — по крайней мере теперь — никто еще предвидеть не мог. И какая же, кроме приязни к нему Государя с детства, была — говорят — в нынешнее время особенная его заслуга? [Дневник 1849. Л. 210–211 об.].

Примечательно, что здесь Корф вкладывает свои сомнения и недовольство в некие чужие уста: ему важно отметить даже в личном дневнике, что это включенная чужая речь, иное, множественное, а значит, объективное суждение о царских наградах лиц недостойных.

Подобные часто встречающиеся записи об отсутствии принципа меритократии в распределении государственных должностей и наград свидетельствуют о явном внутреннем конфликте у автора дневников: с одной стороны — талант, честолюбие, тонкий государственный ум, дипломатические, аналитические способности, с другой — относительно неуспешная (с точки зрения самого Корфа) государственная карьера. В переводе на язык властно-подчиненных отношений, любовь царя к Корфу была, возможно, не так сильна, и в ней наличествовал некоторый садистический элемент (проявлявшийся, как можно предположить, не только в отношении Корфа). Неудивительно, что приступы грусти и тоски в дневниках Корфа совпадают с периодами его длительного «застоя» на одном и том же посту, без повышений и наград (или с такими, что не соответствовали его трудам, талантам и выслуге лет).

Тональность дневников 1838–1840 гг. отличается от более поздних — 1848–1850-х годов. Корф предстает человеком неизменно наблюдательным, умным, в записях первых лет — разносторонне любопытным и открытым для всевозможных впечатлений, которые может представить высшее бюрократическое и аристократическое общество. Со временем же, и особенно это заметно в дневниках конца 1840-х годов, «чиновничьей» грусти становится все больше, и она приобретает ощутимо ядовитый и мрачный оттенок. Такова, например, запись от 26 августа 1849 г., после возвращения из отпуска в Ревеле:

...к чему я теперь отсюда возвращаюсь? К такому кругу, в котором нет почти деятельности, к инвалидной должности члена Государственного совета, к другой, противной моим вкусам и даже правилам должности члена Ценсурного Комитета! Что мне тут предстоит? Где и как принести лепту на службу Царю и родине? Чем быть полезным в настоящем, какой оставить след в потомстве? Скучные прения в Совете по делам большею частию второстепенным и часто совершенно ничтожной важности, прения, в которых участвует почти одно тщеславие и к которым притом я должен приступать под влиянием явного нерасположения ко мне князя Чернышева; еще более скучные и ничтожные занятия по Ценсурному Комитету, где мы делаем чужое дело и притом все это дело состоит в нагонях какому-либо глупому цензору, или вздорному писаке — неужели этим, в 49 лет, при восстановившемся теперь моем здоровье, при некоторой способности, при 32-х летней опытности, при неостывшей еще охоте трудиться и быть полезным, наконец при всех моих предшествовавших и среди окружающих нас ничтожностей — неужели одним этим печальным кругом должна ограничиться навек моя будущность..? [Дневник 1849. Л. 208–208 об.].

Надо отметить, что социальное и профессиональное настолько глубоко проникли в Корфа, что вдали от двора, Петербурга и высшего чиновничества Корф не мог быть и счастлив. Например, 20 августа / 1 сентября 1840 г., находясь в Триесте, он записывает:

Ожидаемые наслаждения (от поездки в Европу. — *С. В.*) заменились охлаждением, скукою, блазировкою, смертельною тоскою по отчизне... Подобно тому, как прежде я рассчитывал минуты отъезда из Петербурга, так точно теперь в гнетущей тоске не могу дожидаться часа возвращения⁹ [Корф 1840: 90].

(Интересно, что утешение в этой поездке приходит со встречами и общением с видными чиновниками и членами царской семьи [Корф 1840: 91–92].)

Более того: даже находясь в отпуске, Корф продолжает выполнять свои служебные дела при отсутствии таковых, вероятно, пытаясь отвлечься от вынужденной разлуки с придворным и чиновным миром и вернуть душев-

⁹ Здесь можно отметить явное влияние прозы Н. М. Карамзина на стиль Корфа; и его записи в целом, и заметки о путешествиях в частности свидетельствуют о склонности автора к сентименталистской литературе.

ное равновесие (законной частью которого выступает и «государственная» грусть). Отсутствие привычных служебных обязанностей оказывается гораздо хуже, чем огорчения, ими причиняемые. 28 августа 1849 г. он записывает:

В газетах напечатан теперь Манифест о потушении Венгерского мятежа и о возвращении наших войск. За несколько дней перед тем, я, в здешнем моем бездельи, написал такой же Манифест. Прилагаю к этим листам оба: и настоящий, и мой, никем невиданный скромный проект. Первый написан, очевидно, самим Государем и едва ли кем исправлен, как заключаю особенно по конструкции первого периода [Дневник 1849. Л. 210].

Можно предположить, что честолюбие Корфа было ранено еще в марте 1848 г., когда, выполнив ответственное поручение Николая и написав проект манифеста, Корф обнаружил, что манифест написал и сам царь и именно последний вариант будет (и действительно был) опубликован и оглашен.

* * *

Один из основных источников горестей связан с явными амбициями Корфа, мечтавшего о том или ином poste министра, однако почти никогда в этом не признававшегося. Возможно, это демонстрируемое отсутствие честолюбия — будь оно частью сознательно выстраиваемого образа честного чиновника или же лукавством — стало одним из препятствий в его повышениях по службе.

9 марта 1839 г. Корф записывает свой разговор с министром финансов графом Е. Ф. Канкриным, где горячо убеждает последнего: разговоры «в городе» о том, что его назначают товарищем министра, — не более чем «нелепый слух», этот пост находится вне корфовского «круга желаний» [Корф 1838–1839: 300–301].

Товарищем министра финансов Корфа не сделали, но позже, в том же 1839 г., молва стала прочить его в новые министры юстиции (14 октября он перечисляет в дневнике, кто именно из сановников говорит о его предполагаемом poste, и с особенным удовольствием добавляет к ним Канкрин, считавшего, что назначение это «было бы очень желательно, несмотря на мою молодость» [Корф 1838–1839: 458]).

18 октября 1839 г. Корф записывает свой разговор с председателем Государственного совета князем Илларионом Васильевичем Васильчиковым:

Вчера я объяснялся с Васильчиковым насчет слухов о моем перемещении. Он принял вид, будто бы до него ничего еще не доходило, хотя это едва ли вероятно. После уверений моих, что я с моей стороны нисколько не содействовал распространению подобного слуха и что я весьма доволен и нынешним моим положением, князь отвечал почти со слезами, что всякое мое перемещение было бы для него ударом: ибо решительно не может представить себе, кем и как меня заместить, но что при всем том, он, конечно, никогда не стал бы противиться моему повышению и готов бы был ему содействовать для личной моей и общей пользы <...> На это я заметил, что место Даш-

кова нимало не соответствует моим склонностям и вкусам и сколько посему, столько и по недостатку высших теоретических познаний я бы никак не согласился его принять <...>

После разных возражений <...> князь сказал мне, что во всяком случае очень рад нашему объяснению: «По крайней мере, — прибавил он, — зная теперь нежелание Ваше принять эту должность, я воздержусь от всякого напоминания Государю о прежней его мысли: ибо, иначе думая сделать Вам приятное, я мог бы Вам, напротив, при Вашей точке зрения, повредить». Я кончил эту беседу тем, что должность министра юстиции, конечно, была бы для меня весьма лестна, но что если бы имелось в виду какое-нибудь другое мое перемещение, то я лучше всего желал бы сохранить теперешнее мое положение [Корф 1838–1839: 460–461].

Однако, судя по записи 18 декабря 1839 г., дело обстояло совсем иначе: новым министром назначили Д. Н. Блудова, а управляющим министерством — В. Н. Панина, и Корф был весьма огорчен.

Мои личные надежды или, лучше сказать, предсказания на мой счет публики разлетелись как прах, и я не скрою о том сокрушения: это одно министерство, которое льстило моим видам, подобного случая уже не откроется, и следственно моя служба решена: или оставаться вечно госуд<арственным> секретарем, или кончить званием члена Совета! Я не имел прямых надежд, но при скудости нашей в людях считал себя в некоторых правах, особенно по сравнению с Паниным, и как нисколько бы не скорбел, если б министерство поручено было человеку старше и выше меня летами, званием, заслугами, достоинствами. В самом деле не нужно других доказательств decadence нашего времени, как эти два замещения: Блудов на место Сперанского и Панин на место Дашкова! [Корф 1838–1839: 498–499].

Возможно, дипломатический ход Корфа, не считавшего хорошим тоном демонстрировать свое желание повышения, был ошибкой.

Печаль и разочарование, досада на назначение на пост В. Н. Панина, но не его, Корфа, не проходили и в следующем, 1840 г.

19 января он с явной горечью пишет об успехах Панина и анализирует свои чувства:

Я поистине и в глубине своего сердца не нахожу никакого чувства зависти Панину и рад добросовестно содействовать ему во всем, что от меня зависит <...> Иногда даже я радуюсь, что меня оставили на моем месте и предпочли мне Панина.

Объяснение этой «радости», впрочем, печальное и пораженческое: «В теперешнем моем положении я — не хуже других; я тут обжился, привык и ко мне привыкли» [Корф 1840: 24].

Более проникательным наблюдателем здесь выступила жена Корфа Ольга Федоровна, заметившая в «небольших стычках» мужа с В. Н. Паниным «следы “fiel”»¹⁰. Эти «следы», цитировал жену Корф, запали якобы «в мое сердце от назначения в министерство юстиции его, а не меня. Не думаю, но, может быть, этим *недуманием* я сам себя обманываю» [Корф 1840: 78]. Пожалуй, это единственное (квази)признание Корфа в собственном ресентименте.

Еще одной чиновничьей мечтой Корфа был пост министра народного просвещения. В записи от 11 июня 1838 г. он отметил, что «не совсем был бы бесполезен» в двух министерствах: «юстиции и народного просвещения» [Корф 1838–1839: 135]. И вполне естественно, что одним из основных источников грусти — периодически доходящей до ярости — для Корфа становится действующий (с 1833 по 1849 г.) министр народного просвещения С. С. Уваров.

К началу 1848 г. Корф полностью погрузился в чиновничьи драмы: описания и анализ минибитв и микропоединков на высокочиновничьем, околоимператорском поле становятся в его дневниках особенно подробными.

С началом французских событий февраля и марта 1848 г. мир, казалось, находился под угрозой, и масштаб описываемых Корфом событий становится более крупным, равно как и его амбиции. Революции в Европе и реакция на них в Российской империи актуализируют его давние латентные мечты — о министерском кресле, и эта надежда заставляет Корфа не столько горевать, сколько действовать. В марте 1848 г. Корф подает записку о скверном состоянии цензуры в ведомстве Министерства народного просвещения, в надежде на то, что Уваров утратит министерский пост¹¹. Уваров, однако, остался на посту министра, Корфа же включили в новообразованные комитеты по надзору над цензурой, сначала один — Меншиковский, потом второй — Бутурлинский, что стало причиной его большой грусти и тоски на протяжении всего мрачного семилетия.

Особенным горем стала новость о создании второго, Бутурлинского комитета. 23 марта 1848 г. Корф записывал:

При этой вести меня поразил такой ужас... и притом ужас не только за самого себя, но и за Государя. Как в эту минуту, Ему привлекать к непосредственному своему ведомству часть такую гнусную, такую, можно сказать, презренную, какова ценсура, всегда предполагающая приостановление развития умственной в народе деятельности! С другой стороны, говоря о моей личности, что бы меня тут ожидало? При самонаименовании, вероятно, части пользы в результатах, ни чести, ни славы, ни видов в будущем, с подчинением еще, после самостоятельного моего положения, Бутурлину, отчасти даже Дегаю: ибо оба старше меня в чине и, будь ли отделение или комиссия, всегда в главу всего и в непосредственном сношении с Государем станет Бутурлин, а я буду в положении самом подчиненном. Мерзость и отчаяние — думал я, и между тем не находил средство отвратить от себя грозящую беду [Дневник 1848. Л. 165–165 об.].

¹⁰ *Fiel* (фр.) — желчь, горечь.

¹¹ Подробнее об этом см.: [Волошина 2022: 347–362].

Через несколько дней, 3 апреля 1848 г., Корф добавляет, что новое назначение и занятие в комитете

...повергает меня истинно в уныние <...> И какое еще занятие? Убивать свое время над нашими гнилыми и дрянными журналами, работать <...> как канцелярскому чиновнику, без славы и видов, и наконец, полагать всю цель свою в том — ибо такова точно цель комитета — чтоб быть донощиком и останавливать умственное в отечестве своем развитие... В глазах Государя, все это, разумеется, представляется совсем в иных красках: назначение это он считает, без сомнения, знаком великой милости и особенного доверия... [Дневник 1848. Л. 172 об.].

Корф горюет и за царя, с именем которого будет связана такая, с одной стороны, мелочная, с другой — неприятная и непопулярная вещь, как цензура, и за себя: карьера не идет вверх, а он подвергается опасности чиновного — т. е. для Корфа личного — унижения, и все это при отсутствии приватного доклада царю.

Интересно, что одной из причин печали, а также невозможности отказаться от неприятной должности, Корф называет «бедность». Жизнь высокопоставленного семейного чиновника в Петербурге обходилась дорого, и Корф порой с трудом сводит семейный бюджет.

...как не пожаловаться в тысячный раз на горькую бедность, которая мешает мне не только все бросить, но даже и объяснить о причинах моего неудовольствия? [Дневник 1848. Л. 173].

С. С. Уваров все же вынужден был оставить пост министра в 1849 г., но падение врага принесло Корфу новые печали. Царь долго не назначал нового министра, и на его место прочили или В. А. Перовского, или Н. Н. Анненкова, но чаще всего снова Корфа, который подробно записывает слухи о своем назначении (среди прочих о нем говорили и министр внутренних дел, и вдова великого князя Михаила Павловича, и граф А. Ф. Орлов — в пересказе П. А. Клейнмихеля: Корф, конечно же, дает точные ссылки на источники информации и слухов). Из-за ожидания поле высшей власти казалось наэлектризованным: решение царя было сложно предсказать, и от выбора той или иной фигуры, как обычно, зависело усиление одних лиц и ослабление других.

К началу декабря терпение Корф стало иссякать, и он тосковал, подозревая худшее:

6-е декабря уже прошло, а Министра Народного просвещения — все еще нет. По этому длинному междуцарствию, все более и более становится вероятным, что Министром останется, или будет, нынешний Товарищ князь Ширинский-Шихматов <...> изувер и святоша <...> муж старой девы, урожденной Писемской, самого скверного тона, притом еще полусумасшедшей и крепко испивающей. Как это все <...> выкупаемо никакими высшими достоинствами, прекрасно идет к Министерскому портфелю первой Монархии в мире! [Дневник 1849. Л. 306 об.—307 об.].

Долгое молчание Николая I по поводу имени нового министра народного просвещения кажется сознательной стратегией самодержца: в этом ожидании все придворные, министерские и высшие бюрократические силы находились в состоянии тревожного внимания и пристального наблюдения друг за другом.

Официальное назначение Ширина-Шихматова министром все же состоялось 27 января, и измученный ожиданием Корф выражал в дневнике грусть только по поводу недостойного выбора государственного служащего. «Во мне болит тут чувство русское, чувство человека, сердечно преданного Государю и не могущего быть равнодушным к выбору его наперсников и орудий», — записывал он 29 января 1850 г. [Дневник 1850. Л. 28 об.].

Сил Корфу хватило теперь только на спасение своей чиновничьей чести: будучи директором Императорской публичной библиотеки, он должен был подчиняться министру, который был ниже его в чине, — унижение нестерпимое. Проблема эта чуть позже была решена, чиновничье самолюбие было спасено, и видимо, до начала нового правления Корф больше не питал надежд на серьезные изменения в карьере.

* * *

М. А. Корф, будучи проницательным наблюдателем, прекрасным социологом власти, бытописателем и аналитиком событий, практик и сценариев в высших властных структурах, в качестве агента на социальном поле выступал не самым успешным образом, что, собственно, и было одной из главных его причин грусти. Чтение дневников Корфа позволяет сделать предположение, что вдохновение для своих обширных и эмоциональных записей он черпает в сочетании и балансе двух сил: грусти, в том числе ressentiment от неудавшихся карьерных взлетов, а также надежды, что его честолюбивые мечты все же воплотятся.

При ослаблении одной из этих движущих сил записи становятся более редкими и менее эмоциональными. Так, во второй половине мрачного семилетия уходит надежда на высокие назначения, а с началом правления Александра II исчезают основные причины для грусти: в 1861 г. Корф становится главноуправляющим Вторым отделением С. Е. И. В. К., а в 1864 г. — председателем департамента законов Государственного совета.

Что касается «официальной», т. е. опубликованной версии дневников (после смерти Корфа в «Русской старине» были напечатаны отобранные автором фрагменты его записей, отцензурированные к тому же Александром II¹²), там первый из импульсов фигурирует гораздо реже. Грусть, кроме самой официальной, осталась лишь в личных записях Модеста Андреевича.

¹² «Из записок барона (впоследствии графа) М. А. Корфа» (Русская старина. 1899. № 5–12; 1900. № 1–7); «Из дневника барона (впоследствии графа) М. А. Корфа» (Русская старина. 1904. № 1–2, 5, 6). Переизд. в [Корф 2003].

Источники

Архивные

- Дневник 1848 — Дневник графа М. А. Корфа (автограф) за 1848 г. ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Ед. хр. 1817. Ч. 11.
- Дневник 1849 — Дневник графа М.А. Корфа (автограф) за 1849 г. ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Ед. хр. 1817. Ч. 12а.
- Дневник 1850 — Дневник графа М.А. Корфа (автограф) за 1850 г. ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Ед. хр. 1817. Ч. 13.
- Дневник 1851 — Дневник графа М. А. Корфа (автограф) за 1851 г. ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Ед. хр. 1817. Ч. 14.

Опубликованные

- Корф 1838–1839 — *Корф М. А.* Дневники 1838 и 1839 гг. / Предисл., подгот. к печати и коммент. И. В. Ружицкой. М.: Рубежи XXI, 2010.
- Корф 1840 — *Корф М. А.* Дневник за 1840 год / Предисл., подгот. текста к печати и коммент. И. В. Ружицкой. М.: Квадрига, 2017.
- Корф 1843 — *Корф М.* Дневник. Год 1843-й / Предисл., подгот. к печати и коммент. И. В. Ружицкой. М.: Academia, 2004.
- Корф 2003 — *Модест Корф, барон.* Записки. М.: Захаров, 2003.

Сокращения

ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации (Москва).

Литература

- Волошина 2022 — *Волошина С. М.* Власть и журналистика. Николай I, Андрей Краевский и другие. М.: Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2022.
- Марасинова 1999 — *Марасинова Е. Н.* Психология элиты российского дворянства последней трети XVIII века: (По материалам переписки). М.: Рос. полит. энциклопедия (РОССПЭН), 1999.
- Старобинский 2016 — *Старобинский Ж.* Чернила меланхолии / [Пер. с фр., общ. ред. и предисл. С. Зенкина]. М.: Нов. лит. обозрение, 2016.
- Уортман 2002 — *Уортман Р. С.* Сценарии власти: мифы и церемонии русской монархии: В 2 т. Т. 1: от Петра Великого до смерти Николая I. М.: ОГИ, 2004.
- Успенский, Живов 1996 — *Успенский Б. А., Живов В. М.* Царь и Бог (Семиотические аспекты сакрализации монарха в России) // Успенский Б. А. Избранные труды. Т. 1: Семиотика истории. Семиотика культуры. М.: Шк. «Языки рус. культуры», 1996. С. 205–337.
- Шмитт 2016 — *Шмитт К.* Понятие политического / Пер. с нем. под ред. А. Ф. Филиппова. СПб.: Наука, 2016.

References

- Marasina, E. N. (1999). *Psikhologiya elity rossiiskogo dvorianstva poslednei treti XVIII veka* [Psychology of the elite of the Russian nobility of the last third of the 18th century]. Rossiiskaia politicheskaya entsiklopediya (ROSSPEN). (In Russian).
- Schmitt, C. (1963). *Der Begriff des Politischen: Text von 1932 mit einem Vorwort und drei Corollarien*. Duncker & Humblot. (In German).

- Starobinski, J. (2012). *L'encre de la mélancolie*. Seuil. (In French).
- Uspenskij, B. A., & Zhivov, V. M. (1996). Tsar' i Bog (Semioticheskie aspekty sakralizatsii monarkha v Rossii) [Tsar and God (Semiotic aspects of the sacralisation of the monarch in Russia)]. In B. A. Uspenskij. *Izbrannye trudy, Vol. 1: Semiotika istorii. Semiotika kul'tury* (pp. 205–337). Shkola "Iazyki russkoj kul'tury". (In Russian).
- Voloshina, S. M. (2022). *Vlast' i zhurnalistika. Nikolai I, Andrei Kraevskii i drugie* [(State) power and journalism: Nicholas I, Andrei Krayevsky and others]. Izdatel'skii dom "Delo" RANKhIGS. (In Russian).
- Wortman, R. S. (1995). *Scenarios of power: Myth and ceremony in Russian monarchy, Vol. 1: From Peter the Great to the death of Nicholas I*. Princeton Univ. Press.

* * *

Информация об авторе

Information about the author

Светлана Михайловна Волошина

кандидат филологических наук
старший научный сотрудник,
Лаборатория историко-культурных
исследований, Школа актуальных
гуманитарных исследований, Институт
общественных наук, Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ
Россия, 119571, Москва,
пр-т Вернадского, д. 82
Тел.: +7 (499) 956-99-99
✉ s.m.voloshina@gmail.com

Svetlana M. Voloshina

Cand. Sci. (Philology)
Senior Researcher; Center for Cultural
Studies, School for Advanced Studies
in the Humanities, Institute for Social
Sciences, The Russian Presidential
Academy of National Economy and Public
Administration
Russia, 119571, Moscow,
Prospekt Vernadskogo, 82
Tel.: +7 (499) 956-99-99
✉ s.m.voloshina@gmail.com

Е. Э. Лямина^a

ORCID: 0000-0001-7565-4285
✉ catherine.lyamina@gmail.com

Н. В. Сомовер^b

ORCID: 0009-0007-7076-3117
✉ natalia.somover@gmail.com

^a *Институт мировой литературы
им. А. М. Горького РАН (Россия, Москва)*

^b *независимый исследователь (Россия, Москва)*

«ЛУЧШЕ БЫ МНЕ НЕ ВИДЕТЬ МОНУМЕНТ КРЫЛОВА...»: ОБ ОДНОЙ ЗАПИСИ В ДНЕВНИКЕ ШЕВЧЕНКО 1858 г.

Аннотация. Дневник Тараса Шевченко 1857–1858 гг. — текст широко известный и даже культовый, но фронтально пока так и не откомментированный и не проблематизированный. Между тем в нем описывается и осмысливается один из важнейших периодов жизни Шевченко, отмеченный резкой сменой обстановки и самоощущения. На этот период приходится окончание его солдатской службы и ссылки, возвращение в Петербург и к художественному творчеству, исключительная его популярность как ключевой фигуры украинского нациестроительства. Цель статьи — на примере одной развернутой записи (30 апреля 1858 г.) показать, как многоаспектное комментирование выявляет проблематику текста. Для этого составлен первый с момента введения дневника в научный оборот монографический комментарий к записи, учитывающий многочисленные контексты: исторический, идеологический, биографический, художественный, городской. Кроме того, с учетом оптики перехода, акцентируемой самим автором дневника, предложена интерпретация обнаруженных сюжетов. Результатами исследования стали: прояснение ряда темных и/или не привлекавших внимания пассажей; выявление основной смысловой линии — многофокусного конфликта («прежнее Я» vs «новое Я»; искусство vs власть/Церковь); высокое искусство vs низкий бытовизм и пр.; проанализированы структура и поэтика записи. Продемонстрировано, как развивается эмоциональный сценарий: от досады к раздражению и далее, через разочарование, к гневу и возмущению; какие риторические паттерны здесь использованы; как автор определяет себя через посредство двух символических фигур — Брюллова и Крылова. Художник и поэт, они репрезентируют две ипостаси самого Шевченко и одновременно функционируют как инструменты, при помощи которых он анализирует собственное прошлое и начавшийся новый этап своей биографии.

Ключевые слова: дневник, эмоциональные сценарии, Тарас Шевченко, Николай I, Карл Брюллов, Иван Крылов, живопись, памятник Крылову работы П. К. Клодта, ритуальные маски алеутов, Этнографический музей Академии наук, литература и нациестроительство, история эмоций, Петербург, комментарий

Для цитирования: Лямина Е. Э., Самовер Н. В. «Лучше бы мне не видеть монумент Крылова...»: об одной записи в дневнике Шевченко 1858 г. // Шаги/Steps. Т. 9. № 4. 2023. С. 158–176. <https://doi.org/10.22394/2412-9410-2023-9-4-158-176>.

*Статья поступила в редакцию 5 июня 2023 г.
Принято к печати 17 августа 2023 г.*

Shagi / Steps. Vol. 9. No. 4. 2023
Articles

E. E. Liamina^a

ORCID: 0000-0001-7565-4285
✉ catherine.lyamina@gmail.com

N. V. Samover^b

ORCID: 0009-0007-7076-3117
✉ natalia.samover@gmail.com

^a A. M. Gorky Institute of World Literature
of the Russian Academy of Sciences
(Russia, Moscow)

^b Independent Scholar (Россия, Москва)

“I WISH I HADN’T SEEN THE KRYLOV MONUMENT...”: ON AN ENTRY IN TARAS SHEVCHENKO’S DIARY FROM 1858

Abstract. Taras Shevchenko’s diary of 1857–1858, a well-known and even iconic text, remains poorly commented and conceptualized to an even lesser degree. This despite the fact that it describes and interprets one the most important periods in Shevchenko’s life. When his exile ended, he returned to St. Petersburg and to artistic production, became extremely popular as a key figure of Ukrainian nation-building. The article intends to demonstrate, on the example of one extended entry from April 30th, 1858, how a multifaceted commentary reveals the wide problematics of this diary. To achieve this goal, the first monographic commentary to the named entry was compiled, reconstructing and examining numerous contexts of that day, such as the historical, the biographical, the artistic, the

urban, and the ideological. As a next step, the plots identified were interpreted within the framework of the optics of transition underscored by Shevchenko himself. The results of the study are: explication of several obscure or unnoticed passages; revelation of multicentered conflict as a main line of the text (“former I” vs “actual I”; Art vs state/Church; sacred Art vs. ignoble naturalism); analysis of structure and poetics of the entry. The emotional scenario of the day is explicated as developing from discontent to annoyance, then from disappointment to rage and indignation. The study demonstrates which rhetorical patterns are used and how the author defines himself by two symbolic figures, Karl Bryullov and Ivan Krylov. Painter and poet, respectively, they represent Shevchenko’s double-sided avatar, and also serve as tools for analysis of his traumatic past strongly influencing a new stage of his biography.

Keywords: diary, emotional scenarios, Taras Shevchenko, Nicholas I, Karl Bryullov, Ivan Krylov, painting, Krylov monument by Petr Klodt, Aleutian ritual masks, Ethnographic Museum of the Academy of Sciences, literature and construction of the nation, history of emotions, Saint-Petersburg, commentary

To cite this article: Liamina, E. E., & Samover, N. V. (2023). “I wish I hadn’t seen the Krylov Monument...”: On an entry in Taras Shevchenko’s diary from 1858. *Shagi / Steps*, 9(4), 158–176. (In Russian). <https://doi.org/10.22394/2412-9410-2023-9-4-158-176>.

Received June 5, 2023

Accepted August 17, 2023

Эта работа представляет собой попытку реконструкции исторического, биографического, психологического и художественного контекста дневниковой записи Т. Г. Шевченко, описывающей прогулку по Петербургу 30 апреля 1858 г. Примечания к существующим изданиям дневника, ограничиваясь в основном идентификацией упоминаемых локаций и имен собственных, не касаются целостного сюжета, который здесь, на наш взгляд, развернут.

Приведем запись целиком по факсимильному воспроизведению оригинала [Шевченко 1972 (без пагинации)] и далее в тексте статьи будем выделять комментируемые фрагменты разрядкой.

Пошли с Семеном в летний сад с намерением посмотреть монумент Крюлова. По дороге зашли в Казанский собор посмотреть Картину Брюлоva. Но увы она так умно удачно поставлена премудрыми попами что и кошечьими глазами видеть ее невозможно. Отвратительно! По дороге зашли в Пасаж, полубовались шляющимися красавицами и Алеутскими болванчиками, и прошли в летний сад.

<Лучше бы мне не видеть>¹ Монумент Крылова, прославленный Пчелой и протчими газетами, ничем не лучше Алеутских болванчиков. Бессовестные газетчики! Жалкий Барон Клот! Вместо величественного старца он посадил лакея в нанковом сертуке с азбучкой и указкою в руках. Барон без умысла достиг цели вылепивше эту жалкую статую и барельеф именно для детей, но никак не для взрослых. Бедный барон! оскорбил ты великого поэта и тоже без умысла.

Оскорбленные бароном мы взяли ялик и поплыли на биржу. Полюбовались величественной биржевой залой, прошли в Сквер посмотрели на обезьян и попугаев и зашли на постоянную выставку художественных произведений. Бедный Тыранов он и свое болезненное маранье тут же выста[ви]л. Грустное тяжелое впечатление!

Находившись до упаду мы на ялике переплыли Неву, прошли часть бульвара, <подош> в окнах магазина Дациаро полюбовались акватинтами взяли извощика и отправились домой обедать.

Вечером был у Белозерского и у Кроневица.

Шевченко вернулся в столицу из десятилетней ссылки 27 марта 1858 г. — за месяц с небольшим до интересующей нас прогулки и записи о ней. Осужденный за стихи, он был помилован как профессиональный художник; новый император Александр II пошел навстречу ходатайству вице-президента Академии художеств Ф. П. Толстого и его жены.

Скоре у него появится маленькая мастерская в здании Академии, где он начнет трудиться — совершенствуя прежде всего навыки гравирования, включая технику акватинты, с чем и связан его интерес к работам в витрине художественного магазина Джузеппе (Иосифа Христофоровича) Дациаро. В 1859 г. Совет Академии художеств, рассмотрев гравюры Шевченко, присвоит ему звание «назначенного в академики», а в 1860 г. — звание академика по гравированию за большую работу в технике офорта и акватинты — «Вирсавию» с одноименной картины Брюллова.

Однако возвращение к прежней жизни было невозможно. Тяжелые испытания, через которые ему довелось пройти, наложили неизгладимый отпечаток на его личность. Еще в молодости Шевченко отличался эмоциональностью. Он был способен быстро переходить от состояния умиления и восторга к негодованию; религиозное преклонение перед прекрасным и возвышенным соседствовало в его экспрессивном репертуаре с громоподобными проклятиями моральному и социальному злу. Теперь же эта особенность темперамента приобрела решающее влияние на его повседневную жизнь.

Многие из тех, кто общался с Шевченко после его возвращения из ссылки, отмечали его ранимость и болезненную хрупкость его душевного равновесия. Так, младший приятель последних лет его жизни скульптор М. О. Микешин, «поводырь», часто сопровождавший Шевченко в дома знакомых и общественные места, вспоминал:

...если в среде собеседников случайно оказывалось лицо ему антипатичное или разговор принимал по его мнению вызывающий тон,

¹ В ломаных скобках — зачеркнутое автором, в квадратных — пропущенное по ошибке.

то он тотчас же делался придирчив и крайне резок, и большого труда стоило хозяевам отвлечь его от предмета раздражения; но, во всяком случае, остаток такого вечера, до сна, для него был уже окончательно испорчен; тут он уже систематично бередил свое наболевшее сердце воспоминаниями о своем горьком детстве, и о вынесенном им крепостном состоянии, ссылке и пр. и пр., что при некоторых способствующих обстоятельствах (...) доходило иногда до поэтического пафоса [Микешин 1876: 2].

Подобные эмоциональные «качели» дают себя знать и в интересующей нас записи. Запечатленный в ней день Шевченко провел в компании старинного друга, певца и композитора Семёна Степановича Гулака-Артемовского. Поэта, разумеется, интересовали художественные новинки, появившиеся в Петербурге за время его отсутствия, в том числе монумент Крылова, который был установлен в Летнем саду в 1855 г.

В эти дни он живет еще не в Академии художеств, а на Мойке, в доме А. С. Уварова, в квартире своего друга М. М. Лазаревского. По дороге в Летний сад Шевченко и Гулак-Артемовский заходят в Казанский собор посмотреть на огромный запрестольный образ «Взятие Божией Матери на небо», некогда написанный К. П. Брюлловым буквально на глазах у Шевченко, который как ученик проводил много времени в мастерской учителя. Картина была заказана Николаем I в 1836 г., окончена в 1842 г., показана на трехгодичной выставке Академии художеств в сентябре — октябре того же года, а затем помещена в алтаре Казанского собора.

В. В. Стасов, в то время воспитанник Училища правоведения, впоследствии вспоминал (с ошибкой в дате) свои впечатления от нее:

...когда в 1840-м году появилась в Казанском соборе, в качестве запрестольного образа, знаменитая в то время картина Брюллова «Взятие Божией Матери на небо», то я, уже достаточно наэлектризованный ею незадолго перед тем, на академической выставке, дождался пасхи, когда царские двери отворены, и каждое утро ранехонько бежал в Казанский собор и дождался, когда солнце придет с этой стороны и на несколько часов ярко осветит мою драгоценную картину, все остальное время дня погруженную в глубокий мрак, по совершенно негодному для картины расположению окон. Тут я проводил несколько часов в безмятежном созерцании и ощущении великих красот поражающей меня картины. Я возвращался домой к утреннему чаю, совершенно счастливый и довольный собою [Стасов 1881: 273].

Место для картины — в центре алтарной апсиды, в простенке между большими окнами — было определено самим Николаем I, и выбор его оказался крайне неудачным. Большую часть дня свет из окон, направленный на престол, слепит зрителя, превращая запрестольный образ в черное, совершенно неразборчивое пятно. Рассмотреть картину можно лишь когда свет падает сбоку (такие моменты и ловил юный Стасов) или при ярком искусственном освещении всего пространства алтаря.

По воспоминаниям М. И. Железнова, еще одного ученика Брюллова, художник предвидел эту проблему и предлагал императору иное решение. Он просил перестроить алтарь, сделав по центру апсиды проем, куда можно было бы вставить транспарант — картину, написанную на тонком холсте, просвечивающем как витраж (см.: [Железнов 1898 (28): 563]). Однако Николай I согласия не дал; в результате картина, которой восторгались все, кому довелось ее видеть в мастерской автора или на выставке, оказалась практически погребена в непроницаемом сумраке, недоступная даже ко ш е ч ь и м г л а з а м, т. е. зрению существа, способного видеть в темноте.

В надругательстве над шедевром Шевченко винит не покойного императора, а премудрых попов, однако официозная Церковь была для него одной из ипостасей ненавистного николаевского режима. И хотя фигура самого царя в записи от 30 апреля не возникает, памятью о нем пронизано буквально все, что окружало Шевченко в те дни.

31 марта, посетив Новый Эрмитаж, он констатирует: «И в этом великолепном храме искусств сильно напечаталась тяжелая казарменная лапа неудобозабываемого дрессированного медведя»; 3 апреля переписывает в дневник стихотворение В. С. Курочкина «Навуходоносор» — прозрачную сатиру на покойного императора; 15 апреля знакомится с декабристом Н. Н. Оржицким (ошибочно именуя его Персидским), 19-го ищет знакомства с другим декабристом — В. И. Штейнгейлем; 25 апреля в мастерской П. К. Клодта осматривает модель будущего конного памятника «неудобозабываемому». А вечер интересующего нас 30 апреля завершится в гостях у В. М. Белозерского, в прошлом члена Кирилло-Мефодиевского общества, который в другой записи назван «соузником и соседом по каземату в 1847 году», и у «соизгнанника», поляка П. А. Кру не в и ч а (в других записях *Кроневиц* или, вероятно в шутку, *Кроникевич*).

Само освобождение из ссылки и возвращение в столицу, напомним, стало возможно только вследствие смерти Николая.

Положение картины Брюллова явно оказалось для поэта неприятным сюрпризом: судя по всему, в свою бытность в Петербурге до ареста он не видел ее на этом месте. Унижение искусства, пренебрежение его суверенными требованиями Шевченко ощущал так же остро, как насилие над личностью, в особенности когда это касалось произведений обожаемого учителя. И в дневнике возникает первый всплеск возмущения: «От в р а т и т е л ь н о!»

Однако главной целью прогулки друзей был все-таки не Казанский собор, а Летний сад, и они выбирают кратчайший путь туда — перейдя на другую сторону Невского проспекта, проходят через П а с с а ж. Крытая галерея, расположенная на том же месте, что и ныне существующий Пассаж, так же выводила на Итальянскую улицу. Это сооружение, появившееся в столице в 1848 г., тоже было для Шевченко новинкой. Тогдашний Пассаж представлял собой торгово-развлекательный комплекс узнаваемого современного типа. Три надземных этажа и подземный тоннель под ними заключали в себе помещения коммерческого назначения, сдававшиеся в аренду, в том числе для экспонирования всяческих диковинок².

² Напомним о сатирическом рассказе Достоевского «Крокодил. Необыкновенное событие, или пассаж в Пассаже» (1865), обыгрывающем впечатления от небольшого зверинца, который содержали в Пассаже супруги Юлиус и Софья Гебгардт.

В 1851 г. реклама живописала Пассаж следующим образом:

Здесь множество разнообразных магазинов, в которых посетители находят всевозможные предметы для удовлетворения своих потребностей. Здесь на одном конце биллиардная зала и известная кондитерская Позетти, на другом — отличный кафе-ресторан Бренфо, предлагающий роскошный завтрак, обед или ужин. В двух галереях пассажа расположены: большой анатомический музей, живые картины, механический театр, кабинет восковых фигур, натуральных редкостей и микроскопический, косморамы, панорамы, диорамы и, наконец, концертная зала, с избранным хором московских цыган и превосходным оркестром Ивана Гунгли [Булгарин 1851: 6].

Анонимный автор «Моды», «журнала для светских людей», тогда же резюмировал: «Пассаж (...) стал заведением почти увеселительным, наполнился кофейнями, ресторанами, зрелищами, музыкальными залами. (...) Это единственное зимнее гулянье Петербурга для среднего класса» [Мода 1851: 62].

Семь лет спустя все оставалось примерно так же. При этом, как замечал внимательный наблюдатель городских нравов В. П. Бурнашев, Пассаж, сооруженный в «торговой» части Невского проспекта, где не принято было прогуливаться великосветской публике, поневоле оказался местом не совсем *comme il faut*: «Наплыв разного сброду (...) был так велик, что принуждены были поставить у входов по швейцару, для удержания неблагопристойных лиц, особенно женского пола» [Бурнашев 1857: 1032]. Но совершенно избавиться от них не удавалось. Петербургский старожил А. Ф. Кони, вспоминая Пассаж 1850-х годов, напишет: «Во втором этаже разные мастерские и белошвейные, к которым применимы слова Некрасова из “Убогой и нарядной”: “Не очень много шили там, и не в шитье была там сила”» [Кони 1922: 55]. Обитательницы подобных заведений выделялись в толпе неуместно щегольской одеждой.

По-видимому, именно такого разбора женщины и попались навстречу приятелям. Шевченко не без язвительности называет их *ш л я ю щ и м и с я к р а с а в и ц а м и*. Само слово *красавица* в его лексиконе, как правило, окрашено негативной экспрессией. Так, двумя годами ранее в автобиографической повести «Художник» появилась следующая тирада:

— Как так? — закричат неистовые юноши. — Красавица, Богом созданная для того только, чтоб услаждать нашу исполненную слез и треволений жизнь. — Правда. Назначение ее от Бога такое. Да она-то, или, лучше сказать, мы ухитрились изменить ее высокое божественное назначение. И сделали из нее бездушного, безжизненного идола. В ней одно чувство поглотило все другие прекрасные чувства. Это эгоизм, порожденный сознанием собственной всесокрушающей красоты. (...)»

Привилегированная красавица ничем не может быть, кроме красавицы. Ни любящей кроткою женою, ни доброй, нежной матерью, ни даже пламенной любовницей. Она деревянная красавица и ничего больше. И было бы глупо с нашей стороны и требовать чего-нибудь больше от дерева [Шевченко 1989: 355–356].

Раздражение поэта от того, что встречается ему на пути, растет, сомнительные красавицы вносят в это свою лепту, и в один ряд с ними Шевченко помещает Алеутских болванчиков.

Перед нами одно из темных мест дневника, до сих пор не получившее адекватного истолкования. Так, С. П. Шестериков признавал тщетность своих попыток разгадать его:

В современных газетах («Северная пчела», «Сын отчества» [sic!], «С.-Петербургские ведомости», «Русский инвалид») нам не удалось найти сведения об «алеутских болванчиках», — по-видимому, каких-то акробатах или фокусниках из разряда «заморских чудищ» [Шестериков 1931: 411].

Интерпретация «болванчиков» как цирковых артистов, очевидно, основывается на представлении о Пассаже как развлекательном заведении, однако в этом случае решительно неясно, по какому признаку «акробаты или фокусники» далее сравниваются с памятником Крылову. Гораздо правдоподобнее выглядит предположение Л. Н. Большакова о том, что здесь имеются в виду «статуэтки, сделанные руками алеутов» [Большаков 1993: 93].

Действительно, одно из значений слова *болван* (*болванчик*), фиксируемое словарями на протяжении целого столетия, — статуя, причем грубой работы; истукан, «идол, языческий изваянный бог» [Даль 1880: 111]. Речь, таким образом, может идти о каких-то священных предметах коренных жителей Алеутских островов. Уже скоро, в 1867 г., эти территории вместе с Аляской будут проданы Северо-Американским Соединенным Штатам, но пока там еще ведет свое колониальное хозяйство Российско-Американская компания со штаб-квартирой в Петербурге.

Середина XIX в. — время становления этнографии как науки и формирования соответствующих коллекций. Активную экспедиционную и собирательскую деятельность в то время развили Русское географическое общество и Этнографический музей Академии наук, причем последний обладал наиболее обширной алеутской коллекцией. В конце 1857 г. она пополнилась двумя замечательными вещами — деревянными ритуальными масками с острова Атка, извлеченными, по-видимому, из шаманского погребения (ил. 1). Они входили в «коллекцию предметов естественной истории и этнографии», которую составил вольный шкипер Российско-Американской компании И. И. Архимандритов, сын русского и алеутки, получивший образование в Петербурге³. Эту коллекцию привез в столицу глава многопрофильной академической экспедиции зоолог Л. И. Шренк. 4 декабря 1857 г. она была от имени Архимандритова передана Академии наук, и в том же месяце маски зарегистрированы в журнале поступлений Этнографического музея [Авдеев 1958: 279; Корсун 2014а: 21; 2014b: 368–371].

³ О нем см.: [Авдеев 1958: 299–303].



Ил. 1. Ритуальные маски алеутов. Остров Атка. XVIII в.
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
(Санкт-Петербург)

Fig. 1. Aleutian ritual masks. Atka Island. 18th century
Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera) RAS
(Saint Petersburg)

Могли ли они спустя четыре месяца оказаться в Пассаже в окружении восковых фигур, изображающих пытки испанской инквизиции [Кони 1966: 51–52], анатомических препаратов, видеть которые позволялось только взрослым мужчинам [Булгарин 1851b: 15], и прочих развлекательных выставок? К сожалению, документов об экспозиционной деятельности Этнографического музея того времени нам обнаружить не удалось, поэтому изложенное ниже носит гипотетический характер.

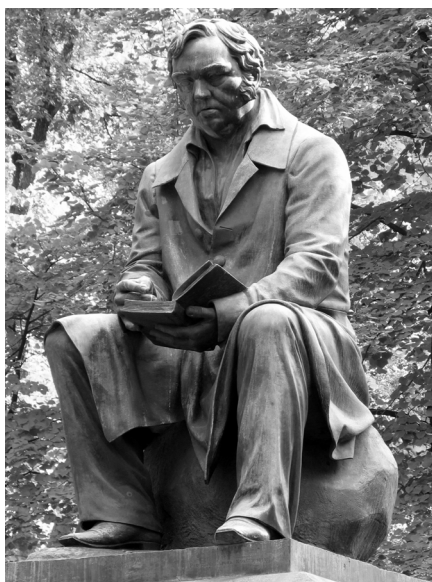
Позволим себе предположить, что новые поступления были выставлены в Пассаже по вполне банальной причине — показать их публике в стенах самого Этнографического музея было невозможно. В описываемое время его помещение в здании Кунсткамеры было крайне тесным и неудобным:

Коллекции экспонировались частично в зале второго этажа, частично в комнатах Азиатского музея, в специальных надстройках над шкафами. Комната для работы и кладовые находились в соседнем здании (в Таможенном переулке), предоставленном академическим музеям биологической группы. Здание не отапливалось, и зимой посетителей не пускали. <...> Экспозиция музея 1840–1850-х гг. по своей скученности походила на склад. <...> Предметы, поступившие после 1837 г., хранились в нераспакованном виде в кладовой [Станюкович 1964: 47–48].

Уникальные маски из коллекции Архимандритова были обречены на такое же прозябание в закрытых ящиках. Впрочем, и очутившись в Пассаже, в совершенно чуждом для себя контексте, они не могли рассчитывать на благожелательное отношение публики. С точки зрения господствующего академического вкуса подобные предметы казались странными и уродливыми.

Теми же глазами мог смотреть на них и Шевченко⁴. Из всего разнообразия зрелищ Пассажа он выделил «алеутских болванчиков» как художник, которого заинтересовала и тут же оттолкнула их грубая экзотичность. Не случайно он любуется ими — так же, как вульгарными «красавицами».

Все это, однако, лишь случайные впечатления на пути к главной цели прогулки — монументу Крылова, относительно новой, но уже знаменитой городской достопримечательности. Памятник был установлен на площадке в Летнем саду, которая традиционно служила местом детских игр, но посмотреть на него ходили и взрослые. Всеобщий и безоговорочный восторг вызывал пьедестал со сложной, многофигурной анималистической композицией по мотивам басен. Шевченко же сосредоточен на статуе баснописца (ил. 2), и здесь его постигает страшное разочарование, самое тяжелое за этот день.



Ил. 2. П. К. Клодт. Памятник Крылову в Летнем саду (фрагмент)

Fig. 2. Peter Klodt. Krylov monument in Summer Garden (detail)

⁴ В этом контексте характерен резко отрицательный отзыв Шевченко о древней иконе Спаса Нерукотворного, которую он увидел в Нижнем Новгороде: «Сначала я подумал, что это индейский Ману или Вешну заблудил в христианское капище полакомиться ладаном и деревянным маслицем». Эту икону он называет «византийским чудовищем» и «индийским безобразием», а женщину, которая перекрестилась на нее, — «идолопоклонницей». «Чудовищный образ» настолько шокировал Шевченко, что он по памяти зарисовал его в дневнике (записи от 27 сентября 1857 и 16 февраля 1858 гг. см. в [Шевченко 1927: 106–107, 152]).

Очевидно, он многого ожидал от этого монумента. Имея даже в своем далеком гарнизоне доступ к некоторым столичным изданиям, он мог узнать о его открытии из заметок «Санкт-Петербургских ведомостей» (в номере от 15 мая 1855 г.) и «Северной пчелы» (17 мая), а чуть позже прочитать в той же «Пчеле» развернутый отзыв Ф. В. Булгарина:

Исполнение памятника приносит величайшую честь нашему знаменитому скульптору барону Петру Карловичу Клодту фон Юргенсбургу. Ни Канова, ни Торвальдсен не могли бы придумать и исполнить чего-нибудь приличнее и совершеннее! <...> Сходство поразительное, и черты лица, так сказать, проникнуты умом и вдохновением. Пьедестал совершеннее всего, что я видел в жизни! <...> Честь и слава ему и благодарность всеобщая, особенно от нас, бедных литераторов, которые утешаются и тем, что Крылов принадлежал к нашему сословию. Не всем достается в удел слава, но утешительно и то, что мы шли одним путем по благородному поприщу русской литературы [Булгарин 1855: 551].

Незадолго до его возвращения в Петербург та же газета снова писала об этом «единственном в своем роде произведении искусства»:

Памятник этот заслуживает внимания во многих отношениях, и мыслию, и сочинением, и исполнением. <...> Лицо его удивительно верно: ум, наблюдательность и какое-то ненарушимое спокойствие изображены во всех чертах его [Бурнашев 1858: 199–200].

Шевченко был ценителем не только живописи, но и скульптуры. В дневнике он не раз отмечает свой интерес к тем или иным произведениям, включая памятник Карамзину в Симбирске, который ему, впрочем, не удалось увидеть, и памятник Державину в Казани. 2 мая он вместе с тем же Гулаком-Артемовским пойдет осматривать открывшиеся в его отсутствие залы древней и новой скульптуры Эрмитажа и обратит особенное внимание на современных мастеров. Гневное «Лучше бы мне не видеть...» он, взяв себя в руки, зачеркивает, чтобы проанализировать свои ощущения так, как следует художнику, выносящему суждение о работе собрата. И все-таки его текст остается предельно эмоциональным. Очевидно, что затронуто нечто гораздо более важное, чем эстетические оценки.

Все значимые детали статуи Крылова Шевченко воспринимает совершенно не так, как задумывал автор и как считывало их большинство современников. Спокойная небрежность костюма баснописца, знак поэтической свободы и близости к природе, интерпретируется как затрапезность; классические атрибуты писателя, книга и стило, — как азбучка и указка⁵, приметы малограмотности. И главное, в клодтовском памятнике он не находит ожидаемого — великого поэта. Вместо этого возникает нечто противополож-

⁵ Эти предметы фигурируют и в повести «Художник»: с их помощью постигает грамоту молодая героиня, которая, даже выучившись читать, остается существом невежественным и жестоким [Шевченко 1989: 301–302].

ное — лакей⁶ в дешевом нанковом сертуке, квинтэссенция убожества, социального, умственного и морального.

Дело, несомненно, в том, что Шевченко была известна другая трактовка образа Крылова, которую он по умолчанию считал эталонной. Она принадлежала все тому же Брюллову. В 1839 г., живя в мастерской учителя, молодой художник был свидетелем того, как мэтр одновременно со «Взятием Божией Матери на небо» писал портрет Крылова⁷. Даже оставшийся незавершенным, этот образцовый романтический портрет сразу же был признан лучшим изображением баснописца. Делая по заказу В. А. Жуковского акварельную копию⁸, Шевченко имел возможность тщательно его изучить.

На портрете Крылов предстает именно в образе величественного старца, и никакие навязчивые детали зрителя не отвлекают. Свет драматически сфокусирован на лице; сияние лба почти буквально передает идею поэтического вдохновения.

Впрочем, для «перевода» с языка живописи на язык монументальной скульптуры требовались иные средства выражения, и Брюллов это понимал. У него имелась даже собственная концепция памятника Крылову:

Витали и Клодт «...» приходили к Брюллову, чтобы узнать, как, по его мнению, следовало представить Крылова⁹. Брюллов отвечал обоим, что, по его мнению, Крылова следует представить со зверями и дать ему в руки металлическое зеркало, в котором бы каждый прохожий видел самого себя [Железнов 1898 (33): 664].

Эти соображения, высказанные в 1848 г., остались неизвестными Шевченко, тогда уже находившемуся в ссылке. Теперь, рассматривая памятник сквозь призму живописного портрета и замечая вопиющее несоответствие, он обрушивается на работу Клодта со всем присущим ему ригористическим пылом¹⁰.

⁶ В языке Шевченко слово *лакей*, как правило, употребляется в переносном значении и всегда окрашено негативно.

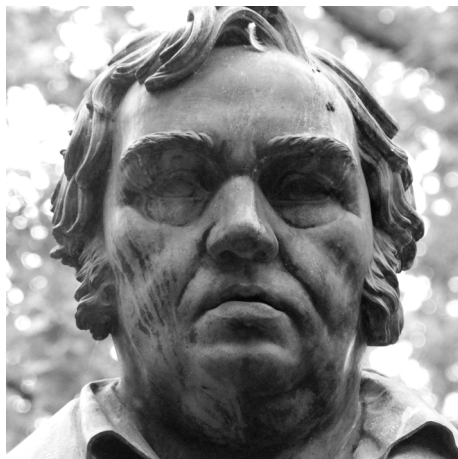
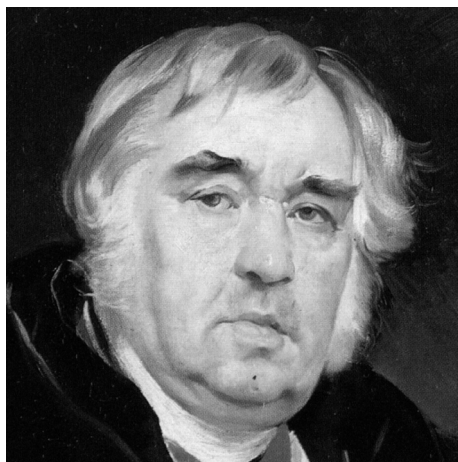
⁷ Тогда он мог видеть и запомнить баснописца, приезжавшего для позирования, а позднее, когда Крылов, выйдя в отставку, поселился на Васильевском острове неподалеку от Академии художеств, весьма вероятно, встречал его на улице.

⁸ Эта копия была снята не позднее начала мая 1841 г., когда Жуковский уехал за границу, увозя ее с собой. Сейчас хранится во Всероссийском музее А. С. Пушкина (Санкт-Петербург).

⁹ Разговор был связан с объявленным Академией художеств конкурсом на проект памятника Крылову. И. П. Витали и П. К. Клодт были среди участников. К Брюллову они обратились как к признанному знатоку скульптуры и автору лучшего портрета баснописца.

¹⁰ Уничтожающий отзыв в дневнике не повлиял на давние личные отношения Шевченко и Клодта. Они были знакомы еще в годы обучения поэта в Академии художеств, когда мастерская Клодта соседствовала с мастерской Брюллова. Несколько «лошадок» знаменитого скульптора украшали комнату, которую молодой Шевченко снимал вместе со своим другом В. И. Штернбергом (см. автобиографическую повесть «Прогулка с удовольствием и не без морали» [Шевченко 1887: 312]). Клодт стал одним из немногих художников, чью мастерскую Шевченко посетил уже вскоре по возвращении в Петербург. Неожиданный переход на «ты» в дневниковой записи: «Бедный барон! оскорбил ты великого поэта и тоже без умысла», — осколок воображаемого спора, горячего, но вполне дружеского. Одной из последних работ Шевченко станет гравированный портрет скульптора.

Здесь кстати пришлось впечатление от только что виденных масок. По-черневшее от времени дерево «рифмовалось» с черной бронзой, а тренированный глаз художника мог подметить и физиономическое сходство. Но главная претензия — в том, что памятник поэту лишен самого духа поэзии, и потому прославленное произведение современного скульптора ничем не лучше примитивных Алеутских болванчиков (ил. 3).



Ил. 3. Деталь портрета работы Брюллова (Государственная Третьяковская галерея, Москва), алеутская маска и деталь памятника работы Клодта

Fig. 3. Detail of Krylov's portrait painted by Karl Bryullov (State Tretyakov Gallery), Aleutian mask, and detail of monument sculpted by Klodt

Чтобы гнев Шевченко стал понятнее, дадим слово его антагонисту. Художественный критик К. А. Варнек чуть позже, в 1864 г., назовет крыловский монумент «бесспорно лучшим из всех наших памятников». Созданный в то время, когда «не простыло еще <...>» то учение об особенной натуре художни-

ка, о вдохновении, о неизмеримой высоте его призвания, которое так удачно принялось у нас при первом появлении Брюлова», он, по мнению критика, демонстрирует новое понятие о поэте.

...тут нет всех этих старых, изношенных атрибутов, которые так надоели своей натянутостью. Тут нет чего-нибудь поражающего, потрясающего, ужасающего, тут вовсе нет поэта — какого-то получеловека, получудовища, такого поэта, какими их себе представляли когда-то прежде; тут простой сидящий человек, который ничего вам не внушает <...> не старается <...> дать вам понять, что поэт что-то такое особенно важное, какой-то герой вдохновения, ниспадающего с облаков. Тут поэт — обыкновенный человек, такой поэт, какими они бывают в действительности <...> этот памятник не начальник, а «свой брат» и простому человеку, и оттого-то он и есть лучший памятник, наиболее достигающий своей цели [Варнек 1864: 718–720].

Но то, что так восхищает критика — бытовизация образа Крылова, — для Шевченко нестерпимо, в «жалкой статуе» он усматривает оскорбление великого поэта. И пресловутый пьедестал со зверями возмущает его, поскольку делает памятник привлекательным для детей, но никак не для взрослых. Варнек же не видит в этом ничего дурного:

...всякий знает, какой интерес возбуждают эти барельефы на [sic!] взрослых и в детях; что хорошо, то нравится всякому возрасту [Варнек 1864: 722].

В такой оптике инвективы Шевченко выглядят всего лишь брюзжанием художника-романтика, воспитанника отжившей школы Брюллова. Однако генезис этой острой реакции более сложен: здесь значим и биографический, и литературный аспект.

Еще в ссылке, размышляя о предстоящем возвращении к нормальной жизни, Шевченко спрашивал себя, как повлияло на него пережитое:

...горький опыт прошел мимо меня невидимкою. Мне кажется, что я точно тот же, что был и десять лет тому назад. Ни одна черта в моем внутреннем образе не изменилась. Хорошо ли это? Хорошо. По крайней мере, мне так кажется. И я от глубины души благодарю моего Всемогущего Создателя, что он не допустил ужасному опыту коснуться своими железными когтями моих убеждений, моих младенчески светлых верований [Шевченко 1927: 16].

Сохранение «убеждений и верований» юности было для него условием морального выживания, и это привело к эффекту консервации. Шевченко вернулся в Петербург 1858 г. в некотором смысле человеком 1847-го. Отсюда преданность Брюллову как непререкаемому художественному авторитету и возвышенное почитание Крылова, некогда свойственное брюлловскому кругу. В глазах новых поколений баснописец все больше превращался в забавного «дедушку Крылова», а его сочинения — в часть детской литературы, но Шев-

ченко эти процессы игнорирует, и для него Крылов остается поэтом исключительно значимым.

Особой и едва ли не главной заслугой Крылова еще при его жизни было признано то, что он, синтезировав в своих баснях книжный и салонный язык, живую разговорную и даже простонародную речь, внес решающий вклад в формирование русского литературного языка. В идеологическом измерении это сделало его одной из центральных фигур «официальной народности», следствием чего, собственно, и стало сооружение ему памятника в Петербурге.

Между тем представление о литературном языке как нациообразующем явлении, базовое для романтического национализма, имело особое значение для украинского национального движения. Консолидация происходила именно вокруг украинской словесности и автора «Кобзаря» как ее корифея (см.: [Миллер 2013: 84, 92, 99]). При этом на Шевченко возлагалась миссия, типологически схожая с тем, что удалось в свое время Крылову, — создать литературный украинский язык на основе народного языка и народной поэзии, соединив их с современными литературными формами.

По-видимому, он особенно остро ощутил это на пути в столицу, когда в Нижнем Новгороде, Москве и, наконец, по прибытии в Петербург не только друзья, но и ранее незнакомые люди чествовали его как поэта — страдальца за украинское дело. В либеральной атмосфере первых лет нового царствования популярность Шевченко была настолько велика, что восторги, сопровождавшие всякое его появление в обществе, зачастую утомляли и раздражали его [Шаблювский 1975: 16–17, 29–30].

Н. М. Белозерский позднее пересказывал ироническое замечание поэта насчет своей репутации:

Однажды встретили в Петербурге подгулявшего Шевченка, шедшего с таким же Якушкиным под руку; они взаимно поддерживали друг друга. Шевченко, обращаясь к встретившемуся с ними знакомому и усмехаясь, сказал: «Поддержание народности» [Белозерский 1882: 74].

Живое воплощение народности — весьма специфическая культурная роль, характерная для романтического нациестроительства в Российской империи. До Шевченко ее носителем в полной мере довелось быть только Крылову. Применительно к нему и возникло ее риторическое оформление, которое вместе с самим понятием *народность* было апроприровано украинским национальным движением как эффективный инструмент для решения стоявших перед ним задач.

«Украинский триумвират, — писал историк Орест Пелеч, имея в виду Н. И. Костомарова, П. А. Кулиша и Шевченко, — в юности пережил фундаментальную трансформацию своих взглядов благодаря общению с наставниками, которые сами были проповедниками современного русского культурного кода (the modern Russian cultural code)» [Pelech 1993: 4]. Речь идет об интеллектуальных моделях производства национального, которые были разработаны в 1830-е годы под эгидой С. С. Уварова применительно к «русскости», но оказались продуктивными и для украинства.

Чеканными формулами упомянутого Пелечем культурного кода изобилует официальное объявление об открытии подписки на памятник Крылову (1845):

Русский ум олицетворился в Крылове и выражается в творениях его. Басни его — живой и верный отголосок русского ума с его сметливостью, наблюдательностью, простосердечным лукавством, с его игривостью и глубокомыслием, не отвлеченным, не умозрительным, а практическим и житейским. Стихи его отразились родным впечатлением в уме читателей его.

«...» вспомя Минина, который был выборный человек от всея Русския земли, нельзя ли «...» сказать о Крылове, что он выборный грамотный человек всей России? [Объявление 1845: 20, 22].

В материалах журнала «Основа», опубликованных вскоре после смерти Шевченко (1861), хорошо заметны аналогичные риторические паттерны:

Нет надобности говорить, чем он был для нас, Украинцев, и чего мы лишились в нем «...» он доказал собою, что стремление народа южнорусского к своенародной жизни — не мечта «...» Народ, среди которого появилась такая личность, как Шевченко, не погибнет в круговороте истории, не совершив своего назначения... После Шевченка наша народность имеет законное право на свое существование [Г. Т. 1861: 129].

Шевченко как поэт — это был сам народ, продолжавший свое поэтическое творчество. «...» Шевченко был избранник народа в прямом значении этого слова, народ как бы избрал его петь вместо себя [Костомаров 1861: 51].

Для современников аналогия между русским и украинским поэтами была очевидна. Когда в 1860 г. 19-летний журналист Л. П. Блюммер напишет в «Северной пчеле»: «Шевченко — тип чисто народного поэта-художника; в нем, как в Крылове Русь, отразилась вся Украина, поэтическая, философская, жизненная, будничная» [Блюммер 1860: 84], — эти слова прозвучат как нечто само собой разумеющееся.

Дальнейшие события того дня уже не представляют большого интереса. Друзья переправились на Васильевский остров и продолжили прогулку по местам, привлекательным для людей искусства: восхитились величественным ампирическим интерьером Биржи, тут же в Морском порту поглазели на экзотических животных и наконец зашли на выставку-продажу Общества поощрения художников, недавно переехавшую в бывшее здание Южного Таможенного пакгауза на Университетской набережной. Там Шевченко наткнулся на еще один привет из прошлого — работы А. В. Тыранова, когда-то самого блестящего из брюлловских учеников, быстро ставшего академиком. Драма Тыранова, жизнь и карьера которого были сломаны психическим заболеванием, разыгрывалась на глазах Шевченко; его судьба отчасти отражена в повести «Художник». Впрочем, это грустное, тяжелое

впечатление скоро вытесняется профессиональным интересом к акватинтам из магазина Дациаро.

* * *

Среди многих дней, нашедших отражение в дневнике Шевченко, 30 апреля 1858 г. имеет особое значение. Его эмоциональный сценарий организуют две символические фигуры — Брюллов и Крылов, художник и поэт. Для Шевченко это и две ипостаси его самого, и два ключа к анализу собственного состояния. Он ищет опоры и идентификации в светлых моментах своего прошлого, но и ретроспекция не способна отвлечь его от травматических переживаний. Вновь и вновь он обнаруживает то, что ему дорого, попорченным и униженным, видя в этом зеркале отражение собственной судьбы.

Источники

- Белозерский 1882 — *Белозерский В. М.* Тарас Григорьевич Шевченко, по воспоминаниям разных лиц. (1831–1861) // Киевская старина. 1882. № 10. С. 66–77.
- Блюммер 1860 — *Блюммер Л.* Библиографическая заметка (К издателю «Северной пчелы») // Северная пчела. 1860. № 21, 26 янв. С. 84.
- Булгарин 1851a — [Булгарин Ф. В.] Заметки, выписки и корреспонденция Ф. Б. // Северная пчела. 1851. № 2, 3 янв. С. 5–7.
- Булгарин 1851b — Ф. Б. [Булгарин Ф. В.] Журнальная всякая всячина // Северная пчела. 1851. № 4, 5 янв. С. 13–15.
- Булгарин 1855 — [Булгарин Ф. В.] Заметки, выписки и корреспонденция Ф. Б. // Северная пчела. 1855. № 107, 19 мая. С. 551–553.
- Бурнашев 1857 — *Петербургский старожил* [Бурнашев В. П.] Газетные заметки // Северная пчела. 1857. № 218, 7 окт. С. 1031–1032.
- Бурнашев 1858 — *Петербургский старожил* [Бурнашев В. П.] Прогулка по Петербургу // Северная пчела. 1858. № 42, 24 февр. С. 199–200.
- Варнек 1864 — *Варнек К.* Старое время, сравнительно с деятельностью профессора барона Клодта // Северное сияние, русский художественный альбом, издаваемый Васильем Генкелем. Т. 3. СПб.: В тип. В. Головина, 1864. Стлб. 705–722.
- Г. Т. 1861 — *Г. Т.* Несколько слов о народности в религиозной жизни (по поводу смерти Шевченка) // Основа. 1861. Апрель. С. 128–142.
- Даль 1880 — Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля. 2-е изд. ... Т. 1: А — З. СПб.; М.: Изд. книгопродавца-типографа М. О. Вольфа, 1880.
- Железнов 1898 — Заметка о К. П. Брюллове (из воспоминаний М. И. Железнова) // Живописное обозрение. 1898. № 28, 12 июля. С. 559–564; № 33, 16 авг. С. 662–666.
- Кони 1922 — *Кони А. Ф.* Петербург. Воспоминания старожила. Пг.: Атеней, 1922.
- Кони 1966 — *Кони А. Ф.* Из харьковских воспоминаний // Кони А. Ф. Собр. соч.: В 8 т. Т. 1. М.: Юрид. лит., 1966. С. 50–63.
- Костомаров 1861 — *Костомаров Н. И.* Воспоминание о двух малярах // Основа. 1861. Апрель. С. 44–56.
- Микешин 1876 — Воспоминания о Тарасе Григорьевиче Шевченке М. О. Микешина // Пчела: Еженедельный журнал искусств, литературы, политики и общественной жизни. 1876. № 16, 25 мая. С. 1–3.

- Мода 1851 — Гостиный двор и Пассаж // *Мода: Журнал для светских людей*. 1851. № 8, 15 апр. С. 61–63.
- Объявление 1845 — О памятнике Крылову // *Журнал министерства народного просвещения*. 1845. Ч. 45. Февраль. Отдел 7. С. 19–24.
- Стасов 1881 — *Стасов В. В.* Училище правоведения сорок лет тому назад. 1836–1843. (Окончание) // *Русская старина*. 1881. № 6. С. 247–282.
- Шевченко 1887 — Неизданные произведения Т. Г. Шевченка. VII. Прогулка с удовольствием и не без морали // *Киевская старина*. 1887. № 6–7. С. 269–334.
- Шевченко 1927 — *Шевченко Т.* Повне зібрання творів / Під загальн. ред. С. Єфремова. Т. 4: Щоденні записки (Журнал). Текст. Первістні варіанти. Коментарій. [Київ]: Держ. вид-во України, 1927.
- Шевченко 1972 — *Шевченко Т.* Дневник. Автобиография: Автографы. Киев: Наук. думка, 1972.
- Шевченко 1989 — Повесть Тараса Шевченко «Художник»: Иллюстрации, документы. Альбом / Сост. Л. Н. Сак. Киев: Мистецтво, 1989.

Литература

- Авдеев 1958 — *Авдеев А. Д.* Алеутские маски в собраниях Музея антропологии и этнографии Академии наук СССР // *Сборник Музея антропологии и этнографии*. Т. 18. М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1958. С. 279–304.
- Большаков 1993 — *Большаков Л. Н.* Комментарий к дневнику Т. Шевченко. Оренбург: Ин-т Тараса Шевченко, 1993.
- Корсун 2014a — *Корсун С. А.* Изучение этнографии алеутов в Кунсткамере // *Алеуты: Каталог коллекций Кунсткамеры* / Авт.-сост. С. А. Корсун; Отв. ред. Ю. Е. Березкин. СПб.: МАЭ РАН, 2014. С. 7–38.
- Корсун 2014b — *Корсун С. А.* Ритуальные и культовые предметы // *Алеуты: Каталог коллекций Кунсткамеры* / Авт.-сост. С. А. Корсун; Отв. ред. Ю. Е. Березкин. СПб.: МАЭ РАН, 2014. С. 341–378.
- Миллер 2013 — *Миллер А.* Украинский вопрос в Российской империи. Киев: Laurus, 2013.
- Станюкович 1964 — *Станюкович Т. В.* Музей антропологии и этнографии за 250 лет // 250 лет Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого / Ред. Л. П. Потапов и др. М.; Л.: Наука, 1964. С. 5–150. (Сб. Музея антропологии и этнографии; Вып. 22).
- Шаблювский 1975 — *Шаблювский Е. С.* Т. Г. Шевченко и русские революционные демократы. Киев: Наук. думка, 1975.
- Шестериков 1931 — *Шестериков С. П.* Примечания // Шевченко Т. Г. Дневник / Предисл. А. Старчакова. М.; Л.: Academia, 1931. С. 303–421.
- Pelech 1993 — *Pelech O.* The state and the Ukrainian triumvirate in the Russian Empire, 1831–1847 // *Ukrainian past, Ukrainian present* / Ed. by B. Krawchenko. London: Palgrave Macmillan, 1993. P. 1–17.

References

- Avdeev, A. D. (1958). Aleutskie maski v sobraniakh Muzeia antropologii i etnografii Akademii nauk SSSR [Aleutian masks in collections of the Museum of Anthropology and Ethnography of the Academy of Sciences of the USSR]. In *Sbornik Muzeia antropologii i etnografii* (Vol. 18, pp. 279–304). Izdatel'stvo Akademii nauk SSSR. (In Russian).
- Boľ'shakov, L. N. (1993). *Kommentarii k dnevniku T. Shevchenko* [Commentary to T. Shevchenko's diary]. Institut Tarasa Shevchenko. (In Russian).

- Korsun, S. A. (2014a). Izuchenie etnografii aleutov v Kunstkamere [Exploring the ethnography of Aleuts in the Kunstkamera]. In S. A. Korsun, & Yu. E. Berezkin (Eds.). *Aleuty: Katalog kollektsii Kunstkamery* (pp. 7–38). MAE RAN. (In Russian).
- Korsun, S. A. (2014b). Ritual'nye i kul'tovye predmety [Ritual and ceremonial objects]. In S. A. Korsun, & Yu. E. Berezkin (Eds.). *Aleuty: Katalog kollektsii Kunstkamery* (pp. 341–378). MAE RAN. (In Russian).
- Miller, A. I. (2013). *Ukrainskii vopros v Rossiiskoi imperii* [The Ukrainian question in the Russian Empire]. Laurus. (In Russian).
- Pelech, O. (1993). The state and the Ukrainian triumvirate in the Russian Empire, 1831–1847. In B. Krawchenko (Ed.). *Ukrainian past, Ukrainian present* (pp. 1–17). Palgrave Macmillan, 1993.
- Shabliovskii, E. S. (1975). *T. G. Shevchenko i russkie revoliutsionnye demokraty* [T. G. Shevchenko and the Russian revolutionary democrats]. Naukova dumka. (In Russian).
- Shesterikov, S. P. (1931). Primechaniia [Notes]. In T. Shevchenko. *Dnevnik* (pp. 303–421). Academia. (In Russian).
- Staniukovich, T. V. (1964). Muzei antropologii i etnografii za 250 let [250 years of the Museum of anthropology and ethnography]. In L. P. Potapov et al. (Eds.). *250 let Muzeia antropologii i etnografii imeni Petra Velikogo* (pp. 5–150). Nauka. (In Russian).

* * *

Информация об авторах

Information about the authors

Екатерина Эдуардовна Лямина

кандидат филологических наук
старший научный сотрудник, Отдел
древнеславянских литератур, Институт
мировой литературы им. А. М. Горького
РАН
Россия, 121069, Москва, ул. Поварская,
д. 25а
Тел.: +7 (495) 690-50-30
✉ catherine.lyamina@gmail.com

Наталья Владимировна Самовер

независимый исследователь
Россия, Москва
✉ natalia.samover@gmail.com

Ekaterina E. Liamina

Cand. Sci. (Philology)
Senior Research Fellow, Department
for Old Slavonic Literatures, A. M. Gorky
Institute of World Literature of the Russian
Academy of Sciences
Russia, 121069, Moscow, Povarskaia Str.,
25a
Tel.: +7(495)690-50-30
✉ catherine.lyamina@gmail.com

Natalia V. Samover

Independent Scholar
Russia, Moscow
✉ natalia.samover@gmail.com

А. В. Стогова

ORCID: 0000-0003-0322-1397

✉ anna100gova@yandex.ru

*Институт всеобщей истории РАН
(Россия, Москва)*

«КАЖДОЕ МОЕ УТРО НАЧИНАЛОСЬ С ПИПСА И КОФЕ. НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ СЕБЕ, КАК Я ТЕПЕРЬ БУДУ...»: ЦИФРОВОЕ ЧТЕНИЕ ЛИЧНОГО ДНЕВНИКА XVII В.

Аннотация. В статье разбирается вопрос об особенностях цифрового чтения личных дневников на основе анализа двух проектов Фила Гиффорда с публикацией дневника Сэмюэля Пипса — на специально посвященном дневнику сайте и на микроблоговой платформе «Твиттер». При обсуждении жанра личного дневника и его публикации, как правило, на первый план выходит проблема приватности и ее нарушения, которая видится центральной для понимания впечатлений и переживаний читателя, «погружающегося» в чужую частную жизнь и испытывающего одновременно и чувство вины, противопоставляющее его автору/герою, и ностальгию по упущенным возможностям, сближающую его взгляд на текст с тем, что мог бы иметь сам дайарист, перечитывающий свои записи. Обращение к формам публикации дневника в пространстве Интернета, которые преследовали цель «живого чтения» и предполагали модель принципиально отличную от чтения печатной книги, позволяет обратить внимание на другие аспекты восприятия читателем чужого личного дневника, обусловленные особенностями медиа и повседневными практиками. Анализ образа самого Пипса, его текста, а также прошлого в целом, какими они предстают в комментариях пользователей обоих проектов, затрагивает три основных аспекта — влияние медиа на восприятие нарратива, фреймирование читаемого текста, включенность дневника в повседневность читателя. Сопоставление двух проектов, выявляющее существенное различие в восприятии одного и того же текста в полном соответствии с идеей Маршалла Маклюэна «медиа есть сообщение», проблематизирует и без того подвергающееся критике жанровое определение дневника и его характеристик. Комментарии пользователей позволяют говорить не только об иных механизмах формирования ощущения приватности и близости к автору, которые считаются одними из важнейших для определения жанра дневника, но и о том, что в вопросе приватности при определенных практиках чтения личных дневни-

ков ракурс «подглядывания» может меняться на противоположный — ракурс вмешательства дневника в частную жизнь читателя.

Ключевые слова: Сэмюэль Пипс, Фил Гиффорд, дневник, приватность, ностальгия, прошлое, чтение, повседневность

Для цитирования: Стогова А. В. «Каждое мое утро начиналось с Пипса и кофе. Не представляю себе, как я теперь буду...»: цифровое чтение личного дневника XVII в. // Шаги/Steps. Т. 9. № 4. 2023. С. 177–207. <https://doi.org/10.22394/2412-9410-2023-9-4-177-207>.

Статья поступила в редакцию 1 июня 2023 г.

Принято к печати 17 июля 2023 г.

Shagi / Steps. Vol. 9. No. 4. 2023
Articles

A. V. Stogova

ORCID: 0000-0003-0322-1397

✉ anna100gova@yandex.ru

*Institute of World History, Russian Academy of Sciences
(Russia, Moscow)*

“I HAVE HAD MY DAILY PEPYS WITH COFFEE, EVERY MORNING. I DON’T KNOW WHAT I WILL DO NOW”: A DIGITAL READING OF A 17TH-CENTURY PRIVATE DIARY

Abstract. This article deals with the issue of digital reading of personal diaries based on the analysis of two projects by Phil Gyford involving the publication of Samuel Pepys’ diary — on a site specifically dedicated to the diary and on the microblogging platform Twitter. When discussing the genre of the personal diary and its publication, generally the problem of privacy and its violation comes to the forefront: it is seen as central to understanding the impressions as well as the experiences of a reader “immersed” in someone else’s private life and experiencing both a feeling of guilt, opposing him/herself to the author/hero, and nostalgia for missed opportunities, which brings closer to the text the view that the diarist himself might have, upon re-reading his/her notes. Consideration of the forms of diary publication on the Internet, which sought to create “a living reading” and assumed a reading model funda-

mentally different from that of a printed book, allows us to pay attention to other aspects of the reader's perception of someone else's personal diary, conditioned by the specifics of the media and everyday practices. Analysis of the image of Pepys himself, of his text, and of the past in general as they appear in the comments of the users of both projects touches upon three main aspects — the influence of media on the perception of the narrative, the framing of the text being read, and the inclusion of the diary in the reader's everyday life. The comparison of the two projects, which reveals, in full correspondence with Marshall McLuhan's idea of "the medium is the message", a significant difference in the perception of the same text, problematizes the already criticized genre definition of the diary and its characteristics. Users' comments allow us to speak not only about other mechanisms of forming a sense of privacy and closeness to the author, which are considered to be among the most important for defining the private diary genre, but also regarding the issue of privacy: in certain practices of reading personal diaries the angle of "peeping" can change into its opposite — the diary's interference in the private life of the reader.

Keywords: Samuel Pepys, Phil Gyford, diary, privacy, nostalgia, past, reading, everyday life

To cite this article: Stogova, A. V. (2023). "I have had my daily Pepys with coffee, every morning. I don't know what I will do now": A digital reading of a 17th-century private diary. *Shagi / Steps*, 9(4), 177–207. (In Russian). <https://doi.org/10.22394/2412-9410-2023-9-4-177-207>.

Received June 1, 2023

Accepted July 17, 2023

Исследователи уже много лет пытаются дать такие определения и типологию дневников, которые включали бы в себя все разнообразие практик и текстов, создававшихся в разное время, и, как уже неоднократно отмечалось, сделать это непросто. Патриция Деотто в опубликованном несколько лет назад небольшом обзоре кратко суммировала самые общие определяющие характеристики дневникового жанра, какими они видятся современным исследователям. Во-первых, это особая нарративная структура — последовательность фрагментарных, необязательно регулярных записей, подчиненных хронологическому принципу и имеющих привязку к календарным датам. Во-вторых — субъективность впечатлений и обращенность текста в первую очередь к самому автору. Дневник формирует особый образ описанной жизни. С одной стороны — фиксирование непосредственно происходящего, ускользающего и обновляющегося, принципиально не позволяет синтезировать целостный, линейно разворачивающийся образ жизни, а также Я актора и автора текста. Тем не менее последующее перечитывание текста позволя-

ет находить тот скрепляющий существование элемент, который оказывается наиболее актуален в момент чтения [Деотто 2019: 12].

Идея о том, что текст подчиняется интерпретации читателя, оказала очень большое влияние на исследования дневников, поскольку сам автор является непосредственным адресатом такого текста. Соответственно, письмо и последующее чтение стали восприниматься как две неразрывно связанные стадии бытования, которые необходимо принимать во внимание для понимания дневника как практики производства собственной идентичности. Однако несомненно, что и само чтение обусловлено спецификой дневникового текста. Как отмечала Салли Бейли, ностальгия — это доминирующее переживание при чтении дневника: «“Что, если” — это неизбежная темпоральность дневника. Что, если бы я был или не был, что, если бы я сделал или не сделал? Дайарист, перечитывающий свой собственный дневник через определенное время, не способен избежать ситуации, “что, если”» [Bayley 2016: 12–13].

Понимание своеобразия дневникового текста определяет и то, как видится исследователям его чтение человеком, изначально не мыслившимся в качестве адресата, — в первую очередь при публикации. Вопрос о чтении опубликованных дневников, как правило, представляется совершенно особым, поскольку изначально личные дневники не предполагают такого читателя, а если они пишутся в расчете на публикацию, то это уже не вполне личный дневник. Как отмечала Анна Зализняк, «опубликованный дневник — уже нарушает границы жанра» [Зализняк 2013: 510]. Даже с учетом того, что дневник предполагает или может предполагать косвенного адресата в лице друзей или потомков, анонимный массовый читатель преимущественно не вписывается в эти рамки. Неудивительно, что при обсуждении вопроса прочтения дневников на первый (и часто единственный) план выходит проблема частного и публичного. Считается, что с точки зрения стороннего читателя дневник — это главным образом частный документ, не предназначенный для внешнего взгляда. Вопрос о печали и ностальгии в случае с таким читателем переводится в иную плоскость — чувства вины за нарушение частного пространства. Жан Руссе, предложивший типологию дневников в зависимости от того, какого дополнительного читателя мог иметь в виду автор, отмечал, что любой неавторизованный читатель является таким нарушителем и не может не ощущать этого, поскольку изначально идеей любого дневника является закрытость, недоступность для чтения [Rousset 1983: 437]. Его точку зрения оспорил Эндрю Хассам, указав на то, что прежде всего сама форма печатной книги, с которой мы имеем дело, меняет наше восприятие. Публикация текста и произведенные при этом перемены делают любого читателя авторизованным. Он будет читать такой текст с совсем иными чувствами, нежели увиденный на столе чужой манускрипт [Hassam 1987: 438]. Второй фактор, определяющий читательскую рецепцию, который отмечает Хассам, — это время, поскольку разглашение секретов в опубликованном дневнике уже не может повредить автору или участникам описываемых событий. Однако поскольку секретность не всегда связана с опасностью разоблачения или другой прагматической идеей, но лишь с самим очерчиванием приватного, то его нарушение все равно оставляет чувство вины [Ibid.: 439]. Что избавляет от него читателя, так это то, что публикация дневника делает его художественным произведением и одно-

временно объектом социальной истории и, соответственно, меняет отношение читателя к тексту. Одна из ключевых идей исследователя состоит в том, что читатель интуитивно понимает разницу между чтением манускрипта и его опубликованной версии, и это понимание обусловлено существующими представлениями о жанре дневника.

При всем развитии идей о множественности практик чтения и факторов, влияющих на восприятие текста, тем не менее видение чтения опубликованного дневника как проникновения извне в чужое частное пространство продолжает оставаться доминирующим. Салли Бейли использует вполне расхожие метафоры для описания взаимодействия с текстом — автор дневника «выплескивает» себя на страницы, а читатель такого текста, соответственно «погружается» в водоворот чужой жизни [Bayley 2016: 11, 15], неизбежно примеряя на себя авторский взгляд на описываемую жизнь — и автора, пишущего, и автора, с ностальгией перечитывающего описанное.

Идея, что личный дневник — это текст, закрытый от чужого взгляда в силу его интимности (что бы в нем ни было написано) из-за того, что он неразрывно связан с авторским Я, формируется в ту же эпоху, когда возникает интерес к чтению чужих дневников. Эндрю Хассам полагает, что рамку восприятия опубликованных дневников как текста, с одной стороны, явно не предназначенного для публикации, а с другой — оцениваемого с иных позиций, нежели рукописный дневник (как литературный объект и как объект исторический), задал дневник Сэмюэля Пипса, изданный впервые в 1825 г., т. е. когда частные дневники только начали публиковаться [Hassam 1987: 440]¹.

Сэмюэль Пипс, английский чиновник Военно-морского ведомства, вел подробный дневник в первые годы реставрации монархии после периода революции и протектората Оливера Кромвеля на протяжении почти десяти лет, с 1660 по 1669 г. Это текст хорошо известен среди исследователей. Одной из его особенностей является невероятная наблюдательность Пипса и стремление записывать самые разные аспекты своей жизни — от многочисленных и разнообразных политических событий до нелепых и даже постыдных происшествий в своей и чужой жизни. За почти двести лет, прошедшие после первой публикации в 1825 г., дневник стал очень популярен в англоязычном мире как классический текст, сравнимый с сочинениями Джеффри Чосера и Джейн Остин. О его популярности свидетельствует тот факт, что уже в 1958 г. на его основе был снят художественный мини-сериал BBC «The Diary of Samuel Pepys» с Питером Саллисом в главной роли². И вскоре знаменитый британский комик Бенни Хилл посвятил Пипсу один из скетчей в своем шоу («Pepys Diary», 1958)³; спетая им песня Пипса в духе английской площадной баллады даже попала в хит-парад 1961 г. Сейчас существует множество проектов, в основном научно-познавательных, которые связаны с этим дневником, поскольку отдельные его фрагменты, особенно посвященные чуме 1665 г. и Великому

¹ Сама идея, что для частного рукописного дневника литературные достоинства не имеют значения, спорна и тоже определена представлениями о приватности и спонтанности, непосредственности личного дневника, доминировавшими в начале XIX в.

² Сериал недоступен в сети Интернет, но его описание можно найти на портале IMDb (<https://www.imdb.com/title/tt4666222>).

³ См.: https://www.youtube.com/watch?v=82TX_88r3zc.

лондонскому пожару 1666 г., изучаются в школе. Его причисление к образчикам классической литературы, которое имеет в виду Хассам, действительно очень интересно сказалось на его восприятии, потому что сегодня дневник существует одновременно и как живое, достоверное, очень интимное повествование о жизни в XVII в., и как художественное произведение, создающее определенный образ прошлого. В качестве такового дневник породил даже всевозможные подражания; собственно, скетч Бенни Хилла и был одним из них. А в современной культуре дневник Пипса даже стал основой для разнообразных фанфиков. В 2022 г. одной из исследовательниц был запущен проект под названием «Другие жизни в дневнике Сэмюэля Пипса» [Loveman et al. 2022].

Одной из самых необычных черт этого дневника является то, что он записан стенографией. Стенографирование появилось в Англии в конце XVI в.; в течение XVII столетия оно было очень популярно и произвело своеобразный информационный переворот, поскольку впервые появилась возможность записывать живую речь. Пипс, будучи клерком, использовал стенографию как в рамках служебных обязанностей — для письма под диктовку и создания черновиков документов, так и дома — для разных заметок, копий писем и т. п. К XIX в. система стенографирования Шелтона, которой пользовался Пипс, была уже забыта. В статье Мартина Фойса и Уитни Треттjen, где рассматривается влияние стенографии на последующую интерпретацию и чтение дневника Пипса, отмечается, что незнание издателями стенографии Шелтона, которую использовал дайарист, создавало очевидный соблазн увидеть в ней секретное письмо, скрывающее истинное значение [Foys, Trettien 2010: 107].

Дневник, хранившийся все это время в библиотеке колледжа Св. Магдалены в Кембридже согласно завещанию его автора, был впервые расшифрован и опубликован в 1825 г., и с использованием стенографии издатель связывал предельную честность и искренность автора, доверяющего бумаге свои самые позорные тайны:

Он (читатель. — А. С.) скорее должен рассматривать эту работу как сборник воспоминаний, наспех вечером сводимых вместе из дня в день, исключительно для прочтения самим автором. Журнал содержит самые неоспоримые свидетельства правдивости; и поскольку автор не стеснялся записывать на бумаге свои самые тайные мысли, подбадриваемый, несомненно, уверенностью, которую ему внушало использование стенографии, то, возможно, не было еще публикации, на которую можно было бы так безоговорочно положиться в достоверности утверждений и точности, с которой подробно изложен каждый факт [Pepys 1825: vii].

Именно в этой публикации текст приобрел название дневника (*diary*), никогда не использовавшееся Пипсом. Сам он именовал свой текст журналом (*journal*) — словом, которое уже в XIX в. виделось не только иностранным, но и отсылающим к более формальным, деловым бумагам. Как отмечала в своем известном исследовании Хосе ван Дейк, «...в противоположность журналу, дневником принято называть частный вид рефлексивного письма, созданного

одним автором и закрытого для публичного рассмотрения» [Dijk 2007: 57]. Именно как дневник текст Пипса и известен до сих пор.

Для вдохвленных таким анонсом читателей издания 1825 г., ожидавших каких-то интересных секретов прошлого, сама форма печатной книги, которую надо было открыть, чтобы проникнуть в тайное, когда-то зашифрованное автором содержание, несомненно, задавала определенный модус чтения, лишь усиливаемый то и дело появлявшимися многоточиями, маркировавшими купюры, сделанные издателем во избежание чрезмерной скандальности. Сэр Вальтер Скотт, написавший рецензию на это издание, начал свое описание с рассуждений о свойственном человеческой природе любопытстве, «из-за которого мы получаем большое удовлетворение, подглядывая за поступками, переживаниями и мыслями наших сородичей» [Scott 1826: 281], которое чтение дневников удовлетворяет в большей степени, нежели чтение частной переписки, поскольку «позволяет подойти на несколько шагов ближе к реальным мыслям человека» [Ibid.: 282]. Содержание дневника Пипса, написанного стенографиями и потому предполагавшегося недоступным для стороннего любопытного взгляда, соответственно, наиболее близко, по мнению Скотта, к «истинным» чувствам и мыслям автора. Именно в силу этого возможность его прочесть так ценна.

Каждое следующее издание с 1825 г. претендовало на то, чтобы дать читателям доступ к наиболее полной и правильной версии. Расшифровка стенографии, в которой одни и те же знаки могут быть интерпретированы по-разному, означает, что никто, читающий печатную публикацию, даже претендующую на абсолютную полноту, не имеет дела с текстом, написанным автором. Кроме того, при всей популярности дневника Пипса в англоязычном мире это текст, который мало кто читал целиком в силу его объемности. В современном полном издании это девять томов дневника, два тома справочных материалов и антология. В основном читаются сокращенные издания разной степени фрагментированности. Мы можем судить о них и по тому единственному изданию, которое было сделано в России; переведенные выдержки из дневника занимают примерно 200 страниц карманного формата [Пипс 2010].

Однако даже само различие в содержании и объеме таких изданий заставляет обратить внимание не только на медийные особенности — как именно и насколько полно и точно представлен текст, но и на то, какие практики чтения задает формат медиа и связанный с ним набор коннотаций. Размер книги, позволяющий или не позволяющий носить ее с собой, определяющий объем времени, потраченного на чтение; наличие комментариев и справочного аппарата; расположение текста⁴ и т. п. — все это и многое другое, о чем уже много раз писали исследователи истории чтения, влияет и на практики чтения, и на восприятие и оценку текста. Равным образом влияют на них и повседневные привычки чтения — можно читать урывками с большими перерывами, или регулярно, медленно и обстоятельно, обращая внимание на все комментарии, или каждую свободную минуту, почти не отрываясь от текста. Салли Бейли,

⁴ Например, в издании, сделанном А. Я. Ливергантом, текст выбранных записей скомпонован по темам, как в томе антологии издания Летема и Метьюза. Это задает оптику чтения как исторического свидетельства в большей степени, нежели личного нарратива, а также подчеркивает фрагментарность записей.

выстраивая свои рассуждения о «погружении» в дневник и чувстве ностальгии, пишет: «Мы все полагаемся на детали, если хотим отвлечься от насущных потребностей. Чтение Пипса напоминает нам о нашей, и свойственной человеческой природе в целом, зависимости от ничтожных развлечений. Ты уделяешь необходимое время срочным делам и как можно скорее возвращаешься к личной истории» [Bauley 2016: 181]. Ее интерпретация предполагает лишь одну возможную манеру чтения, опирающуюся на ее собственный опыт, а также свидетельства одной из самых известных читательниц Пипса — Вирджинии Вулф. Вулф читала Пипса, когда ей было 15 лет, и это была самая ранняя версия текста, переизданная впоследствии в четырех томах. Из ее собственного дневника очевидно, что текст был прочитан за один раз. Она начала читать Пипса 29 марта 1897 г., через пять дней, 2 апреля, записала, что прочла первый том, 7 апреля — второй том, 12 апреля — третий. 13 апреля она писала, что начала читать последний том и надеется завершить его к следующему дню [Woolf 1990: 62–69].

Проблема приватности и публичности, как правило, определяет и рассуждения о современных формах бытования дневников — от публикаций в социальных сетях, очевидным образом изначально предназначенных для прочтения многими людьми, до разнообразных форм онлайн-версий дневников, написанных до появления Интернета. Филипп Лежён, известный специалист по эго-документам, еще в 2003 г. писал, что онлайн-дневники — такие же личные дневники, как и написанные на бумаге, но с другими механизмами контроля над приватностью в публичном пространстве и с более непосредственным читательским откликом. Удовольствие читателя, писал он, по сути, остается тем же и заключается в том, чтобы «следовать за вами во времени, заново встречать каждый вечер и регулярно следить за вашей жизнью как в детективном романе» [Lejeune, Bogaert 2003: 201]. Но и сейчас рассуждения ведутся в том же ключе. Как отмечала одна из известных специалисток по этой теме, Джилл Уолкер Реттберг, при всем медийном многообразии современных онлайн-дневников «одно из самых важных отличий между бумажными и онлайн-дневниками — размер потенциальной аудитории»; это заставляет современных дайаристов прибегать к различным ухищрениям, чтобы управляться с публичностью, ограничивая доступ, используя псевдонимы и т. п. [Rettberg 2020: 412]. При этом именно появление таких изначально не вполне частных дневников сделало очевидным то, что любой дневник в определенной мере предполагает коммуникацию. Хосе ван Дейк, сопоставляя бумажные и цифровые дневники, отмечала, что в противовес сложившемуся мнению о личном бумажном дневнике как сугубо приватном, он также всегда был актом коммуникации и с точки зрения предполагаемого имплицитного читателя, и в силу того, что «написание дневника, конечно, никогда не осуществлялось в социальном вакууме; этот ритуал занимает свою собственную нишу наряду с другими актами коммуникации, такими как разговор, слушание, чтение и т. д.» [Dijk 2007: 69]. Современные формы дневников лишь предполагают другую форму медиации и, соответственно, другие рамки включения/исключения потенциальных читателей.

Дезире Хендерсон, продолжая рассуждения Хассамы, также отталкивается от идеи, что приватность является ключевой характеристикой дневника как

жанра, и обращается к вопросу о том, как меняются отношения между автором, текстом и читателем при онлайн-публикации оцифрованных частных дневников. Она отмечала, что важной тенденцией стало стремление исследователей переосмыслить само понимание приватности, а также понять отношения между читателем и текстом в рамках жанровых характеристик, не только допускающих ту или иную меру нарушения приватного пространства, но и обусловленных спецификой медиапрактик чтения — того, что появляется нового и что теряется в том случае, когда рукописный текст дневника читается онлайн [Henderson 2018: 157]. Исследовательница обращает внимание на то, что формат онлайн-чтения следует рассматривать не только в категории нарушения приватного пространства, но и с точки зрения новых факторов, иначе формирующих ощущение интимности, например, такой детализации цифровой копии манускрипта, которая превышает возможности человеческого глаза. Эта новая возможность сверхдетального разглядывания заставляет задуматься и о режимах приватности прошлого [Ibid.: 169].

Публикационная история дневника Сэмюэля Пипса интересна тем, что, несмотря на его невероятную популярность, не только не существует его доступной цифровой версии (это объясняется тем обстоятельством, что записанный стенографией XVII в. дневник мало кем может быть прочитан), но даже и фотографии отдельных страниц появляются в публичном пространстве лишь с разрешения колледжа Св. Магдалины в Кембридже, где хранится дневник. Публикация последней транскрипции дневника, сделанная Робертом Летемом и Уильямом Меттьюзом в 1980-е годы, также ограничена авторскими правами. Существующие онлайн-публикации сделаны на основе транскрипции М. Брайта, изданной в 1893 г. Например, на портале Project Gutenberg представлено сразу несколько популярных форматов чтения электронных книг, доступных для чтения как онлайн, так и офлайн [Perys 2004]. Сам формат представления дневника подчеркивает, что речь идет не о его цифровой публикации, а о цифровой версии печатного издания. Это увеличивает символическую дистанцию между автором и читателем за счет добавления еще одного медиа, участвующего в передаче сообщения. Именно ввиду отсутствия какой бы то ни было публикации манускрипта особенно привлекают внимание публикации в новых медиа, которые в тех же условиях, напротив, позволяют читателю сохранить это ощущение близости с чужой жизнью, ассоциирующееся с чтением дневников. Интересны не только способы, которые позволяют воссоздать ощущение интимности новыми техническими средствами, но и то, как влияют на восприятие дневника иные практики чтения, предполагаемые новыми медиа.

В центре внимания в данной статье будут два взаимосвязанных проекта публикации дневника Пипса в сети Интернет. Оба они были созданы веб-дизайнером Филом Гиффордом, который среди прочего является автором нескольких концептуальных интернет-проектов, имеющих своей целью изменить привычное восприятие информации⁵. Дневник вообще представляет собой наиболее подходящий для электронного чтения тип текста. Как отмечал Роже Шартье, один из самых известных исследователей, занимающихся историей производства и чтения текстов, чтение перед экраном — обыкновенно

⁵ См.: Phil Gyford's website (<https://www.gyford.com/phil/about/projects>).

процесс принципиально прерывистый: благодаря наличию развитых инструментов поиска и способов представления информации мы ищем или нам предлагают какой-то фрагмент — одну статью в журнале, отрывок в книге, одну новость, которые нас интересуют вне того, как они встраиваются в общий текст. Общая целостность текста, которая раньше была обусловлена его материальной целостностью, теряется [Шартье 2006: 219]. Даже если мы читаем электронную книгу целиком, она для нас — такой же фрагмент информации, как и прочие. Это приводит, по мнению Шартье, к легкому смешению дискурсов. Если раньше разные дискурсы ассоциировались с разной материальной формой (новости, пропаганда и реклама были в газетах, научные исследования — в книгах, оформленных одним образом, а романы — другим), теперь мы все видим на экране, иногда одновременно, что меняет функционирование дискурсов и наше восприятие текстов. Во многом проекты Гифорда связаны именно с этой ситуацией.

Дневник как нарративная форма, в отличие от мемуаров, изначально представляет собой набор фрагментов, не связанных сюжетной логикой, и по этой причине дневники легко перевести в разные цифровые форматы. В России, например, хорошо известен проект «Прожито», в котором представлен электронный корпус дневников и воспоминаний⁶. Проект ориентирован на поиск конкретной информации по ключевым словам или датам, а не всего текста целиком. В некоторых случаях полный текст вовсе недоступен для пользователей ради сохранения приватности, но, пользуясь инструментами поиска, можно читать отдельные фрагменты⁷. И даже в визуальном представлении каждого отдельного дневника на экране подчеркивается эта фрагментарность, поскольку поденная запись существует как отдельная единица информации.

Проекты Гифорда с публикацией дневника Пипса интересны тем, что он, работая с этой ставшей для нас привычной фрагментированностью информации, пытается выявить инструменты, восстанавливающие целостность повествования. Поясняя смысл своих начинаний, Гифорд говорил о том, что его основной целью было понять, можно ли представить дневник Пипса как историю, осознавая, что он таковой не является [Gyford 2011: 1'10"–1'45" (аудио)]. Оба проекта (хотя в них тоже встроены инструменты поиска информации) своей основной целью имеют чтение всего текста целиком и, более того, позволяют при всей прерывистости практик чтения с электронных носителей создать ощущение длящейся истории. Гифорд использует фрагментированность цифрового чтения для того, чтобы погрузить своих пользователей в историю так, как это едва ли достигалось при чтении печатной книги, хотя формально такая возможность всегда была.

Публикация была реализована в двух форматах, которые предлагают и предполагают разные типы прочтения дневника. Первый проект стартовал 1 января 2003 г. — это публикация на специально созданной странице «The Diary of Samuel Pepys»⁸. Второй, начавшийся в апреле 2008 г., был реализован

⁶ См.: Прожито: Личные истории в электронном корпусе дневников и воспоминаний (prozhitto.org).

⁷ Например, детский дневник Ильи А. (<https://corpus.prozhito.org/person/1028>).

⁸ См.: The Diary of Samuel Pepys: Daily entries from the 17th century London diary (<https://www.pepysdiary.com>).

в социальных сетях «Твиттер» и «Мастодон» (в статье анализируются записи в профиле @samuelperpus на микроблоговой платформе «Твиттер»)⁹. В данном случае дневник изначально выкладывался не с начала, а с середины, с тем чтобы оба проекта разворачивались синхронно, — ежедневно в них публиковалась запись одного и того же дня из дневника Пипса. Соответственно, с 2008 г. дневник Пипса существует подобно современному кроссплатформенному блогу. Гиффорд предложил читателям максимально растянутое во времени чтение текста, в котором один день жизни Пипса, представленный в одном дискурсивно и технически выделенном фрагменте его текста, соответствовал и одному дню жизни читателя. Оба проекта завершились 31 мая 2012 г. публикацией последней записи за тот же день 1669 г. Проекты оказались успешными и были возобновлены в 2013 г., а 1 января 2023 г. стартовал уже третий цикл¹⁰. Это само по себе интересно, учитывая разговоры об умирании культуры текстовых онлайн-дневников, какой она появилась в конце 1990-х годов [Buford 2020: 426–428].

После нескольких лет существования обоих проектов в 2011 г. Фил Гиффорд выступил с публичной лекцией, в которой проанализировал их работу. Он отмечал, что в одном случае хотел, чтобы пользователи увидели текст как сложный, многослойный, в котором переплетаются повествования о разных сторонах жизни прошлого, в другом — напротив, намеревался представить максимально простую и близкую им версию [Gyford 2011: 2'15"–2'26" (аудио)]. Собственно, эти два параллельно развивающихся проекта интересны тем, что они прежде всего предполагают принципиально отличающиеся от привычного взаимодействия с печатным текстом практики чтения. В первую очередь формат чтения в рамках обоих изначально рассчитан на вовлечение в коммуникацию. Связь между автором и читателем в данном случае выражается в конкретных практиках и словах. Но при этом медийные возможности задают разные практики коммуникации и порождают разное восприятие и Пипса, и прошлого, и дневникового текста.

На сайте, посвященном дневнику, запись каждого дня выкладывается (и одновременно рассылается на электронную почту всем подписчикам) примерно в одно и то же время как единый текст, осмысляющий события целого дня, как он мог бы писаться. В одном из интервью Фил Гиффорд отмечал, что намеренно использовал такую форму публикации, подобную сетевым блогам, переживавшим в первое десятилетие XXI в. пик популярности:

Я подумал, что из дневника Пипса мог бы получиться отличный веб-блог. Опубликованный дневник состоит из девяти объемных томов — это пугающая перспектива. Читать его день за днем на веб-

⁹ В обоих случаях используется старая расшифровка дневника по изданию 1893 г., дабы не нарушать авторские права. Это поздневикторианское издание с изрядными купюрами одновременно удобно с точки зрения и проблем нравственности, и возрастных ограничений аудитории.

¹⁰ К сожалению, пока данная статья готовилась к публикации, проект в «Твиттере» был приостановлен из-за несогласия с политикой нового владельца платформы. Она была куплена Илоном Маском и 24 июля 2023 г. переименована в «X». Последняя запись аккаунта @samuelperpus была выложена 25 июля 2023 г., а 1 августа Фил Гиффорд объявил о закрытии проекта. Все записи, выложенные ранее, по данным на 16 октября 2023 г. еще доступны.

сайте было бы гораздо удобнее, а аспект реального времени сделал бы это более увлекательным занятием [Gyford 2003].

Проект построен на вовлечении читателей: пользователи могут оставлять комментарии, а также создавать отдельные тематические беседы, делиться материалами и наполнять информацией внутренние разделы сайта. Из этого выросла целая энциклопедия, в которой собрана информация о людях, местах, различных событиях, повседневных практиках, упоминаемых Пипсом. Некоторая часть комментариев связана с вполне типичной для дневникового чтения попыткой понять мотивацию тех или иных слов или поступков Пипса как с точки зрения обусловивших их исторических реалий, так и с позиции психологии поведения. Формирующаяся за счет длительного чтения фамильярность выражается в том, что Пипс часто оказывается для читателей «Сэмом» и то и дело проскакивают восклицания «Ну как же так, Сэм?!», «Не делай этого!» и более развернутые обращения как бы непосредственно к самому автору дневника. Тем не менее подавляющее большинство комментариев обращено не к Пипсу, а к сообществу читателей, и связаны они с пониманием текста, поступков, выяснением упоминаемых исторических деталей:

Yonmei 13 октября 2003 г.

*...посмотреть, как генерал-майора Харрисона повесят, выпотрошат и четвертуют. Он держался настолько бодро, насколько это вообще возможно в его положении*¹¹.

Самый черный-пречерный юмор, вам не кажется?

Paul Brewster 13 октября 2003 г.

Он держался настолько бодро, насколько это возможно в его положении.

Л&М добавляют «-ly»¹². Их сноска гласит: «Томас Харрисон, царевубийца, был осужден 11-го числа». Ср. [сравните]¹³ с его агиографом: он был «очень весел, к удивлению многих»: ‘The speeches and prayers of Maj. Gen. Harrison ... (1660) [Странно, что СП¹⁴ и агиограф (?) используют одно и то же описательное слово]. Секретарь Николас сообщил, что он умер «с ожесточением сердца, которое вызывало ужас у всех, кто его видел» [Очевидно, кроме СП и безымянного агиографа].

(<https://www.pepysdiary.com/diary/1660/10/13>)

¹¹ Здесь и далее перевод мой. При цитировании из обоих проектов фрагменты текста дневника Пипса, использованные в комментариях и твитах, будут выделяться курсивом, чтобы было легче отделять их от слов пользователей. Сохраняются характерные для сетевого общения особенности пунктуации.

¹² Имеются в виду Роберт Летем и Уильям Меттьюз, подготовившие последнюю версию дневника Пипса. Автор комментария указывает на различия в транскрипции слова: *cheerful* в транскрипции Брайта и, соответственно, на сайте и *cheerfully* в издании, подготовленном Летемом и Меттьюзом.

¹³ Пояснения, данные в квадратных скобках, сделаны самим автором комментария. Сохранена его пунктуация.

¹⁴ Имеется в виду Сэмюэль Пипс.

Как уже отмечалось, по меньшей мере два других статуса — литературного произведения и исторического свидетельства — неизбежно оказывают влияние на читателя. С этим и связан замысел Гифорда:

Именно здесь возможность оставлять комментарии на сайте оказалась решающей. Записи и сноски уже аннотируются читателями, которые предоставляют пояснения и дополнительную информацию, создавая более коллективный опыт, чем это позволяет обычная публикация. Так что вместо того, чтобы просто публиковать мертвый — хотя и увлекательный — текст, я осмелился предложить гораздо более захватывающее живое чтение [Gyford 2003].

«Живое чтение», подразумевающее активное взаимодействие пользователей, противопоставляется литературному и историческому статусу дневника, «умертвляющему» текст, делающему его классикой.

Эта идея в еще большей степени проявляется в проекте на «Твиттере», но имеет иное значение. Здесь каждая дневная запись Пипса делится на небольшие фрагменты, которые с интервалами в два-три часа выкладываются в виде отдельных твитов. С одной стороны, текст при этом подвергается сокращениям, из него выпадают отдельные фразы, вводные слова или соединительные союзы. С другой стороны, такая форма представления создает ощущение той непосредственности, которую ассоциируют с дневниками, — словно записи сделаны спонтанно и отражают события, мысли и эмоции, как они появляются в реальном времени на протяжении дня — неотрефлексированными и неотредактированными. Это одна из многих причин, по которой социальные сети нередко описывают как современный формат дневников. Если в случае с сайтом «живость» в большей степени связана с практиками чтения и реакциями читателя, то здесь на первый план выходит возможность прочувствовать непосредственность, живость наблюдений и авторского опыта дайариста.

Любопытно, что для этой цели Гифорд выбрал именно дневник Пипса, с одной стороны, действительно ставший классикой литературы и важнейшим историческим свидетельством по истории Англии 1660-х годов, а с другой — кажущийся прекрасным примером «живого» дневника, хотя не вполне соответствующий привычному пониманию. Пипс действительно делал заметки на ходу благодаря новым для того времени возможностям, позволявшим писать не только за столом, — специальным блокнотам со стилусом и воощенными страницами, первым карандашам и заправляемым ручкам, которыми писали на сложенных листах бумаги. Однако, как прекрасно показывают авторы последней транскрипции дневника, эти непосредственные записи сортировались для разных заметок — книги расходов, делового журнала, интеллектуальных размышлений и т. д., — а потом они собирались в одну запись с более развернутыми предложениями и после этого переписывались набело [Perus 2000 (1): cii–cii]. И языковая простота, близость к разговорной речи, которая делает текст Пипса очень современным, на самом деле объяснялась вовсе не непосредственностью письма, а совершенно обдуманном способом выражения мысли и особенностями стенографии.

Пользователи «Твиттера» могут комментировать записи, ставить лайки. Причем часть комментариев делается от лица самого Пипса, фразами, взятые

ми из записи того же дня. Таким образом он как бы участвует в обсуждении собственных твитов. Складывается впечатление, что Пипс изо дня в день ведет такую же активность, как и его читатели, он постоянно, на протяжении нескольких лет присутствует в их жизни, поэтому совершенно неудивительно, что он превращается в своеобразного «своего парня», с которым можно выстроить определенное «общение». На его твиты переносится стиль коммуникации, типичный для «Твиттера», чему в немалой степени как раз способствуют стилистические особенности дневника. Пользователи, комментирующие записи, обращаются к нему еще более панибратски, чем пользователи сайта с дневником (вплоть до фамильярности), нередко даже снисходительно — не просто «Сэм», но «Сэмми», «старина», «мальчик мой», «дружище» и т. п.:

@ samuelpepys *Затем — в постель, где мы с женой обменялись парой ласковых по поводу того, что я выкину в окно собачонку, которую ей подарил ее брат, если та еще хоть раз наделает в доме.*

@TerryDwyerSyd Да ладно тебе, Сэм, это всего лишь щенок

@BrownPennyMusik Твой шурин ПРЕКРАСНО понимал, что он делает, Сэмми. Ненавидит тебя с самого первого дня. И, готов поспорить, если ты оглянешься назад, то увидишь, как он с самого начала тонко над тобой издевался. Он с друзьями смеется над тобой

@BlindBoy2020 Сэмми, детка, это был ты сам. Ты снова напился. Пожалуйста, положи собаку и возвращайся в постель. Прошу тебя, уже поздно

(13 февраля 2023 г.,

<https://twitter.com/samuelpepys/status/1624891281083170822>)

Обилие откликов пользователей и долгая жизнь обоих проектов свидетельствуют об успешности попытки «живого чтения», позволившего создать ощущение интимности в этом новом формате публично доступного текста. Когда оба проекта подошли к концу в 2012 г., расставание вызвало очень эмоциональную реакцию у пользователей обоих проектов, даже у тех, кто не участвовал в комментировании:

Murray 1 июня 2012 г.

В течение 9 лет и нескольких месяцев я как молчаливый читатель наслаждался дневником и комментариями.

Фил, твоя работа принесла столько удовольствия стольким людям — спасибо тебе.

Сэм, если бы только твои глаза были лучше. Если бы ты продолжал писать. Если бы ты только начал раньше. Если бы только Элизабет не подхватила эту лихорадку¹⁵. Если бы только....

Bill 1 июня 2012 г.

Я молчаливо присутствовал на этом сайте где-то со второго года его существования; все это время он был моей домашней страницей, так

¹⁵ Элизабет, жена Пипса, скончалась от брюшного тифа 10 ноября 1669 г., буквально через несколько месяцев после окончания дневника.

что ежедневная запись Сэма — первое, что я вижу утром. Я понятия не имею, чем я его заменяю. Спасибо Филу за то, что он осуществил это, и всем тем, чьи аннотации сделали это более интересным.

(<https://www.pepysdiary.com/diary/1669/05/31>)

@mikejolk Парень, ты реально меня расстроил!

(1 июня 2012 г.,

<https://twitter.com/mikejolk/status/208286806012198913>)

@matthewcobb Нееееееет! Не останавливайся! Начни сначала, пожалуйста!

(1 июня 2012 г.,

<https://twitter.com/matthewcobb/status/208291113612742657>)

@CharlieBeckett Мне будет очень тебя не хватать!

(1 июня 2012 г.,

<https://twitter.com/CharlieBeckett/status/208300029482504192>)¹⁶

Реакция, с одной стороны, очень схожа с тем, что может испытывать читатель при окончании полюбившейся книги и, безусловно, связанная с ощущением близости к автору/герою (интересным образом в них даже появляется та самая ностальгия «если бы» по не случившимся возможностям, ассоциируемая с «обычным» чтением дневника). С другой — она очень отличается, хотя бы потому, что выражается в словах при комментировании текста. И даже по стилистике записей очевидно, что ощущение интимности формируется иными и разными способами.

Я не стану обсуждать все значение особенностей медиа, о которых после Маршалла Маклюэна, провозгласившего ставшее знаменитым «средство коммуникации есть сообщение» [Маклюэн 2003: 9], написаны горы исследований. Новые медиа, социальные сети, блогинговые и микроблогинговые платформы предоставляют пользователю определенные возможности и формат коммуникации, которые, несомненно, оказывают влияние на то, как формируется и воспринимается сообщение. В данной статье речь идет лишь об одной особенности, определяющей практики чтения в этих двух проектах и имеющей непосредственное отношение к появляющемуся чувству интимности и переживаний от ее прекращения. Наиболее очевидная черта, объединяющая их и одновременно отличающая от других привычных, в том числе и цифровых моделей чтения, — это подчеркнутая фрагментарность и растянутость чтения дневника, обусловленная тем, что в каждый момент времени пользователь получает доступ лишь к одному отрывку текста.

Этот прием производит интересный эффект — одновременное разрушение целостности нарратива и формирование ощущения единой длящейся истории. Пользователи и в одном, и в другом проекте ни в какой момент времени не получают нарративно, визуально и/или материально целостного тек-

¹⁶ Сохранились не все аккаунты, активные на 2012 г., поэтому не все комментарии к последним записям Пипса можно увидеть через его аккаунт. Для сравнения можно посмотреть отклики на последнюю запись второго круга чтения в 2022 г. (1 июня 2022 г., <https://twitter.com/samuelpepys/status/1531746213359403008>).

ста, но каждый раз имеют дело с отдельно взятым фрагментом¹⁷. В наиболее явной форме это проявляется в «Твиттере», где текст разлагается на отдельные, не связанные в единое повествование фразы. То, что дневник, публикуемый и читаемый на этой платформе, оказывается одним из многих, отдельные фрагменты которых даются пользователю вперемешку, лишь подчеркивает это исчезновение литературного единства текста. Как отмечала Вера Зверева, «В Твиттере производится сдвиг от связного текста к разрозненным высказываниям: их взаимные связи обнаруживаются уже не в пределах авторского дневника, но на стыках между разными микроблогами, в полном смысле этого слова виртуальном пространстве» [Зверева 2012: 34].

В то же время для такого специфического случая, как публикация в «Твиттере» реально существующего и хорошо известного дневника, это не совсем так, ибо знание о Пипсе и о целостном и законченном тексте и присутствие в тексте деталей явно устаревшей повседневности (включая и язык и даже точки в конце твитов) выделяет его из остальных микроблогов, напоминая, что каждая конкретная запись — часть уже завершившейся истории. Это еще более заметно в публикации на сайте, где каждая публикуемая запись снабжена датой, укореняющей ее в прошлом. Историчность в значении history сама по себе сохраняет смысловое единство истории (story) даже вопреки отсутствию единого нарратива. При, казалось бы, полном исчезновении целостного текста дневника сохраняется и иногда становится видимой манера оценивать многие поступки и высказывания не в рамках сиюминутной темпоральности конкретного дня и жизненной ситуации, а в контексте целостной «жизни» даже не столько автора (как писала П. Деотто), сколько читателя, проецирующего на описываемые события свой жизненный опыт:

@samuelpepys М-р Кук возвратился из Лондона с пакетом, из-за которого Милорд на целый день погрузился в задумчивость.

@Ithacaron Решения, решения

(15 апреля 2023 г.

<https://twitter.com/samuelpepys/status/1647293748009631744>)

Имеет значение и еще одна особенность дневника Пипса — почти (за исключением двух случаев) не нарушаемая размеренность записей, в которых описывался буквально каждый день на протяжении около 9,5 лет. Пользователи сайта обращали внимание на обусловленную этим ритмизированность их собственного чтения и связанное с ней удовольствие, но также и дисциплинирование (подобное тому, к которому должен прибегать автор), необходимость каждый день выкраивать время для чтения и комментирования:

¹⁷ Стоит оговорить, что сайт, на котором опубликован дневник, дает возможность читать все записи, сохраняющиеся в архиве. Многие пользователи (например, исследователи), не связанные с подпиской, используют его именно таким образом для быстрого поиска по тексту или дополнительной информации из собранной энциклопедии. Но в данной статье эта модель чтения не рассматривается.

Bonny 27 января 2003 г.

Я живу в Калифорнии, где дневниковая запись появляется в сети в 15:00. Я не могу удержаться, чтобы не прочитать ее сразу же, но это означает, что придется вернуться на следующий день за всеми аннотациями!

Todd Bernhardt 28 января 2003 г.

Не волнуйтесь, Бонни!

Я делаю то же самое, только на три часа позже Вас (Вы в моем будущем, или я в Вашем прошлом? 8^)... Я на восточном побережье США, но всегда стараюсь просмотреть дневную запись перед уходом с работы (что я и делаю сейчас)... как Вы говорите, спасибо за ссылку «Последние аннотации»!

Warren Keith Wright 28 января 2003 г.

Дневная запись появляется около 8 вечера по центральному времени здесь, в Миссури. Если поместить сайт в «Избранное» браузера, то можно легко заглянуть на него, чтобы найти дополнения к вчерашним записям. Не иезуиты ли говорили, что «лишние 15 минут всегда пригодятся»? С таким доступом к Пипсу и людям, думающим о Пипсе, даже 3 минуты имеют значение!

(<https://www.pepysdiary.com/diary/1660/01/27>)

Этой особенностью текста определяется регулярность чтения в данных проектах, благодаря чему Пипс не пропадает из виду. Его жизнь, читаемая пользователями, разворачивается максимально правдоподобно в силу полного совпадения темпоральностей — один день жизни Пипса соответствует одному дню жизни читателя. Похожую игру с соотносением внутренней хронологии событий или повествования и ритмов чтения можно найти во многих юбилейных исторических проектах, а также совместном онлайн-чтении романов. В качестве примера можно привести чтение «Опасных связей» Шодерло де Лакло на платформе «LiveJournal»¹⁸. Реакции пользователей здесь в целом очень похожи на комментарии пользователей сайта «The Diary of Samuel Pepys» с учетом того, что интерес комментаторов лежит больше в литературоведческой, а не исторической плоскости. Однако, как можно увидеть по замечаниям пользователей, такая модель чтения оказалась менее удачной для эпистолярного романа. Неравномерные временные промежутки между фрагментами повествования, естественные в переписке, при таком темпе чтения резко снижают накал страстей и целостность интриги и не позволяют выстраивать ожидания. Комментарий одной из пользовательниц показывает, как работает это соотношение двух темпоральностей:

17catherines 15 января 2007 г.

Конец.

Мне было интересно, будет ли что-то еще впереди, или она (книга. — А. С.) уже закончилась в декабре.

Как вы считаете, насколько книга выиграла от того, что ее читали в таком формате? На мой взгляд, в первой половине книги или

¹⁸ См.: Les Liaisons Dangereuses in real time (<https://lesliaisons1782.livejournal.com>).

около того напряженность усиливалась тем, что нельзя было читать наперед, и поэтому оставалось гадать, что происходит в промежутках между письмами. То, что они появлялись у других моих друзей в livejournal, также добавляло странное ощущение реальности, а не вымысла. А постоянные разговоры с другими читателями на полях истории определенно делали все это более интересным (в первые месяцы истории, по сути, граничащим с одержимостью).

Тем не менее я обнаружила, что по мере того как письма все дальше отстояли друг от друга на более поздних этапах книги, мой интерес ослабевал, возможно, потому что мы слышали о персонажах реже и они становились менее важной частью моей читательской жизни, а возможно, потому что мне становилось все труднее испытывать симпатию к некоторым из них, поскольку все они, казалось, двигались в сторону крайностей, которые я находила непривлекательными.

(<https://lesliaisons1782.livejournal.com/48728.html>)

Для восприятия читателем каждой конкретной записи при наличии умозрительной рамки, связанной с целостностью повествования (исторического события, жизни автора или сюжета романа), важной является и та часть этой истории, которая находится в поле его зрения. При таком темпе чтения это несколько дней, от силы недель, в течение которых можно удерживать в памяти описываемые события. Отрезок истории (в равной мере и history, и story), который имеет значение в каждый момент чтения, повисает между уже подзабывшимся и еще не прочитанным. Только в его рамках можно увидеть взаимосвязи и выстроить объяснения. В случае с дневником Пипса это формирует интересный образ прошлого, максимально близкий к опыту очевидца (и, соответственно, автора дневника), в котором заметны лишь процессы небольшой длительности, отдельные события и детали, политическая конъюнктура и особенно повседневность.

Основная активность, связанная с чтением дневника пользователями сайта, направлена на эти оказывающиеся в поле памяти детали и процессы прошлого, преимущественно те, что кажутся странными, непонятными, не вполне укладывающимися в опыт читателя. Техника медленного чтения как раз позволяет углубляться в детали, что замечают сами пользователи:

PNE 28 января 2003 г.

Все еще январь!

Трудно поверить, что мы все еще находимся в первом месяце 10-летнего дневника Сэма. Читая бумажную копию его дневников, вы, вероятно, справились бы с этим менее чем за час. В темпе сайта у вас гораздо больше времени, чтобы рассмотреть и оценить детали, а благодаря количеству дополнительных материалов в аннотациях это гораздо более полезно. Я считаю, что это одно из лучших применений Интернета, которое я видел, и прекрасное сочетание науки и искусства.

(<https://www.pepysdiary.com/diary/1660/01/27>)

Реакции пользователей «Твиттера» в подавляющем большинстве иные, но также связаны с темпоральностью самого акта чтения. Как отмечают исследователи, подавляющее большинство бесед в «Твиттере» близки по стилю и функциям к обыденной «болтовне», поскольку «ценность текстовой коммуникации в реальном времени заключается в повседневной рутине, которая отдает предпочтение фактическим, а не когнитивным сообщениям» [Dijk 2011: 340]. Записи, сделанные от имени Пипса, видятся как максимально непосредственные, неотрефлексированные и очень житейские реакции на повседневные события и заботы. Это способствуют тому, что пользователи с легкостью экстраполируют на Пипса свой опыт, или наоборот — его заботы и наблюдения встраиваются в актуальную жизнь читателей. Все это практически сводит на нет историческую дистанцию. Прошлое не просто оказывается очень актуальным именно с такой повседневной точки зрения, оно лишается своей странности и непохожести и встраивается в личный опыт читателя. Единственным маркером сохраняющейся границы оказывается ирония, которой пронизаны комментарии:

@samuelpepys *На обратном пути наша карета сломалась на Линкольнс-Инн-Филдс. Пришлось идти пешком до Флит-стрит, а там поймал экипаж — и домой.*

@woodenscot 10.000 шагов в день, Сэм. Пешочком до самого дома
(2 декабря 2017 г.,
<https://twitter.com/samuelpepys/status/937016213586219008>)

@samuelpepys *После ужина домой, служанка уже собрала все вещи для завтрашней стирки. И — ко сну, мучился от простуды и кашля.*

@mjp_hall1980 Сделал ли ты тест на Ковид, Сэм?
(12 марта 2023 г.,
<https://twitter.com/samuelpepys/status/1634680844940869638>)

@samuelpepys *По воде в Лондон и на Фиш-стрит моя жена и я купили кусок лосося за 8 пенсов, отправились в таверну «Солнце» и съели его. И там я пообещал, что в случае, если я умру, будучи в море, ей останется все, кроме моих книг.*

@swordfish7774 8 пенсов за кусок лосося??? Будь я на вашем месте, Сэмюэль, я была бы страшно недовольна, даже чудовищно расстроена

@stevejosephson Я свои книги заберу с собой, когда умру. Все три
(15 марта 2023 г.,
<https://twitter.com/samuelpepys/status/1636006873060057091>)

В обоих проектах (а также при медленном онлайн-чтении «Опасных связей», как видно из представленного выше комментария) еще одной важной, определяющей эту модель взаимодействия с личным дневником особенностью является включенность чтения в повседневный опыт пользователя и внимание к соответствующему опыту автора текста. Комментарии обнаруживают переживание и понимание включенности дневника в повседневный опыт, когда он не отделен от проживания своей собственной жизни и является одним из источников удовольствия:

Jenny 9 января 2003 г.

Я очень довольна этим сайтом; теперь я могу получать ежедневно порцию «Пипса» и тройную — в понедельник утром, когда прихожу на работу. Что оставляет меня перед дилеммой — что мне делать, когда я в отпуске? Накопить две недели дневниковых записей (к тому моменту. — А. С.), когда я вернусь, или делать спорадические визиты в интернет-кафе?

(<https://www.pepysdiary.com/diary/1660/01/08>)

Colin Gravois 20 июня 2003 г.

Моя жена, дочка и собака вернулись домой сегодня.

Мы все пытались придумать различные объяснения отчуждению Сэма от Элизабет, но, видимо, вся эта ругань была напрасной, или нет? Вернулась ли она из поездки за город? Или теперь между ними все наладилось? Время покажет.

(<https://www.pepysdiary.com/diary/1660/06/19>)

Betsy 13 марта 2012 г.

Я чуть не выплеснула свой кофе на компьютер, когда прочитала ту часть о лохматой служанке с оспой. Мне это нравится! Я не думаю, что она (Элизабет Пипс, жена дайариста. — А. С.) когда-либо собиралась нанять красивую горничную. Все это просто женская уловка...

(<https://www.pepysdiary.com/diary/1669/03/12>)

Интерактивность проектов позволяет наглядно увидеть то, что нередко ускользает от внимания исследователей (поскольку возможность узнать обычный отклик непосредственно в момент чтения появляется нечасто), — любое чтение есть часть повседневного опыта и имеет значение в первую очередь именно в контексте сопровождающих его будничных дел, событий и общения:

Clement 1 июня 2012 г.

Я добавляю свою огромную благодарность и похвалу Филу и всем нашим участникам и соратникам. Эта страница, которая была моей «домашней страницей» на протяжении более восьми лет, замечательно обогатила мою жизнь

Мне нравилось делиться особыми моментами с семьей и друзьями, а также знакомить других с сайтом, когда я проводил веб-тренинги на работе и «случайно» оставлял страницу своего дневника для просмотра на длительное время. <...>

Robert Watson 1 июня 2012 г.

Мне жаль, что я, как и многие другие, нашел этот сайт сравнительно недавно. Я не обратил на это внимания, но думаю, что слежу за дневником Пипса здесь уже почти два года. За это время у меня случился сердечный приступ — в конце февраля 2011 года, и до этого у меня были другие проблемы со здоровьем. Чтение «Дневника» было чем-то, за что можно было ухватиться, и это было ежедневным чтением и умственным упражнением.

(<https://www.pepysdiary.com/diary/1669/05/31>)

Пользователи были особенно чувствительны к тому, как именно читался в дневник, в первый месяц чтения и при расставании с ним. Внезапное окончание чтения, которое длилось несколько лет, превратилось в ежедневную практику, «приятный ежедневный ритуал», только подчеркнуло его значимость в контексте организации повседневности пользователей. Некоторые из них упоминали про кофе как ставший символическим ежедневный домашний ритуал:

Grahamt 31 мая 2012 г.

В течение девяти лет и нескольких месяцев я читал этот журнал по утрам, как только появлялась новая запись, с утренним глотком кофе. <...>

Elma on 31 мая 2012 г.

Присоединяясь к хору наблюдателей, которые были здесь с самого начала, я хочу поблагодарить Фила и аннотаторов. Каждое мое утро начиналось с Пипса и кофе. Не представляю себе, как я теперь буду. Еще раз спасибо.

Australian Susan 3 июня 2012 г.

Утром в понедельник села за ноутбук, кофе в руках, на коленях кот, и тут поняла — нет записи в «Дневнике», которую можно было бы прочитать перед тем, как отправиться на работу. Чувствую себя очень обделенной.

(<https://www.pepysdiary.com/diary/1669/05/31>)

Размеренное растянутое чтение создало совершенно иной механизм формирования близости между автором/героем и читателем (отчасти и провоцируя такие почти интимные комментарии), поскольку позволило буквально на собственном опыте ощутить саму практику ведения дневника изо дня в день и значимость его окончания. И это не просто привычная печаль читателя дневника от того, что заканчивается хороший текст и некоторая связь с его автором. На первый план выходит идея о том, что конец дневника — это конец какого-то ставшего привычным образа жизни. Это переживание очень близко к авторскому, как его описывал сам Пипс:

Вот на этом все и заканчивается, ибо я сомневаюсь, что мои глаза позволят мне продолжать вести дневник. Я не в состоянии писать дальше, я продолжал, сколько мог, пока мои глаза не стали болеть почти каждый раз, когда я беру в руку перо. И потому что бы ни случилось дальше, я должен воздержаться. И, следовательно, решил, что с этого времени его будут вести мои слуги, делая записи обычным письмом, и поэтому придется довольствоваться тем, чтобы записывать не более того, что можно открыть им и всему миру. А если и будет что-то (явно немногое теперь, когда моя любовная связь с Деб уже в прошлом, а глаза затрудняют мне почти все иные удовольствия), я должен стараться сохранять поля в моей книге пустыми, чтобы добавлять, то тут, то там, собственноручные заметки стенографией. И таким образом я должен прибегнуть теперь к такому способу, что почти равносильно тому, чтобы увидеть, как я схожу в могилу. К этому и ко всем неудобствам, которые будут сопровождать меня, слепого, приготовь меня Господь! [Pepys 2000 (9): 564–565].

Такой читатель может оценить, насколько это решение меняет весь повседневный опыт. Дело не только в том, что вечера теперь надо занимать чем-то другим. Как подмечали исследователи, Пипс — не сразу, но с какого-то момента — начал подстраивать свою жизнь под дневник, он делал что-то, о чем было бы здорово написать в дневнике [Berger 1998: 579]. Привычка наблюдения и самонаблюдения была нацелена на дневник. Как и у читателей этих проектов, у автора текста с его окончанием перестраивается вся повседневность. Такой тип чтения подчеркивает, что дневник — это в первую очередь повседневная практика письма, вокруг которой выстраивается вся жизнь. И потому каждый новый день требует продолжать писать, и в этом отношении прекращение ведения дневника — это всегда слом, обозначающий достаточно важные изменения привычной повседневности. Сама практика ежедневной фиксации жизни, таким образом, неизбежно связана с некоторым ощущением печали либо от того, что повседневность сохраняется, либо от ее нарушения.

Впрочем, некоторые пользователи стали читать дневник по второму и даже по третьему кругу. Поскольку на сайте «The Diary of Samuel Pepys» вместе с каждой очередной записью можно посмотреть и сделанные ранее комментарии, они стали своеобразным дневником собственной жизни пользователей. Тем более, что большинство из них не только читали дневник каждый день на протяжении более девяти лет, но и писали комментарии, т. е. действительно вели своеобразный дневник. Перечитывая их, они выражают ностальгию, близкую к той, что приписывается автору дневника, обратившемуся к нему после завершения.

Hampshire Dave 3 февраля 2021 г.

Я вернулся на этот сайт в 2021 году, получив огромное удовольствие от него в середине 2000-х годов. Мне нравится читать материалы. В отличие от того, как поразительно знакомо многое из повседневной жизни Сэмюэля 360 лет назад, некоторые комментарии здесь, написанные всего 18 лет назад, кажутся почти чужими, например, Дженни беспокоится о том, как она справится без этого сайта в отпуске, и размышляет о поиске интернет-кафе¹⁹. Боюсь, наш мир меняется быстрее, чем мы узнаем, как с этим справиться.

San Diego Sarah 3 февраля 2021 г.

Как верно; и с возвращением.

У нас есть то, чего не было у аннотаторов 10 лет назад, — это опыт борьбы с пандемиями.

Как жительница Калифорнии, я понимаю, что такое пожар, поскольку была так же близка к двум, как Пипс к одному. А нынешняя странная политическая неопределенность, которую Пипс переживает в конце «Дневника», напоминает совсем недавние события по обе стороны пруда (т. е. Атлантического океана. — А. С.). Мне интересно, как будет выглядеть наш Дуврский договор / Папистский заговор. У нас только что Карл I ворвался в парламент, желая арестовать его членов²⁰. Чем больше все меняется, тем больше остается прежним.

¹⁹ См. об этом на с. 196.

²⁰ Вероятно, это ироничная отсылка к захвату Капитолия 6 января 2021 г., когда толпа сторонников Дональда Трампа, которую спровоцировали его заявления о нарушениях на

Только по-другому. Недостаток достоверной информации был проблемой Пипса; у нас слишком много недостоверной информации. Я подозреваю, что результат тот же: люди справляются с ситуацией как могут в меру своих сил, внося в нее все новые и новые коррективы. И большой дозой (т. е. благодаря большой дозе. — А. С.) иногда желчного юмора Роберта Гирца²¹. Так что оставайтесь дома, читайте «Дневник» и, пожалуйста, делайте аннотации.

(<https://www.pepysdiary.com/diary/1660/01/08>)

Представляется очень интересным, в чем-то постмодернистским опытом, когда прошлое действительно становится частью жизни читателя такого дневника. Оно все время, буквально каждый день сопровождает читателя и, безусловно, каким-то образом влияет на его собственную жизнь. Что интересно, в большинстве своем читатели сайта «The Diary of Samuel Pepys» (про пользователей «Твиттера» такую информацию собрать сложнее) не англичане, т. е. для них это еще и чужое прошлое. Отмеченный в комментарии Hampshire Dave парадокс чуждости собственного прошлого и близости повседневности Пипса имеет и прямое отношение к тому, как функционирует историческая память в цифровом пространстве, — и к повседневности присутствия прошлого в опыте пользователя Интернета, и к тому, что понимание прошлого зачастую происходит преимущественно/исключительно через сопоставление с собственным опытом. Последнее прекрасно видно на примере прочтения дневника Пипса в «Твиттере». Комментарии пользователей строятся на принципе очень близком к тому, как функционируют исторические, в особенности популярные медиевалистические мемы, которые «порождают комизм из несоответствия и социального сходства» [Wilkins 2014: 200] (мемы, в свою очередь, нередко используются как тип комментария).

На сайте, где опубликован дневник, напротив, внимание пользователей привлекает то, что находится за пределами сегодняшних реалий. Читатели намеренно выискивают даже такие детали, которые на первый взгляд кажутся совершенно обыденными и понятными, — рецепт какого-нибудь блюда, упоминавшегося Пипсом и известного даже сейчас, но, как оказывается, делавшегося иначе; детали религиозного праздничного ритуала, также изменившегося со временем. Все это подчеркивает временную дистанцию и статус прошлого как объекта любопытства. Комментирование отдельного факта или слова строится на перемещении информации из любых доступных ресурсов — исследований, энциклопедий и словарей, генеалогических справочников для прояснения какого-то конкретного фрагмента текста Пипса и, соответственно, какого-то фрагмента прошлого. Дальше этого дело не идет, такой цели и не стоит перед участниками²², они находят удовольствие именно в этом перепри-

президентских выборах, ворвалась в Капитолий с целью остановить подсчет голосов и объявление победителем Джо Байдена.

²¹ Имеется в виду один из пользователей проекта, о котором подробнее речь пойдет далее.

²² Инструменты для этого тоже имеются. Сайт, как и многие другие ресурсы, позволяет разные типы чтения, и многие исследователи, и я в том числе, используют его для быстрого поиска нужной информации. В этом смысле очень интересно, как этот ресурс помогает интегрировать профессиональное и непрофессиональное занятие историей. Пользователи

своении информации. Да и сама фрагментированность чтения, его растянутость на годы безусловно препятствует нахождению каких-то закономерностей за пределами той информации, которая удерживается в памяти, т. е. в пределах, как правило, месячного интервала записей²³.

Однако интересно, что в обоих проектах сложившаяся доминирующая модель коммуникации с текстом / прошлым иногда дает сбой, и тогда прошлое на глазах расслаивается и требует принципиально другой реакции:

@samuelpepys *Я видел генерала Монка, и мне думается, что он выглядит грузным и скучным человеком.*

@FenJordan1 Генерал мог быть нетрезв. Джордж Монк, 1-й герцог Албермарл, граф Торрингтон, барон Монк из Потериджа, барон Бошан, барон Тейз (родился 6 декабря 1608 в Грейт Потеридже, Дэвон, Англия. В годы Войн трех королевств он сражался на обеих сторонах.

(15 марта 2023 г.,

<https://twitter.com/samuelpepys/status/1635614458251825153>)

В некоторых дискуссиях пользователей сайта, напротив, прошлое, с интересом разглядываемое во всех его непонятных и незнакомых деталях, то и дело обнаруживает свою актуальность, порождая, как уже отмечалось выше, обращения к самому Пипсу, подобные тем, что встречаются в «Твиттере», либо бурные, порой болезненные обсуждения. Примером является запись Пипса о том, как, придя в гости к корабельному плотнику и отобедав, он отослал его по делам, а сам к большому удовольствию проделал «все, что хотел» с его женой, невзирая на ее сопротивление [Pepys 2000 (5): 351], вызвавшая дискуссию о сексуальном насилии и его публичном обсуждении²⁴.

Эта нестабильность прошлого, то и дело выходящая за сложившиеся рамки коммуникации, во многом обусловлена сохраняющейся странностью самого дневника, не вполне вписывающегося в медийные рамки блога / микроблога и принятых тем, форматов, практик коммуникации, невзирая на их многообразие. Эта странность, как правило, существует по умолчанию, но иногда становится заметна:

@samuelpepys *На Чаринг-кросс, посмотреть как генерал-майора Харрисона повесят, выпотрошат и четвертуют. Он держался очень бодро, насколько это вообще возможно в его положении²⁵.*

любители собирают информацию, которой потом пользуются историки и пишут исследования, из которых пользователи выискивают новые детали для комментирования.

²³ Такое понимание, присвоение прошлого через комментирование отдельных деталей без дальнейшей аналитической работы, без попыток проанализировать всю их совокупность оказывается хотя и долгоиграющим, но все же конечным. Количество комментариев с каждым новым кругом чтения уменьшается, тогда как в «Твиттере» оно более стабильно благодаря бесконечным возможностям переозначивания. Проект начинает приспособляться под это обстоятельство, чтобы сохранить этот интерес. Одним из новшеств нынешнего третьего цикла чтения стало введение в текст элементов из более современной транскрипции дневника Пипса там, где расходятся издания 1893 г. и 1980-х годов. Долгое время это было одним из направлений для комментирования пользователями. Теперь информация, добавленная в тело текста, сама становится новым объектом для комментирования.

²⁴ См.: <https://www.pepysdiary.com/diary/1664/12/20>.

²⁵ См. выше реакцию пользователей сайта на ту же запись из дневника (с.188).

@kevinschawinski Очень странный аккаунт/персона в Твиттере

@fishingsmack В этот день в 1660 году

@shirtysleeves В его положении до, в процессе или после, Сэм?

@2easycy Эх, вот были развлечения!

@champnav 13 октября 1660 года. Это аккаунт, который твитит в реальном времени, но с опозданием в 353 года

(13 октября 2013 г.,

<https://twitter.com/samuelpepys/status/389316100141645824>)

Текст дневника, встраиваясь в повседневное общение разных людей, сохраняет специфическую автономность и некоторую дистанцированность, что также выделяет его среди большинства других микроблогов. В «Твиттере» Фил Гиффорд не использует хештэги, которые позволили бы связать высказывания Пипса с любыми другими; «Пипс» не подписан на другие микроблоги; двусторонняя коммуникация с ним также оказывается иллюзией, коль скоро он никогда не отвечает на комментарии пользователей. Наконец, само знание о Пипсе и его дневнике превращает всю эту коммуникацию в игру. Дайарист функционирует подобно вымышленному, не вполне реальному персонажу (в различных соцсетях сейчас можно найти немало примеров подобных аккаунтов героев сериалов, мультфильмов и т. п.), который может вести себя странным на современный взгляд образом, но с которым гораздо проще «общаться» — можно запросто комментировать его сексуальные похождения или высмеивать какие-то поступки или наблюдения. В каком-то смысле он оказывается очень удобным собеседником, с которым можно позволить себе гораздо больше, чем с реальным живым человеком:

@samuelpepys Долго лежал в постели, разговаривая с женой. Она не хочет отпускать меня в поездку, заявляя, что ревнует и опасается, что я отправляюсь к Деб (бывшая служанка в доме Пипсов и любовница Сэмюэля. — А. С.), что я отрицаю.

@thebellman Держи штаны застегнутыми, Сэм

@liathainjoe Конечно, ты будешь все отрицать, подлец!

(18 ноября 2021 г.,

<https://twitter.com/samuelpepys/status/1461236706758303744>)

В некоторых случаях можно увидеть, что складывающееся псевдообщение с Пипсом во многом обусловлено рамкой стереотипного восприятия личного дневника, которая продолжает применяться читателями к тексту и определяет их реакции. Особенно это заметно в том, что сопереживание, которое очевидным образом не достигнет адресата, нередко высказывается несколько высокопарно для повседневного общения и связано с изрядной долей ностальгии:

@samuelpepys Сразу после этого — ужинать и ко сну. Немного взволнован грузом дел, которые на меня сейчас навалились.

@teragramytrehod Мы все сейчас чувствуем что-то вроде этого, Сэм

@Nexxo00 Мы все через это прошли, Сэм. Мы все через это прошли.

@CallypWatts По правде говоря, Сэм, это можно сказать о многих из нас, страдающих от «груза» в данный момент.

@TracyPuklowski1 Я услышал тебя, Сэм

(28 марта 2022 г.,

<https://twitter.com/samuelpepys/status/1508189729661009930>)

Внутри одного аккаунта эти комментарии существуют как бы в разных регистрах, но переключение между ними (двумя моделями взаимодействия с текстом — как микроблогом и опубликованным личным дневником) совершается довольно легко. Разные пользователи часто подстраиваются под выбранную одним из комментаторов интонацию.

Необычность дневника как блога делает очевидной множественность фреймов, определяющих восприятие читателя. У пользователей сайта правдоподобность и одновременно невсамделишность текста дневника как блога вызывала ассоциации с драматическим кино, а в особенности с сериалом, в силу его предсказуемой продолжительности. Уже через пару недель первого круга чтения один из пользователей воскликнул: «Bay! Это лучше, чем “Эммердейл”!»²⁶, имея в виду известную в Британии мыльную оперу²⁷. Один из постоянных пользователей Роберт Гирц (Robert Gertz) запомнился тем, что то и дело придумывал диалоги, которые могли бы случаться в описываемых ситуациях²⁸. И эти рамки, которые пользователи применяют к тексту, сильно влияют на его восприятие. Сериальность привносит ощущение дневника как драматического приключенческого повествования, развивающегося по определенной логике, которая может быть непонятной в каждый конкретный момент, изобилует неожиданными событиями и поворотами сюжета. Она помогает создавать впечатление целостности разбитого на куски повествования. Участники проекта, например, намеренно не забегают вперед, даже для того чтобы найти ответы на обсуждаемые вопросы, и рассматривают такие ком-

²⁶ Paul, 13 января 2003 г. (<https://www.pepysdiary.com/diary/1660/01/13>).

²⁷ «Эммердейл» (Emmerdale, 1972—...) — британская мыльная опера на ITV.

²⁸ Пример таких комментариев (диалог к записи от 20 июля 1664 г.):

«Так, так, так. Бетти Лейн, то есть Мартин, старая замужняя женщина. Ты надела белое, девочка моя?»

«Отстань!»

«Бетти... Сейчас, сейчас...»

«Эй, послушай-ка. Кто ты такой? И что это ты делаешь с моей женой?»

«Ах, да. Вы, должно быть, мистер Мартин. Пипс, сэр. Сэмюэль Пипс, эсквайр. Клерк Актов Флота Его Величества и добрый клиент вашей дорогой жены».

«Да? Что ж, хорошим покупателям рады... Если только они держат свои руки при товаре, а не при миссис».

«Действительно, сэр. Надеюсь, вы не предполагаете... Сэр, вы говорите с Сэмюэлем Пипсом. Джентльмен, сэр, приличия и долг...»

«Подождите? Пипс?...»

«Послушай, Мартин, дорогой. Мистер Пипс служит в военно-морском ведомстве...»

«Это тот самый парень? Тот, которого Джеймс видел в окно в тот день? Тот, который гладил тебя и ущипнул за...»

«Сэр, я думаю, вы ошиблись... Отпустите меня, сэр! Хьюэр!!! (Уильям Хьюер — помощник Пипса. — А. С.)» (Robert Gertz, 21 июня 2007 г., <https://www.pepysdiary.com/diary/1664/07/20>).

ментарии о будущем как спойлер. Сама коммуникация, выстроенная пользователями, и способ прочтения текста во многом обусловлены практиками обсуждения в фанатских сообществах, посвященных, например, историческим романам или сериалам.

Эта множественность фреймов, влияющих на восприятие читателей, неизбежно возвращает нас к вопросу о нарушении интимности, «погружении» в чужую жизнь как ключевой характеристики чтения личного опубликованного дневника и цифровых дневников. Коммуникативная функция, более очевидная в современных блогах в силу их большей публичности и открытости чужим комментариям, нашла выражение в родившемся внутри блоговой культуры понятии экскрибционизма, обозначающем желание показать себя миру, которое используется для анализа истории коммуникативной составляющей онлайн-дневников Лена Бафорд [Buford 2020: 430]. Несомненно, это обстоятельство влияет и на восприятие дневника Пипса, представленного как блог, т. е. текст, заведомо предназначенный для прочтения. Как отмечал сам Гифорд, удовольствие от дневника несопоставимо с тем, что получаешь от блога, ибо если бы Пипс знал, что его будут читать, он бы о многом умолчал [Gyford 2003]. Подглядывание, даже за самыми постыдными и интимными делами, в онлайн-дневнике перестает в полной мере быть таковым уже потому, что оно легитимировано не издателем, но скорее самим форматом блога. Вопреки словам Гифорда (и, возможно, изначально ощущениям читателей) привычка к чтению блогов стала сказываться и на восприятии этой версии дневника. В дискуссии о совершенном и описанном Пипсом сексуальном насилии, помимо вопросов морали и изменчивости этических норм, возник и вопрос, близкий к современной проблематике каминг-аутов с точки зрения добровольного придания публичной огласке каких-то потенциально осуждаемых аспектов приватной жизни:

Ruben 21 декабря 2007 г.

Скажите спасибо Сэмюэлю Пипсу, человеку своего времени, но достаточно честному, чтобы изложить на бумаге хорошие и плохие стороны своих поступков. Он не был лицемером, как большинство. Нет причин, по которым он должен предстать перед судом, только потому, что он был честен с самим собой и с историей. Он знал, что однажды его дневник попадет в Сеть.

Он сохранил дневник для нас, чтобы мы читали и учились, и мы должны ходить по библиотеке колледжа Магдалины в шлепанцах, а не на высоких каблуках.

(<https://www.pepysdiary.com/diary/1664/12/20>)

Сам фокус «подглядывания» тоже смещается. В комментариях, сопровождавших последнюю запись дневника на сайте, появились высказывания участников, которые до сих пор выступали молчаливыми наблюдателями (lurkers) — вполне типичное амплуа для социальных сетей; многие, если не большинство пользователей, предпочитают наблюдать со стороны, а не участвовать в обсуждениях. Однако в данном случае важно, что объектом их наблюдения оказывается уже не столько Пипс и его жизнь, сколько деятельность комментаторов блога, читающих его текст. Такой сдвиг фокуса внимания в сторону повседневности самих читателей замечен и в прощальных коммен-

тариях активных пользователей. Выбранные ими слова указывают на прямо противоположный «погружению» в текст образ привнесенности извне. Дневник сам погружен в повседневность читателей:

Grahamt 31 мая 2012 г.

...Счастливо оставаться Сэму, Элизабет, Уиллу, Джейн, Деб и остальной Британии Реставрации, которая сошла с экрана и вошла в нашу жизнь за эти несколько лет. Я буду скучать по вам. <...>

MaggieNY 2 июня 2012 г.

Огромное спасибо Филу за то, что он в течение почти 10 лет ежедневно вводил Сэма и Элизабет в нашу жизнь. Я планирую пойти и прочитать продолжение истории, а затем... вернуться к началу. Чтение этого каждый день в течение многих лет стало частью моей жизни, и теперь я не могу отпустить это...

И отдельное спасибо Роберту Гирцу за все эти смешки.

(<https://www.pepysdiary.com/diary/1669/05/31>)

Возможность изучить комментарии читателей, делавшиеся по ходу чтения, позволяют увидеть, что нарушение границы частного/публичного при прочтении дневника имеет и противоположную направленность, поскольку, благодаря технологиям и обусловленным ими практикам чтения, история — чужая, нередко действительно очень интимная, может быть, малоприятная или, напротив, благополучная до зависти — привносится в частную жизнь читателя, встречается в середине дня, наполненного его собственными заботами и переживаниями. Эта модель близости с автором, предполагающая его постоянное присутствие и влияние на частную жизнь читателя, не просто накладывается на логику «заглядывания внутрь» дневника, по большому счету обусловленную сложившимися в XIX в. представлениями, приписывающими читателю ощущения, которые мог бы ожидать от них автор, озабоченный вопросом приватности. Но благодаря новым технологиям и связанным с ними практикам, ожиданиям и стереотипам становится доминирующим видение дневника, его автора, самого прошлого как раз за разом на протяжении многих лет вклинивающих в собственную жизнь читателя. Благодаря цифровым технологиям это происходит не в тот момент, который пользователь выбрал для «погружения» в чужую жизнь, а так, как это определено алгоритмом выкладывания записей, не в особое, отведенное для чтения время, а посреди сиюминутных забот. Присутствие и внезапное исчезновение дневника, читавшегося долго и регулярно, также способно кардинально перестраивать повседневность читателей.

И несмотря на явное отличие практик такого чтения от взаимодействия с бумажной книгой, которую едва ли кто-то будет намеренно читать по капле в день, исследовательский взгляд на читательский опыт как на свободный от того, как видит свой дневник и возможного желательного и нежелательного читателя автор (или по меньшей мере не детерминированный таким видением), может, как это все время происходит с современными технологиями, помочь переосмыслить и опыт читателей дневников прошлого. Вирджиния Вулф, читая Пипса, сделала единственную ремарку о своих впечатлениях:

«...мой дорогой Пипс — единственный островок спокойствия в доме» [Woolf 1990: 66]. Что мешает нам увидеть в ней свидетельство не желания убежать от домашних проблем, погрузившись в чужую жизнь, но способа их превозмочь?

Источники

- Пипс 2010 — *Pipsc* С. Домой, ужинать и в постель: Из дневника / Пер. и сост. А. Ливергант. М.: Текст, 2010.
- Gyford 2003 — ‘Why I turned Pepys’ diary into a weblog’: [An interview with Ph. Gyftod] // BBC News. 2003. January 2. URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/2621581.stm.
- Gyford 2011 — The Diary of Samuel Pepys: Telling a complex story online / [Ed. by Ph. Gyford] // Huffduffer.com. 2011. April 8. URL: <https://huffduffer.com/skillswap/38755>.
- Loveman et al. 2022 — *Loveman K., Cashdan L., Lock S., Payne B., Shafi N., Stuart H. et al.* Collection other lives in Samuel Pepys’s Diary: A collection of creative writing inspired by Samuel Pepys’s journal of the 1660s // University of Leicester. 2022. October 24. URL: https://figshare.le.ac.uk/collections/Collection_Other_Lives_in_Samuel_Pepys_s_Diary_A_Collection_of_Creative_Writing_Inspired_by_Samuel_Pepys_s_Journal_of_the_1660s/6255861.
- Pepys 1825 — *Memoirs of Samuel Pepys, Esq. F. R. S.: Secretary to the Admiralty in the Reigns of Charles II and James II; Comprising Diary from 1659 to 1669; Deciphered by the Rev. John Smith ...* London: Henry Colburn, 1825.
- Pepys 2000 — *The Diary of Samuel Pepys: In 9 vols.* / Ed. by R. Latham, W. Matthews. Berkeley; Los Angeles: Univ. of California Press, 2000.
- Pepys 2004 — *The Diary of Samuel Pepys — Complete* by Samuel Pepys // Project Gutenberg. [Released] 2004. October 31. URL: <https://www.gutenberg.org/ebooks/4200>.
- Scott 1826 — Scott W., sir. Review of memoirs of Samuel Pepys, Esq. ... // *Quarterly Review*. Vol. 33. No. 66. 1826. P. 281–314.
- Woolf 1990 — *Woolf V. A passionate apprentice: The early journals, 1897–1909.* London: Hogarth Press, 1990.

Литература

- Деотто 2019 — *Деотто П.* Дневник как пограничный жанр // *AutobiografiЯ*. № 8. 2019. С. 11–18. URL: <https://www.avtobiografija.com/index.php/avtobiografija/article/view/188/176>. <https://doi.org/10.25430/2281-6992/v8-o11-018>.
- Зализняк 2013 — *Зализняк Анна А.* Дневник: к определению жанра // *Зализняк Анна А. Русская семантика в типологической перспективе. М.: Языки славянской культуры, 2013. С. 509–523.*
- Зверева 2012 — *Зверева В.* Сетевые разговоры: Культурные коммуникации в Рунете. Bergen: Department of Foreign Languages, University of Bergen, 2012.
- Маклюэн 2003 — *Маклюэн М.* Понимание медиа: внешние расширения человека / Пер. с англ. В. Г. Николаева. М.; КАНОН-пресс-Ц; Жуковский: Кучково поле, 2003.
- Шартье 2006 — *Шартье Р.* Письменный текст на экране. Книга песка // *Шартье Р. Письменная культура и общество. М.: Новое издательство, 2006. С. 212–228.*
- Bayley 2016 — *Bayley S.* The private life of the diary. London: Unbound, 2016.
- Berger 1998 — *Berger H.* The Pepys show: Ghost-writing and documentary desire in “The Diary” // *ELH*. Vol. 65. No. 3. 1998. С. 557–591.

- Buford 2020 — *Buford L.* A journey through two decades of online diary community // *The diary: The epic of everyday life* / Ed. by B. Ben-Amos, D. Ben-Amos. Bloomington: Indiana Univ. Press, 2020. P. 425–440.
- Dijck 2007 — *Dijck J. van.* Mediated memories in the digital age. Stanford: Stanford Univ. Press, 2007.
- Foys, Trettien 2010 — *Foys M. K., Trettien W. A.* Vanishing transliteracies in Beowulf and Samuel Pepys's diary // *Textual cultures: Cultural texts* / Ed. by O. Da Rold, E. Treharne. Woodbridge: Boydell and Brewer Limited, 2010. P. 75–120. <https://doi.org/10.1017/9781846158902.006>.
- Hassam 1987 — *Hassam A.* Reading other people's diaries // *University of Toronto Quarterly*. Vol. 56. No. 3. 1987. P. 435–442.
- Henderson 2018 — *Henderson D.* Reading digitized diaries: Privacy and the digital life-writing archive // *a/b: Auto/Biography Studies*. Vol. 33. No. 1. 2018. P. 157–174. <http://doi.org/10.1080/08989575.2018.1389845>.
- Lejeune, Bogaert 2003 — *Lejeune Ph., Bogaert C.* Un journal à soi : histoire d'une pratique. Paris: Textuel, 2003.
- Rettberg 2020 — *Rettberg J. W.* Online diaries and blogs // *The diary: The epic of everyday life* / Ed. by B. Ben-Amos, D. Ben-Amos. Bloomington: Indiana Univ. Press, 2020. P. 411–424.
- Rousset 1983 — *Rousset J.* Le journal intime. Texte sans destinataire? // *Poétique*. № 56. 1983. P. 435–443.
- Wilkins 2014 — *Wilkins K.* Valhallaolz: Medievalist humor on the Internet // *Postmedieval: A Journal of Medieval Cultural Studies*. Vol. 5. No. 2. 2014. P. 199–214. <https://doi.org/10.1057/pmed.2014.14>.

References

- Bayley, S. (2016). *The private life of the diary*. Unbound.
- Berger, H. (1998). The Pepys show: Ghost-writing and documentary desire in “The Diary”. *ELH*, 65(3), 557–591.
- Buford, L. (2020). A journey through two decades of online diary community. In B. Ben-Amos, & D. Ben-Amos (Eds.). *The diary: The epic of everyday life* (pp. 425–440). Indiana Univ. Press.
- Chartier, R. (2004). Languages, books and reading from the printed word to the digital text. *Critical Inquiry*, 31(1), 133–152.
- Deotto, P. (2019). Dnevnik kak pograničnyi zhanr [Diary as a borderline genre]. *Avto-biografija*, 8, 11–18. <https://www.avtobiografija.com/index.php/avtobiografija/article/view/188/176>. <https://doi.org/10.25430/2281-6992/v8-o11-018>. (In Russian).
- Dijck, J. van (2007). *Mediated memories in the digital age*. Stanford Univ. Press.
- Foys, M. K., & Trettien, W. A. (2010). Vanishing transliteracies in Beowulf and Samuel Pepys's diary. In O. Da Rold, & E. Treharne (Eds.). *Textual cultures: Cultural texts* (pp. 75–120). Boydell and Brewer Limited. <https://doi.org/10.1017/9781846158902.006>.
- Hassam, A. (1987). Reading other people's diaries. *University of Toronto Quarterly*, 56(3), 435–442.
- Henderson, D. (2018). Reading digitized diaries: Privacy and the digital life-writing archive. *a/b: Auto/Biography Studies*, 33(1), 157–174. <http://doi.org/10.1080/08989575.2018.1389845>.
- Lejeune, Ph., & Bogaert, C. (2003). *Un journal à soi: histoire d'une pratique*. Textuel. (In French).
- McLuhan, M. (1964). *Understanding media: The extensions of man*. Signet Books.

- Rettberg, J. W. (2020). Online diaries and blogs. In B. Ben-Amos, & D. Ben-Amos (Eds.). *The diary: The epic of everyday life* (pp. 411–424). Indiana Univ. Press.
- Rousset, J. (1983). Le journal intime. Texte sans destinataire? *Poétique*, 56, 435–443. (In French).
- Wilkins, K. (2014). Valhallolz: Medievalist humor on the Internet, *Postmedieval: A Journal of Medieval Cultural Studies*, 5(2), 199–214. <https://doi.org/10.1057/pmed.2014.14>.
- Zalizniak, Anna A. (2013). Dnevnik: k opredeleniiu zhanra [Diary: Toward a definition of the genre]. In Anna A. Zalizniak. *Russkaia semantika v tipologicheskoi perspektive* (pp. 509–523). Iazyki slavianskoi kul'tury (In Russian).
- Zvereva, V. (2012). *Setevye razgovory: Kul'turnye kommunikatsii v Runete* [Network conversations: Cultural communications in Runet]. Department of Foreign Languages, Univ. of Bergen. (In Russian).

Информация об авторе

Анна Вячеславовна Стогова

кандидат исторических наук
старший научный сотрудник, Отделение
историко-теоретических исследований,
Институт всеобщей истории РАН
Россия, 119774, Москва, Ленинский пр-т,
д. 32а
Тел.: +7 (495) 938-12-02
✉ anna100gova@yandex.ru

Information about the author

Anna V. Stogova

Cand. Sci. (History)
Senior Researcher, Department of Studies
in Theory of History, Institute of World
History, Russian Academy of Sciences
Russia, 119774, Moscow, Leninsky
Prospekt, 32a
Tel.: +7 (495) 938-12-02
✉ anna100gova@yandex.ru

В. А. Мильчина^{ab}

ORCID: 0000-0003-3896-0085

✉ vmilchina@gmail.com

^a *Российский государственный
гуманитарный университет (Россия, Москва)*

^b *Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
(Россия, Москва)*

Она или не она: Жермена де Сталь и портрет работы Боровиковского

Аннотация. В Третьяковской галерее хранится портрет дамы в голубовато-зеленоватом платье и тюрбане, написанный Владимиром Лукичом Боровиковским. В последнем по времени каталоге он назван портретом г-жи де Сталь, но эта атрибуция сопровождается знаком вопроса в скобках. Отождествление модели Боровиковского со знаменитой французской писательницей Жерменой де Сталь (1766–1817) возникло столетие назад. Поводом для него послужил, скорее всего, тот несомненный факт, что Сталь в 1812 г. провела три недели в Петербурге, где жил Боровиковский, а также некоторые совпадения облика женщины, изображенной на портрете, с тем, что известно о внешности писательницы. Никаких других доказательств до сих пор предъявлено не было. В статье приводится целый ряд «особых примет» госпожи де Сталь, свидетельствующих о ее решительном несходстве с дамой на портрете. Так, у дамы с портрета на голове тюрбан. Г-жа де Сталь в самом деле любила тюрбаны, однако на портрете тюрбан голубовато-зеленоватый, а про Сталь мемуаристы и через много лет утверждали в один голос, что ее тюрбан всегда был красный или малиновый. Дама на портрете обвешана украшениями: жемчужное бандо, браслет, серьги, ожерелье. Ни на одном из известных портретов у Сталь нет вообще никаких украшений. И наконец, едва ли не главная «улика», а точнее, ее отсутствие. Все, кто писал о Сталь, описывают жест, сделавшийся практически ее эмблемой: она всегда вертела в руках веточку или листок бумаги; так она изображена на многих французских портретах. Но у дамы Боровиковского руки пусты. Немаловажно также, что не только в мемуарной книге «Десять лет в изгнании», но и в дневнике 1812 г. Сталь ни словом не упоминает ни о каком сеансе позирования. Все это заставляет прийти к выводу, что на портрете Боровиковского изображена не она.

Ключевые слова: Жермена де Сталь, «Десять лет в изгнании», Владимир Боровиковский, Иван Цветков, Анатолий Бакушинский, Екатерина II, Александр I, Наполеон

Для цитирования: Мильчина В. А. Она или не она: Жермена де Сталь и портрет работы Боровиковского // Шаги/Steps. Т. 9. № 4. 2023. С. 208–232. <https://doi.org/10.22394/2412-9410-2023-9-4-208-232>.

Статья поступила в редакцию 15 мая 2023 г.

Принято к печати 30 июня 2023 г.

Shagi / Steps. Vol. 9. No. 4. 2023
Articles

V. A. Milchina ^{ab}

ORCID: 0000-0003-3896-0085

✉ vmilchina@gmail.com

^a *Russian State University for the Humanities
(Russia, Moscow)*

^b *The Russian Presidential Academy
of National Economy and Public Administration
(Russia, Moscow)*

IS IT OR IS IT NOT SHE: GERMAINE DE STAËL AND THE PORTRAIT PAINTED BY BOROVIKOVSKY

Abstract. In Tretyakov Gallery there is a portrait of a lady in a light green dress and turban, painted by Vladimir Lukich Borovikovsky. In the most recent catalogue, it is labelled as the portrait of Mme de Staël, but this attribution is accompanied by a question mark in parentheses. The identification of Borovikovsky's model as the famous French writer Germaine de Staël (1766–1817) arose a century ago. Most likely, it was prompted by the unquestionable fact that in 1812 de Staël spent three weeks in Petersburg, where Borovikovsky was living, as well as by similarities between the face of the woman depicted on the portrait with what is known about the appearance of the authoress. Until now no other proofs have been offered. The article discusses a number of Mme de Staël's "distinguishing features" which make quite clear her difference from the lady in the portrait. The latter wears a turban and Mme de Staël did in fact like turbans; however, the turban in the portrait is pale green, while memoirists were unanimous in affirming, even many years later, that de Staël's turban was always red or crimson. The woman in the portrait is covered in jewels: a pearl bandeau, a bracelet, earrings, a necklace. No jewels are to be found on any of de Staël's known portraits. Finally, perhaps the main "clue", or, more precisely, its absence. Everyone who wrote about de Staël described a gesture which practically became her emblem: she always held in her hand a small green twig or a sheet of paper — this is how she is depicted on many French portraits. By contrast, Borovikovsky's

lady holds nothing in her hands. It is also significant that neither in her memoir, *Ten Years of Exile*, nor in her diary from 1812 does de Staël mention sitting for a portrait. All this leads to the conclusion that someone else is depicted in Borovikovsky's painting.

Keywords: Germaine de Stael, *Ten Years in Exile*, Vladimir Borovikovsky, Ivan Tsvetkov, Anatoly Bakushinsky, Catherine the Second, Alexander the First, Napoleon

To cite this article: Milchina, V. A. (2023). Is it or is it not she: Germaine de Staël and the portait painted by Borovikovsky. *Shagi / Steps*, 9(4), 208–232. (In Russian). <https://doi.org/10.22394/2412-9410-2023-9-4-208-232>.

Received May 15, 2023

Accepted June 30, 2023

В Третьяковской галерее хранится портрет дамы в голубовато-зеленоватом платье и тюрбане работы Владимира Лукича Боровиковского (1757–1825) (ил. 1). В последнее время почти общепринятой, причем не только в России, но и во Франции, сделалась точка зрения, согласно которой на портрете изображена французская писательница Жермена де Сталь (1766–1817). Более осторожные искусствоведы и литераторы ставят после ее фамилии вопросительный знак, менее осторожные обходятся без этого знака препинания, выражающего сомнение. Задача настоящей статьи — сравнить фигуру, изображенную Боровиковским, с сохранившимися изображениями госпожи де Сталь, с биографическими сведениями и мемуарными свидетельствами о ней. Это позволит решить, в самом ли деле дама в тюрбане — не кто иной, как Жермена де Сталь.

Начать анализ следует с истории этого полотна и его интерпретаций.

В Третьяковскую галерею картина Боровиковского попала из коллекции московского коллекционера и мецената Ивана Евменьевича Цветкова (1845–1917). Свою коллекцию, которую он собирал с начала 1880-х годов, Цветков разместил в двухэтажном особняке на Пречистенской набережной, построенном в псевдорусском стиле в 1898–1901 гг. по рисункам и указаниям В. М. Васнецова (здание по адресу Пречистенская набережная, д. 29, сохранилось и недавно было реставрировано; во время Второй мировой войны в нем располагался штаб военной миссии авиационного полка «Нормандия — Неман», а позднее — личная резиденция военного атташе Франции). Полотно Боровиковского Цветков приобрел в 1896 г. у московского торговца картинами А. Н. Ерыкалова [Андреева и др. 2015: 96]. В 1909 г. Цветков передал свою галерею в дар городу Москве, после чего Цветковская галерея была открыта как общедоступный музей. В 1917 г. Цветков скончался, а девять лет спустя, в 1926 г., Цветковская галерея была закрыта. Более 300 картин из нее были переданы в Государственный музейный фонд и затем распределены по областным и республиканским музеям, а вся коллекция графики, около ста про-



Ил. 1. В. Л. Боровиковский. Портрет дамы (1812)

Fig. 1. Vladimir Borovikovsky. Portrait of a lady (1812)

изведений живописи, в том числе интересующее нас полотно Боровиковского, и архив собирателя поступили в Третьяковскую галерею.

При жизни Цветкова были выпущены два каталога его галереи. В первом, 1904 г. издания, о работе Боровиковского говорится: «Женский портрет (Госпожа Сталь)» [Перечень 1904: 2]. Однако сам Цветков на этой версии явно не настаивал: во втором издании каталога имя Сталь отсутствует и картина фигурирует как «Портрет дамы в тюрбане» [Перечень 1915: 4].

Не упоминали имени Сталь в связи с картиной Боровиковского и авторы, писавшие о Цветковской галерее в начале XX в. Приведу цитату из книги Александра Бенуа «История русской живописи в XIX веке» (1901):

Таков изумительный портрет неизвестной придворной дамы в собрании Цветкова, довольно перерзрелой особы в прическе à l'antique, в платье александровского времени, из серебряного глазета, с чрезвычайно оголенным великолепием груди и красивых еще рук; точное смуглое лицо ее дышит страстью, и она с каким-то важным и смелым вызовом, полуулыбаясь, устремила свой взор в сторону [Бенуа 1995: 42].

Особо отмечу упоминание «восточного смуглого лица»; я к нему еще вернусь.

В 1909 г. в статье о Цветковской галерее, напечатанной в журнале «Старые годы», женщина с портрета Боровиковского именуется «пожилой придворной дамой александровского времени» [Тарасов 1909: 662].

Версия о том, что на портрете изображена г-жа де Сталь, вновь — и на этот раз весьма подробно и красноречиво — была высказана в 1925 г. С нею выступил искусствовед Анатолий Васильевич Бакушинский (1883–1839), ставший после смерти основателя галереи ее хранителем. В своей книге «Живопись и рисунки XVIII и XIX столетий в Цветковской галерее» (1925) он посвятил картине Боровиковского и изложению своей версии о личности ее героини целых две страницы, в которых риторическая аффектированность изложения затуманивает отсутствие каких-либо реальных аргументов в пользу предлагаемой атрибуции. Текст Бакушинского достоин цитирования почти без сокращений.

Бакушинский пишет:

Совсем по-иному [сравнительно с портретом Е. Г. Темкиной] характеризует художника, его внутренний мир, его отношение к миру внешнему «Портрет дамы в тюрбане» (г-жи де Сталь) <...>. Это — поколенное изображение сидящей знатной пожилой дамы в костюме и прическе начала XIX века. В портрете совершенно исключительны глубина и острая проникновенность психологической и индивидуальной характеристики. Без прикрас и уклонений от реальной правды, ярко и эпически просто очерчена определенная личность во всей сложности ее граней и проявлений, но не изолированной, а в органической связи с эпохой. Она вся живет перед зрителем своей реальной плотью, пламенеющей лавой своего темперамента — властного, резко подвижного, — размахом больших страстей, напряженностью и силой воли, блеском большого ума. Ее смуглое некрасивое и неправильное лицо: обрамленное черными локонами волос, — лицо южного склада, с большими темно-кариыми выпуклыми глазами, полными внутреннего огня и блеска жизни, высоко поднятыми и слегка надломленными дугами бровей, выступающими скулами, мускулистыми и крепкими; тонкий очерк носа с раздутыми чувственными ноздрями; большой рот с крупными губами, смягченный их ласковой, почти нежной полуулыбкой; наконец, быстрый, властный поворот головы, — все это привлекает не исправленной по определенному канону и вкусу художника красотой, а просто непосредственным ощущением любовно воспринятой и переданной правды жизни. Такой же правдой веет от странного сочетания увядающего лица с крепкой шеей и хорошо еще очерченными, но несколько грузными

формами тела, небольшими красивыми и энергичными руками, в которых особенно хороши, но в то же время вполне индивидуальны удлинённые кисти и пальцы. Их простая и реально-прекрасная характеристика гармонично заканчивает общее выражение портрета в грани реалистического и психологического синтеза [Бакушинский 1925: 10].

Перейдя к «формальным свойствам этого замечательного произведения искусства Боровиковского», Бакушинский продолжает свой неумеренно восторженный экфрасис анализом колористических особенностей полотна, среди которых «сверкающее многоцветное богатство новой палитры, правдивой, яркой, сильного мужского тембра, по-восточному горячего и резкого, особенно в желтоватых светах [sic!] и темно-оливковых тенях тела» и даже довольно загадочный «фарфоровый звук красочной поверхности». Из всей этой красоты достаточно неожиданно делается вывод: «Настоящий портрет, до сих пор бывший иконографической загадкой, как удалось мне установить и доказать, является изображением г-жи де Сталь. [Сноска:] Он должен быть отнесен к 1812 году — времени пребывания г-жи де Сталь в России» [Бакушинский 1925: 11].

Логика Бакушинского, по всей вероятности, такова: известно, что г-жа де Сталь в 1812 г. была проездом в России и, в частности, провела три недели в Петербурге. Она к этому времени была уже немолода — так же, как и героиня Боровиковского, — значит, на полотне изображена знаменитая французская писательница. Коль скоро Сталь была в Петербурге в 1812 г., значит, Боровиковский изобразил именно ее; а коль скоро он изобразил ее, значит, полотно следует датировать 1812 годом. Налицо некоторый замкнутый круг. Нетрудно понять, что двигало Бакушинским, когда он выдвинул свою гипотезу. Две знаменитости лучше, чем одна. Полотно работы Боровиковского — уже сокровище, но если на полотне прославленного живописца изображена не менее прославленная писательница, это должно повысить ценность полотна по меньшей мере вдвое.

Гипотезу Бакушинского приняли не все. В «Истории русского искусства» под редакцией И. Э. Грабаря осторожно указано: «Портрет неизвестной в тюрбане (г-жи де Сталь?)» [Грабарь 1960: 130]. Так же осторожно картина описана и в каталоге Третьяковской галереи, изданном в 1968 г. [Каменская и др. 1968: 120]. В подробнейшей биографии Боровиковского, выпущенной в 1975 г. Татьяной Алексеевой, интересующая нас картина определяется как портрет г-жи де Сталь, но после фамилии в скобках все-таки поставлен вопрос (такое же решение избрали и авторы последнего каталога Третьяковской галереи [Андреева и др. 2015: 96] и новейшего сборника статей о Цветковской галерее [Евсеева и др. 2020: 15]). Алексеева подробнейшим образом взвешивает аргументы за и против гипотезы Бакушинского. Она признает, что за четыре с лишним десятилетия, прошедшие со времени опубликования его статьи, «никаких документальных свидетельств, подтверждающих его определение, так и не было обнаружено» [Алексеева 1975: 274]¹. Однако исследовательница утверждает, что «если обратиться к описаниям внешности г-жи де Сталь, то эти описания поразительно совпадают с тем, что мы видим на портрете».

¹ Свидетельства не обнаружили к 1975 г., не появились они и за следующие полвека.

«Трудно не признать по этим описаниям, — пишет Алексеева, — сходства г-жи де Сталь с изображенной Боровиковским крупной, с энергичным, но некрасивым лицом черноволосой женщиной в тюрбане, оголенной, несмотря на свой немолодой возраст, и одетой по последней тогдашней европейской моде» [Алексеева 1975: 277].

Аргументы о тяжеловесной фигуре и мужеподобном лице г-жи де Сталь, которые искупались прекрасными глазами и прекрасными руками, еще можно принять; Бенжамен Констан, многолетний спутник жизни г-жи де Сталь, так описал ее в автобиографической повести «Сесиль» под именем г-жи де Мальбе:

Она была скорее приземиста, нежели высока ростом, чересчур плотна, чтобы быть стройной; черты неправильные и чересчур резкие, цвет лица далекий от совершенства, прекраснейшие в мире глаза, красивые руки, ладони, пожалуй, слишком большие, но отличавшиеся ослепительной белизной, великолепная грудь, чересчур скорые движения и чересчур мужественные позы... [Сталь 2017: 172].

Но вот аргумент о сходстве модели Боровиковского с французскими портретами г-жи де Сталь гораздо более сомнителен.

На мой взгляд, напротив, именно французские живописные портреты г-жи де Сталь вкупе с портретами словесными позволяют доказать неполное сходство модели Боровиковского с французской писательницей и, даже более того, их существенные различия. Значимых расхождений между полотном русского художника и французскими портретами несколько.

Начну с аргумента не самого главного, но весьма характерного — хотя бы потому, что к нему апеллирует Алексеева. Она пишет: «Показателен и тюрбан, в котором госпожа де Сталь запечатлена на многих портретах, — головной убор, еще не носившийся в то время русскими дамами» [Алексеева 1975: 277]. Последнее утверждение можно если не опровергнуть, то уточнить. Прославленная французская портретистка Элизабет Виже-Лебрен (1755–1842), которая провела в России шесть лет (1795–1801), уже в 1790-е годы рисовала многих русских дам (и себя саму) в тюрбанах, причем все это происходило задолго до приезда г-жи де Сталь в Россию. Среди прочих Виже-Лебрен в 1795 г. изобразила в тюрбане в виде сивиллы Екатерину Федоровну Долгорукову (урожд. княжну Барятинскую, 1769–1849), между прочим одну из тех русских дам, с которыми г-жа де Сталь общалась в Петербурге².

Но дело не только в этом. Тюрбаны могли быть разного цвета, однако г-жа де Сталь неизменно предпочитала тюрбан одного определенного цвета — разные мемуаристы определяют его как малиновый, алый, красный.

О «малиновом тюрбане» пишет в своих воспоминаниях, созданных в 1851 г., Сергей Семенович Уваров, общавшийся с Жерменой де Сталь в первой половине 1808 г. в Вене; о г-же де Сталь в «неизбежном алом тюрбане» вспоминает графиня де Бассанвиль [Bassanville 1868: 197]. Наконец, именно «красный тюрбан» поминает в «Автобиографических записках» Александра

² См. публикацию портрета: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Долгорукова,_Екатерина_Фёдоровна#/media/Файл:Ekaterina_Dolgorukaya_\(Baryatinsky\).jpg](https://ru.wikipedia.org/wiki/Долгорукова,_Екатерина_Фёдоровна#/media/Файл:Ekaterina_Dolgorukaya_(Baryatinsky).jpg).

Осиповна Смирнова-Россет [1989]. Сама она, конечно, г-жу де Сталь видеть не могла (Смирновой в 1812 г. было всего три года), но она безусловно транслирует то, что рассказывали о французской писательнице очевидцы, свидетели ее появления в России. Иначе говоря, художник, изображающий г-жу де Сталь, скорее всего написал бы ее в тюрбане красного цвета — меж тем дама на картине Боровиковского имеет на голове тюрбан того же голубовато-зеленоватого цвета, что и ее платье (впрочем, справедливости ради следует отметить, что существуют и изображения г-жи де Сталь в тюрбанах другого цвета; Пьер-Луи Бувье изобразил писательницу в светлом тюрбане, а Франсуа Жерар и Мари-Элеонора Годфруа надели на ее голову тюрбан красного цвета с белыми вкраплениями; о портретах, выполненных этими художниками, см. подробнее ниже). Именно светлый цвет тюрбана на портрете Боровиковского заставил усомниться в атрибуции Бакушинского Раису Кирсанову, блестящего знатока истории костюма [Кирсанова 1995: 285].

Но это далеко не единственное существенное несовпадение дамы на русском портрете с тем, что мы знаем о внешности реальной г-жи де Сталь. У писательницы была одна характерная и глубоко индивидуальная привычка. Она любила вертеть в руках какой-нибудь мелкий предмет — веер, веточку или листок бумаги. Мемуаристы на этот счет единодушны.

Уже упомянутый Сергей Семенович Уваров описывает госпожу де Сталь, какой он ее помнит:

Черные, как смоль, кудри выбивались из-под малинового тюрбана; плечи укутывала небрежно накинутая шаль; в руке она держала веер — любимую свою игрушку, которую при необходимости заменяла листом бумаги [Сталь 2017: 173].

В тот же 1808 г., когда с г-жой де Сталь познакомился Уваров, с ней общался известный полководец и остроумец принц де Линь, описавший ее следующим образом:

Лицо у нее было нехорошо: рот и нос совсем некрасивы. Зато восхитительные глаза блестяще умели выразить все возвышенные и энергические мысли, рождавшиеся в ее голове; красивы были у нее руки; поэтому она старалась привлечь к ним внимание собеседника и вертела ветку тополя с двумя-тремя листьями, чье шуршание, говорила она, вторит ее речам [Сталь 2017: 173–174].

О той же привычке всегда вертеть в руках веточку вспоминает и графиня де Буань [Boigne 1986: 172]. Кузина де Сталь, г-жа Неккер де Соссюр, написавшая биографический очерк о ней, которым открывается посмертное полное собрание сочинений писательницы, выпущенное ее сыном Огюстом де Сталем, называет «привычку крутить листок бумаги или веточку» единственным неизменным обыкновением своей родственницы [Necker de Saussure 1820: xxiv]. Госпожа Неккер де Соссюр возводит эту привычку Сталь к ее детским годам: Жермена Неккер с детства любила вырезать из бумаги королей и королев и разыгрывать трагедии; поскольку родители ей это запрещали, она занималась этим тайком; отсюда ее привычка свертывать в трубочку кусочки

бумаги и листья. Впрочем, объяснение принца де Линя (госпожа де Сталь вертела в руках листок бумаги, чтобы выигрышно показать свои руки, по всеобщему признанию очень красивые), по-видимому, ближе к действительности; ср. сходное мнение (выраженное более резко) в письме московского градоначальника Федора Васильевича Ростопчина к императору Александру I от 26 июля / 7 августа 1812 г.: «Поиграв умом и показав прекрасные руки, госпожа де Сталь уехала из Москвы» (Русский архив. 1875. Кн. 8. С. 400).

Привычка что-то вертеть в руках во время разговора была таким же каноническим атрибутом г-жи де Сталь, как и красный (алый) тюрбан, и предание о ней тоже передалось от современников потомкам. В повести «Рославлев» (1836) Пушкин, так же как и Смирнова-Россет, сам г-жу де Сталь не видевший, пишет: «Она [г-жа де Сталь] сидела на первом месте, облокотясь на стол, свертывая и развертывая прекрасными пальцами трубочку из бумаги» [Пушкин 1937–1949 (8): 151].

Иначе говоря, тот, кто сам видел г-жу де Сталь или слышал рассказы о ней, должен был непременно снабдить ее изображение соответствующим атрибутом. Именно так и поступали французские художники, писавшие ее либо с натуры, либо на основе достоверных визуальных документов. Первый случай — картина Маргариты Жерар (1805), изображающая г-жу де Сталь с дочерью Альбертиной (ил. 2). Одной рукой писательница обнимает дочь, а другой держит тоненькую зеленую веточку. Второй случай — знаменитое и чаще всего воспроизводимое в репродукциях полотно однофамильца Маргариты Жерар барона Франсуа Жерара. Этот большой парадный портрет г-жи де Сталь был сделан уже после ее смерти, но вышеупомянутая Альбертина де Сталь, к этому времени уже вышедшая замуж и ставшая герцогиней де Брой, предоставила художнику различные изображения своей матери, в частности бюст, который немецкий скульптор Христиан Фридрих Тик, брат прославленного драматурга Людвига Тика, изваял с натуры в 1808 г., когда гостил у г-жи де Сталь в ее швейцарском имении Коппе (ил. 3, 4). Сама Сталь говорила об этом бюсте, что его признают очень схожим с оригиналом [Balayé, Chastang 1966: 87]; того же мнения были родственники писательницы о полотне Жерара. Он написал портрет г-жи де Сталь после 1817 г. (точная дата не установлена), и когда полотно было закончено, герцогиня де Брой восхитилась достоверностью изображения. Так вот, на портрете работы Жерара, равно как и на его копии, изготовленной ученицей художника Мари-Элеонорой Годфруа (эти полотна часто путают; Сталь на них изображена очень схоже, разнятся только цвета платья, в которое она одета: у Жерара оно имбирного цвета, а у Годфруа — светло-бежевое), г-жа де Сталь держит в руке зеленую веточку (ил. 5, 6).

Итак, веточка в руке была неизменным и необходимым атрибутом г-жи де Сталь, но Боровиковский изобразил свою героиню с пустыми руками. Есть и еще одно существенное и заметное различие между дамой на полотне Боровиковского и французскими портретами г-жи де Сталь. Героиня Боровиковского очень богато декорирована. Голову ее ниже тюрбана опоясывает широкое жемчужное бандо, в ушах жемчужные серьги, на шее жемчужное ожерелье, на руке браслет. Ничего подобного мы не видим ни на портрете Жерара/Годфруа, ни на полотне Маргариты Жерар, ни на миниатюре Пьера-Луи Бувье

(1816) и его же гравюре, сделанной с этой миниатюры (1817) (ил. 7, 8), между тем схожестью миниатюры Бувье с оригиналом восхищался, например, такой многолетний друг г-жи де Сталь, как швейцарский литератор Анри Мейстер (1744–1826) [Balayé, Chastang 1966: 127]. На всех этих портретах писательница изображена без единого украшения.



Ил. 2. *Маргарита Жерар. Г-жа де Сталь с дочерью (1805)*

Fig. 2. *Marguerite Gérard. Mme de Staël and her daughter Albertine (1805)*



Ил. 3. Христиан Фридрих Тик
Подготовительный рисунок
к бюсту 2-жи де Сталь (1808)

Fig. 3. Christian Friedrich Tieck.
Preparatory drawing
for the bust of Mme de Staël (1808)



Ил. 4. Христиан Фридрих Тик
Бюст 2-жи де Сталь (1808)

Fig. 4. Christian Friedrich Tieck.
The bust of Mme de Staël (1808)



Ил. 5. Франсуа Жерар. Портрет г-жи де Сталь (после 1817 г.)

Fig. 5. François Gérard. Portrait of Mme de Staël (after 1817)

Одним словом, если на картине Боровиковского в самом деле г-жа де Сталь, приходится предположить, что, позируя русскому художнику, она нарочно изменила своим привычкам.

Впрочем, именно с позированием и возникает самая большая проблема. Как уже было сказано, Бакушинский выдвинул свою гипотезу о том, что на портрете Боровиковского изображена г-жа де Сталь, основываясь прежде всего на общеизвестном факте, что летом 1812 г. она оказалась в России, в частности в Петербурге. Напомню, какие обстоятельства привели ее в Российскую империю.



Ил. 6. Мари-Элеонора Годфруа. Портрет г-жи де Сталь
Копия с портрета Жерара

Fig. 6. Marie Eléonore Godefroid. Portrait of Mme de Staël (after 1817)



Ил. 7. Пьер-Луи Бувье. Г-жа де
Сталь. Миниатюра (1816)

Fig. 7. Pierre-Louis Bouvier
Mme de Staël. Miniature (1816)



Ил. 8. *Пьер-Луи Бувье. Гравюра с миниатюры 1816 г. (1817)*

Fig. 8. *Pierre-Louis Bouvier. Engraving from a miniature of 1816 (1817)*

Начать нужно издалека. Жермена де Сталь, дочь министра финансов Жака Неккера, чья отставка по приказу короля Людовика XVI накануне 14 июля 1789 г. была крайне негативно воспринята французским обществом и стала одним из поводов к взятию Бастилии, исповедовала умеренно республиканские убеждения и сочувствовала революции на первых порах (но, разумеется, не на той стадии, когда революция переросла в якобинский террор). Поэтому, когда генерал Бонапарт произвел свой переворот 18 брюмера, Сталь поначалу возлагала большие надежды на то, что он сохранит во Франции республику, но не даст ей вновь скатиться к якобинским крайностям. Немалую роль играла и симпатия г-жи де Сталь, склонной восхищаться героическими личностями, к молодому Первому консулу. Однако она надеялась, что Бонапарт будет прислушиваться к советам ее самой и ее либеральных единомышленников, между тем Первый консул был к этому менее всего склонен; он и от мужчин далеко не всегда готов был принимать политические советы, женщину же в этой роли он тем более не желал видеть. Это расхождение запечатлено в известных анекдотах об их неудачном общении в свете. Согласно пушкинскому наброску «Мы проводили вечер на даче...», г-жа де Сталь спросила у Наполеона, «кого почитает он первою женщиною в свете», а тот, не желая понять намек, отвечал: «Ту, которая народила более детей» [Пушкин 1937–1949 (8): 421]; по рассказу графа Федора Головкина, Бонапарт взглянул на глубокое декольте г-жи де Сталь и спросил, кормила ли она сама своих детей грудью, а г-жа де Сталь смешалась и не нашла, что сказать [Golovkine 1905: 378].

Но к анекдотическим диалогам дело не сводилось. Расхождения Наполеона с г-жой де Сталь коренились в их политических убеждениях. Англофильство и республиканизм г-жи де Сталь противоречили имперским замашкам Наполеона, ее проповедь индивидуальной свободы и энтузиазма — его теории «государственного интереса» и его цинизму диктатора. В начале своего правления Бонапарт, как признавала сама г-жа де Сталь, подвергал цензуре газеты, но не книги, потому что «газеты оказывают влияние на народные массы, книги же читаются исключительно людьми образованными» [Сталь 2017: 36]. Тем не менее после того как г-жа де Сталь выпустила в декабре 1802 г. роман «Дельфина», который посвятила «молчаливой, но просвещенной Франции» [Там же: 284], Первый консул в феврале 1803 г. запретил ей жить в Париже, а в октябре того же года приказал покинуть Францию. Эта борьба всемогущего правителя с немолодой женщиной, которая не замышляла никаких переворотов и противопоставляла деспоту только свои убеждения и свои литературные произведения, продолжалась вплоть до 1812 г. Г-же де Сталь было где жить: родительское поместье Коппе в швейцарском кантоне Во оставалось в ее распоряжении. Но ей в прямом смысле слова как воздух требовалась атмосфера парижских салонов, парижской беседы. И вот в удовлетворении этой потребности Наполеон, уже ставший императором, ей отказывал. Когда сын писательницы Огюст де Сталь в конце 1807 г. выпросил у него аудиенцию и попытался добиться для матери разрешения проводить хотя бы часть года во французской столице, Наполеон ответил отказом. Он не скрыл, что боится «шуточек» г-жи де Сталь, ее разговоров, которые «испортят» людей из его окружения. А когда Огюст де Сталь возразил, что его мать не занимается политикой и разговаривать будет только о литературе, император возмущенно воскликнул: «Ах вот оно что! Литература! И вы думаете, что я этому поверю!.. О чем бы ни велись разговоры — о литературе, о морали, об искусстве, — все это политика. Дело женщин — вязание» [Там же: 178].

Г-жа де Сталь, однако, вязанием заниматься не собиралась, она продолжала писать книги, и эти книги по-прежнему решительно не нравились императору. Осенью 1810 г. уже отпечатанный тираж ее книги «О Германии» (плода вынужденного путешествия по германским государствам, которое началось в 1803 г., когда Бонапарт изгнал г-жу де Сталь из Франции) был пущен под нож, рукопись и оттиски у писательницы изъяли, а ей самой было вновь предписано в течение 48 часов покинуть Францию. Причина состояла в том, что убеждения сочинительницы чужды наполеоновской «генеральной линии». Министр полиции Савари так объяснял это в письме к Сталь: «Я счел, что воздух нашей страны Вам не подходит, мы же не дошли еще до того, чтобы брать за образцы народы, кои Вас приводят в восхищение. Последнее сочинение Ваше писано не французским пером» [Сталь 2017: 98]. Одна из таких крамольных фраз, писанных не французским пером и прогневивших парижских цензоров, звучала следующим образом: «Надеюсь, мы не хотим окружить литературную Францию великой китайской стеной, которая оградила бы ее от любых новых идей» [Там же: 184]. Г-же де Сталь пришлось в очередной раз покинуть Францию; летом она жила в Коппе, на территории Швейцарии, а зиму проводила в Женеве, которая в это время принадлежала Франции и была столицей новосозданного департамента Леман. Сталь хотела уехать в Америку, но император

не позволил ей добраться до какого-либо французского порта. Пребывание в Женеве и даже в Коппе становилось небезопасно, г-жа де Сталь всерьез опасалась, что император может ее арестовать. И замыслила тайно бежать. 23 мая 1812 г. они с дочерью сели в экипаж; обе держали в руках только веера, никаких вещей у них не было; слугам они сказали, что вернутся к обеду. Так началось долгое путешествие, конечной целью которого была «территория свободы», неподвластная Наполеону и враждебная ему, — Англия. Чтобы попасть туда, г-же де Сталь пришлось пересечь Австрию и Россию, перебраться в Швецию, а уже оттуда отплыть в Англию. Путешествие заняло почти целый год. 14 июля, в знаменательный день, г-жа де Сталь и ее спутники (дочь Альбертина, сын Альбер, возлюбленный Джон Рокка, друг дома Август Вильгельм Шлегель и слуги) пересекли русско-австрийскую границу в Бродях³, 21 июля прибыли в Киев, 2 августа оказались в Москве, 13 августа приехали в Петербург, где пробыли до 7 сентября, 16 сентября отплыли из финского Або в Стокгольм, куда прибыли 24 сентября, а через полгода, 18 июня 1813 г., наконец добрались до Лондона, где в ноябре г-жа де Сталь сумела выдать в свет уничтоженную книгу «О Германии» (к счастью, ей удалось сохранить и провезти через всю Европу два экземпляра отпечатанных листов книги). А еще через полгода армии союзников вступили в столицу Франции, Наполеон отрекся от престола, и 12 мая 1814 г. г-жа де Сталь вернулась в Париж. Предысторию своих взаимоотношений с императором и свое путешествие по Европе Сталь сама описала в мемуарной и автобиографической книге «Десять лет в изгнании», которая, впрочем, осталась незаконченной (над первой частью Сталь работала еще в Коппе до 1812 г.; вторая, посвященная путешествию, создавалась в Стокгольме и в Лондоне, но потом писательницу отвлек другой замысел — книга «Размышления о Французской революции»). Книгу «Десять лет в изгнании» издал уже после смерти матери, в 1821 г., Огюст де Сталь⁴.

Все это длинное отступление было необходимо, чтобы объяснить, как г-жа де Сталь оказалась в России и, в частности, в Петербурге. Здесь она провела три недели и успела увидеть довольно много: памятник Петру I (который, впрочем, не произвел на нее особого впечатления), Казанский собор, Александрово-Невскую лавру, Елагин остров, Таврический дворец, Кунсткамеру, Монетный двор, Петропавловский собор, Царское Село. Она побывала на представлении трагедии Владислава Озерова «Дмитрий Донской» и, главное, удостоилась беседы с императором Александром, в ходе которой сказала ему: «В Вашей империи конституцией служит Ваш характер, а порукой в ее исполнении — ваша совесть», на что император ответил: «Даже если это правда, человек не более, чем счастливая случайность» [Сталь 2017: 156]. Все свои визиты и беседы г-жа де Сталь подробно описала в книге «Десять лет в изгнании», но ни единым словом не упомянула там о каком бы то ни было сеансе позирования художнику. Можно было бы предположить, что сеанс у художника не упомянут в книге как событие слишком незначительное, не встраивающееся в «концептуальную» картину России, которую Сталь предлагает читателю. Однако мы располагаем еще одним свидетельством писательницы о ее пребывании в России. Это дневник, который она вела непосредственно во

³ Здесь и далее даты даны по григорианскому календарю.

⁴ См. русский перевод: [Сталь 2017].

время путешествия и который в 1971 г. издала известная исследовательница ее творчества и биографии Симона Балеяе. Там запечатлены мельчайшие подробности, и те, которые затем в амплифицированном виде оказались в книге «Десять лет в изгнании», и те, которые в книгу не вошли, как, например: «Возница, доставивший нас в Або,пил шоколад» или:

По дороге из Киева в Москву мы встретили православного попа, который говорил по-латыни и читал наизусть стихи Гомера. Мы спросили у него, что он думает о Наполеоне. «Это бич Божий, который Господь изломает, когда дело будет сделано». Он угостил нас лимонами [Balayé 1971: 334, 326].

Но и в дневнике о сеансе позирования у художника г-жа де Сталь ничего не говорит.

Таким образом, если даже предположить, что Боровиковский в самом деле изобразил знаменитую французскую писательницу, следует признать, что он ее не видел, а писал портрет с чужих слов, причем и информаторы его тоже знали г-жу де Сталь весьма поверхностно и даже не заметили ее привычку вертеть что-то в руках.

Т. В. Алексеева предполагает, что г-жа де Сталь не упомянула о сеансе позирования, потому что ее не интересовал безвестный (для нее) русский художник, и приводит в качестве параллели случай Дени Дидро, который «побывав в Петербурге, ни словом не обмолвился о Левицком, создавшем его портрет» [Алексеева 1975: 289], однако Дидро ведь не оставил такого подробного дневникового свидетельства о своей петербургской жизни, как госпожа де Сталь. Если она занесла в дневник возницу с шоколадом и попа с лимонами, можно более или менее уверенно предположить, что и сеанс позирования удостоился бы хотя бы короткого упоминания — если бы он имел место в действительности.

Есть и еще некоторые возражения против кандидатуры г-жи де Сталь. Одно из них — сугубо физиогномическое. Александр Бенуа в своем описании картины Боровиковского, сделанном еще до того, как в ее героине начали прозревать г-жу де Сталь, совершенно справедливо отметил, что у дамы, изображенной русским художником, «восточное смуглое лицо». О «лице южного склада» пишет и Бакушинский, не задаваясь вопросом, откуда, собственно, у Жермены де Сталь, урожденной Неккер, дочери Жака Неккера, сына бранденбургского адвоката, ставшего гражданином Женевской Республики, и Сюзанны Кюршо, дочери пастора из кантона Во, такие восточные или южные черты лица (судя по портретам, ни у Неккера, ни у его супруги ничего восточного или южного в лице не наблюдалось). А меж тем Бенуа был совершенно прав, героиня Боровиковского действительно имеет восточный облик, каким не может похвастать г-жа де Сталь ни на одном из французских портретов.

Отдельно отмечу и проблему волос. У г-жи де Сталь они, по всеобщему признанию мемуаристов, были вьющиеся. Шарль де Ремюза в 1814 г. увидел на ее голове «бульон из черных вьющихся волос, всклокоченных, а не завитых» [Rémusat 1958: 357], Уваров отмечает, что из-под пресловутого малинового тюрбана выбивались «черные, как смоль, кудри», а Бакушинский, как бы вторя им, упоминает в своем экфрасисе «черные локоны волос», однако дело в

том, что настоящие кудри-локоны видны только на французских изображениях настоящей г-жи де Сталь: у Маргариты Жерар, у Франсуа Жерара и у Мари-Элеоноры Годфруа, у Бувье и у Тика (как на бюсте, так и на подготовительном рисунке к нему). Но вот Боровиковский практически не показал волос своей модели; видно, что они темные, но выющиеся или нет — об этом можно только гадать, поскольку тюрбан прикрывает их почти полностью (на французских портретах они, напротив, из-под тюрбана выбиваются).

И наконец, последняя деталь, которая приводит в недоумение даже тех, кто склонен считать даму на портрете именно г-жой де Сталь, — присутствие на портрете за спиной героини бюста императрицы Екатерины II. Эти исследователи признают, что естественнее было бы изобразить рядом с французской писательницей русского монарха, с которым она общалась в 1812 г., — Александра I. Однако замена Александра его бабушкой не заставляет этих авторов отклонить кандидатуру Сталь. А. И. Архангельская (почему-то перекрестившая Жермену в Маргариту) просто констатирует: «Но Боровиковский поступил иначе, он нашел более уместным изобразить известную французскую писательницу рядом с бюстом русской императрицы, литературная деятельность которой была известна во Франции» [Архангельская 1946: 45]. Т. В. Алексеева действует более изощренно. Начав с утверждения, что либеральная писательница, «пламенная республиканка и ненавистница деспотизма», «не могла позволить изобразить себя рядом с русской самодержицей, обдуманно и последовательно расправлявшейся со всеми проявлениями свободомыслия в подвластном ей обществе», затем она утверждает, что лицемерный Александр очаровал француженку своим показным либерализмом и так же лицемерно внушил ей симпатию к своей бабке-императрице:

Принимая во внимание эту поразительную aberrацию чувств и зрения госпожи де Сталь во всем, что касалось Александра, и ту фальшивую позу скромности, в которой он стоял перед ней, нет ничего невероятного, как нам кажется, если она не высказала никакого возмущения против изображения на фоне своего портрета Екатерины II, столь часто, вероятно, упоминавшейся в разговорах с ней императором. Следует вспомнить, что и сама Екатерина не менее искусно, чем ее внук, умела добиваться расположения и доверия французских просветителей, порождая и у Дидро, и у Гримма, и у Вольтера ложные представления о «просвещенности» своего правления. Она вполне имела бы основания рассчитывать на сочувствие и г-жи де Сталь. В свою очередь, и писательница при посещении Царского Села высказала свое восхищение Екатериной II и позже в сочинении «Десять лет в изгнании» нарисовала идеализированный образ русской императрицы [Алексеева 1975: 281–282].

Последнее совершенно верно. Во второй части своей книги Сталь пишет:

Я отдала дань уважения памяти Екатерины Второй, побывав в ее загородной резиденции Царское Село. «...» Все, что известно о Екатерине Второй как правительнице, вызывает восхищение; не знаю, кому более обязаны русские сознанием собственной непобедимости,

тем сознанием, что лежит в основе их триумфов, — Екатерине или Петру I. Очарование женщины умеряло в Екатерине Второй твердость властительницы и придавало подвигам, совершаемым в ее честь, оттенок рыцарской учтивости. В деяниях государственных императрица эта выказывала безупречный здравый смысл; будь ее высокий ум более блестящим, он бы меньше походил на гений и внушал бы меньшее почтение русским, которые не доверяют собственному воображению и рады покорить его воле мудрого владыки [Сталь 2017: 162]⁵.

Однако анализируя вообще все отзывы Сталь о русском быте и русских людях вплоть до коронованных особ, с которыми она встретилась в России, следует помнить о том историческом моменте, когда она попала в Российскую империю. Наполеон, от которого она бежала, как раз в это время вторгся в Россию, и Россия вела с ним войну; Россия предоставила гонимой писательнице временную защиту, и парадоксальным образом Российская империя оказалась (или показалась?) в этот момент одной из свободнейших стран Европы. Сталь прекрасно осознавала, насколько удивительна эта «перемена декораций»; вторую часть книги «Десять лет в изгнании», носящую название «Пребывание в России», она начинает с признания:

До сих пор никому не приходило в голову считать Россию самой свободной из европейских держав, однако гнет, тяготеющий по вине французского императора над всеми странами нашего континента, так силен, что, оказавшись в стране, над которой Наполеон не властен, чувствуешь себя, словно в республике [Сталь 2017: 133].

Сталь испытывала к России и императору Александру чувство живейшей благодарности, которое окрашивает весь ее рассказ о России (попади она сюда при других обстоятельствах, она, возможно, судила бы о русской жизни более критически — но при других обстоятельствах она бы в Россию, скорее всего, вовсе не попала). Это хорошо почувствовал Пушкин, в 1825 г. вставший на защиту писательницы от нападок Александра Муханова, который, усмотрев в финальных страницах «Десяти лет в изгнании» множество ошибок в описании Финляндии, в журнале «Сын отечества» (1825. № 10. С. 151–157) назвал г-жу де Сталь «барыней», а ее сочинение уподобил «пошлому пустомельству щепетильных французи́ков» [Пушкин 1937–1959 (11): 28]. Пушкин счел тон Муханова непозволительным и в том же 1825 г. напечатал в «Московском телеграфе» статью «О г-же Сталь и о г. А. М-ве», которую начал следующим образом:

Из всех сочинений г-жи Сталь книга «Десятилетнее изгнание» должна была преимущественно обратить на себя внимание русских.

⁵ Я сама в комментариях к этому фрагменту книги «Десять лет в изгнании» [Сталь 2017: 419] написала, что бюст Екатерины не может служить аргументом против отождествления героини портрета Боровиковского с госпожой де Сталь, потому что об императрице писательница отозвалась очень лестно. Пользуясь случаем уточнить свою позицию: возможно, это в самом деле не главный аргумент против, но и назвать его аргументом за, как это делает Алексеева, тоже затруднительно.

Взгляд быстрый и проницательный, замечания разительные по своей новостности и истине, благодарность и доброжелательство, водившие пером сочинительницы, — всё приносит честь уму и чувствам необыкновенной женщины. Вот что сказано о ней в одной рукописи: «Читая ее книгу *Dix ans d'exil*, можно видеть ясно, что, тронутая ласковым приемом русских бояр, она не высказала всего, что бросалось ей в глаза. Не смею в том укорять красноречивую, благородную чужеземку, которая первая отдала полную справедливость русскому народу, вечному предмету невежественной клеветы писателей иностранных». Эта снисходительность, которую не смеет порицать автор рукописи, именно и составляет главную прелесть той части книги, которая посвящена описанию нашего отечества. Г-жа Сталь оставила Россию как священное убежище, как семейство, в которое она была принята с доверенностию и радушием. Исполняя долг благородного сердца, она говорит об нас с уважением и скромностию, с полнотою душевною хвалит, порицает осторожно, *не выносит сора из избы*. Будем же и мы благодарны знаменитой гостье нашей: почитим ее славную память, как она почтила гостеприимство наше... [Пушкин 1937–1959 (11): 27].

Ссылка на «одну рукопись» — скорее всего, не более чем литературный прием; это мысль и слова самого Пушкина, который понимает, что г-жа де Сталь не сказала всего, что думает, но не склонен ее за это осуждать.

Так вот, похвалы Екатерине II также, по-видимому, наполовину искренни, наполовину же сделаны из вежливости. Но дело даже не в этом. Бюст Екатерины на своем месте, когда он изображен на заднем плане другого полотна работы Боровиковского — знаменитого портрета Александра I (1807–1808). Там он призван символизировать преемственность политики Александра и его бабки — преемственность, о которой сам Александр охотно объявлял. Но что мог он символизировать на портрете г-жи де Сталь? Т. В. Алексеева, чтобы объяснить его присутствие там, прибегает к, так сказать, гипотезе второй степени: первая — что на полотне Боровиковского изображена г-жа де Сталь; вторая — что портрет сделан по повелению Александра I и бюст Екатерины II должен был напомнить Европе, что он, Александр, такой же просвещенный монарх, как и его бабка: «Портрет госпожи де Сталь — воинственной обличительницы наполеонова деспотизма — должен был служить прославлению достоинств Александра, усиливать блеск в венце его славы либерального монарха» [Алексеева 1975: 286]. Конструкция слишком сложная, чтобы быть правдоподобной. Вдобавок предположение, что портрет де Сталь заказал Боровиковскому сам император Александр, которое осторожно высказывает Алексеева, входит в противоречие с ее же собственным утверждением (приведенным выше) о том, что Сталь не упомянула в дневнике о сеансе позирования, потому что не знала и не уважала Боровиковского. Художника она, допустим, могла не упомянуть как персону незначительную, но о венценосном заказчике своего портрета упомянула бы наверняка — если бы предположение о таком заказе было правдой.

И в заключение приведу наиболее субъективный аргумент, с которым, однако, должен, на мой взгляд, согласиться всякий, кто непредвзято сопоставит



Ил. 9. Жан-Батист Изабе. Карандашный портрет г-жи де Сталь в 1797 г. (1810)

Fig. 9. Jean-Baptiste Isabey. Pencil portrait of Mme de Staël in 1797 (1810)

картину Боровиковского с любым французским изображением г-жи де Сталь: они просто не похожи; у Боровиковского изображена другая женщина, имеющая с г-жой де Сталь лишь некоторые общие черты (немолодой возраст, массивность фигуры). И при всем уважении к Т. В. Алексеевой, нельзя не отметить, что в ее рассуждениях присутствует некое извращение логики: у Боровиковского, пишет она,

...чувствуется полнокровное непосредственное восприятие, позволяющее воплотить живой, при всей его возвышенности, и жизненно-характерный образ. Это выгодно отличает портрет Боровиковского от изображений госпожи де Сталь, сделанных Э.-Л. Виже-Лебрен, Ф. Жераром, Ж. Изабе или М. Жерар, как правило, сугубо идеализированных и слащаво-холодных [Алексеева 1975: 286].

Иначе говоря, Боровиковский, который скорее всего вообще не видел г-жу де Сталь и, возможно, написал вовсе не ее, все равно ближе к «правде жизни», чем французские художники, писавшие Сталь с натуры или по достоверным изображениям. В самом деле, и на уже упоминавшихся портретах, и на каран-



Ил. 10. Элизабет Виже-Лебрен. Портрет г-жи де Сталь
в образе Коринны на Мизенском мысу (1809)

Fig. 10. Élisabeth Vigée-Lebrun. Portrait of Mme de Staël as Corinna
on Cape Mizen (1809)

дашном портрете Жермены де Сталь в тридцать лет, который в 1810 г. [Balayé, Chastang 1966: 44] выполнил Жан-Батист Изабе (ил. 9), и на знаменитом полотне Виже-Лебрен «Коринна на Мизенском мысу» (1809) (ил. 10), где г-жа де Сталь изображена в виде поэтессы-импровизаторши, которую она сделала героиней своего романа «Коринна, или Италия» (1809), она совсем не похожа на героиню Боровиковского. Но вряд ли стоит выводить из этого, что ошибались все французы, а прав был один Боровиковский.

Впрочем, эта непохожесть совершенно не смущает современных французских исследователей, которые с уверенностью выставляют под репродукцией с картины Боровиковского подпись «Госпожа де Сталь» без всяких знаков вопроса в скобках. Мари де Брюшар, автор заметки о г-же де Сталь на сайте napoleon.org, пишет как о доказанном факте, что «портрет, который Владимир Боровиковский выполнил во время пребывания писательницы в России, позволяет нам понять, что черты лица у нее были куда более зрелые, чем на полотне Жерара, изобразившего г-жу де Сталь гораздо более юной» [de Bruchard

2017]. Точно так же обходится без знака вопроса автор новейшей биографии писательницы Мишель Винок, который вдобавок расположил рядом, en regard, работы Мари-Элеоноры Годфруа и Боровиковского [Winock 2010: 91]. Между тем когда две дамы смотрят друг на друга, полуулыбка, тонко подчеркнутая на лице героини русского портрета Александром Бенуа, внезапно обретает совершенно определенный смысл. «Я не она», — как бы говорит дама в голубовато-зеленом тюбане.

И мне не остается ничего другого, как с ней согласиться.

Источники

- Пушкин 1937–1959 — *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 16 т. М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1937–1959.
- Смирнова-Россет 1989 — *Смирнова-Россет А. О.* Дневник. Воспоминания. М.: Наука, 1989.
- Сталь 2017 — *Сталь Ж. de.* Десять лет в изгнании / Пер., вступ. ст. и примеч. В. А. Мильчиной. СПб.: Крига, 2017.
- Bassanville 1868 — *Bassanville A. de.* Les Salons d'autrefois. Souvenirs intimes. Paris: P. Brunet, 1868.
- Boigne 1986 — *Boigne A. de.* Mémoires / Éd. par J.-C. Berchet. Paris: Mercure de France, 1986.
- Golovkine 1905 — *Golovkine F.* La cour et le règne de Paul I^{er}. Paris: Plon-Nourrit, 1905.
- Necker de Saussure 1820 — *Necker de Saussure A.-A.* Notice sur le caractère et les écrits de Madame de Staël // *Staël G. de.* Œuvres complètes de Madame la baronne de Staël, publiées par son fils. T. 1. Paris: Treuttel et Würtz, 1820. P. i–ccclxi.
- Rémusat 1958 — *Rémusat Ch. de.* Mémoires de ma vie / Présentés et annotés par Ch. H. Pouthas. T. 2. Paris: Plon, 1958.

Литература

- Алексеева 1975 — *Алексеева Т. В.* Владимир Лукич Боровиковский и русская культура на рубеже 18–19 веков. М.: Искусство, 1975.
- Андреева и др. 2015 — Государственная Третьяковская галерея: Каталог собрания. 2-е изд., доп. и перераб. Т. 2: Живопись XVIII века / [Авт.-сост. Г. Б. Андреева и др.]. М.: Гос. Третьяковская галерея, 2015. (Живопись XVIII–XX веков).
- Архангельская 1946 — *Архангельская А. И.* Боровиковский. М.: Гос. Третьяковская галерея, 1946.
- Бакушинский 1925 — *Бакушинский А. В.* Живопись и рисунки XVIII и XIX столетий в Цветковской галерее. М.; Л.: Гос. изд-во, 1925. (Загл. на обл.: Живопись и рисунки XVIII и XIX века в Цветковской галерее).
- Бенуа 1995 — *Бенуа А.* История русской живописи в XIX веке. М.: Республика, 1995.
- Грабарь 1960 — История русского искусства: В 13 т. / Под общ. ред. И. Э. Грабаря. Т. 7. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1960.
- Евсеева и др. 2020 — Иван Цветков и его галерея / [Сост. Е. Д. Евсеева и др.]. М.: Гос. Третьяковская галерея, 2020.
- Каменская и др. 1968 — Древнерусское искусство. Искусство XVIII века и первой половины XIX века: Путеводитель / [Сост. Е. Ф. Каменская и др.]. М.: Сов. художник, 1968.

- Кирсанова 1995 — *Кирсанова Р. М.* Костюм в русской художественной культуре 18 — первой половины 20 вв. (опыт энциклопедии). М.: Большая рос. энциклопедия, 1995.
- Перечень 1904 — Перечень картин и рисунков собрания И. Е. Цветкова. М.: Типо-лит. т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1904.
- Перечень 1915 — Перечень художественных произведений Цветковской галереи. 2-е изд. М.: [б. и.], 1915.
- Тарасов 1909 — *Тарасов Н. Г.* Цветковская галерея в Москве // Старые годы. 1909. Декабрь. С. 657–688.
- de Bruchard 2017 — *Bruchard M. de.* Portrait de Germaine Necker, Baronne de Staël-Holstein, dite Madame de Staël (1766–1817) // Napoleon.org. 2017. URL: <https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/tableaux/portrait-de-germaine-necker-baronne-de-stael-holstein-dite-madame-de-stael-1766-1817>.
- Balayé 1971 — *Balayé S.* Les carnets de voyage de Madame de Staël. Contribution à la genèse de ses œuvres. Genève: Droz, 1971.
- Balayé, Chastang 1966 — Madame de Staël et l'Europe: [Catalogue] / [Réd. par S. Balayé, M. L. Chastang]. Paris: Bibliothèque nationale, 1966.
- Winock 2010 — *Winock M.* Madame de Staël. Paris: Fayard, 2010.

References

- Alekseeva, T. V. (1975). *Vladimir Lukich Borovikovskii i russkaia kul'tura na rubezhe 18–19 vekov* [Vladimir Lukich Borovikovsky and Russian culture at the turn of the 18th–19th centuries]. *Iskusstvo*. (In Russian).
- Andreeva, G. B. et al. (Eds.) (2015). *Gosudarstvennaia Tret'iakovskaia galereia: Katalog sobraniia* [Tretyakov State Gallery: Catalogue of the collection] (2nd ed., enl. and rev.), Vol. 2, *Zhivopis' XVIII veka* [Painting of the 18th century]. Gosudarstvennaia Tret'iakovskaia galereia. (In Russian).
- Arkhangel'skaia, A. I. (1946). *Borovikovskii* [Borovikovsky]. Gosudarstvennaia Tret'iakovskaia galereia. (In Russian).
- Bakushinskii, A. V. (1925). *Zhivopis' i risunki XVIII i XIX stoletii v Tsvetkovskoi galeree* [Paintings and drawings of the 18th and 19th centuries in the Tsvetkov Gallery]. Gosudarstvennoe izdatel'stvo. (In Russian).
- Balayé, S. (1971). *Les carnets de voyage de Madame de Staël. Contribution à la genèse de ses œuvres*. Droz. (In French).
- Balayé, S., & Chastang, L. (Eds.) (1966). *Madame de Staël et l'Europe*. Bibliothèque nationale. (In French).
- Benua, A. (1995). *Istoriia russkoi zhivopisi v XIX veke* [History of Russian painting in the 19th century]. Respublika. (In Russian).
- Bruchard, M. de. (2017). Portrait de Germaine Necker, Baronne de Staël-Holstein, dite Madame de Staël (1766–1817). *Napoleon.org*. <https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/tableaux/portrait-de-germaine-necker-baronne-de-stael-holstein-dite-madame-de-stael-1766-1817>. (In French).
- Evseeva, E. D. et al. (Eds.) (2020). *Ivan Tsvetkov i ego galereia* [Ivan Tsvetkov and his gallery]. Gosudarstvennaia Tret'iakovskaia galereia. (In Russian).
- Grabar', I. E. (Ed.) (1960). *Istoriia russkogo iskusstva* [History of Russian art] (Vol. 7). Izdatel'stvo Akademii nauk SSSR. (In Russian).
- Kamenskaia, E. F. et al. (Eds.) (1968). *Drevnerusskoe iskusstvo. Iskusstvo XVIII veka i pervoi poloviny XIX veka: Putevoditel'* [Old Russian art. Art of the 18th century and the first half of the 19th century: A guide]. Sovetskii khudozhnik. (In Russian).

- Kirsanova, R. M. (1995). *Kostium v russkoi khudozhestvennoi kul'ture 18 — pervoi poloviny 20 vv. (opyt entsiklopedii)* [Costume in Russian artistic culture of the 18th — first half of the 20th centuries (an attempt at an encyclopedia)]. Bol'shaia rossiiskaia entsiklopediia. (In Russian).
- Perechen' kartin i risunkov sobraniia I. E. Tsvetkova* (1904) [List of paintings and drawings from the collection of I. E. Tsvetkov]. Tipo-litografiia tovarishchestva I. N. Kushnerev i K^o. (In Russian).
- Perechen' khudozhestvennykh proizvedenii Tsvetkovskoi galerei* (1915) [List of art works of the Tsvetkov Gallery] (2nd ed.) (n. e.). (In Russian).
- Tarasov, N. G. (1909). Tsvetkovskaia galereia v Moskve [Tsvetkov Gallery in Moscow]. *Starye gody, 1909* (December), 657–688. (In Russian).
- Winock, M. (2010). *Madame de Staël*. Fayard. (In French).

* * *

Информация об авторе

Вера Аркадьевна Мильчина

кандидат филологических наук
ведущий научный сотрудник, Институт
высших гуманитарных исследований
им. Е. М. Мелетинского, Российский
государственный гуманитарный
университет
Россия, 125047, Москва, ул. Чаянова, д. 15
Тел.: +7 (499) 250-66-68
ведущий научный сотрудник,
Лаборатория историко-культурных
исследований, Школа актуальных
гуманитарных исследований, Институт
общественных наук, Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ
Россия, 119571, Москва, пр-т Вернадского,
д. 84
Тел.: +7 (499) 956-96-47
✉ vmilchina@gmail.com

Information about the author

Vera A. Milchina

Cand. Sci. (Philology)
Leading Researcher, Institute for Advanced
Studies in the Humanities, Russian State
University for the Humanities
Russia, 125047, Moscow, Chayanova Str., 15
Tel.: +7 (499) 250-66-68
Leading Researcher, Center for Studies
in History and Culture, School of Advanced
Studies in the Humanities, Institute for
Social Sciences, The Russian Presidential
Academy of National Economy and Public
Administration
Russia, 119571, Moscow,
Prospekt Vernadskogo, 84
Tel.: +7 (499) 956-96-47
✉ vmilchina@gmail.com

О. Б. Вайнштейн

ORCID: 0000-0002-1753-4848

✉ katermur@gmail.com*Российский государственный
гуманитарный университет (Россия, Москва)*

«WHY DID SHE PROVOKE SO MUCH HOSTILITY?»: что огорчало Миранду Сеймур, когда она писала биографию леди Оттолайн Моррелл

Аннотация. В центре статьи — анализ эмоциональных контекстов биографии леди Оттолайн Моррелл (1873–1938), написанной известным автором Мирандой Сеймур (1992). Основная исследовательская эмоция в этой биографии — досада, печаль и сожаление. Поводом для этого является «несправедливое» изображение леди Оттолайн Моррелл в мемуарах и в художественных текстах, причем в подавляющем большинстве случаев она изображена в иронически-пародийном ключе. Особое внимание уделяется взаимоотношениям между Вирджинией Вулф и леди Оттолайн Моррелл. В статье рассмотрены случаи необъективных репрезентаций и исследовательские эмоции биографа. Другой повод для эмоциональной реакции биографа — невозможность в некоторых случаях доискаться «правды» из-за посмертной редактурой родственниками дневников и мемуаров леди Оттолайн Моррелл. Имея доступ к недоступным ранее документальным источникам, Миранда Сеймур восстанавливает в полном объеме биографию леди Оттолайн Моррелл. Помимо печали, Миранда Сеймур демонстрирует искреннее восхищение своей героиней и последовательно защищает ее от неадекватных интерпретаций.

Ключевые слова: леди Оттолайн Моррелл, Миранда Сеймур, биография, эмоции, Вирджиния Вулф, мода, репутация, Блумсбери

Для цитирования: Вайнштейн О. Б. «Why did she provoke so much hostility?»: что огорчало Миранду Сеймур, когда она писала биографию леди Оттолайн Моррелл // Шаги/Steps. Т. 9. № 4. 2023. С. 233–243. <https://doi.org/10.22394/2412-9410-2023-9-4-233-243>.

Статья поступила в редакцию 14 июня 2023 г.

Принято к печати 29 августа 2023 г.

O. B. Vainshtein

ORCID: 0000-0002-1753-4848

✉ katermur@gmail.com

*Russian State University for the Humanities
(Russia, Moscow)*

“WHY DID SHE PROVOKE SO MUCH HOSTILITY?”: WHAT UPSET MIRANDA SEYMOUR WHILE WRITING THE BIOGRAPHY OF LADY OTTOLINE MORRELL

Abstract. The article is focused on the emotional contexts of the biography of Lady Ottoline Morrell (1873–1938), written by the distinguished author Miranda Seymour. One of the main emotional attitudes of the biographer is sorrow and sadness. The reason for this is the distorted image of Lady Ottoline in memoirs and fiction; she was portrayed in several novels in an unfair and satirical manner. Literary representations of her can be found in *Crome Yellow* by Aldous Huxley, *Women in Love* by D. H. Lawrence, *Between the Acts* by Virginia Woolf and several other contemporary works of fiction. Special attention is paid to the relationship between Virginia Woolf and Lady Ottoline Morrell, the difference in their characters and their attitudes to dress. Lady Ottoline is judged in terms of “integrity” (the concept of George Moore) but her character does not fit into the philosophical schemes. This case study includes analysis of Lady Ottoline’s vestimentary habits, her bohemian style. Another important emotion of the biographer arises from the difficulty of discovering the truth, since Lady Ottoline’s memoirs and diaries were selectively censored, cut and edited upon publication. With access to documentary sources in the archive, the author reconstructs the full scope of lady Ottoline Morrell’s biography. Besides sorrow, Miranda Seymour demonstrates genuine admiration and compassion for her heroine and always defends her against unfair representations.

Keywords: Lady Ottoline Morrell, Miranda Seymour, biography, emotions, Virginia Woolf, fashion, reputation, Bloomsbury

To cite this article: Vainshtein, O. B. (2023). “Why did she provoke so much hostility?”: What upset Miranda Seymour while writing the biography of Lady Ottoline Morrell. *Shagi / Steps*, 9(4), 233–243. (In Russian). <https://doi.org/10.22394/2412-9410-2023-9-4-233-243>.

Received June 14, 2023

Accepted August 29, 2023

Тема статьи — эмоциональные контексты биографии английской аристократки и хозяйки литературного салона леди Оттолайн Моррелл (1873–1938), написанной Мирандой Сеймур в 1992 г. [Seymour 1992]. Эта биография считается фундаментальной, окончательной (*definitive*), поскольку в ней с максимальной полнотой использованы документальные источники. В статье будут рассмотрены исследовательские эмоции автора, конструкция биографического нарратива и случаи «несправедливых» репрезентаций ее героини.

Для начала несколько слов о биографе. Миранда Сеймур — известный британский автор, романист, биограф и критик, член Королевского литературного общества. Она — владелица имения Трамптон-Холл (Thrumpton Hall) в Ноттингемшире. Это семейная резиденция, основанная в XVII в., которая долгое время принадлежала семейству Байрон. Там жила дочь Байрона Ада Байрон, изобретательница аналитической машины, прототипа современных компьютеров. Родословная Миранды Сеймур прямо восходит к Байронам.

Трамpton-Холл перешел к Миранде в наследство от отца, и она вложила немало сил и средств в его реставрацию и поддержание. Сейчас замок по определенным дням открыт для публики и сдается в аренду для свадеб, частных и корпоративных вечеринок. Сеймур написала книгу «В отцовском доме» [Seymour 2007], посвященную истории Трамптон-Холла, которая в 2008 г. удостоилась приза ПЕН-Экерли и была отмечена как книга года по версии «New York Times». Но для нашего исследования скорее важна принадлежность Миранды Сеймур к английской аристократии. Она знакома с членами старинных знатных семей, понимает систему родственных и дружеских связей и пользуется доверием людей этого круга. Это обеспечивает возможность получить многие сведения из первых рук, а также доступ к частным архивам. Другие ее труды — биографии Роберта Грейвза [Seymour 1995], Мэри Шелли [Seymour 2018b], книга о Генри Джеймсе и его круге [Seymour 2004] и, конечно, об Аде Лавлейс и ее матери, жене Байрона Аннабелле Милбэнк [Seymour 2018a].

Биография «Оттолайн Моррелл: жизнь по большому счету» (Ottoline Morrell: Life on a Grand Scale) [Seymour 1992] считается одной из лучших работ Миранды Сеймур в документальном жанре. Она неоднократно переиздавалась: после появления в 1992 г. вновь выходила в 1998 и 2009 гг.; новая публикация планируется в 2024 г. в издательстве «Harper Collins».

Обратимся теперь непосредственно к эмоциональным контекстам книги. Основной лейтмотив авторской интонации в биографии леди Оттолайн Моррелл — досада и сожаление. Эта исследовательская эмоция Миранды Сеймур в нескольких местах открыто проговаривается автором. Нередко поводом для подобных эмоций является «необъективное» и сатирическое изображение леди Оттолайн Моррелл в мемуарах и в художественной литературе. «Почему она вызывала такую враждебность?» (Why did she provoke so much hostility?) — задается вопросом биограф, не скрывающая своих симпатий к героине.

Действительно, в репутации и в сложившемся образе леди Оттолайн Моррелл налицо парадоксальный диссонанс. Будучи близко знакома со многими писателями и художниками, которые подолгу гостили у нее и пользовались ее помощью, леди Оттолайн Моррелл, как это ни странно, удостоилась «чести» стать объектом многочисленных карикатур и пародий. Эта загадка, которую автор биографии пытается разрешить на протяжении всей книги, детально

анализируя отношения леди Оттолайн Моррелл с ее многочисленными знакомыми, друзьями и любовниками.

Другой повод для эмоциональной реакции биографа — невозможность во многих случаях доискаться «правды» из-за посмертной редакции родственниками дневников и мемуаров леди Оттолайн Моррелл. Это проблема ставит биографов в затруднительное положение. Однако Миранда Сеймур виртуозно находит выход, обращаясь к письмам и неотредактированным текстам ее дневников, которые сохранились в семейном архиве.

Личный архив леди Оттолайн Моррелл включает многотомные дневники, обширный корпус эпистолярных текстов (только переписка с Бертраном Расселлом составляет около 2500 писем), ее собственные мемуары. Кроме того, сохранилось множество воспоминаний и свидетельств ее современников, среди которых видное место занимали именно литераторы. Ведь в числе посетителей ее салонов по четвергам были писатели Вирджиния Вулф, Д. Г. Лоуренс, Генри Джеймс, Т. С. Элиот, У. Б. Йейтс, Николай Гумилев, У. Х. Оден, Макс Бирбом, Джозеф Конрад, Э. М. Форстер, Андре Жид, Максим Горький, Грэм Грин, Томас Харди, Олдос Хаксли, Джеймс Джойс, Кэтрин Мэнсфилд, Зигфрид Сассун, Альберто Моравиа, Герберт Уэллс, Торнтон Уайльдер. В ее салон заглядывали Бертран Расселл, Чарли Чаплин, Сергей Дягилев, Вацлав Нижинский, Пабло Пикассо, Уинстон Черчилль, кайзер Вильгельм II и другие знаменитости.

Известно также множество фотографий и живописных портретов леди Оттолайн Моррелл: по данным Национальной портретной галереи в Лондоне она позировала для 596 портретных изображений. Ее писали такие художники, как Огастес Джон, Дункан Грант, Генри Лэм и многие другие. Кроме того, она сама числится как автор 1715 снимков, причем нередко ее фотографии выделяются на фоне других своей спонтанностью. Так, среди многочисленных снимков Вирджинии Вулф самые непосредственные и живые принадлежат именно леди Оттолайн Моррелл.

Кардинальное отличие биографии Миранды Сеймур от трудов ее предшественников, писавших о леди Оттолайн Моррелл, состоит в том, что она первая получила доступ к архивам, содержащим полный корпус писем, дневников и неотредактированных воспоминаний. В конце книги читатель видит внушительный список благодарностей, и не только коллегам и сотрудникам архивов, но и в том числе ныне живущим членам семьи Моррелл (их имена, правда, фигурируют в измененном виде).

До этого все биографы леди Оттолайн Моррелл сталкивались с недостатком источников — не было полного издания ее дневников, воспоминаний, писем и мемуаров ее мужа, Филиппа Моррелла, писем Литтона Стрейчи. Так, Сандра Джобсон Даррох, написавшая более раннюю биографию леди Оттолайн Моррелл [Darroch 1976], не имела доступа к архивам и неизданным письмам и дневникам. Поэтому нередко ряд оценок предыдущих биографов грешат недостоверностью и субъективностью. Порой они восполняли недостаток фактов за счет своей фантазии, к чему их располагала неординарность героини. Однако, как пишет Миранда Сеймур, и здесь видно, что она великодушно пытается быть снисходительной к своим предшественникам:

Биографов нельзя обвинять в том, что они хотели выжать максимум эффекта из такой колоритной фигуры, но даже самые значительные

из них радостно поддались соблазну выборочно цитировать и пересказывать недостоверные анекдоты [Seymour 1992: 2].

На этом фоне, конечно, есть и приятные исключения — биография Мейнарда Кейнса, написанная Робертом Скиделски [Skidelsky 1992], и биография Кэтрин Мэнсфилд, написанная Клэр Томалин [Tomalin 1988], в которых леди Оттолайн Моррелл мелькает как достоверно и адекватно обрисованный эпизодический персонаж.

Но доминируют, увы, другие — несправедливые и поверхностные оценки. К примеру, в биографии Литтона Стрейчи, которую написал Майкл Холройд, про леди Оттолайн Моррелл мимоходом говорится: «невоспитанная аристократка, чьей единственной целью было пробиться в тайный мир художников» [Holroyd 1967–1968 (2): 5]. Печальный результат подобных характеристик обобщает Миранда Сеймур — леди Оттолайн Моррелл при жизни воспринимали как одну из самых замечательных и влиятельных женщин своего времени, а после смерти — как гротескного карикатурного персонажа [Seymour 1992: 417]. В чем же причина подобной нестыковки?

По мнению Миранды Сеймур, главная ответственность за негативное восприятие Оттолайн лежит на группе Блумсбери, и наибольший ущерб ее репутации нанесли такие члены группы, как Вирджиния Вулф, Ванесса Белл и Литтон Стрейчи. Они посещали ее салон, подолгу гостили в ее имении Гарсингтон, внешне вели себя так, как будто дружили, но за спиной нередко высмеивали ее и обменивались язвительными комментариями в письмах. При этом в письмах члены группы Блумсбери часто были готовы сочинить все что угодно, лишь бы это остроумно звучало, и с удовольствием сплетничали. Как только ее ни называли — «врунья, злобная сука, разваливающийся изгрызенный крысами корабль, разряженная, как проститутка, со скользкой душой, отвратительная и брошенная» [Seymour 1992: 2]. Полностью напечатанные впоследствии дневники и письма Вирджинии Вулф содержат немало подобных откликов, иронические обертоны которых для нас уже во многом потеряны. Эта инерция негативно-сатирического восприятия наложила серьезный отпечаток на репутацию леди Оттолайн Моррелл как в художественной, так и в критической литературе. Даже в книге столь внимательного и добросовестного исследователя, как А. Я. Ливергант, портрет леди Оттолайн Моррелл дан сквозь оптику группы Блумсбери, и в частности Вирджинии Вулф:

...леди Оттолайн Моррелл, покровительница искусств, эксцентричная аристократка с пронзительным голосом, бирюзовыми глазами, хищным носом, экзотическими туалетами и манерами, «с головой медузы, золотыми подвесками в ушах, волочащимся по земле подолом, мириадами лисьих хвостов». И с весьма заносчивым нравом. Чем-то леди Оттолайн Моррелл — очень высокая, статная, величественная, говорившая, растягивая слова, вдохнувшая в «четверги» несвойственный им светский лоск, напоминала герцогиню из «Алисы в стране чудес» [Ливергант 2018: 89].

Выделенный разрядкой фрагмент — цитата из письма Вирджинии Вулф Литтону Стрейчи от 16 декабря 1912 г., которая приводится в качестве само собой разумеющейся исторической характеристики, в то время как на самом деле это сугубо субъективное впечатление, облеченное в авторскую метафору Вирджинии Вулф.

Но дневники и письма Вирджинии Вулф содержат немало поэтичных описаний леди Оттолайн. Она сравнивала ее с Армадой, которая мчится на всех парусах, испанской инфантой, Еленой Троянской. В 1917 г. Вулф записала в дневнике после встречи с леди Оттолайн: «Я была настолько сражена ее красотой, что почувствовала, будто попала в море и услышала пение русалок на скалах» [Woolf 1976: 156]. Это было типичное для Вулф чувство изумления, когда она сталкивалась с необычным, которое, впрочем, потом сменилось придирчивым и внимательным изучением диковинной русалки.

Восприятие моды и стиля одежды у Вирджинии Вулф нередко становилось своеобразным камертоном в отношениях с другими людьми, которые были близки кругу Блумсбери. Но порой она писала о леди Оттолайн Моррелл в негативно-пренебрежительном тоне, вероятно, из-за того, что ей самой недоставало смелости одеваться так, как это делала Оттолайн: носить испанские шали и черепаховые гребни, желтый корсаж или заказывать портнихе платья, копируя фасон со знаменитых живописных полотен. У леди Оттолайн Моррелл был точный и уверенный вкус в одежде, позволявший ей одеваться в экстремальном богемном стиле. Ее вызывающие оригинальные платья и необычные шляпы вызывали всеобщее внимание. «Conventionality is deadness», — говорила леди Оттолайн: «Следование условностям — это мертвечина» [Seymour 1992: 3]. Она надевала по настроению то эстетические платья, то викторианские кринолины, то дизайнерские наряды, то платья, стилизованные в духе XVIII в. Ее коньком были шляпы, бесконечно разнообразные по форме, которые она комбинировала с легкими газовыми вуалями. Из украшений она предпочитала длинную нитку жемчуга. Ее стиль был выразительным воплощением богемной эксцентрики, поражающей своей избыточной декоративностью. Она азартно экспериментировала, нередко сочетая вещи, считавшиеся несочетаемыми, то одеваясь по современной моде, то полностью игнорируя новейшие тренды. Словом, в одежной сфере она чувствовала себя свободным человеком. Радикальный богемный стиль леди Оттолайн Моррелл не находил понимания в кругу Блумсбери, хотя и был по-настоящему оригинальным и новаторским.

«Сама Оттолайн говорила о “дикой, богемной, творческой” стороне своего характера, которая ни в чем не находит выражения, кроме как в ее “необычном выборе цветов, одежды и картин”» [Уилсон 2019: 135]. Интерьер ее имения Гарсингтон отличался изысканным художественным вкусом и продуманными нюансами: занавески были вишневого или лимонного цвета, стены были выдержаны в темно-красных или розово-серых тонах. «В любое время года, при любом настроении Гарсингтон-мэнор оживал благодаря таившейся в нем красоте: краскам, переливам, озерцам света под широкими абажурами, легкому аромату благовоний, будившему чувство превосходства, как будто находишься внутри произведения искусства» [Там же: 135]. «Вы превосходите всех нас в чувстве цвета», — говорил ей художник Генри Лэм, писавший ее портрет [Seymour 1992: 54].

Леди Оттолайн Моррелл также не раз демонстрировала свое тонкое понимание изобразительного искусства: в 1910 г. она помогала Роджеру Фраю отбирать полотна для первой выставки постимпрессионизма в Лондоне, которая была абсолютно революционной для английской культуры того времени и, в частности, существенно повлияла на эстетику Мастерских «Омега». А Мастерские «Омега», заметим, были основаны сестрой Вирджинии Вулф — Ванессой Белл и тем же Роджером Фраем, будучи по сути дизайнерским ответвлением группы Блумсбери, — круг замкнулся.

Образ леди Оттолайн Моррелл был запечатлен в многочисленных произведениях художественной литературы: она послужила прототипом образов миссис Манрезы в романе В. Вулф «Между актами» (1940), Гермiony Роддис в романе «Влюбленные женщины» Д. Г. Лоуренса (1920), Присциллы Уимбуш в «Желтом Кроме» Олдоса Хаксли (1921), леди Кэролайн Бэри из «Это Баттерфилд» Грэма Грина (1934) и, возможно, леди Чаттерлей из романа «Любовник леди Чаттерлей» Д. Г. Лоуренса (1928). К сожалению, в большинстве текстов она изображена в иронически-пародийном ключе, на что влияли разные обстоятельства. Так, сатирический образ Гермiony Роддис у Лоуренса был создан под влиянием недоброжелательного отношения к Оттолайн жены Лоуренса Фриды (хотя та тоже всю пользовалась гостеприимством в Гарсингтоне). Сходство Гермiony с Оттолайн было совершенно очевидным и стало предметом обсуждения среди друзей Оттолайн. Ее реакция была очень резкой:

Читая, я побледнела от гнева. Так изобразить меня мог только человек, преисполненный ненависти и злобы. Это был невероятный шок, поскольку в то же время он писал мне дружеские письма, и я не подозревала, что он настолько презирает и ненавидит меня. Он обзывает меня старой ведьмой, сексуальной маньячкой, развратной сапфисткой. В книге у меня грязные платя, я грубо и нагло веду себя со своими гостями [Dargoch 1976: 262]

После этого леди Оттолайн Моррелл не разговаривала с Лоуренсом десять лет, но позднее, когда оба серьезно заболели, они примирились.

Подобная переменчивость отношений — весьма характерный алгоритм. Вирджиния Вулф тоже не избежала соблазна иронически изобразить свою приятельницу уже после смерти леди Оттолайн Моррелл. В повести «Между актов» (1940) писательница вывела ее в образе миссис Манрезы, которая раздражает окружающих своей наигранной наивностью:

— А зачем тогда тебе эти перстни и эти ногти, эта просто обворожительная соломенная шляпка? — спрашивала Айза, молча адресуясь к миссис Манреза <...> Шляпка, перстни, ногти, как розы пунцовые, гладкие, как ракушки, были выставлены на обозрение. <...>

Вульгарная, да, эти жесты, и вообще, и — так разрядиться для пикника! Но какое нужное, ценное, во всяком случае, свойство — ведь каждый, едва она рот откроет, сразу чувствует: «Вот, она сказала, а я — нет, и почему не я» — и, воспользовавшись брешью в декоруме, в которую хлынула свежесть, уже веселым дельфином кувыркается у ледокола в кильватере. <...>

«Ну и что я делаю? Можно я скажу, да? Я сбрасываю корсет (уперла руки в боки — статная дама) и катаюсь по траве. Катаюсь! Вы не поверите...» И она от души расхохоталась. Наплевала на фигуру и почувствовала себя свободной! [Вулф 2004: 151–152].

Подобные сатирические изображения весьма типичны, но для полноты картины надо учитывать, что с 1930-х годов леди Оттолайн Моррелл сблизилась с Вирджинией Вулф, и после ее смерти Вулф написала прочувствованный некролог, в котором, в частности, затрагивалась тема неблагодарности друзей.

В целом отношение Вирджинии Вулф к леди Оттолайн Моррелл менялось и оставалось достаточно противоречивым на протяжении жизни. Наряду с пародийными и недоброжелательными образами в дневниках, Вирджиния Вулф пишет, что она «героическая, очаровательная, прелестная, чистая и чудесная» и обладает «фундаментальной цельностью». Это концептуальный комплимент, поскольку здесь используется понятие цельности (*integrity*), разработанное Джорджем Муром — мыслителем, которым увлекались с юности и Вирджиния Вулф, и весь круг Кембриджских апостолов, куда входили и брат Вирджинии Тоби Стивен, и многие будущие члены группы Блумсбери. Понятие цельности у Мура включало в себя идею абсолютной «искренности», честности — императива предельно искреннего общения между собой, в особенности в том, что касается любовных увлечений. Так что, увы, Оттолайн часто судили в терминах «Принципов этики» — сочинения Джорджа Мура 1903 г. [Мур 1984]. Из него члены группы Блумсбери почерпнули, в частности, важное понятие «искренность» — между собой они открыто говорили о самых интимных вещах или, к примеру, увлекались салонными играми, когда надо было назвать свое самое тайное желание. Но как раз в этом аспекте Оттолайн не оправдала их ожиданий: она не обсуждала с ними подробности своей личной жизни, что вызывало досаду блумсберийцев. Она умалчивала, скажем, о своем скандальном романе с «Тигром» (молодым садовником в Гарсингтоне), который, как считает большинство исследователей, Лоуренс использовал при создании «Любовника леди Чаттерлей». Так что, соответствуя параметру «цельности», она не поддавалась на провокации «искренности».

В заключение — повторим печальный вопрос биографа, вынесенный нами в заглавие статьи: «Почему она вызывала такую враждебность?» (*Why did she provoke so much hostility?*). Как мы видели на примере отношений леди Оттолайн с группой Блумсбери, все было неоднозначно. Что же в итоге столь негативно повлияло на ее восприятие и репутацию? Как считает Миранда Сеймур, здесь было задействовано несколько факторов.

Первый фактор (как это ни странно для читателя биографии) — исключительная внешность леди Оттолайн Моррелл и ее экстравагантная манера одеваться. Это было сочетание внешних данных и индивидуального вестиментарного стиля. Эффект от броской внешности (высокий рост — 190 см, — пышная копна медных волос, бирюзовые глаза) усиливался за счет богемной моды — платья в расцветках *Ballets Russes*, алые туфли на высоких каблуках, любовь к живописным шляпам.

Второй фактор заключался в жизненной идеологии леди Оттолайн Моррелл — вспомним ее девиз «*Conventionality is deadness*», неконформизм в ее поведении, необычные поступки, сильный характер, железную волю и пре-

зрение к условностям. Об этом говорят и ее высказывания: «Я ненавижу стремление к безопасности и трусость», «Удовлетворенность собой — это смерть». Она часто допускала откровенные высказывания и, очевидно, была слишком яркой персоной, чтобы оставить окружающих равнодушными. Вот печальный комментарий по этому поводу Миранды Сеймур: «Для меня нет ничего грустнее, чем факт, что эта смелая честность была настолько принижена последующим восприятием, что трактовалась как наглость» [Seymour 1992: 3].

Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и третий, гендерный, фактор: Миранда Сеймур подчеркивает, что Оттолайн не прощали многое, потому что она была женщиной. Нарушая условный гендерный канон стандартного женского поведения, она давала повод для злословия. Итак, промежуточный вывод биографа состоит в том, что репутация леди Оттолайн Моррелл отчасти страдала из-за ее внешней экстравагантности, отчасти из-за ее манеры смело вести себя и непринужденного стиля общения.

Наконец, основной вопрос книги заключается в том, в чем состоял алгоритм влияния леди Оттолайн Моррелл, секрет ее притягательности. По мнению Миранды Сеймур, «самое главное состояло в том, что она влияла на людей, побуждая их пересмотреть свои мотивы и идеалы, учила их верить в свои способности» [Seymour 1992: 6]. Ее воздействие не ограничивалось этим — леди Оттолайн Моррелл была известна как деятельный меценат, она оказывала финансовую помощь многим начинающим поэтам и художникам, знакомила их с потенциальными покровителями [Melišová 2022]. Ее салон функционировал как центр неформальной помощи творческим людям. Надо отметить, что во многих случаях леди Оттолайн Моррелл не просто приглашала погостить знакомых в Гарсингтон или посетить ее салон на Гауэр-стрит. В частности, во время Первой мировой войны в ее имении укрывалась от призыва целая группа тех, кто сознательно возражал против службы в армии и не шел на войну по идеологическим соображениям (conscientious objectors). Она устраивала их на работу у себя в деревне, поскольку это была возможность оформить вариант альтернативной службы.

Миранда Сеймур задается вопросом, почему леди Оттолайн Моррелл уделяла столько времени и средств, помогая друзьям, и почему нередко получала в ответ неблагодарность. Ее ответ звучит несколько парадоксально: она была одинока в юности, и отсюда вытекает ее сильная потребность в друзьях и в любви, в эмоциональном признании. Позднее, когда леди Оттолайн Моррелл стала вращаться в артистических и интеллектуальных кругах и могла позволить себе распоряжаться своими средствами, она задаривала людей, на которых хотела произвести впечатление. Она засыпала их подарками, приглашала в гости, а они чувствовали себя неудобно. То есть против нее срабатывала ее «наивная вера, будто дружбу можно купить» [Seymour 1992: 5].

Здесь я не согласна с Мирандой Сеймур: все другие факты поведения леди Оттолайн говорят о том, что она была достаточно уверена в себе. А такая манера — заваливать человека подарками, чтобы добиться дружбы, — как раз свойственна людям, не уверенным в себе. Однако факты неблагодарности и разочарования в друзьях слишком многочисленны, чтобы их можно было легко игнорировать. И слишком велико желание Миранды Сеймур реабилитировать свою героиню.

Миранда Сеймур прекрасно осознает свое эмоциональное отношение к леди Оттолайн Моррелл. В начале книги она констатирует:

Биограф должен пытаться соблюдать объективность, и я приложила максимум усилий, чтобы представить свидетельства «за» и «против» Оттолайн, не становясь слишком явно на ее сторону. Однако было невозможно полностью утаить в книге мое восхищение ею [Seymour 1992: 4].

И действительно, на протяжении всей книги Миранда Сеймур тщательно разбирает все сложные случаи в биографии леди Оттолайн Моррелл, не скрывая противоречий, но ее всегда выдает эмоциональная интонация. Так, резюмируя взаимодействие Оттолайн и группы Блумсбери, она пишет:

После ее смерти и до сих пор Оттолайн рассматривали сквозь искажающую линзу писем, дневников и воспоминаний группы Блумсбери. Ее красота была забыта, ее религиозная вера служила поводом для насмешек, над ее великодушием издевались. Никто не попытался понять ее, исследовать ее влияние или истолковать ее действия [Seymour 1992: 417].

Весь спектр эмоций биографа здесь очевиден — от сожаления до негодования.

В заключении книги Миранда Сеймур уже отказывается от попыток соблести хотя бы внешний декор объективности и открыто признается в своих чувствах по отношению к Оттолайн:

Прожив с ней, так сказать, последние четыре года, я знаю, что мне будет не хватать ее. Я восхищалась ее отважной решимостью никогда не сдаваться. Меня забавляло, трогало и впечатляло все, что было с ней связано, мне никогда не было скучно. Благодаря ее чувству юмора и тонкости понимания она составила мне превосходную компанию [Seymour 1992: 418].

Источники

Вулф 2004 — *Вулф В.* Между актов: Роман / Пер. с англ. Е. Суриц // Иностранная литература. 2004. № 6. С. 135–224.

Мур 1984 — *Мур Дж.* Принципы этики / Пер. с англ. Л. В. Коноваловой. М.: Прогресс, 1984.

Литература

Ливергант 2018 — *Ливергант А.* Вирджиния Вулф: «моменты бытия». М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2018.

Уилсон 2019 — *Уилсон Э.* Богема. Великолепные изгой / [Пер. с англ. Т. Пируская]. М.: Нов. лит. обозрение, 2019.

Darroch 1976 — *Darroch S. J.* Ottoline: The life of Lady Ottoline Morrell. London: Chatto & Windus, 1976.

Holroyd 1967–1968 — *Holroyd M.* Lytton Strachey: In 2 vols. London: Holt, Rinehart and Winston, 1967–1968.

Melišová 2022 — *Melišová K.* Modernist lionhunting: An exploration of patronage in the cultural imaginary // Polish Journal of English Studies. Vol. 8. No. 2. 2022. P. 101–116.

Seymour 1992 — *Seymour M.* Ottoline Morrell: Life on the grand scale. New York: Farrar, Straus, Giroux, 1992.

- Seymour 1995 — *Seymour M.* Robert Graves: Life on the edge. Toronto: Doubleday Canada, 1995.
- Seymour 2004 — *Seymour M.* A ring of conspirators: Henry James and his literary circle, 1895–1915. New York: Scribner, 2004.
- Seymour 2007 — *Seymour M.* In my father's house: Elegy for an obsessive love. New York: Simon and Schuster, 2007.
- Seymour 2018a — *Seymour M.* In Byron's wake. New York: Simon and Schuster, 2018.
- Seymour 2018b — *Seymour M.* Mary Shelley. New York: Simon and Schuster, 2018.
- Skidelsky 1992 — *Skidelsky R.* John Maynard Keynes: The economist as saviour, 1920–1937. London: Macmillan, 1992.
- Tomalin 1988 — *Tomalin C.* Katherine Mansfield: A secret life. London: Penguin UK, 1988.
- Woolf 1976 — The letters of Virginia Woolf. Vol. 2: 1912–1922 / Ed. by N. Nicolson, J. Trautmann. 1st American ed. New York; London: Harcourt Brace Jovanovich, 1976.

References

- Darroch, S. J. (1976). *Ottoline: The life of Lady Ottoline Morrell*. Chatto & Windus.
- Holroyd, M. (1967–1968). *Lytton Strachey* (2 Vols.). Holt, Rinehart and Winston.
- Livergant, A. (2018). *Virdzhinia Vulf: "momenty bytiia"* [Virginia Woolf: "moments of being"]. AST; Redaktsiia Eleny Shubinoi. (In Russian).
- Melišová K. (2022). Modernist lionhunting: An exploration of patronage in the cultural imaginary. *Polish Journal of English Studies*, 8(2), 101–116.
- Seymour, M. (1992). *Ottoline Morrell: Life on the Grand Scale*. Farrar, Straus, Giroux.
- Seymour, M. (1995). *Robert Graves: Life on the edge*. Doubleday Canada.
- Seymour, M. (2004). *A ring of conspirators: Henry James and his literary circle, 1895–1915*. Scribner.
- Seymour, M. (2007). *In my father's house: Elegy for an obsessive love*. Simon and Schuster.
- Seymour, M. (2018). *Mary Shelley*. Simon and Schuster.
- Seymour, M. (2018). *In Byron's wake*. Simon and Schuster.
- Skidelsky, R. (1992). *John Maynard Keynes: The economist as saviour, 1920–1937*. Macmillan.
- Tomalin, C. (1988). *Katherine Mansfield: A secret life*. Penguin UK.
- Wilson, E. (2000). *Bohemians: The glamorous outcasts*. I. B. Taurus.
- Woolf, V. (1976). *The letters of Virginia Woolf, Vol. 2: 1912–1922* (N. Nicolson, & J. Trautmann, Eds.) (1st American ed.). Harcourt Brace Jovanovich.

* * *

Информация об авторе

Ольга Борисовна Вайнштейн
доктор филологических наук
ведущий научный сотрудник, Институт
высших гуманитарных исследований
им. Е. М. Мелетинского, Российский
государственный гуманитарный
университет
Россия, ГСП-3, 125993, Москва,
Миусская пл., д. 6
Тел.: +7 (499) 250-66-68
✉ katermur@gmail.com

Information about the author

Olga B. Vainshtein
Dr. Sci. (Philology)
Leading Researcher, Institute for the
Advanced Studies in the Humanities, Russian
State University for the Humanities
Russia, GSP-3, 125993, Moscow,
Miusskaya Sq., 6
Tel.: +7 (499) 250-66-68
✉ katermur@gmail.com

О. М. Лебедева

ORCID: 0000-0002-4918-0511

✉ onika1969@mail.ru

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» (Россия, Москва)

МАТИЛЬДА ХОЛЛИЧЕР, ДИЗАЙНЕР ОДЕЖДЫ: К ВОПРОСУ О МАЛОИЗВЕСТНЫХ СТРАНИЦАХ БИОГРАФИИ ЗИГМУНДА ФРЕЙДА И ЖЕНСКОМ ТВОРЧЕСКОМ ТРУДЕ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ — СЕРЕДИНЕ XX в.

Аннотация. Статья посвящена профессионально-творческим аспектам биографии старшей дочери Зигмунда Фрейда Матильды Холличер, урожденной Фрейд, чье жизнеописание в данном случае оказывается представлено в качестве точки схождения нескольких исследовательских траекторий. К числу последних относятся такие направления, как история психоаналитического движения и проливающие свет на жизнь и деятельность основателя психоанализа биографические штудии, в том числе тематизирующие его повседневные практики. Одновременно с этим исследование сфокусировано на обнаруживаемой в описании жизни Матильды Холличер, во многом типичной для представительниц ее поколения, связи с сюжетом, касающимся смещения практик женского творческого труда из невидимой зоны домашней работы в плоскость профессиональной самореализации в публичном пространстве, имевшего место в XX в. Рассматривая деятельность Холличер в качестве раскрывающего данную тенденцию показательного примера, настоящая статья в то же время намечает эскизную картографию связей семьи Фрейд с миром текстиля и одежды. Это открывает не задействованные ранее возможности освещения ряда эпизодов истории психоаналитического движения, равно как и биографии его основоположника, а также позволяет наметить дополнительные перспективы осмысления наследия основателя психоанализа.

Ключевые слова: история психоанализа, история психоаналитического движения, практики женского шитья, практики женского творческого труда, биография Зигмунда Фрейда, история семьи Зигмунда Фрейда

Для цитирования: Лебедева О. М. Матильда Холличер, дизайнер одежды: к вопросу о малоизвестных страницах биографии Зигмунда Фрейда и женском

творческом труде в первой половине — середине XX в. // Шаги/Steps. Т. 9. № 4. 2023. С. 244–267. <https://doi.org/10.22394/2412-9410-2023-9-4-244-267>.

*Статья поступила в редакцию 14 мая 2023 г.
Принято к печати 18 июля 2023 г.*

Shagi / Steps. Vol. 9. No. 4. 2023
Articles

O. M. Lebedeva

ORCID: 0000-0002-4918-0511

✉ onika1969@mail.ru

*National Research University
Higher School of Economics
(Russia, Moscow)*

MATHILDE HOLLITSCHER, FASHION DESIGNER: ON THE QUESTION OF OBSCURE PAGES OF SIGMUND FREUD'S BIOGRAPHY AND 20TH CENTURY WOMEN'S CREATIVE LABOUR

Abstract. The article is devoted to an analysis of some aspects, professional as well as creative ones, of the biography of Mathilde Hollitscher, Sigmund Freud's eldest daughter. In this context her life story is presented as a point of convergence of several research trajectories, including the history of the psychoanalytic movement and biographical studies related to the founder of psychoanalysis and his relationship with the world of clothing and textiles. At the same time, this research focuses on the shift of the practices of women's creative work from the invisible area of domestic labour to the sphere of professional activity implemented in the public space in the 20th century. The article considers the professional life of Freud's eldest daughter as an illustrative example of such deterritorialization, and also outlines the connections of the Freud family with the world of textiles and clothing. All this opens up new possibilities to elucidate a number of episodes in the history of the psychoanalytic movement, as well as some facts of Sigmund Freud's biography. The presented materials also create additional perspectives for comprehending the legacy of the founder of psychoanalysis.

Keywords: history of psychoanalysis, history of the psychoanalytic movement, practices of women's sewing, practices of women's creative work, biography of Sigmund Freud, history of Sigmund Freud's family

To cite this article: Lebedeva, O. M. (2023). Mathilde Hollitscher, fashion designer: On the question of obscure pages of Sigmund Freud's biography and 20th century women's creative labour. *Shagi / Steps*, 9(4), 244–267. (In Russian). <https://doi.org/10.22394/2412-9410-2023-9-4-244-267>.

Received May 14, 2023

Accepted July 18, 2023

История старшей дочери основателя психоанализа Матильды Холличер, урожденной Фрейд, представляет интерес с нескольких точек зрения. Жизнь, прожитая в непосредственной близости от выдающегося человека и подсвеченная его «отраженной славой» (как это сформулировал сын Фрейда и младший брат Матильды Мартин, вынесший последние слова в название книги своих воспоминаний об отце [Freud 1957]), в то же время содержит ряд эпизодов, вписывающих ее в общий контекст женских судеб в XX в., когда на фоне радикально меняющихся ход истории событий разворачивались такие коллизии частных биографий, как начатая «с нуля» жизнь в изгнании и обретение нового поля деятельности в зрелом возрасте. Подобное жизнеописание оказывается в точке пересечения по крайней мере нескольких исследовательских траекторий, среди которых важное место занимают разного рода биографические штудии — всевозможные грани своеобразной «фрейдяны», — включающие в себя историю психоаналитического движения, историю семьи Фрейда и повседневные ее контексты, роль женщин в жизни последнего и пр. Так или иначе «по касательной» затрагивая эти темы, данное исследование направляет свой фокус на профессиональную деятельность Матильды Холличер, обращение к которой позволяет обозначить один из аспектов присутствующего у некоторых авторов, однако все еще недостаточно изученного сюжета, имеющего отношение к связям Фрейда и его семьи с миром текстиля и одежды. Помимо прочего, история старшей дочери основателя психоанализа являет собой примечательную иллюстрацию происходившего в XX в. процесса трансформации женского шитья из находящегося в своего рода невидимой зоне домашнего занятия в практику, реализуемую на уровне профессии и в публичном поле.

Текстиль и одежда в жизни Фрейда и его дочери: биографические рефлексии

Среди тех, кто в связи с изучением биографии Фрейда и истории его семьи обращался к упомянутому выше «текстильному» сюжету, в первую очередь следует назвать специалиста по германо-еврейским исследованиям профессора Пенсильванского университета Лилиан Вайсберг. Ее опубликованное в 2010 г. эссе «Нить Ариадны» [Weissberg 2010] можно рассматривать как попытку тематизации некоего особого статуса текстиля у Фрейда через ряд отсылок к его семейной истории, во многом отмеченной близостью к данной сфере деятельности. В качестве еще одного исследователя, область научных

интересов которого соприкасается с такого рода вопросами, можно назвать научного сотрудника Сиднейского технологического университета Джона-тана С. Каплана, за последние пять лет опубликовавшего ряд работ на тему мужской моды в Австро-Венгрии конца XIX — начала XX столетия [Каплан 2020; Kaplan 2018; 2019; Kaplan-Wajselbaum 2023 и др.]. В проблематизирующих костюм как инструмент формирования идентичности работах Каплана рассматриваются гардеробные коды ассимилированных евреев — представителей интеллектуальных кругов. Одна из составленных ученым кратких сарториальных биографий освещает соответствующую сторону жизни Зигмунда Фрейда — правда, вопрос включенности семьи психоаналитика в практики создания одежды при этом практически не освещается.

Однако если направленность исследований Каплана в принципе позволяет пройти мимо Матильды Холличер, то сам факт того, что Вайссберг, упоминая в связи с заявленной темой младшую дочь Фрейда Анну и его свояченицу Минну, ни слова ни говорит о Матильде, представляется достаточно симптоматичным. В посвященной семейному окружению Зигмунда Фрейда мемуаристике, равно как в освещающих данную тему трудах биографов, старшая дочь основателя психоанализа зачастую предстает фигурой второго плана, почти традиционно заслоняемой своей сестрой, получившей мировую известность в качестве одной из создательниц детского психоанализа. Кроме того, кажется, Анна, чей ткацкий станок сегодня представлен на постоянной экспозиции Музея Фрейда в Лондоне, неоправданно затмевает Матильду и в имеющей отношение к практикам женского рукоделия области.

К Матильде обращаются большей частью как к очевидице событий, не уделяя слишком много внимания ее собственной истории. Пример такого подхода демонстрирует Пол Розен, посвятивший ей одну из глав своей книги о встречах с членами семьи Фрейда. Розена, к примеру, интересует вопрос, почему Матильда, в отличие от своей младшей сестры Анны, не стала психоаналитиком [Roazen 1993: 122], однако ее собственная профессиональная судьба, по сути, остается за кадром. Помимо упомянутой им некой «истории о том, что в Вене она когда-то владела “бутиком, специализирующимся на вещах ручной работы”» [Ibid.: 124], единственной присутствующей в его тексте отсылкой к профессии Матильды можно считать разве что мимоходом отмеченную «элегантность» собеседницы [Ibid.: 125].

Ситуация должна была бы измениться после появления монографии историка психоанализа Гюнтера Гёдде «Матильда Фрейд: старшая дочь Зигмунда Фрейда в письмах и собственных свидетельствах» [Gödde 2003]; книга, однако, вышла на немецком языке и не была переведена на английский, что существенно ограничило круг ее читателей. К тому же необходимо заметить, что и в работе Гёдде дело, которым Матильда с видимым успехом занималась в течение четверти века, представлено как лишь один из эпизодов ее биографии — возможно, не самый значимый на фоне других¹.

Таким образом, видящие в Матильде прежде всего дочь великого человека биографы Фрейда мало что сообщают о ее профессиональной деятельности.

¹ Так, центральными сюжетами книги Гёдде становятся опубликованные им переписка Матильды с Ойгеном Пахмайром и ее «Концертно-театральный блокнот» — записки, свидетельствующие о юношеском увлечении старшей дочери Фрейда музыкой и театром.

Ни знавший ее лично Эрнст Джонс [1996], ни издавший в конце 1980-х годов подробное жизнеописание основателя психоанализа Питер Гай [2016] вообще никак не затрагивают данный сюжет. Впрочем, его дважды, хотя и вскользь, касается на страницах своей книги «Зигмунд Фрейд в свое время и нашем» Элизабет Рудинеско, отмечая присущий Матильде «талант модельера» [Рудинеско 2018: 204] и упоминая открытый ею в Лондоне «магазин моды» [Там же: 359]. В посвященной роли женщин в жизни Фрейда монографии Лизы Аппиньянези и Джона Форрестера Матильда упоминается как дизайнер и владелица собственного салона одежды, при описании которого авторами, к сожалению, допускается ряд неточностей [Appignanesi, Forrester 1992: 56]². Катя Белинг, биограф жены основателя психоанализа Марты Фрейд, урожденной Бернайс, в свою очередь, уделяет некоторое внимание деятельности Матильды, подчеркивая влияние, которое мать оказала на последнюю в плане освоения техник рукоделия и увлечения модой в целом [Behling 2005: 121].

Подводя некоторые итоги, можно, вероятно, говорить о том, что темы предпринимательской и творческой активности старшей дочери Фрейда в сфере индустрии моды, равно как и связей ее отца и членов его семьи с данной областью, все еще ожидают своего исследователя.

«Добрая и мудрая старшая дочь»

Матильда Фрейд, старшая из шести детей Зигмунда и Марты Фрейд³, родилась 16 октября 1887 г. в Вене и умерла в Лондоне 20 февраля 1978 г., прожив почти 92 года; на ее век пришлось революции, мировые войны, экономические кризисы и несколько смен государственного строя. Пятьдесят лет ее жизни прошли в Австрии, другие 40 — в Англии, где она оказалась после аншлюса в 1938 г., — из них по крайней мере 25 были посвящены работе в качестве директора и дизайнера известного в Лондоне салона, производящего и продающего модную одежду, совладелицей которого она являлась. Впрочем, согласно ряду свидетельств карьеру дизайнера и менеджера Матильда Холличер начала еще в Вене в первой половине 1930-х годов — вопрос, который, наряду с другими, будет затронут ниже.

Своим именем Матильда обязана заведенной отцом семейной традиции, в соответствии с которой сыновья получали имена особо почитаемых последним выдающихся личностей, а дочери — достойных особ женского пола, родственниц и знакомых. Матильда была названа в честь своей крестной матери Матильды Брейер — жены Йозефа Брейера, авторитетного врача и старшего друга Фрейда, ставшего соавтором его вышедшей в 1895 г. и заложившей один из первых камней в здание психоанализа книги «Исследования истерии».

Как и в случае со старшей тезкой, знавшие Матильду высоко отзывались о ней, отмечая ее исключительные личностные качества, среди которых особенно подчеркивали доброту и благоразумие [Young-Bruel 1988: 43]. В своих

² Подробнее см. раздел данной статьи «“Robell”, ателье на Бейкер-стрит».

³ Дети супругов Фрейд: Матильда (1887–1978), Мартин (1889–1967), Оливер (1891–1969), Эрнст (1892–1970), София (1893–1920), Анна (1895–1982).

мемуарах «Отраженная слава: Зигмунд Фрейд, человек и отец» Мартин, следующий после Матильды ребенок четы Фрейд, описывая сестру как девочку жизнерадостную и решительную, приводит эпизод, свидетельствующий о ее организаторских и коммуникативных способностях, проявившихся уже в юности. Когда вследствие недоразумения попавший в неловкую ситуацию Мартин был лишен сезонного билета на посещение городского катка, не кто иной как Матильда, собрав всех присутствовавших на катке друзей и знакомых, вместе с ними смогла убедить зрителя отменить несправедливое решение, так что «крупный краснолицый мужчина оказался беспомощен перед ее напором» [Freud 1957: 41–42]. Лу Андреас-Саломе⁴, посетившая Фрейда и его семью в конце 1921 г. в их венской квартире на Берггассе, 19, в своем дневнике оставила запись об унаследовавшей жизнелюбие отца «доброй и мудрой старшей дочери» [Andreas-Salomé, Freud 1972: 230]. Встречавшийся с Матильдой Холличер в Лондоне в 1966 г. Пол Розен обращает внимание на ее интеллигентность и женственность, замечая при этом, что последнее качество отмечалось еще ее отцом [Roazen 1993: 124].

Одним из обсуждаемых [Gödde 2003; Roazen 1993] в связи с судьбой Матильды вопросов является отсутствие у нее гимназического и университетского образования. Так, в опубликованной «Нью-Йорк Таймс» в связи со смертью старшей дочери Фрейда небольшой статье приводятся слова из, по-видимому, данного корреспонденту Анной Фрейд интервью, где последняя говорит о том, что Матильда посещала женскую школу но, поскольку в те дни не было колледжей для девушек, не получила дальнейшего образования и вышла замуж в очень молодом возрасте⁵.

Как констатирует Гёдде, несмотря на существовавшие уже в те времена примеры профессионально успешных женщин, в том числе из среды ассимилированных евреев Германии и Австро-Венгрии, подобные прецеденты все же являлись скорее исключением, чем правилом. Ссылаясь на свидетельства Марион А. Каплан и воспоминания Анны Кронвальд, он описывает функцию женщины в принадлежащей к среднему классу еврейской семье как предполагающую прежде всего осуществление заботы обо всех ее членах — как на физически-бытовом, так и на эмоционально-психологическом уровне [Gödde 2003: 123–124]. В связи с этим родители большинства девушек не считали необходимым готовить их к профессиональной карьере, и семья основателя психоанализа в данном случае не являлась исключением⁶ [Ibid.: 126].

⁴ Лу (Луиза Густавовна) Андреас-Саломе (1861–1937) — немецкая писательница русского происхождения, философ, представительница так называемого первого поколения психоаналитиков.

⁵ The New York Times. 1978. February 24. P. 2.

⁶ Позиция Фрейда по этому вопросу, по-видимому, характеризовалась известной двойственностью. Высоко ценивший ум и профессиональные качества своих женщин-коллег и, более того, полагавший, что именно «женщины, обладающие большим жизненным опытом» имеют серьезные предпосылки к тому, чтобы становиться хорошими психоаналитиками [Фрейд 2008: 335], он в то же самое время говорил о том, что женщина неспособна одновременно зарабатывать на жизнь и растить детей, утверждая, что «Женщины как группа ничего не выигрывают от современного феминистского движения — в лучшем случае несколько отдельных личностей» [Nunberg 1962: 351].

Помимо прочего — о чем Матильда сообщает интервьюирующему ее Розену — в детские и молодые годы ей неоднократно приходилось переносить заболевания на грани жизни и смерти, так что состояние ее здоровья слишком часто внушало родителям серьезные опасения [Roazen 1993: 122]. В одном из писем Фрейд называет свою старшую дочь «хроническим инвалидом, ведущим на удивление нормальную жизнь» [Gödde 2003: 142]. В детстве Матильда дважды (в 1892 и в 1895 гг.) перенесла дифтерию в тяжелой форме [Ibid.: 47–48]; в 1905 г. жизнь восемнадцатилетней девушки вновь оказалась в под угрозой из-за неудачно прошедшей операции по удалению аппендицита, печальные последствия которой в дальнейшем потребовали еще не одного хирургического вмешательства [Ibid.: 77–78].

Обучение Матильды в начальной школе было прервано болезнью, заставившей родителей нанять гувернантку для домашних занятий; затем, с октября 1898 г., она посещала частную школу. Как полагает Гёдде, «это был, по-видимому, один из существовавших в Вене с 1891 г. женских лицеев, обучение в которых, в отличие от гимназии, не предполагало получения аттестата зрелости» [Gödde 2003: 45]. Таким образом, не окончив гимназию, старшая дочь Фрейда не получала права учиться в университете [Ibid.: 15].

Очевидно, что умная и энергичная девушка тяготилась вынужденными ограничениями. В одном из писем своему другу Ойгену Пахмайру девятнадцатилетняя Матильда с грустью замечает, что очень хотела бы работать с папой⁷, однако навряд ли сможет быть ему полезной [Gödde 2003: 331]. В другом письме она говорит о своем интересе к медицине и желании ее изучать [Ibid.: 347]. Впрочем, согласно некоторым предположениям отец мог отговаривать от занятий медициной не только Матильду, но и Анну [Ibid.: 126], поскольку, по словам Мартина Фрейда, в целом возражал против избрания кем-либо из своих детей данной профессии. Как писал в своих мемуарах его старший сын, Фрейд опасался повторения ими собственной судьбы в области, где дискриминация по национальному признаку делала научную карьеру практически невозможной для еврея, «какими бы ни были его достижения» [Freud 1957: 23]. Средний сын Фрейда Эрнст, впрочем, слова брата не подтверждает, говоря о предоставленной им отцом свободе выбора профессии [Gödde 2003: 127]. Так или иначе, Мартин изучал юриспруденцию, Оливер стал инженером, Эрнст — архитектором, а младшая Анна сдала экзамен на получение квалификации учителя начальной школы.

Пусть и не став психоаналитиком, Матильда, по-видимому, все же в той или иной мере интересовалась психоанализом и тянулась к отцовским кругам. Так, ее связывала долгая душевная дружба с Рут Мак Брюнсвик⁸ (Рут назвала в честь Матильды свою единственную дочь, Матильда же, в свою очередь, считала Рут своей «самой дорогой подругой» [Roazen 1993: 122]), а в 1929 г. «Международный психоаналитический журнал» (*Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse*) напечатал в переводе Матильды Холличер статью одной из лю-

⁷ В то лето (1907) Матильда помогала отцу с корректурой его статьи «Бред и сны в “Градиве” Йенсена» [Gödde 2003: 126].

⁸ Рут Мак Брюнсвик (1897–1946) — известный американский психоаналитик, ученица З. Фрейда.

бимых учениц Фрейда французского психоаналитика Мари Бонапарт⁹ «Идентификация дочери со своей умершей матерью» [Bonaparte 1929].

Хотя Фрейд полагал, что из-за слабого здоровья его старшей дочери не стоит покидать родительский дом слишком рано [Gödde 2003: 124], в возрасте 21 года Матильда стала женой торговца шелковыми тканями Роберта Холличера, с которым, по ее собственным словам, была «очень счастлива» [Ibid.: 139]. Одним из последствий перенесенных Матильдой заболеваний явилось бесплодие, которое безуспешно пытались лечить. После того как во время эпидемии испанского гриппа умерла средняя дочь Фрейда София, Матильда взяла на себя заботу о младшем из ее детей, Хайнце Рудольфе, или, как его называли в семье, Хайнерле. Спустя некоторое время семью вновь постигло несчастье — Хайнерле умер, заразившись туберкулезом; для Матильды его смерть стала огромным горем, которое она мужественно переносила.

Став замужней женщиной, Матильда продолжала жить в непосредственной близости от родительского дома, ежедневно посещая родителей. То же происходило в Лондоне в последние полтора года жизни Фрейда, когда уехавшая немного раньше остальных и поселившаяся по соседству от Мэрсфилд-Гарденс¹⁰ Матильда помогала семье обустроиться на новом месте и по своему обыкновению всячески опекала родных.

Восемнадцатилетняя Анна как-то призналась отцу, что хотела бы быть такой же, как Матильда [Young-Bruel 1988: 58]. Хотя любимицей отца традиционно считается младшая дочь, известные нам письма Фрейда, как повествующие о Матильде, так и адресованные ей, кажется, всегда наполнены отцовским восхищением и душевной теплотой. «Я думаю, что твоя нынешняя незначительная жалоба, вероятнее всего, связана с тем старым беспокойством, о котором мне хотелось хотя бы раз поговорить с тобой, — пишет Фрейд в марте 1908 г. восстанавливающейся в Меране после очередной болезни двадцатилетней Матильде. — Я давно догадывался, что, несмотря на все свое здравомыслие, ты беспокоишься из-за того, что считаешь себя недостаточно красивой и потому неспособной привлечь мужчину. Это вызвало у меня улыбку, во-первых, потому что ты кажешься мне вполне привлекательной, а во-вторых, потому что я знаю, что в действительности не физическая красота решает судьбу девушки, но впечатление от всей ее личности. Твое зеркало скажет тебе, что в твоих чертах нет ничего ни неприятного, ни посредственного, а

⁹ Мари Бонапарт (1882–1962) — известный французский психоаналитик, стоявшая у истоков французского психоанализа, писательница, переводчица; правнучка младшего брата императора Наполеона Бонапарта Люсьена Бонапарта, с 1907 г. — принцесса Греческая и Датская.

¹⁰ Поженившись, Роберт и Матильда Холличер поселились в трех минутах ходьбы от квартиры ее родителей на Бергтассе, 19 по адресу Тюркенштрассе, 29 (этот адрес указан в письмах Матильды, хранящихся в Библиотеке Конгресса США в составе коллекции оцифрованных документов из архива Зигмунда Фрейда, см.: Sigmund Freud Papers: Family Papers, 1851–1978; Correspondence with Sigmund Freud, 1876–1974; Hollitscher, Mathilde Freud and Robert (daughter and son-in-law); 1909–1912. Manuscript / Mixed Material // Library of Congress. URL: <https://www.loc.gov/item/mss3999000222>). В Лондоне Матильда и Роберт сперва остановились вместе с другими членами семьи в доме на Элсуорти Роуд, 39, снятом средним сыном Фрейда Эрнстом в качестве временного пристанища [Gödde 2003: 205], затем проживали по адресу Линдфилд Гарденс, 22 [Ibid.: 220] — в пешей доступности от дома Фрейда на Мэрсфилд Гарденс, 20, где сегодня располагается его музей.

память подтвердит, что тебе удавалось внушать симпатию и уважение самому разному кругу людей. И в результате я почувствовал себя совершенно спокойным за твое будущее в той его части, что зависит от тебя самой, и у тебя есть все причины чувствовать то же самое» [Freud 1975: 271–272].

«Семейный роман» текстильщиков: торговцы тканями

Обращаясь к истории семьи Фрейд, следует заметить, что старшая дочь основателя психоанализа не была первым ее членом, чья профессиональная деятельность оказалась непосредственным образом связана со сферой производства текстиля и одежды. Можно скорее говорить о том, что Матильда Холличер, обратившись к этой сфере, в каком-то смысле стала продолжательницей своего рода «текстильной династии».

Как сообщает Генри Элленбергер, уже в период с конца XVIII по начало XIX в. еврейские семьи играли значительную роль в экономике Австро-Венгрии, в частности, в сфере текстильной промышленности [Ellenberger 1970: 420]. Многие в окружении Фрейда были выходцами из занимавшихся производством текстиля семей: его многолетний корреспондент писатель Стефан Цвейг, его известная под именем Дора пациентка Ида Бауэр и ее отец Филипп и брат Отто, его друг детства Эмиль Флюсс.

Текстильная промышленность имела особое значение для Австро-Венгерской империи [Чернов 2013: 84; McCagg 1989: 86], что нашло отражение в том числе в урбанизации ее столицы. Один из наиболее респектабельных районов Вены, возведенных в период ее тотальной реконструкции в середине — второй половине XIX в., по сей день носит указывающее на род занятий населявших его жителей название *Textilviertel*, или Текстильный квартал [Шорске 2001: 92]. Согласно М. С. Чернову, в эпоху второй промышленной революции текстильная промышленность составляла «основу австрийской индустрии», играя основополагающую роль в индустриализации страны [Чернов 2013: 84]; крупным центром производства и торговли текстилем являлась Моравия, при этом, как указывает Уильям Маккегг, уже в XVIII в. значительная часть розничной торговли находилась в руках евреев [McCagg 1989: 72]. Именно в Моравии обнаруживаются некоторые ранние свидетельства о предках Зигмунда Фрейда.

Своего рода отправным пунктом «текстильного» сюжета в истории семьи мог бы быть назван указ императора Иосифа II от 19 декабря 1781 г. вкупе с последовавшим за ним эдиктом о толерантности от 2 января 1782 г., в соответствии с которыми еврейскому населению страны предоставлялось право заниматься рядом профессий, основывать заводы и фабрики, получать лицензии на оптовую торговлю и пр. Намеревающиеся открыть мануфактуру или завести торговлю с этого момента получали возможность обращаться за разрешением на смену места жительства и передвижение по стране.

Так прадед Фрейда по отцовской линии Авраам Зискинд Хоффман стал частью группы галицийских евреев, называемых странствующими (*Wanderjuden*) и зарегистрированных в Моравии как осуществляющие коммерческую деятельность [Gicklhorn 1969: 38]. В качестве первого следа семьи Фрейд в моравском городке Фрайберге Рене Гиклхорн приводит датированный июлем

1844 г. документ, в котором еврейский торговец Хоффман сообщает властям, что берет в деловые партнеры своего внука Якоба Калламона Фрейда и намеревается поселиться во Фрайберге, чтобы продолжить развитие своего бизнеса, получающего в этом случае ряд преимуществ: производство одежды является во Фрайберге основной отраслью промышленности, а сам город находится в центре специализирующегося на производстве сукон района. Покупая во Фрайберге и соседних с ним местностях шерстяные ткани, Хоффман красит и выделывает их на месте, а затем отправляет в Галицию, откуда привозит пользующиеся спросом у местных купцов товары. В связи с вышесказанным он просит магистрат предоставить ему и внуку дающую право жить во Фрайберге «терпимость». После того как глава гильдии суконщиков отрекомендовал Хоффмана и Фрейда как честных бизнесменов, чья деятельность идет на пользу региону, просьба была удовлетворена [Ibid.: 38–40].

В 1852 г. во Фрайберг приезжает жена Якоба Ревекка с его сыновьями от первого брака Филиппом и Эммануэлем, которые присоединяются к семейному бизнесу. В 1855 г., возможно после смерти Ревекки, Якоб женится на двадцатилетней Амалии Натансон; через год у них рождается первенец, Сигизмунд Шломо Фрейд — будущий основатель психоанализа. В 1859 г. Якоб Фрейд перебирается с семьей в Лейпциг, затем в Вену. Уезжая, он оставляет старшему сыну Эммануэлю свое дело¹¹, которым к означенному моменту тот уже год как самостоятельно управляет [Gicklhorn 1969: 38–42].

Через некоторое время старшие сводные братья Зигмунда Филипп и Эммануэль переезжают в «текстильную столицу мира» Манчестер [Weissberg 2010: 671], где Эммануэль весьма успешно продолжает работу в сфере текстильного производства и торговли тканями; посетивший его в 1913 г. Мартин Фрейд в своих мемуарах вспоминает о его прекрасном доме и манерах английского джентльмена [Freud 1957: 12].

Новые перспективы для семьи Фрейд, как и для многих других проживавших в то время на территории двуединой империи еврейских семей, оказались связаны с подписанием Францем-Иосифом I 22 декабря 1867 г. либеральной конституции, которая, провозгласив равноправие национальностей, предоставила еврейскому населению страны недоступные ранее права и свободы, включая свободу перемещения, пребывания, выбора профессии и пр.

Как отмечает Элизабет Рудинеско, «Шломо-Сигизмунд был первым в поколении Фрейдов, вышедших из сельской глубинки Восточной Европы, кто не стал торговцем, а сделал другую карьеру» [Рудинеско 2018: 18].

История семьи, однако, не прошла бесследно, и основателю психоанализа, вероятно, не раз случалось размышлять о ней. Так, в одном из своих ранних текстов, «О покрывающих воспоминаниях» (1899), под видом анализа интересующегося психологией «мужчины с университетским образованием» он повествует о собственных переживаниях, связанных с посещением Фрайберга в возрасте 17 лет, когда, будучи в гостях у своего друга Эмиля Флюсса, сына местного текстильного фабриканта, он пережил мимолетную влюбленность в его сестру Гизелу. В интерпретации Рудинеско Фрейд, фантазируя, как при

¹¹ Согласно воспоминаниям сестры Зигмунда Фрейда Анны, Якоб, их отец, во Фрайберге владел текстильной фабрикой [Фрейд-Бернайс 2018: 11], однако это ничем не подтверждается — скорее всего, речь может идти только о торговом предприятии.

иных обстоятельствах сложилась бы его жизнь, создает нечто наподобие того, что он сам будет называть впоследствии «семейным романом» [Рудинеско 2018: 21]. В этом «семейном романе» возможные, но не случившиеся события приобретают ностальгическую окраску:

Я совершал многочасовые одинокие прогулки по вновь обретенным великолепным лесам, строя воздушные замки, странным образом не стремившиеся в будущее, а старавшиеся исправить прошлое. «...» Если бы я остался на родине, вырос в сельской местности, стал бы таким сильным, как молодые мужчины этой семьи, братья возлюбленной, и если бы я тогда продолжил профессию отца... [Фрейд 2021: 14].

«Семейный роман» текстильщиков: искусные мастерицы

13 сентября 1886 г. Фрейд женится на Марте Бернайс, дочери торговца тканями Бермана Бернайса и родной племяннице известного немецкого филолога, комментатора трудов Аристотеля, Якоба Бернайса. В ее семейной истории словно сошлись два направления — производство текстиля и производство знания, — определявших прошлое и будущее ее жениха.

Фотографии тех лет представляют изящную молодую девушку, одетую с продуманной элегантностью; страсть к красивой одежде, равно как к различным видам рукоделия, она сохранит на всю жизнь, и, как пишет биограф Марты Катя Белинг, ее старшая дочь эту страсть с ней в полной мере разделит [Behling 2005: 121]. Здесь можно упомянуть о том, что и свекровь Марты Амалия, с которой, несмотря на разницу в происхождении и воспитании, некоторые знавшие обеих находили сходство [Ibid.: 133], до преклонного возраста отнюдь не была чужда моде и элегантности и, согласно воспоминаниям близких, и в 90 с лишним лет придирчиво выбирала себе шляпки [Freud 1957: 11].

В течение десятилетий «безупречная леди» [Behling 2005: 134] Марта обустроивала жизнь мужа и шестерых детей, демонстрируя недюжинные организаторские способности; один из учеников Фрейда, наблюдая ее заботу о муже, как-то пошутил: «Будь у меня такая жена, я бы тоже смог написать все эти книги» [Roazen 1993: 149].

В своих мемуарах Мартин Фрейд подчеркивает внимание, которое мать уделяла отцовскому гардеробу, всегда стремясь к тому, чтобы составлявшие его прекрасно скроенные костюмы были доведены до совершенства [Freud 1957: 125]. Последние были сшиты из хорошей английской шерсти, в которой супруги Фрейд, безусловно, знали толк. По воспоминаниям горничной, впоследствии экономки Фрейдов Паулы Фихтль, у «герра профессора» было «множество прекрасных костюмов, все с жилетами» [Berthelsen 1991: 36], и он всегда был безупречно одет; в начале 1930-х в дом регулярно приходил портной, и лишь с наступлением трудных времен его визиты прекратились [Ibid.: 36]. Невестка Зигмунда и Марты Эрнестина (Эсти) вспоминает о рубашках свекра, которые вопреки существовавшему тогда обычаю были с пришитыми, а не съёмными воротничками — настоящая роскошь в те времена. Упоминает она и о том, что не только одежда, но и каждый из носовых платков был выбран его женой [Roazen 1993: 149]. Впрочем, перфекционизм Марты в от-

ношении ряда вещей распространялся, по-видимому, на всю семью: Мартин Фрейд рассказывал, как в детстве, встретив во время отдыха всей семьей на горнолыжном курорте в Баварских Альпах императора Вильгельма II с женой и детьми, он был немало удивлен тем, что одежда императрицы и трех принцев оказалась почти такой же, как их собственная [Freud 1957: 65].

Обязательным занятием женщин в семье Фрейдес было рукоделие, и, кажется, они все без исключения в совершенстве владели самыми разными его техниками. Когда в 1952 г. Курт Эйслер интервьюировал сестру основателя психоанализа Анну Бернайс, в девичестве Фрейд, она, в свои 93 путая имена и факты, помнила о том, что умеет вязать крючком и спицами и сокрушалась, что для нее это более невозможно: «Но нужно же, нужно же что-то делать!» [Фрейд-Бернайс 2018: 64]. Этот эпизод известным образом рифмуется с другим, в котором другая Анна, младшая дочь Зигмунда Фрейда, уже пожилой женщиной, перенесшей инсульт, стоически подшучивает над своими отказывающимися вязать руками: «Взгляните на эту руку, что она делает — она злится за то, что я так долго ее контролировала» [Appignanesi, Forrester 1992: 305].

Такие женские домашние практики, как вязание, вышивание, шитье, интерпретируемые исследователями как своего рода перформанс, нацеленный на подтверждение собственной женственности, равно как состоятельности в качестве жены и матери [Thom 2015], одновременно являют собой воплощение «женских рутинных обязанностей, домашний труд, время, потраченное на семью, то есть на других, а не на себя или на признаваемое и вознаграждаемое обществом занятие» и представляются обычно как часть «скучных повседневных дел, необходимых для сохранения семьи и поддержания домашнего очага» [Тёрни 2017: 17]. На протяжении длительного времени являясь частью женского образования (так, сестра Фрейда Анна вспоминает уроки вязания в школе в Гринцинге [Фрейд-Бернайс 2018: 39]), подобные практики рассматривались в качестве не только полезных навыков, но и методов формирования девочек через научение дисциплине и послушанию [Тёрни 2017: 21]. В то же самое время Берта Цукеркандль — современница Фрейда, известная журналистка и хозяйка самого знаменитого салона Вены, где на изготовленном Йозефом Хофманом диване «оживала Австрия» [Lucian 1984: 217], — эксплицируя положение Альфреда Лихтварка о дилетантизме как новой версии народного искусства на область творческих практик женского рукоделия, видела в обращении к ним путь к «истинному образованию». Последнее она описывала через важный для эпохи концепт *Bildung*, понимаемый, в свою очередь, как «этико-философское пробуждение и духовная эволюция, реализуемые через интеллектуальную и творческую включенность в разнообразие предметов». По ее мнению, такого рода деятельность являлась «единственным путем, ведущим к утверждению достоинства и равенства женщин как свободных индивидуумов» [Houze 2018: 79].

Так или иначе, область практик женского рукоделия, помимо прочего, безусловно являлась одной из тех территорий, где женщина получала доступ к творческому самовыражению, — сублимационным пространством, в котором невербализованное/невербализуемое высказывание обретало возможность артикуляции.

Как сообщает Янг-Брюэль, проживавшая в доме Фрейдов младшая сестра Марты Минна¹² (или «Tante Minna», как называли ее дети), «гениальный продюсер» [Young-Bruel 1988: 45], стала организатором домашнего кружка вязания, обучив этому ремеслу Матильду и Софию. В кружок входили все обитавшие в доме женщины, включая маленькую Анну, которую вязание увлекло настолько, что «родителям приходилось просить ее — без особого успеха — тратить на него меньше времени» [Young-Bruel 1988: 45]. Эту страсть Анна сохранила на всю жизнь, что даже позволило Аппиньянэзи и Форрестеру рассуждать на тему возможности «написать альтернативную биографию Анны через метафору вязания» [Appignanesi, Forrester 1992: 305]. В самом деле, Анна была как будто одержима рукоделием: всегда сама шила и вязала себе одежду и любила дарить собственноручно сделанные вещи друзьям, вязала во время психоаналитических сессий [Couch 1995: 168], а будущие лекции продумывала за ткацким станком [20 Maresfield gardens 2019: 38]. Когда ей исполнилось 85, она, по словам Янг-Брюэль, радостно заявила своей помощнице Манне Фридман, что в самом деле слишком стара, чтобы принимать пациентов, и пора заняться новой профессией — изготавливать вещи ручной работы [Young-Bruel 1988: 447]. Как бы там ни было, изделия Анны Фрейд действительно продавались с аукциона в пользу основанной ею Хэмпстедской клиники [Appignanesi, Forrester 1992: 305].

Показательно, однако, что в некоторых ее «проектах» — а может быть, неявным образом в каждом из них — на заднем плане проступает фигура Матильды, на которую Анна когда-то так хотела быть похожей. Можно предположить, что рукоделие стало моментом отождествления со старшей сестрой — признанным в семье эталоном благоразумной женственности, — равно как обретаемым через нее инструментом обнаружения точки идентификации с собственным полом в ходе предпринимаемых раз за разом попыток ответить на вопрос: «что же все-таки означает быть женщиной?»

Гардероб Лу Андреас-Саломе и другие сюжеты

«Что же все-таки означает быть женщиной?» — вопрос, то звучащий почти напрямую, то читаемый между строк в переписке Анны Фрейд с ее старшей подругой, ценимой отцом коллегой, а также, возможно, ее вторым психоаналитиком¹³ Лу Андреас-Саломе. В одном из писем Анна и Лу обсуждают рассказ последней в новой его редакции, на которую, как полагают исследователи, Саломе могла вдохновить прочитанная на IX Психоаналитическом конгрессе лекция Фрейда «Некоторые психические следствия анатомического различия полов» [Andreas-Salome, Freud 2001: 783]¹⁴. Рассказ называется

¹² В 1896 г., когда младшей дочери Анне исполнился год, в дом Фрейдов переехала незамужняя сестра Марты Минна; «Марта Фрейд и Минна Бернайс — “две матери”, как называл их Фрейд, — объединили свои усилия в сфере управления домашним хозяйством» [Young-Bruel 1988: 32].

¹³ Так и не получивший однозначной трактовки эпизод истории психоаналитического движения, связанный с личным анализом Анны Фрейд (вопрос проведения его отцом, равно как участия в нем Лу Андреас-Саломе в качестве второго аналитика) обсуждается разными исследователями [Young-Bruel 1988; Roazen 1993; Wiesner 2002 и др.].

¹⁴ Лекция стала основой известной статьи, где Фрейд задается вопросом о разных сценариях проживания эдипова комплекса и идентификации с собственным полом в случае с

«Возлюбленная», и его героиня носит то же имя, что старшая сестра Анны Матильда; она хороша как женщина и «имеет право» быть от этого счастливой [Andreas-Salome, Freud 2001: 489]. «В этом есть, наверное, смысл, если можешь так “танцевать”», — рассуждает Анна. Таким же, как она сама, по ее собственным словам, остается лишь с завистью смотреть на способных «быть тем или другим» — создавать, как мужчина или же танцевать и отдавать, как женщина [Ibid.: 490]. С горечью констатируя невозможность совмещения двух путей, Анна пишет о желании хотя бы однажды стать как она, но поздно, такой нельзя стать, такой можно только быть [Ibid.: 492].

Как отмечают комментаторы переписки Анны и Лу, трудно сказать, являлась ли Матильда Фрейд прототипом героини рассказа Саломе, однако известно, что она также любила и прекрасно умела танцевать [Andreas-Salome, Freud 2001: 783].

В 1923 г. Матильда включается в «проект» Анны, в котором можно разглядеть попытку последней примерить на себя обе роли в поисках баланса между «мужской» созидательной деятельностью и «женской» способностью «отдавать». Точкой приложения их сил становится предназначенная Лу Андреас-Саломе одежда: тяжелое экономическое положение Австрии и Германии в период после Первой мировой войны еще более осложнилось для нее утратой оставшегося в России состояния, и вот Анна помогает ей, крайне ограниченной в средствах, обновить гардероб, а старшая сестра принимает во всем этом деятельное участие в качестве генератора идей и консультанта по «техническим» вопросам.

Вероятно, в последовавший за смертью Хайнерле тяжелый для Матильды период работа с Анной помогает ей пережить горе. Впрочем, само начало «проекта» оказывается сопряжено с трагическими событиями: первую вещь для Лу Анна начинает вязать, находясь с отцом в клинике в связи с его операцией по удалению злокачественного новообразования на верхнем нёбе.

Санаторий Ауэрсберг. Вена, 10. X. 23

Пока я здесь с папой, большую часть времени я вяжу крючком нечто, чему предстоит стать твоей одеждой. Матильда снабжает меня на этот счет идеями (...) Лучше всего вязание идет у меня, когда папа спит, и в те часы, когда больше ничего не остается — только сидеть и ждать. Надеюсь, то, что я вяжу, не получится из-за этого грубым и колким [Andreas-Salome, Freud 2001: 233].

«Нечто» оказывается оригинально задуманным платьем. Шерсть довольно тяжелая, так что Анна и Матильда «придумали такой фасон: юбка и рукава крепятся на чехол, а блуза собирается из двух прямых деталей, которые, как туника, закрывают его сзади и спереди» [Andreas-Salome, Freud 2001: 240]. Готовое платье благодарная Лу окрестила «шерстяным чудом» [Ibid.: 317]:

Эта сказочная кайма, из чего она? А цвет, какой превосходный оттенокок! Но одно не перестает меня поражать: что человек вот так,

мужчиной и в случае с женщиной, предпринимая попытку определить, «на каком именно отрезке пути, в какой точке процесса их развития начинается расхождение» [Фрейд 2015: 166].

столбик за столбиком, раскрывает себя в работе; одна мысль об этом вызывает головокружение! [Andreas-Salome, Freud 2001: 302].

«След» Матильды обнаруживается и в том, что ангорскую шерсть для «сказочной каймы» — возможно, в соответствии с ее же задумкой — доставляет из Англии ее ближайшая подруга Рут Мак Брюнсвик¹⁵ [Andreas-Salome, Freud 2001: 304]. В одном из следующих писем Лу Саломе рассказывает о впечатлении, которое ее наряд произвел на жителей Геттингена: «...впоследствии я сама слышала, как знакомые девушки говорили кому-то, что впервые за всю мою долгую жизнь я была “шикарна”, и как!» [Ibid.: 337]. Анна счастлива, хотя и делает небольшую поправку: «...в данном случае у нас бы говорили об “элегантности”» [Ibid.: 339].

Следующим изделием становится домашняя одежда из тонкой шерсти («скорее платье, чем шлафрок»), которую Лу могла бы надевать, принимая анализантов у себя дома. Фасон вновь «родился в голове Матильды», с которой Анна «день и ночь беспрерывно советовалась» [Andreas-Salome, Freud 2001: 343]. Вещь так хороша, что Минна и Марта (в процессе работы исполнявшая роль живого манекена для примерок) под конец уже поглядывают на нее «алчными взглядами» [Ibid.: 339]. Помимо прочего, Анна обещает, что, если Лу отрежет от припуска подола своего старого пальто узкую полоску ткани и пришлет ее в письме, они с Матильдой придумают нечто наподобие утепляющей вязаной подстежки, которую Лу сможет получить к осени [Ibid.: 334–335].

Восхитительное домашнее платье, одновременно напоминающее цветом клубнику и увядшую розу, Лу называет «мерцающим»; несколько смущенная, она говорит о том, что им обоим, «старухе и молодому платью», надо привыкнуть друг к другу. Платье, однако, было по достоинству оценено представителями противоположного пола: муж Лу Карл-Андреас сердечно благодарит Анну за эту «кожу» для его жены, а некий «швед»¹⁶ «на своем ломаном немецком назвал “портного” (как он себе это представляет) “гением”» [Andreas-Salome, Freud 2001: 349–351]. Стоит отметить, что последнее замечание особенно радует Анну и Матильду; как пишет Анна, признание женской работы равной работе «портного», т. е. мужчины, представляет для них с Матильдой высшую меру похвалы [Ibid.: 255].

В течение периода с 1923 по 1925 г. сестры продолжают придумывать и создавать новые «кожи» для Лу Саломе; как отмечает Гёдде, совместная работа, несомненно, еще больше сближает их [Gödde 2003: 152]. Подшучивая над усердием младшей дочери, Фрейд говорил: «Если настанет день, когда больше не будет психоанализа, ты сможешь стать портнихой в Тель-Авиве» [Young-Bruel 1988: 193]. Изготовление одежды, однако, становится сферой

¹⁵ В переписке Анны Фрейд и Лу Андреас-Саломе Рут Мак Брюнсвик фигурирует как фрау д-р Блумгарт — в соответствии с фамилией первого мужа, под которой она работала в тот период [Andreas-Salome, Freud 2001: 726].

¹⁶ Как сообщают комментаторы, неидентифицированное лицо — возможно, речь идет об одном из пациентов Саломе, поскольку чуть выше она упоминает о потраченных впустую из-за «очаровательного» платья двух часах анализа подряд [Andreas-Salome, Freud 2001: 351].

профессиональной активности не Анны, а Матильды, в случае с которой, возможно, успех инициированного сестрой предприятия сыграл роль отправного пункта для дальнейшей деятельности.

Существует ряд упоминаний [Young-Bruel 1988; Gödde 2003; Freud 1992] о том, что в 1930-е годы в Вене Матильда Холличер владела ателье, которое, как указывает Янг-Брюэль, специализировалось на создании одежды ручной работы [Young-Bruel 1988: 42]. К сожалению, точные сведения об этом периоде ее деятельности на сегодняшний день отсутствуют; единственным источником, напрямую о нем сообщающим, является посвященная открытию ателье Матильды в Лондоне статья в газете «Еврейские хроники», где, в частности, говорится о том, что на последнем перед аншлюсом Венском оперном балу многие из высоких гостей были одеты в изготовленные по ее дизайну туалеты. Автор статьи подчеркивает, что речь идет именно о переносе ранее существовавшего бизнеса из Вены в Лондон¹⁷.

Гюнтер Гёдде предполагает, что финансовой основой для этого бизнеса могла стать подаренная отцом в честь дня ее рождения 16 октября 1933 г. крупная денежная сумма¹⁸. Согласно его гипотезе, во время экономического кризиса 1930-х Матильда в тот момент, когда ее муж оказался в профессиональном и финансовом тупике, что называется, «сделала из нужды добродетель», приняв на себя ответственность за семейное благосостояние. При этом многолетние связи Роберта Холличера в текстильном бизнесе и предоставленный отцом стартовый капитал не могли не сыграть в предприятии своей положительной роли [Gödde 2003: 154]. В то же время, как пишет Гёдде, многие вопросы все еще остаются открытыми: в венских коммерческих и торговых реестрах какие-либо сведения о деятельности Матильды Холличер отсутствуют, существующие же записи о принадлежавших ее мужу компаниях и пакетах акций ничего не проясняют — вероятнее всего, Матильда работала в бизнесе, зарегистрированном на третье лицо. Неизвестно также, в какой именно момент она начала свою деятельность в качестве дизайнера и предпринимательницы [Ibid.: 154].

В заключение данного раздела хотелось бы затронуть еще один сюжет, в котором отражены две, по-видимому, наиболее ярко характеризующих Матильду черты: стремление к творческой самореализации и внимание к нуждам и чаяниям близких. Этот сюжет связан с объектом, ставшем одним из, возможно, наиболее узнаваемых экспонатов лондонского Музея Фрейда, — знаменитым рабочим креслом основателя психоанализа. Этот необычной формы предмет интерьера был заказан Матильдой другу ее брата Эрнста Л. Фрейда, архитектору и дизайнеру Феликсу Аугенфельду. Через много лет в интервью журналисту австрийского телевидения Аугенфельд вспоминал, как старшая дочь Фрейда обратилась к нему с просьбой изготовить кресло, дизайн которого учитывал бы привычку ее отца читать в странной позе, перекинув одну ногу через подлокотник кресла [Gödde 2003: 178]. В соответствии со сформулированным Матильдой «техническим заданием» Аугенфельд и его партнер

¹⁷ Подробнее см. раздел данной статьи «“Robell”, ателье на Бейкер-стрит».

¹⁸ Известно, что на конверте была надпись «От папы с наилучшими пожеланиями и гарантией от падения валютного курса» [Gödde 2003: 153], что может быть расценено как намек на связанные с будущим бизнесом планы.

Карл Хоффман создали кресло специфической антропоморфной формы с мягкими подлокотниками и высокой узкой спинкой, наряду с легендарной кушеткой ставшее одним из ассоциирующихся с фигурой основателя психоанализа атрибутов.

«Robell», ателье на Бейкер-стрит

История эмиграции Фрейда и его семьи из Вены в Лондон и ее трагические обстоятельства освещаются разными исследователями, подвергающими их печальные подробности детальному рассмотрению [Cohen 2012; Hoffbrand: 2018; Рудинеско 2018 и др.]. Матильде и ее мужу Роберту удалось уехать чуть раньше других — 24 мая, таким образом, 6 июня Матильда уже встречала членов своей семьи на Восточном вокзале вместе с женой своего проживающего в Лондоне брата Эрнста Люси и главой Британского психоаналитического общества Эрнстом Джонсом [Gödde 2003: 205]. На момент отъезда ей было 50 лет, ее мужу — 62 года; так или иначе, как отмечает Джулия Хоффбранд, Матильда сумела быстро адаптироваться в Лондоне [Hoffbrand 2018: 37]. Тем же летом она начинает сотрудничать с Эрнстом и Анной Штиассны — занимавшейся дизайном одежды супружеской парой из Инсбрука, чей известный магазин «Stiassny & Schlesinger» был «ариизирован» и конфискован вскоре после аншлюса 12 марта 1938 г. [Gödde 2003: 211]. За несколько недель до аншлюса Штиассны открывают в Лондоне фирму «Stiassny Ltd.», в которой 8 сентября 1938 г. Матильда Холличер получает должность «постоянного директора» [Ibid.: 211]. Как указывает Гёдде, Фрейд упоминает о деятельности Матильды в письме своей коллеге и ученице, голландскому психоаналитику Жанне Лампль де Гроот (хорошо знавшей Анну, Лу Андреас-Саломе и, вероятно, Матильду) от 20 ноября 1938 г., где, в частности, сообщает о том, что развитие бизнеса Матильды внушает ему надежду [Ibid.: 212].

6 января 1939 г. Штиассны и Матильда открывают в престижном районе в центре Лондона, на Бейкер-стрит, салон «Robell»¹⁹. В честь этого события газета «Еврейские хроники» публикует проиллюстрированную фотографией статью:

Дочь Фрейда теперь дизайнер одежды в Лондоне — а сын знаменитого профессора, архитектор, оформил интерьер ее современного салона.

Когда дочь Фрейда открыла магазин в Лондоне на Бейкер-стрит, это событие вызвало заинтересованное обсуждение во всем мире. Однако это не было новым начинанием члена семьи известного ученого — это был перевод и развитие в этой стране бизнеса, который мадам Холличер (Матильда Фрейд) основала годы назад в Вене. На последнем перед аншлюсом Венском оперном балу, который почтил своим присутствием д-р Шушнитг, многие высокие гости были одеты в платья, разработанные и изготовленные мадам Холличер. В те счастливые времена, до эмиграции, она нашла применение сво-

¹⁹ На этикетке платья, изготовленного в стенах «Robell» в 1950-е годы и выставленного на продажу на портале 1stDibs [n. d.], указан адрес ателье: Бейкер-стрит, 48.

им талантам в принесшей ей признание работе. Здесь, в Лондоне, мадам Холличер заявила о себе в партнерстве с мистером и миссис Стиасснер, в прошлом известными дизайнерами одежды в Инсбруке. На этом известном курорте их салон был особенно знаменит представленными в нем красивыми тирольскими костюмами.

Помещения «Robell», как мадам Холличер решила назвать свой лондонский бизнес, были специально для нее оформлены ее братом, д-ром Эрнстом Фрейдом — ставшим архитектором сыном известного профессора. В салоне предлагаются платья на все случаи жизни, каждое из которых разработано и выполнено с безупречным вкусом и вниманием к мельчайшим деталям.

Особенностью коллекции является спортивная одежда, причем некоторые модели предоставлены чехословацкими производителями, нашедшими возможность продолжить свое сотрудничество с мадам Холличер и ее партнерами. Костюмы и платья предлагаются по очень доступным ценам. Особенностью лондонского салона «Robell» является услуга пошива свадебных платьев на заказ. Со столь высококвалифицированными помощниками ни одна невеста не сможет усомниться в том, что ее свадебная процессия удовлетворит самым взыскательным требованиям.

И, в конечном итоге, вероятно, не лишним будет упомянуть о том, что, если двое молодых людей собрались пожениться, им следовало бы вспомнить имя Фрейда и научиться применять к своим отношениям некоторые психологические теории, которые смогли бы придать колесу их жизни более мягкий ход.

Центральная иллюстрация изображает фасад «Robell»; на иллюстрации вверху представлены меблировка и лестница; нижняя иллюстрация демонстрирует часть гардеробного помещения, также спроектированного д-ром Эрнстом Фрейдом [Gödde 2003: 215].

Стоит отметить широкий ассортимент изделий, равно как и предоставляемых салоном услуг, что очевидно и из опубликованного Гёдде рекламного объявления, в котором речь идет о пальто, костюмах, спортивной одежде, коктейльных и вечерних платьях [Gödde 2003: 213]. Отсутствие узкой специализации может служить подтверждением деловой интуиции Матильды Холличер и ее партнеров, а также свидетельствовать о трудностях, испытывавшихся британскими производителями одежды в связи с режимом экономии в период Второй мировой войны²⁰.

В течение последующих двадцати пяти лет Матильда Холличер бесменно занимала пост «постоянного директора» «Robell». Как полагает Гюнтер Гёдде, для супругов Холличер фирма «Robell» стала, вероятно, их главным детищем, а ее развитие в известном смысле составило в те годы главную цель их жизни. В то время как Матильда осуществляла общее управление предприятием,

²⁰ В книге Аппиньянези и Форрестера ошибочно указано название фирмы: «Robes belles». Помимо этого, авторы пишут о предприятии Матильды Холличер как о специализирующемся на коктейльных платьях бутике [Appignanesi, Forrester 1992: 51], что, учитывая реалии периода, на который пришлось первые годы существования салона, навряд ли представляется возможным.

ее муж Роберт вел финансовую отчетность [Gödde 2003: 213]. Сын Мартина Фрейда Антон Вальтер в интервью 2003 г. высоко оценивал деловые качества Матильды, вспоминая ее как компетентную и умную деловую женщину [Ibid.: 213]. Того же мнения придерживался и Виктор Росс, сын подруги и сподвижницы Анны Фрейд известного психоаналитика Евы Розенфельд, написавший о своей матери книгу воспоминаний и неоднократно посещавший вместе с нею дом Холличеров. Отзываясь о Матильде как об одаренной и трудолюбивой предпринимательнице, Росс указывает, что ее модный магазин был в то время хорошо известен в Лондоне [Ibid.: 213].

Сегодня на сайтах, торгующих винтажной одеждой, можно встретить вещи, изготовленные в ателье Матильды Холличер в период ее управления последним [1stDibs n. d.; Willow Hilson Vintage n. d. и др.]. Обычно это со вкусом выполненные изящные платья: какие-то из них достаточно просты, другие демонстрируют характерный для эпохи сложный крой. На отдельных изделиях, впрочем, можно обнаружить те особенности обработки²¹, которые позволяют строить предположения, что среди сотрудников Матильды были женщины, так же, как и она, не учившиеся специально портновскому делу, однако имевшие большой опыт так называемого домашнего шитья, в определенный момент ставшего основой их новой профессии.

Некоторое представление о продукции салона Матильды Холличер, равно как о ее собственном сартorialном коде в описываемый период дает также сделанная в 1956 г. фотография из коллекции Музея Фрейда в Лондоне, где Матильда стоит в окружении своих братьев Мартина и Эрнста, сестры Анны и Мари Бонапарт²². Судя по снимку, Матильде в ее почти 70 удавалось удачно адаптировать современную ей моду к подобающим возрасту нарядам: на ней приталенного силуэта платье из, по-видимому, тонкой светлой шерсти — с умеренно расклешенной юбкой, аккуратным круглым вырезом ворота и цельнокроеным рукавом длиной «три четверти». Примечательно, что со стоящей рядом принцессой Мари Бонапарт — большой модницей и в некотором роде «иконкой стиля» — вдвоем они составляют весьма элегантную пару, так что по контрасту с их продуманными образами вязаный кардиган Анны Фрейд производит скорее непритязательное впечатление. Вспоминая приведенный выше эпизод из мемуаров Мартина Фрейда, можно пофантазировать на тему того, что унаследованное Матильдой от матери стремление к совершенству в одежде вновь получило подтверждение со стороны особы королевских кровей.

В 1959 г. после длительной тяжелой болезни в возрасте 83 лет скончался Роберт Холличер. Через год Матильда перенесла серьезную операцию, однако продолжала управлять компанией в течение еще некоторого времени, пока в 1964 г. не продала принадлежавшую ей в предприятии долю своим партнерам

²¹ Подобные предположения позволяет делать анализ применявшихся при пошиве технологических приемов, произведенный автором данной статьи на примере приобретенного на сайте 1stDibs [n. d.] платья, вышедшего из стен «Robell» в 1950-е годы, ориентировочно в середине десятилетия. По его результатам следует отметить такие особенности, как отсутствие единообразия в обработках припусков швов, а также отсутствие специальных закрепок и/или дублирующего материала в местах наибольшего напряжения ткани, результатом чего стала произошедшая со временем раздвижка нитей.

²² Снимок опубликован в [Gödde 2003: 218].

Штиассны — как свидетельствует ее племянник Антон Вальтер, «по очень хорошей цене» [Gödde 2003: 219].

Заключение

Анна Фрейд в опубликованной во втором номере «Sigmund Freud House Bulletin» статье — своего рода некрологе на смерть сестры — писала:

Для нее, как и для всех ее современников, жизнь в первой половине XX века была не лишена множества трудностей. Беззаботное существование в период до Первой мировой войны сменилось тревогами послевоенных лет, финансовыми и политическими потрясениями, страхами и угрозами гитлеровских дней, вынужденной эмиграцией и Второй мировой войной. Сперва вместе с мужем, а затем после его смерти в 1959 году она приняла на себя непростую задачу начать новую жизнь в Англии [Gödde 2003: 208].

Биографию Матильды Холличер, во многом разделившей судьбу своих соотечественников и современников, можно представить в качестве точки схождения целого ряда разворачивающихся в контрапунктной логике сюжетных линий в широком диапазоне от событий истории психоаналитического движения и биографии его основателя и вдохновителя до личных историй женщин XX в. и связанных с повседневными домашними практиками нарративов.

Сопричастность Матильды Холличер истории психоаналитического движения определяется ее многочисленными, разной степени близости связями с видными представителями психоаналитического поля: Зигмундом Фрейдом, Анной Фрейд, Рут Мак Брюнсвик, Лу Андреас-Саломе, Жанной Ламплъ де Гроот, Мари Бонапарт, Евой Розенфельд и др.; рассмотренные в подобном ключе факты биографии старшей дочери основателя психоанализа позволяют дать новое раскрытие ряду эпизодов.

В качестве совершенно самостоятельной траектории может быть представлена биография Зигмунда Фрейда, воспроизведенная через историю его семьи и тех жизненных реалий, на фоне которых разворачивалась его мысль. Как отмечает в своем введении к жизнеописанию основателя психоанализа Элизабет Рудинеско, важной на сегодняшний день задачей представляется изучать Фрейда, «воссоздавая его эпоху, которая одновременно создавала и его самого» [Рудинеско 2018: 6]. В свою очередь, обращение к малоизученной теме связей Фрейда и его семьи с миром одежды и текстиля может открыть перспективу более глубокого осмысления части психоаналитического дискурса, связанной с восходящей к фрейдовским текстам традицией использования вестиментарной и текстильной метафоры для описания феноменов психической жизни²³.

Таким образом, история Матильды Холличер комплементарно встраивается в своего рода «текстильный» контекст истории семьи основателя пси-

²³ Как отмечает психоаналитик Айтен Юран, в его текстах метафоры нити и ткани служат для построения модели бессознательного: «...именно эта интуиция Фрейда ляжет в основу многих других находок в осмыслении психической реальности» [Юран 2016: 11].

хоанализа. В то же самое время ее судьба, во многом типичная для представительниц одного с ней поколения, представляет безусловный интерес в том числе в качестве показательного примера, демонстрирующего произошедшее в XX в. смещение женского творческого труда, связанного с изготовлением предметов одежды, из области домашних практик в сферу профессиональной деятельности. Парадоксальным образом изначально артикулировавшееся как не выходящее за рамки приватного пространства гендерно обусловленное занятие впоследствии трансформировалось в противоположное, став пропуском в публичное пространство и инструментом, открывающим карьерные перспективы.

Напоследок стоит отметить, что «текстильная» история семьи Фрейд имела продолжение: Белла Фрейд, правнучка Зигмунда Фрейда, внучка архитектора Эрнста Л. Фрейда и дочь художника Люсьена Фрейда, сегодня является известным лондонским дизайнером одежды, основательницей и владелицей бренда «Bella Freud»²⁴.

Источники

О п у б л и к о в а н н ы е

- Фрейд 2008 — *Фрейд З.* В вопросу о дилетантском анализе: беседы с посторонним // Зигмунд Фрейд. Сочинения по технике лечения / Пер. с нем. А. М. Боковой. М.: Фирма СТД, 2008. С. 271–349.
- Фрейд 2015 — *Фрейд З.* Некоторые психические следствия анатомического различия полов // Фрейд З. Собр. соч.: В 26 т. Т. 1: Любовь и сексуальность. Закат Эдипова комплекса / Пер. с нем. Т. Баскаковой. СПб.: Восточно-Европейский Ин-т Психоанализа, 2015. С. 163–176.
- Фрейд 2021 — *Фрейд З.* О покрывающих воспоминаниях: Критически-историческое исследовательское издание / Ред. и пер. с англ. и нем. С. Ф. Сироткина. Ижевск: ERGO, 2021.
- Фрейд-Бернайс 2018 — *Фрейд-Бернайс А.* Мой брат Зигмунд Фрейд / Ред. и пер. с англ. и нем. С. Ф. Сироткина. Ижевск: ERGO, 2018.
- Andreas-Salome, Freud 2001 — “...als käm ich heim zu Vater und Schwester”: Lou Andreas-Salome — Anna Freud: Briefwechsel. 1919–1937: 2 Bd. / Hrsg. von D. A. Rothe, I. Weber. Göttingen: Wallstein, 2001.
- Andreas-Salomé, Freud 1972 — Sigmund Freud and Lou Andreas-Salomé: Letters / Ed. by E. Pfeiffer; Trans. by W. Robson-Scott, E. Robson-Scott. New York: A Helen and Kurt Wolf Book; Harcourt Brace Jovanovich, 1972.
- Berthelsen 1991 — *Berthelsen D.* La Famille Freud au jour le jour. Souvenirs de Paula Fichtl / Postface de F. Hacker. Trad. et annoté par L.-M. Robin. Paris: PUF, 1991.
- Bonaparte 1929 — *Bonaparte M.* Die Identifizierung einer Tochter mit ihrer verstorbenen Mutter / Aus d. Franz. übertr. von Mathilde Hollitscher // Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. Bd. 15. Heft 4. 1929. S. 481–500.
- Freud 1957 — *Freud M.* Glory reflected: Sigmund Freud — man and father. London: Angus and Robertson, 1957.

²⁴ См.: Bella Freud | Designer Knitwear, T-Shirts & Suits | Clothing. URL: <https://bellafreud.com>.

- Freud 1975 — Letters of Sigmund Freud, 1873–1939 / Ed. by E. L. Freud; Trans. by T. Stern, J. Stern. New York: Basic Books, 1975.
- Freud 1992 — The diary of Sigmund Freud 1929–1939: A record of the final decade / Ed. and trans. by M. Molnar. New York: Scribner's, 1992.
- Nunberg 1962 — Minutes of the Vienna Psychoanalytic Society. Vol. 1: 1906–1908 / Ed. by H. Nunberg, E. Federn; Trans. by H. Nunberg. New York: International Univ. Press, 1962.
- 20 Maresfield gardens 2019 — 20 Maresfield gardens: A guide to the Freud Museum. London: Serpent's Tail, 2019.

Сетевые

- 1stDibs n. d. — 1stDibs: Antique and Modern furniture, jewelry, fashion & art. URL: https://www.1stdibs.com/fashion/clothing/day-dresses/robell-baker-street-vintage-silk-dress/id-v_4940781.
- Willow Hilson Vintage n. d. — Willow Hilson Vintage Boutique. URL: <https://willowhilson.com/products/velours-noir-vintage-1950s-black-velvet-dress-uk-10-us-7>.

Литература

- Гай 2016 — *Гай П.* Фрейд / Пер. с англ. Ю. Гольдберга. М.: Азбука-Аттикус, 2016.
- Джонс 1996 — *Джонс Э.* Жизнь и творения Зигмунда Фрейда / Пер. с англ. В. В. Старовойтова. М.: Гуманитарий, 1996.
- Каплан 2020 — *Каплан Дж.* Мужчина в костюме: еврейские мужчины и мода в Вене на рубеже XIX–XX веков / Пер. с англ. Т. Пируской // Теория моды: Одежда, тело, культура. 2020. № 4 (58). С. 141–170.
- Рудинеско 2018 — *Рудинеско Э.* Зигмунд Фрейд в своем времени и нашем / Пер. с фр. В. В. Боченкова. М.: Кучково поле, 2018.
- Тёрни 2017 — *Тёрни Дж.* Культура вязания / Пер. с англ. Е. Кардаш. М.: Нов. лит. обозрение, 2017.
- Чернов 2013 — *Чернов М. С.* Развитие австрийской текстильной промышленности в XIX — начале XX вв. // Проблемы всеобщей истории и политологии: Сб. науч. тр. Вып. 5 / Отв. ред. Б. Г. Койбаев. Владикавказ: ИПЦ СОИГСИ, 2013. С. 84–95.
- Шорске 2001 — *Шорске К.* Вена на рубеже веков / Пер. с англ. М. Рейзин. СПб.: Изд-во им. Н. И. Новикова, 2001.
- Юран 2016 — *Юран А.* Вплетение-3: Нити или «Roter Faden» Лакана // Лаканалия. № 22. 2016. URL: http://lacan.ru/wp-content/uploads/2017/08/lcn022_threads.pdf. С. 9–19.
- Appignanesi, Forrester 1992 — *Appignanesi L., Forrester J.* Freud's women. New York: Basic Books, 1992.
- Behling 2005 — *Behling K.* Martha Freud: A biography / Trans. by R. D. W. Glasgow. Cambridge: Polity Press, 2005.
- Cohen 2012 — *Cohen D.* The escape of Sigmund Freud. New York: The Overlook Press, 2012.
- Couch 1995 — *Couch A. S.* Anna Freud's adult psychoanalytic technique: A defence of classical analysis // International Journal of Psychoanalysis. Vol. 76. No. 1. 1995. P. 153–171.
- Ellenberger 1970 — *Ellenberger H. F.* The discovery of the unconscious; the history and evolution of dynamic psychiatry. New York: Basic Books, 1970.
- Gicklhorn 1969 — *Gicklhorn R.* The Freiberg period of the Freud family // Journal of the History of Medicine and Allied Sciences. Vol. 24. No. 1. 1969. P. 37–43. <https://doi.org/10.1093/jhmas/xxiv.1.37>.
- Gödde 2003 — *Gödde G.* Mathilde Freud: Die älteste Tochter Sigmund Freuds in Briefen und Selbstzeugnissen. Gießen: Psychosozial-Verlag, 2003.

- Hoffbrand 2018 — *Hoffbrand J.* Leaving today: The Freuds in exile 1938: Exhibition catalogue. London: Freud Museum London, 2018.
- Houze 2018 — *Houze R.* Textiles, fashion, and design reform in Austria-Hungary before the First World War: Principles of dress. London; New York: Routledge, 2018.
- Kaplan 2018 — *Kaplan J. C.* Looking and behaving: Sartorial politics and Jewish men in fin-de siècle Vienna // *Critical Studies in Men's Fashion*. Vol. 5. No 1–2. 2018. P. 5–23. https://doi.org/10.1386/csmf.5.1-2.5_1.
- Kaplan 2019 — *Kaplan J. C.* *Kleider machen Leute*: Jewish men and dress politics in Vienna, 1890–1938: PhD Thesis / The University of Technology Sydney, Australia. Sydney, 2019.
- Kaplan-Wajselbaum 2023 — *Kaplan-Wajselbaum J. C.* Jews in suits: Men's dress in Vienna, 1890–1938. London: Bloomsbury, 2023.
- Lucian 1984 — *Lucian O. M.* In meinem Salon ist Österreich: Berta Zuckerandl und ihre Zeit. Wien; München: Herold, 1984.
- McCagg 1989 — *McCagg W. O.* A history of Habsburg Jews, 1670–1918. Bloomington: Indiana Univ. Press, 1989.
- Roazen 1993 — *Roazen P.* Meeting Freud's family. Amherst: Univ. of Massachusetts Press, 1993.
- Thom 2015 — *Thom D.* A stitch in time: Home Sewing Before 1900 // *The V&A Blog*. 2015. May 5. URL: <https://www.vam.ac.uk/blog/news/a-stitch-in-time-home-sewing-before-1900>.
- Weissberg 2010 — *Weissberg L.* Ariadne's thread // *MLN*. Vol. 125. No. 3. 2010: German Issue. P. 661–681. <https://doi.org/10.1353/mln.0.0267>.
- Wiesner 2002 — *Wiesner M.* Lou Andreas-Salomé: "...wie ich Dich liebe, Rätselleben": eine Biographie. Leipzig: Reclam, 2002.
- Young-Bruel 1988 — *Young-Bruel E.* Anna Freud: A biography. New York: Summit Books, 1988.

References

- Appignanesi, L., & Forrester, J. (1992). *Freud's women*. Basic Books.
- Behling, K. (2005). *Martha Freud: A biography*. Polity Press.
- Chernov, M. S. (2013). Razvitie avstriiskoi tekstil'noi promyshlennosti v XIX — nachale XX vv. [The development of the Austrian textile industry in the 19th — early 20th century]. In B. G. Koibaev (Ed.). *Problemy vseobshchei istorii i politologii: Sbornik nauchnykh trudov* (Vol. 5, pp. 84–95). IPTS SOIGSI. (In Russian).
- Cohen, D. (2012). *The escape of Sigmund Freud*. The Overlook Press.
- Couch, A. S. (1995). Anna Freud's adult psychoanalytic technique: A defence of classical analysis. *International Journal of Psychoanalysis*, 76(1), 153–171.
- Ellenberger, H. F. (1970). *The discovery of the unconscious; the history and evolution of dynamic psychiatry*. Basic Books.
- Gay, P. (1989). *Freud: A life for our time*. Papermac.
- Gicklhorn, R. (1969). The Freiberg period of the Freud family. *Journal of the History of Medicine and Allied Sciences*, 24(1), 37–43. <https://doi.org/10.1093/jhmas/xxiv.1.37>.
- Gödde, G. (2003). *Mathilde Freud: Die älteste Tochter Sigmund Freuds in Briefen und Selbstzeugnissen*. Psychosozial-Verlag. (In German).
- Hoffbrand, J. (2018). *Leaving today: The Freuds in exile 1938: Exhibition catalogue*. Freud Museum London.
- Houze, R. (2018). *Textiles, fashion, and design reform in Austria-Hungary before the First World War: Principles of dress*. Routledge.

- Iuran, A. (2016). Vpletenie-3: Niti ili “Roter Faden” Lakana [Netting-3: The threads or the Roter Faden of Lacan]. *Lakanalii*, 22, 9–19. http://lacan.ru/wp-content/uploads/2017/08/lcn022_threads.pdf. (In Russian).
- Jones, E. (1953). *The life and work of Sigmund Freud*. Basic Books.
- Kaplan, J. C. (2018). Looking and behaving: Sartorial politics and Jewish men in fin-de siècle Vienna. *Critical Studies in Men's Fashion*, 5(1–2), 5–23. https://doi.org/10.1386/csmf.5.1-2.5_1.
- Kaplan, J. C. (2019). *Kleider machen Leute: Jewish Men and Dress Politics in Vienna, 1890–1938* (PhD Thesis, The Univ. of Technology Sydney, Australia).
- Kaplan, J. C. (2020). The man in the suit: Jewish men and fashion in fin-de-siècle Vienna. *Fashion Theory*, 25(1), 1–28.
- Kaplan-Wajselbaum, J. C. (2023). *Jews in suits: Men's dress in Vienna, 1890–1938*. Bloomsbury.
- Lucian, O. M. (1984). *In meinem Salon ist Österreich: Berta Zuckermandl und ihre Zeit*. Herold. (In German).
- McCagg, W. O. (1989). *A history of Habsburg Jews, 1670–1918*. Indiana Univ. Press.
- Roazen, P. (1993). *Meeting Freud's family*. Univ. of Massachusetts Press.
- Roudinsco, E. (2014). *Sigmund Freud, en son temps et dans le nôtre*. Seuil. (In French).
- Schorske, C. (1980). *Fin-de-siècle Vienna: Politics and culture*. Alfred A. Knopf.
- Thom, D. (2015, May 5). A stitch in time: Home Sewing Before 1900. *The V&A Blog*. <https://www.vam.ac.uk/blog/news/a-stitch-in-time-home-sewing-before-1900>.
- Turney, J. (2013). *The culture of knitting*. Bloomsbury.
- Weissberg, L. (2010). Ariadne's thread. *MLN*, 125(3), 661–681. <https://doi.org/10.1353/mln.0.0267>.
- Wiesner, M. (2002). *Lou Andreas-Salomé: “...wie ich Dich liebe, Rätselleben”: eine Biographie*. Reclam. (In German).
- Young-Bruel, E. (1988). *Anna Freud: A biography*. Summit Books.

Информация об авторе

Ольга Михайловна Лебедева

аспирантка, Аспирантская школа
по искусству и дизайну, факультет
креативных индустрий, Национальный
исследовательский университет «Высшая
школа экономики»
Россия, 109028, Москва, Покровский
бульвар, д. 11
Тел.: +7 (495) 772-95-90
✉ onika1969@mail.ru

Information about the author

Olga M. Lebedeva

Post-Graduate Student, Doctoral School
of Arts and Design, Faculty of Creative
Industries, National Research University
Higher School of Economics
Russia, 109028, Moscow, Pokrovsky
Boulevard, 11
Tel.: +7(495)772-95-90
✉ onika1969@mail.ru

К. О. Gusarova^{ab}

ORCID: 0000-0002-7325-5173

✉ kgusarova@gmail.com

^a Российский государственный гуманитарный университет
(Россия, Москва)

^b Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
(Россия, Москва)

FANTASIES OF BEING SOMEBODY: AUTO/BIOGRAPHIC POTENTIAL OF POSING CONVENTIONS

Аннотация. В статье рассматривается соотношение индивидуального и коллективного в современной массовой фотографии, которая помещается в исторический контекст позирования для заказных портретов. Характеризующие эту традицию индивидуализация и (авто)биографический вымысел получили резкую оценку в теоретических статьях Александра Родченко и Осипа Брика конца 1920-х годов. Критикуя воспроизведение живописных клише в современной им фотографии, данные авторы видели в этих условных элементах ненужную красоту, заслоняющую и искажающую реальный мир. Реальность для Родченко и Брика определялась взаимодействием социальных сил, и достаточным основанием для осуждения фотографий было обыкновение изолировать портретируемого в обстановке студии. Центральное для рассуждений этих теоретиков понятие клише, или «штампа», в данной статье рассматривается, напротив, как имплицитное указание на коллективный аспект каждого отдельного портрета. В первой части статьи исторические прототипы современной массовой портретной фотографии анализируются с точки зрения формирования классовых и гендерных стереотипов. Идея имплицитной коллективности, присутствующей в стилистически близких изображениях, получает развитие во второй части статьи, где фотографическая серия Яны Романовой «W» рассматривается через призму концепций Лорен Берлант («задушевная публика», «женские жалобы») и Гейл Лезерби («авто/биография»).

Ключевые слова: позирование, портрет, авто/биография, клише, Яна Романова, задушевная публика, гламурный труд, женственность, красота, социальные сети, Александр Родченко, Осип Брик

Для цитирования: *Gusarova K. O. Fantasies of being somebody: Auto/biographic potential of posing conventions // Шаги/Steps. Т. 9. № 4. 2023. С. 268–285. <https://doi.org/10.22394/2412-9410-2023-9-4-268-285>.*

*Статья поступила в редакцию 16 мая 2023 г.
Принято к печати 15 октября 2023 г.*

Shagi / Steps. Vol. 9. No. 4. 2023
Articles

K. O. Gusarova^{ab}

ORCID: 0000-0002-7325-5173

✉ kgusarova@gmail.com

^a *Russian State University for the Humanities (Russia, Moscow)*

^b *The Russian Presidential Academy
of National Economy and Public Administration
(Russia, Moscow)*

FANTASIES OF BEING SOMEBODY: AUTO/BIOGRAPHIC POTENTIAL OF POSING CONVENTIONS

Abstract. The article examines the tension between the individual and the collective in current mainstream photographic practice, which is considered within the long-term historical context of commercial portraiture. The individualizing tendencies of this representational tradition as well as its status as (auto)biographical fiction were astutely analyzed by the Russian avant-garde thinkers Alexander Rodchenko and Osip Brik. Criticizing the persistence of “painterly” clichés in studio photography of their time, they saw these conventional elements as something that obscures and distorts reality, substituting for it a beautiful picture. For these leftist theorists, reality was primarily defined by the interplay of social forces, and isolating the subject within the picture frame was sufficient grounds for their disapproval. Taking up their notion of cliché applied particularly to posing, this article proposes to view it, instead, as an entry point into the usually invisible collective dimension of each individual portrait. The first section of the article discusses historical precedents to current mainstream photographic portraiture in terms of class- and gender-specific pressures on the sitters which have contributed to the homogenization of the genre’s visual canon. The suggestion to view stylistically similar images of individuals as expressing a latent collectivity is developed in the second part of the article, which analyzes Jana Romanova’s photo-

graphic series *W* through the theoretical framework borrowed from Lauren Berlant (“intimate public”, “female complaint”) and Gayle Letherby (“auto/biography”).

Keywords: posing, portrait, auto/biography, cliché, Jana Romanova, intimate public, glamour labour, femininity, beauty, social media, Alexander Rodchenko, Osip Brik

To cite this article: Gusarova, K. O. (2023). Fantasies of being somebody: Auto/biographic potential of posing conventions. *Shagi / Steps*, 9(4), 268–285. <https://doi.org/10.22394/2412-9410-2023-9-4-268-285>.

Received May 16, 2023

Accepted October 15, 2023

In 1928, Alexander Rodchenko, a pioneering Russian visual artist, published an article which started with an account of his dispute with an unnamed opponent concerning painting’s and photography’s respective value as a medium of portraiture. The anonymous interlocutor argued that a painted portrait presented the “sum total” of characteristic moments distinguishing a particular individual, whereas a photograph gave only a fleeting and imprecise impression of the person at an arbitrarily chosen moment. Rodchenko, on the other hand, pointed out that painting was never objective as it presented an idealized version of its subject, in contrast to which he emphasized the documentary value of photography. However, the idea of a “sum total” apparently appealed to him as well, so he proposed a more modern and “truthful” alternative to the traditional (painted) portrait — a photographic archive which would include all the documented moments of an individual’s life:

It has to be argued firmly that with the emergence of photodocuments the notion of a single irrefutable portrait is out of the question. What is more, a man is not just one sum, he is many sums at once, and these sums can drastically contradict one another¹.

The idea of a multiplicity of images necessary to create a “truthful representation” (*vraie représentation*) of a model had already been voiced many decades earlier by André-Adolphe-Eugène Disdéri [1862: 102], who, ironically, was largely responsible for photography’s adoption of the conventions of a painted portrait. For Disdéri, potential diversity of images consisted, above all, in the variety of angles, as well as the model’s poses and facial expressions, whereas the temporal dimension was barely present — in his photographic manual Disdéri recommended a device which allowed for taking several pictures directly one after the other, thus “com-

¹ “Нужно твердо сказать, что с возникновением фотодокументов не может быть речи о каком-либо едином непреложном портрете. Больше того, человек не является одной суммой, он — многие суммы, иногда совершенно противоположные” [Rodchenko 2007: 335]. All translations from the Russian and the French are mine, unless otherwise specified.

pressing” the time of the sitting. For Rodchenko, the passage of time was more important: to create a veracious “sum total”, he urged photographers to take snapshots of a person “at different times and in different circumstances” [Rodchenko 2007: 337]. As an example of such a documentary “portrait” he pointed to all the existing photographs of Lenin, which, taken together with the revolutionary leader’s books and notes, recordings of his voice and film footage, constituted a true representation of his personality, which no painted likeness could ever attempt to rival.

For Osip Brik, writing a month earlier for the same journal as Rodchenko, photography was opposed to painting in yet another significant respect. Painted portraits, he claimed, isolated the subjects from their social milieu, placing them in artificial, sometimes entirely fictional settings. This view decidedly does not do justice to the vast variety of portraiture throughout history, across diverse art schools, traditions and movements, but it is mostly true of commercial portraits in the late nineteenth and early twentieth century, painted as well as photographic. Brik compared this visual convention to “literary biographies” in that both genres engaged in aggrandizing the protagonist and nurturing individualistic fantasies², highlighting the agency of a particular person while downplaying social connectivity and interdependence [Brik 2007: 330]. Instead of perpetuating this approach, Brik urged photographers and writers to engage with collective subjects and focus on their interactions.

The way Brik upends the value judgements habitually attached to the notions of the individual and the masses, though predictable in the early Soviet context, in the current neoliberal climate can well appear intellectually refreshing. What dates his perspective, however, is his insistence on seeing the individual and the collective as opposed rather than interrelated and mutually constitutive. Furthermore, Brik seems interested only in the masses taken literally, as a crowd — the new subject of visual representation whose advent he hails. In contrast, I would like to focus on the masses as emergent and dispersed collectivities coalescing in common affects and fantasies that mass culture traffics in. In doing so, I draw on Lauren Berlant’s notion of intimate publics, which “operate when a market opens up to a bloc of consumers, claiming to circulate texts and things that express those people’s particular core interests and desires”, and where “all sorts of narratives are read as autobiographies of collective experience” [Berlant 2008: 5, vii]. In this sense, a portrait of an isolated individual does not have to be opposed to a representation of the masses — on the contrary, it can function as a site of collective longing.

In order to show how this longing takes shape, while obfuscating its collective origin with the fantasy of a unique self, the article proposes a two-fold approach. The first part focuses on the visual clichés of commercial portraiture in modernity, notably posing, interrogating the interplay between repetition and distinction it reveals. I discuss pre-photographic functioning of conventional poses and their new meanings in “the age of mechanical reproduction”, their denigration in theoretical writings on photography and their justification in posing guides. I emphasize the continuity of commercial portrait tradition from painting to photography in terms of the sitter’s social aspirations and agency vis-à-vis those of the artist, and demonstrate the pertinence, with due reservations, of Brik’s and Rodchenko’s critique for

² It is noteworthy that when studies of life writing began to coalesce as a research field in the mid-twentieth century, it initially promoted the same view of the subject that Brik had criticized, focusing on autobiographies as creations of “great men” [Smith, Watson 1998: 7–8].

current mainstream portrait photography. In the second part of the article, I expand these avant-garde theorists' understanding of photography, portraiture and collectivity by turning to the work of the contemporary artist Jana Romanova, whose project *W* interrogates the role of posing in the formation of the photographic subject. I argue that Romanova's work not only deconstructs visual conventions and gender stereotypes of popular culture, but also registers the specific experience of trying to fit in with them, which turns *W* into a collective feminine autobiography.

Whose clichés? The perpetuity of posing conventions

One notion that defined the existing tradition of visual representation for Osip Brik in 1928 was that of a cliché. Partly a powerful rhetorical device, which allowed the author to distance himself from the “old” or “bourgeois” art and promote his own version of the myth about the “originality of the avant-garde” (to use Rosalind Krauss's famous formulation), at the same time cliché is indeed a useful term to discuss commercial portraiture. The original Russian word used by Brik (*shtamp*) refers to a rubber stamp or impressing block, suggesting a helpful metaphor for the portrait's subject being pressed into a desired (and highly conventional) shape — when posing for a picture, this can happen quite literally, as I will show below. On the other hand, the English word *cliché* has its origin in French, where it used to mean, among other things, a photograph. This serves as a useful reminder of the inherently serial, repetitive nature of photographic practice, where the notion of an image's “original” had been blurred long before the digital era. A photograph's reproducibility transcends the purely technical possibility of printing numerous images from the same negative and encompasses particular ways of seeing, framing and ordering the world [Sontag 2001], including human bodies and faces as well as their perceived relationship to identity. The body itself is both consciously and unintentionally trained to perform in front of the camera, which thus becomes a powerful tool for articulating and disseminating “universal” body standards.

I use the concept of a “universal” body following in the footsteps of Oksana Gavrishina, who posited it as one of the key features of Western urban modernity, when in medical, anthropological, criminological and other contexts “any body [could] be described by means of the same ‘universal’ categories” [Gavrishina 2011: 33]. In an important addition to scientific metrics and terminology, photography provided a visual language which could be used to set the parameters of corporeal universality and register variations within them. At the same time, as Gavrishina has argued, the universal body of commercial photographic portraiture was at least partly modeled after earlier, painterly paragons, largely shaped by the norms of aristocratic self-presentation [Ibid.: 35–36]. This contributed to the aspirational function of studio portraits through which an increasing number of subjects from virtually all walks of life could acquire visible tokens of their “gentility” and urban sophistication.

To some extent, such democratization of portraiture had already been happening long before the invention of photography, though obviously on a considerably smaller scale: painters catering to a widening clientele of small gentry and middle-class sitters often used almost invariable compositions, poses and effects of drapery. In the eighteenth century, it was not uncommon for a portraitist to add only the sitter's face to a separately painted, “standard” body. Noting that sometimes the

piece of canvas showing the face was “sewn or stuck into position on a larger canvas bearing the body”, Robin Simon concludes: “not the least remarkable aspect of this whole business is how very seldom we are actually made to feel aware of the production-line process that may lie behind the elegant, and apparently undisturbed, surface of the portrait” [Simon 1987: 98]. Apart from the painter’s technical dexterity and the material properties of oil paint, which facilitate the creation of a smooth, uninterrupted texture, this effect highlights the assimilating power of vision, able to synthesize the subject from pre-fabricated, randomly associated parts.

This tension between the notion of the self and the conventional, standardized elements which are mobilized to represent it, animates my analysis. At the same time, I am interested in the “seams” which hold together such disparate elements in the case of photography, where all the parts may actually come from one and the same body, but have to be adjusted so as to fit the representational canon. Not infrequently the constructedness of the posed body becomes discernible in the image itself, its awkwardness a keen indicator of societal and attitudinal changes, as Oksana Gavrishina and Olga Annanurova have shown with regard to Soviet photography [Gavrishina 2011; Annanurova 2018], while Galina Orlova [2019] has explored a similar set of issues in the context of post-Soviet Russia of the 1990s. My project differs in that I focus on “perfect” embodiments where the subject appears to merge with the aesthetic and social standard seamlessly and completely, leaving no traces of adaptation to it. Looking at images in order to see what is not visible may seem a pointless, if not outright delusional task, but I am inspired by feminist theorists’ call “to look for gaps and silences in texts, to read away from coherence” [Smith, Watson 1998: 20]. Though what one chooses to show is perfectly valid as an autobiographical statement, no discussion of it can be complete without paying attention to that which remains withheld and suppressed.

Identifying an element of a portrait as clichéd can be a starting point in disassembling a seemingly perfect and coherent image. A cliché does not exist within a picture, but requires it to be juxtaposed with other visual sources for the recurring features to become visible. Such viewing opens up a virtual space across images where their interrelatedness can be articulated as a form of collectivity, overcoming the individualist fiction of portraiture condemned by Osip Brik. That Brik himself had not done so may be accounted for, among other things, by the way Russian avant-garde theorists conceptualized (or rather, failed to conceptualize) the photographic subject. Though a portrait arguably presents the outcome of interactions and negotiations between the artist and the model, both Brik and Rodchenko focused on the role of the photographer, whom they found guilty of taking up painterly clichés instead of developing a new visual language. In contrast, the subjects of portraiture are imagined as strangely passive, having little to no say in how they are represented — their job is simply to be there, so that the photographer might capture aspects of their being³.

³ This could be interpreted as yet another instance of “the tendency of modernist discourses of photography to collapse the meaning of any photograph into the photographer’s supposed inner thoughts or intentions”, discussed by Amelia Jones, who draws on Allan Sekula’s pioneering essay [Jones 2002: 951]. It is ironic that Rodchenko and Brik, intent as they were on demythologizing photography and photographic subjects, should still contribute considerably to the mythologizing of the photographer.

While Disdéri similarly believed in the photographer's ownership of and control over the image, he reluctantly recognized the sitters' agency, which for him was a source of annoyance and creative disappointment:

Almost all the people who have themselves photographed also have their favourite attitudes, which they studied beforehand in front of the mirror; in this way they have developed for themselves a comportment contrary to their nature. <...> This pretentiousness results in stiff, affected, mechanical portraits, whose least deficiency is to distort the true character of the model completely, and consequently, to lack in resemblance and in beauty [Disdéri 1862: 279–280].

Disdéri holds the sitters fully accountable for clichéd representations, whereas the photographer, in his opinion, can contribute a unique, innovative vision, creating an image which would be both beautiful and true to the subject's character. In this description of their interaction, it is clearly the photographer who has privileged access to the knowledge about the sitter's self, whereas the latter is deluded by mere surface effects. Discussing the relationship between self-portraiture and autobiography, Laura Marcus points to the deeply entrenched cultural expectation that “the visual artist, like the literary autobiographer, turns inwards to find his or her self-image, rather than merely representing the mirrored self”. She goes on to show how this understanding is disrupted by photography, since “the self in the photograph is seen as another, as if from the outside” [Marcus 2018: 90, 98]. In this context, Disdéri's rhetoric not only elevates the photographer to the same artistic status as the painter, but endows him with an ability to help those fixated on the mirror image to rediscover their inner self, as if he created their self-portraits for them.

Nowadays, as the situation of being photographed has moved beyond the studio and become virtually ubiquitous, the figure of the professional photographer as the bearer of artistic (and epistemic) authority is often irrelevant, and the models are left to themselves — a shift clearly registered in the emergence and proliferation of online posing guides targeted at the sitters rather than the photographers. The preparations censured by Disdéri for yielding “mechanical” (*automatiques*) and “affected” (*guindés*) portraits are no longer criticized, but actively recommended:

...this might feel really weird at first, but that whole ‘practice makes perfect’ thing also applies to looking photogenic. Hop in front of a mirror and try out different poses, angles and facial expressions to see what works for you. You'll be much more comfortable striking a pose you've pre-planned than positioning your body randomly and hoping for the best [Stiefvater 2017].

The sitter's agency is affirmed not so much in the face of the photographer's alternative vision (though this is still sometimes the case) as with regard to the camera's non-human view — for, in David Company's words, “even if we do not pose, the camera will pose us, perhaps in an unexpected way” [Company 2006: 107]. It is noteworthy that while Disdéri spoke of distorting one's “true character” by striking unnatural, pretentious poses, posing guides nowadays focus on the distortions produced by the camera, to counteract which posing conventions seem to

aim for in the first place. One of the most frequently voiced concerns is that “the camera adds 10 pounds”, i. e. makes the subject look wider — an effect that can be corrected by turning the body slightly away from the camera: “This angle can help you appear more slimmer [sic!] and vibrant” [Wasim 2022]. The repetitive nature of photographic subjects’ preferred attitudes could therefore be called “mechanical” not in the sense that may be inferred from Disdéri’s writing — that of people becoming like automata themselves, — but rather in recognition of the technological conditions of image-making: similar poses emerge as a response to the same kind of distortions.

Such a technocentric view of posing conventions, however, obscures their continuity with those of a much earlier tradition of painted portraits. Considering that some poses have remained virtually unchanged, such as the “Renaissance elbow” discussed by Joaneath Spicer [1991], which by now has become a fixture of glamorous photography, it is essential to look at these precedents in order to properly contextualize the more recent photographic clichés. We need to interrogate the “differentiated” bodily canon [Gavrishina 2011: 34] before we can see how some of its elements become “universalized” in photographic portraits.

Numerous researchers have pointed to the connections between the conventions of early modern portraiture and everyday norms of elite comportment and self-presentation. Robin Simon effectively compared the poses in eighteenth-century British and American portraits to those described and pictured in dance master François Nivelon’s 1737 manual, *The Rudiments of Genteel Behavior* [Simon 1987: 73]. Similarly, Harry Berger has looked at early modern books of manners in order to problematize the notion of the sitter’s “true character”, which had long dominated discourses about portraiture (above we have seen Disdéri use it to claim authority over his subjects). According to Berger, the proliferation of courtesy books in the Renaissance shows that while physiognomic readings of appearance remained highly influential, there arose a conviction that they could (and ought to) be tricked by “voluntary performance of ‘involuntary’ soul signs” while presenting oneself to others:

The representation of an inner self can no longer be left or delegated to nature; it gets promoted as a skill to be cultivated, a technique of performance essential to successful participation in public life; something princes, courtiers, statesmen, lawyers, merchants, prelates, doctors, and even artists and poets have to learn — not to mention their daughters, wives, and mothers [Berger 1994: 97].

In portraiture, it becomes the sitter’s task to anticipate the viewer’s gaze and “the fantasies of the ‘internal core’ we inscribe on the surface of the representation we interpret” [Berger 2000: 20], and to enact (or, occasionally, subvert) those fantasies. In this, the portrait’s subject can be assisted or hindered by the painter or, later, the photographer, who may have, as Disdéri’s criticism of rehearsed poses testifies, a competing vision of the “truth”. At any rate, “the advent of myself as other” [Barthes 1981: 12], which Roland Barthes associated with the photograph, for Berger had happened many centuries earlier, in Renaissance portraiture, which sought “to inscribe the inside on the outside”, creating “images of correct psyche, soul, or personality” [Berger 1994: 94]. By physically embodying this ideal in the

portrait, “It is as an icon, an other (not a self), that [the sitter] gives himself [sic!] to be observed, admired, commemorated, and venerated” [Ibid.: 106].

While the quoted fragment explicitly focuses on male sitters, portraiture offers a similar “armor of an alienating identity”⁴ [Berger 1994: 113] to women. If anything, feminine “armor” can be called even more solid, as portraits “of women tend to be less mimetic and more idealizing than those of men” [Ibid.: 107]. This is as true of the Renaissance likenesses to which Berger refers as it is of current mass photography: the predominance of posing guides explicitly targeting women as well as the rare examples of male and female posing guides compiled by one and the same author clearly show that women are expected to work harder to perform the aesthetic ideal and there are many more restrictions imposed on them. Apart from carefully studying their “angles” and choosing poses that will allow them, improbably, to appear both slim and curvy at the same time, women have to compose their image, in line with the classical canon, from perfect fragments. The following piece of advice allows us to understand how this principle can be applied to “realist” portrait photography:

Here’s the truth — the human body is both beautiful and awkward. Making each part of the body look good in a portrait is a challenge. The hair can look great but the eyebrows are off. The legs can look great but the chin is sticking too far out. Body shots can be complicated in this way but there are small changes or adjustments you can make to help capture a more natural look [Kelly 2019].

As numerous manuals reveal, posing is seen as the key tool for “editing” the image before it has even been taken. This representation of the self is not dissimilar to that produced by an autobiographical text — “a truth restructured and revised in its telling” [Gilmore 1994: 84]. In both cases “lived experience is shaped, revised, constrained, and transformed by representation” [Ibid.: 85]. In contrast to an autobiography, a diary presupposes an open-ended approach to subjectivity as being constantly (re)written [Lejeune 2009; Smith, Watson 1998: 31]. It is noteworthy that the logic of social media appears to favour precisely such a mode of self-presentation, unfolding in time as new posts are being added without an overarching narrative framework or direction of development.

Tellingly, some influential blogging platforms of the 2000s, most notably LiveJournal, but also local services such as the Russian Diary.ru, had names explicitly referring to the practice of diary writing. Projects dedicated to posting entries from Samuel Pepys’ *Diary* online “in real time”⁵ also seem to testify to the affinity of social media like Twitter to historical precedents of journal keeping. As technological developments increasingly facilitated sharing visual content in addition to (or even instead of) textual material, there apparently arose an

⁴ Berger borrows this phrase, repeatedly used in his article, from Jacques Lacan’s famous work on the “mirror stage” of individual development [Lacan 2005: 3]. While I have my reservations with regard to Berger’s psychoanalytic interpretation of early modern subjects, his arguments sound much more convincing if applied to current photographic practice, with the representational anxiety he ascribes to dukes and duchesses clearly articulated in posing guides apparently targeting less socially elevated personages.

⁵ I owe this information to Anna Stogova’s research published in this issue, see pp. 177–207.

opportunity of creating online archives of diverse images of the self, presenting it, to use Rodchenko's words, as "not just one sum, [but] many sums at once", which may "drastically contradict one another". When Instagram first appeared, it seemed to answer this purpose perfectly: "the initial way users interacted with it lent the images posted to Instagram a quality of spontaneity and a somewhat tangible connection to a user's offline life, as their posts mediated their experiences in real time" [De Perthuis, Findlay 2019: 224]. However, by the end of the 2010s this perceived authenticity has been largely compromised by commercial uses and heavy editing, which made most blogs look like extensions of fashion magazines.

It was in this climate of intense (self-)scrutiny generating a push towards increasingly standardized and airbrushed self-presentation that photographic portraits abandoned their diary-like spontaneity and redeployed century-old posing conventions to project a consolidated "autobiographic" self. While images have become a major vehicle of storytelling on social media and a key tool of making sense of the self in relation to the world, the level of control and stylization they tend to exhibit largely precludes viewing this self as a dynamic process. Instead, photographic portraits serve as visual equivalents of (auto)biographical fiction in that it is carefully curated and complete in itself. Time both flows through the feed and is suspended in the perfect moment captured by every photograph.

Likewise, though the Internet and social media in particular seem to underscore the "hypertextual", networked nature of all cultural phenomena, including those of the pre-digital era [Rocamora 2013: 156], photographic portraits posted online tend to downplay and conceal other people's (and non-human agents') involvement in shaping each individual blogger's looks and life. In this way, they match Brik's description of portraits-cum-biographies which edit out all the "unnecessary" details in order to create the fiction of the individual. Expanding the avant-garde writer's understanding of collectivity, which presupposed, quite literally, showing numerous people within a single photographic frame in explicit interaction with each another, the following section of the article proposes to explore the virtual space between images that had been hinted at but never fully recognized in Brik's use of the notion of cliché.

Auto/biographic chronicle of longing: Jana Romanova's *W*

In their insightful analysis of self-presentation on Instagram, Karen de Perthuis and Rosie Findlay point to the telling silences and omissions in the kind of imagery an influencer typically shows: "we see the cavalcade of places she poses in, but none of the journey taken to travel there" [De Perthuis, Findlay 2019: 221]. While "journey" in this quote refers primarily to moving through space, the same is true of the temporal and social dimensions of a celebrity blogger's self-fashioning: she presents herself as always already "there" — at the highest peak of her career, beauty and popularity — and not in the process of getting thither (or, for that matter, being or going anywhere else). What would it look like to foreground what is typically hidden, to tell a story of becoming — or, even more strikingly, not becoming — the glamorous self that everyone apparently wants to embody? In search of an answer, I turn to the work of Jana Romanova, a multimedia artist whose work in the 2010s

engaged with the notions of identity and belonging, addressing, among other themes, cultural constructs of femininity and their impact on women's lived experiences.

In several projects, Romanova explores cultural obsessions with slimness and weight control, feminine "grace" and attractiveness — obsessions which the artist shares to some degree, hence her projects' confessional element, carefully offset with ironic distancing. Romanova's work is participatory: the artist creates a space where she can discuss a common concern with her subjects or let them express themselves while minimizing her own intervention. Whether or not she can directly relate to the subjects' emotions and experiences, she aims to investigate the collective aspects of seemingly private feelings, strivings, and desires. As she put it in an interview, "the main task is not to describe my experience, but to show how this experience is shared by others, and to what extent I am part of the society that brought me up, with all its problems, dramas, and all the madness which is happening around" [Gusarova 2019: 313]. Such an approach recognizes the inextricable entanglement of the biographical with the autobiographical, to reflect which the sociologist Gayle Letherby suggests the spelling *auto/biography*, where the slash stands for more than simply "and/or", instead serving to join the self and the other as mutually co-producing [Letherby 2014: 46]. It is as *auto/biography* — talking about her own experience through others and vice versa — that I will consider Jana Romanova's work, particularly her project *W*⁶, whose very title (read as "double you") seems to favour such interpretation.

According to the artist⁷, her primary inspiration for *W* came from fashion magazines and the way (female) readers interacted with them: how "ordinary" women projected themselves into fashion narratives and how fashion imagery shaped women's view of themselves and their strategies of self-presentation. But even in 2011, when the project was started, the type of images addressed by Romanova in *W* was not restricted exclusively to the fashion press, but had a much wider currency within "euphoric" (to borrow Roland Barthes' term) systems such as advertising [Barthes 1990: 261; 2002: 68]. Nowadays, with the prevalence of such glamorous aesthetics on social media, Romanova's project can be seen as interrogating the notion of (self-)portrait in popular visual culture, and particularly the role of posing clichés in mediating the expression of subjectivity.

For this photographic series, the artist asked each of the participants to adopt a mode of self-presentation which makes them feel beautiful, in order to create successful portraits. Some have chosen to appear together with their loved ones, but the majority are photographed on their own, striking dramatic poses which resemble fashion shoots or pinups. The resulting pictures would have looked like typical images from a young woman's personal photographic archive or social media profile — but for the presence of the artist, who appears in each photo studiously copying the subject's attitude. The immediate impression is amusing: the rather heavily built artist seems to parody the dominant standards of beauty by emphasizing their incongruity in the context of most women's appearance and lifestyle. However, this is not a body-positive project encouraging everyone to accept themselves as they are and to stop pursuing the impossible aesthetic ideal. Even as she deconstructs and defamiliarizes the visual canon of femininity, Romanova testifies to its power,

⁶ See the artist's website: <https://janaromanova.com/wproject>.

⁷ Jana Romanova interviewed by the author, 26 May 2019.

which registers in the confident expression of her subjects as well as in her own discordant awkwardness. Importantly, both dispositions share the same level of “reality” within each photograph, unlike the popular comedic template “Instagram vs Reality”, where glamorous pictures are contrasted with their “real-life” equivalents, obscuring the fact that the latter are equally staged and therefore cannot provide access to any unmediated reality.

W is one among several projects which show the artist in the process of attempting to change herself in order to meet some external criteria of personal and social worth — in this case, by learning to look beautiful in pictures. Two of her other projects explore similar themes: in *The Goddess Guide* (2016–2017) Romanova visits life coaches and spiritual teachers who promise to help her develop her femininity, while in *Losing August 31* (2015–2016) she tries various faddish diets and other extreme ways to lose weight. When I asked her how serious she was in these attempts and whether critical reflection got in the way of her ability to engage with these putative goals, the artist replied: “there is simultaneously a desire to get involved and a critical distance, and they are in permanent conflict with each other. And it is ultimately this conflict that I’m interested in exploring” [Gusarova 2019: 327]. Whereas for the viewers the humorous elements of the above-mentioned projects may be more obvious, for the artist herself the performative aspect of her work involves suspension of disbelief and embracing of irrational, contradictory drives.

Such desperate, if at times ironic, longing for the impossible lies at the heart of what Lauren Berlant, in her eponymous book, has termed “the female complaint”. Women are conditioned to see love as the meaningful core of their lives, which makes them simultaneously profoundly dissatisfied with how romantic fantasy plays out in reality and hungry for melodramatic stories which reaffirm the “truth” of impossible scenarios and the worth of even frustrated longings. Berlant concentrates on narrative structures in literature and film, but also pays attention to visual imagery and embodied experiences (though those, too, are accessed predominantly through verbal texts). Thus, discussing Nella Larsen’s *Passing*, Berlant argues that the intent, yearning gaze one of the novel’s main female characters focuses on the other reveals a desire “to wear her way of wearing her body, like a prosthesis or a fetish” [Berlant 2008: 109]. Though this instance pertains particularly to the phenomenon of racial passing, Berlant’s conclusion can be generalized to other situations as well: in cultures which value women primarily for their bodies, and value some bodies more than others, this way of “wanting someone’s body” seems an inescapable element of femininity as a genre. “To call an identity like a sexual identity a genre is to think about it as something repeated, detailed, and stretched while retaining its intelligibility, its capacity to remain readable or audible across the field of all its variations,” Berlant explains [Ibid.: 4]. Jana Romanova’s *W* creates a visual inventory of some of these variations, and the enigmatic one-letter title of the work can also stand for “woman” or “womanliness”, while it underscores the repetitiveness or doubling inherent to this gender-as-genre.

Indeed, the doubling of the female subject’s figure in every image from *W*, together with the project’s serial nature, underscores the clichéd character of the feminine self which is represented in the pictures and the central role photography plays in the creation and perpetuation of these generic clichés. The images we see

are copies of the episodes of posing, and by copying the subject's poses the artist engages in an embodied "photographic" practice — she performs a "photograph" of her subjects. What is more, it can be argued that the subjects themselves are doing exactly the same: "When we pose we make ourselves into a frozen image. We make ourselves into a photograph, in anticipation of being photographed" [Campany 2006: 107]. This image is inherently imitative: it is self-referential (both in the sense of referring to a certain idea of the self and by reenacting rehearsals in front of the mirror), but at the same time it is a copy of countless other pictures. Posing guides typically present such model images the reader should imitate, and some of their authors explicitly tout the value of imitation:

Choose a famous "style icon", preferably from the last century, and start to imitate her <...> For instance, Grace Kelly [or] Audrey Hepburn <...> Gradually, your own style will start to develop, you will begin to understand which poses suit you better, and then your photos in turn will become paragons of style⁸.

By drawing attention to this repetitive, imitative nature of all instances of self-presentation, *W* ("double you") seems to be telling the viewer: you are, in fact, a double; your "self" is just one element in an infinite series of copies.

Interestingly, the viewers of at least one exhibition of Romanova's work ("(Beside) Oneself" at Metenkov's House, Ekaterinburg, March 7 — June 16, 2019) responded enthusiastically by joining in this parade of imitation: they posed in front of one photograph printed to match the size of gallery wall and had pictures of themselves taken⁹. Once visualized, the process of imitation set off a wave of mimetic contagion: the visitors imitated the artist imitating her model, although, being in the foreground, the viewers inevitably look as if they were sources of the attitude rather than imitators, which points to the indistinguishability of "original" and "copy" in this circuit of images.

In this way an intimate public was mobilized within the gallery space and even captured in some amateur photographs later posted on the visitors' social media — a public united in an ironic defiance of the compulsion to imitate they could not help feeling. At the same time, *W* points to the existence of another public, usually invisible as a collective: the audience of posing guides and women's magazines, the consumers of images and advice, all the women currently at work perfecting their bodies and their posing skills, desperately wanting to be beautiful, to be loved, to be valued.

Romanova's own character in *W* illustrates all these frustrated efforts. In contrast to her subjects, who have fully incorporated the conventions of femininity as a genre by mastering the art of posing and recognizing themselves in representational clichés, the artist's figure projects an uncertain, barely readable message. Turning into a "photograph", a copy, she can neither claim any meaning separate from those

⁸ "Выбери знаменитую 'икону стиля', лучше из прошлого столетия, и начни ей подражать <...> Например, Грейс Келли [или] Одри Хепберн <...> Постепенно у тебя начнет выработываться собственный стиль, придет понимание, в каких позах ты получаешься лучше, и тогда уже твои фотографии станут образцом стиля" [Vern'e 2013].

⁹ Jana Romanova interviewed by the author, 26 May 2019.

her subjects convey, nor assert her ownership of those meanings. Superficially, the images from *W* can be said to resemble “before” and “after” pictures featured in many posing guides in order to illustrate typical posing “mistakes” and ways to avoid them. However, unlike this type of imagery, which shows the effects of improved posing on one and the same model, in *W* the “phases” of transformation are embodied by two different people, which raises questions about the very possibility of change. Though posing guides typically claim that “everyone can shine like a star” with the help of “a couple of basic poses” [14 Tips 2017], at the same time special recommendations are often addressed to stouter women, whose bodies allegedly require special efforts in order to look acceptable (an absolute minimum being to turn further away from the camera while posing together with a slimmer friend or relative). *W* belies the ostensible inclusivity of beauty culture, demonstrating that, just like clothes, a pose may not “fit” all bodies equally well.

Clothes, in turn, play an important part in *W* — as well as in posing guides, according to which dress is expected to complement the pose in its interplay of concealing and revealing, emphasizing the figure’s “advantages” and dissimulating its “drawbacks”. Loose-fitting garments are routinely discommended in posing guides as producing a “shapeless” silhouette. On the other hand, demonstrating too much skin is considered vulgar and larger-sized women in particular are advised to strategically cover “certain areas” with clothes which would give their bodies a smoother, seemingly firmer surface. Defying such recommendations, Romanova in *W* poses in all the images with bare legs, wearing the same loose top of nondescript colour. According to the artist, this garment creates unity throughout the series, turning her into a “character” who is instantly recognizable through her costume. Later the same character was featured in *Losing August 31*, where imitation of other people’s example or prescriptive model was also a key issue and Romanova’s character similarly failed to achieve the “after” state by losing weight, remaining caught in the permanent “before”. Her costume in these two series highlights the interconnectedness of body size, clothes and pose, as it draws attention to the “problem” which is the character’s legs. As Romanova explains in an interview, since childhood she was often told in the family that while legs were the only beautiful part of a woman’s body, hers left much to be desired [Gusarova 2019: 326]. By exhibiting this “deficiency” in her photographs, the artist draws on the experience of body-shaming common to most women. Its auto/biographical traces are equally visible on the surface of all bodies in *W*, in what Romanova’s character shows as well as in what other subjects conceal with smooth athleisure wear or ruffles of long full skirts. Similar experiences also shape the viewers’ responses to these images, which the artist invites us to reflect upon.

Demonstrating what the prevailing aesthetic taste urges us to hide extends in *W* from “unattractive” body parts to the very process of learning to pose, which is normally relegated to the backstage of our social life, involving exercises in front of the mirror when no one can see and countless instantly deleted “bad” pictures. By embodying this preparatory stage, Romanova’s character not only emphasizes her own incapacity to look conventionally beautiful, but also hints at the difficulty in seeking to coincide with one’s own “perfect” picture at all times. Her figure, the “double you”, emerges in *W* like a shadow of failure haunting every “successful” image.

In this way, the artist questions the notion of a single, unified self which the conventions of mainstream photography purport to portray. *W* reveals the precariousness of the modern self's visual presentation, oscillating between the not-yet-being-oneself of the unwillingness or inability to fit into the dominant aesthetic canon and, on the other hand, transcending the self in a subject who has internalized this canon so completely that she no longer represents herself so much as channels the utterly impersonal imperative to (work hard in order to) be beautiful. This work has been theorized as glamour labour, and Elizabeth Wissinger, who studied this phenomenon with regard to fashion models, has at the same time noted "a confusing extension of glamour labor to the general public" in the era of social media [Wissinger 2015: 148]. Wissinger's remark on the status of glamour labour as "a form of right living" [Ibid.: 160] brings to the fore the auto / biographic significance of conventional photographic portraits — they do indeed "sum up" the whole life spent working on one's look as they present its ultimate achievement.

Romanova's *W*, however, complicates this story by making visible the moments and images which are typically purged out of the perfect picture we want to project. This alternative kind of visual "life writing", among other things, raises the question about the ownership of clichés, which I have explored in the previous section of this article. When one's photographed self completely coincides and merges with a conventional mode of representation, is it the subject who owns the cliché, or perhaps the other way round? Is such a merger even possible, or is there always some other self which remains beyond the picture frame? By letting this other ("double you") enter the picture, *W* suggests that a person involved in glamour labour is as alienated from his or her "product" as any other worker, though this split is camouflaged by the embodied nature of both the work and its outcome, which therefore seems to be about one's "self".

Lauren Berlant comes to a similar conclusion discussing female stardom through the example of the protagonist (played by Lana Turner) of Douglas Sirk's 1959 *Imitation of Life*: "Lora Meredith becomes her own prosthesis, projecting herself into simulacral public spaces where the commodity, representation, and the body meet" [Berlant 2008: 133]. If Jana Romanova's character in *W* depicts the desire "to wear [another person's] way of wearing her body", other subjects' relationship to their own bodies proves equally "prosthetic". This fundamental equivalence sublates the ostensible binaries of "successful" and "failed" self-presentation, of glamorous and non-glamorous subjects, as well as of visual mainstream and artistic intervention. By inserting herself into others' self-portraits Romanova unpicks the invisible seams in the smooth surface of conventional representation and activates the clichés' collective dimension within, across and beyond the images.

Conclusion

According to Lauren Berlant, "In the public mode of sentimentality ordinary lives articulate with fantasies of being 'somebody'" [Berlant 2008: 24]. Though mainstream photographic portraiture is not exactly a "sentimental" genre, it evidently speaks to the same desire, as it borrows the posing conventions from the tradition of aristocratic likenesses to help everyone (or so posing guides tell us) "shine like a star". This representational democratization, however, comes at a

price, for it defines the sine qua non of all photographic portraits nowadays. In a similar vein, Elizabeth Wissinger describes “the movement from the notion that anyone could do glamour labor (of bodily improvement, for instance) to the idea that everyone should do it” [Wissinger 2015: 160], which draws ever wider segments of population into the pursuit of highly standardized, unrealistic and unsustainable looks and lifestyles.

Considering this context, the insights of Russian avant-garde theorists of a century ago into the commercial visual culture of their time now prove more relevant than ever. Not only do they offer helpful ways of thinking about what Rodchenko called a “summative portrait” and its, according to Brik, quasi-biographical fiction, but they also suggest alternative modes of representation which could break the mold of cliché. Rodchenko emphasized the role of photographic, documentary and multimedia archives in recording the “many sums at once” that each person is, whereas Brik pointed to the importance of “bad” photography for developing a new visual language [Brik 2007: 327].

Interestingly, in Jana Romanova’s work we can see both of these ideas put to practice. Her art combines aspects of performance, participatory interactions, photos, videos and occasionally texts, the primary medium of expression being a photographic archive, album or series. Though the archives created by the artist mostly assemble clichéd forms of (self-)representation, the way their conventionality is brought to the fore through repetition within each series itself works as a form of critique. What is more, in *W* Romanova directly experiments with “bad” photography — here meaning “unsuccessful” posing — in order to investigate the visual construction of the (feminine) self.

Though very different stylistically, Romanova’s *W* can be compared to Cindy Sherman’s *Untitled Film Stills*, about which Paul Jay has written: “her self-portraits take the shape of something like an autobiographical metanarrative about the course of one artist’s investigation of subjectivity, scrutinizing the very concepts of identity and subjectivity in a way that turns that act into a memoir of itself” [Jay 1994: 199]. However, to an even greater extent than Sherman, whose work examines popular culture’s visual clichés and viewers’ gendered and genre-driven expectations, Romanova emphasizes the collective experience of looking at pictures and being (in) the picture. She appeals to and makes visible the intimate public of femininity, consolidated around the enchantments and disappointments of being female — an embodied condition firmly tied to the world of images through figures of imitation and repetition. By posing in *W* as an autobiographical character, who is simultaneously a “double you”, Romanova generously shares her “investigation of subjectivity” with those who at first glance might seem to have already found everything they needed.

Sources

- 14 tips to help you look absolutely perfect in photos (2017, April 14). *Think About Network*.
<https://thinkaboutnetwork.wordpress.com/2017/04/14/14-tips-to-help-you-look-absolutely-perfect-in-photos-2>.

- Brik, O. (2007). Ot kartiny k foto [From a painting to a photo]. In A. Fomenko. *Montazh, faktografiia, epos: proizvodstvennoe dvizhenie i fotografiia* (pp. 326–333). Izdatel'stvo Sankt-Peterburgskogo universiteta. (1st ed.: 1928). (In Russian).
- Disdéri, A.-A.-E. (1862). *L'art de la photographie*. Imprimerie de J. Claye.
- Gusarova, K. (2019). O portretakh odinchestva, patrioticheskoi iazyke tela i kozhe izobrazhenii: interv'iu s Ianoi Romanovoi [On portraits of solitude, the patriotic language of the body, and the skin of images: An interview with Yana Romanova]. *Teoriia mody: Odezhda. Telo. Kul'tura*, 54, 309–330. (In Russian).
- Kelly, T. (2019, January 19). 4 photography posing tips every photographer needs to know. *Creativelive*. <https://www.creativelive.com/blog/4-things-photographer-needs-know-posing>.
- Rodchenko, A. (2007). Protiv summirovannogo portreta za momental'nyi snimok [Against a summative portrait and for a snapshot]. In A. Fomenko. *Montazh, faktografiia, epos: proizvodstvennoe dvizhenie i fotografiia* (pp. 333–337). Izdatel'stvo Sankt-Peterburgskogo universiteta. (1st ed.: 1928). (In Russian).
- Stiefvater, S. (2017, August 22). Unphotogenic? You might be making these 8 mistakes. *PureWow*. <https://www.purewow.com/beauty/photogenic-mistakes>.
- Vern'e, A. (2013). Kak fotografirovat'sia krasivo: pravil'nye pozy i mesta [How to get beautiful photos: the right poses and places]. *ShoppingCenter*. <https://shoppingcenter.ru/style/fotoses-sia.html>. (In Russian).
- Wasim, O. (2022, December 13). Why do i look fat in pictures? Is it me or the camera? *Action Camera Kit*. <https://actioncamerakit.com/why-do-i-look-fat-in-pictures>.

References

- Annanurova, O. (2018). (Im)possible to try: Notes on Soviet fashion photography. *Fashion Theory: The Journal of Dress, Body and Culture*, 22(2), 187–198.
- Barthes, R. (1981). *Camera lucida* (R. Howard, Trans.). Farrar, Straus and Giroux.
- Barthes, R. (1990). *The fashion system* (M. Ward, & R. Howard, Trans.). Univ. of California Press.
- Barthes, R. (2002). Société, imagination, publicité. In R. Barthes. *Œuvres complètes* (Vol. 3, pp. 60–72). Seuil. (In French).
- Berger, H. (1994). Fictions of the pose: Facing the gaze of early modern portraiture. *Representations*, 46, 87–120.
- Berger, H. (2000). *Fictions of the pose: Rembrandt against the Italian Renaissance*. Stanford Univ. Press.
- Berlant, L. (2008). *The female complaint: The unfinished business of sentimentality in American culture*. Duke Univ. Press.
- Campany, D. (2006). Posing, acting, photography. In D. Green, & J. Lowry (Eds.). *Stillness and time: Photography and the moving image* (pp. 97–112). Univ. of Brighton.
- De Perthuis, K., & Findlay, R. (2019). How fashion travels: The fashionable ideal in the age of Instagram. *Fashion Theory: The Journal of Dress, Body and Culture*, 23(2), 219–242.
- Gavrishina, O. (2011). “Snimaiutsia u fotografa”: rezhimy tela v sovetskoi studiinoi fotografii [“Having their picture taken”: Bodily regimes in Soviet studio photography]. In O. Gavrishina. *Imperiia sveta: fotografiia kak vizual'naia praktika epokhi “sovremennosti”* (pp. 31–43). Novoe literaturnoe obozrenie.
- Gilmore, L. (1994). *Autobiographics: A feminist theory of women's self-representation*. London: Cornell Univ. Press.

- Jay, P. (1994). Posing: Autobiography and the subject of photography. In K. M. Ashley, L. Gilmore, & G. Peters. (Eds.). *Autobiography and Postmodernism* (pp. 191–211). The Univ. of Massachusetts Press.
- Jones, A. (2002). The “eternal return”: Self-portrait photography as a technology of embodiment. *Signs*, 27(4), 947–978.
- Lacan, J. (2005). The mirror stage as formative of the function of the *I* as revealed in psychoanalytic experience. In J. Lacan. *Écrits: A selection* (pp. 1–6) (A. Sheridan, Trans.). Routledge. (1st ed.: 1949).
- Lejeune, Ph. (2009). *On diary* (K. Durnin, Trans.). Univ. of Hawai'i Press.
- Letherby, G. (2014). Feminist auto/biography. In M. Evans et al. (Eds.). *The SAGE handbook of feminist theory* (pp. 45–60). SAGE.
- Marcus, L. (2018). *Autobiography: A very short introduction*. Oxford Univ. Press.
- Orlova, G. (2019). The samples of post-Soviet posing. *Practices & Interpretations: A Journal of Philology, Teaching and Cultural Studies*, 4(1), 53–70.
- Rocamora, A. (2013). How new are new media? The case of fashion blogs. In Dj. Bartlett, Sh. Cole, & A. Rocamora (Eds.). *Fashion media: Past and present* (pp. 155–164). Bloomsbury.
- Simon, R. (1987). *The portrait in Britain and America*. Phaidon.
- Smith, S., & Watson, J. (1998). *Women, autobiography, theory: A reader*. Univ. of Wisconsin Press.
- Sontag, S. (2001). *On photography*. Picador. (1st ed.: 1973).
- Spicer, J. (1991). The Renaissance elbow. In J. Bremmer, & H. Roodenburg (Eds.). *A cultural history of gesture: From antiquity to the present day* (pp. 84–128). Polity Press.
- Wissinger, E. (2015). *This year's model: Fashion, media, and the making of glamour*. New York Univ. Press.

* * *

Информация об авторе

Ксения Олеговна Гусарова

кандидат культурологии
старший научный сотрудник, Институт
высших гуманитарных исследований
им. Е. М. Мелетинского, Российский
государственный гуманитарный
университет
Россия, ГСП-3, 125993, Москва,
Миусская пл., д. 6
Тел.: +7 (495) 250-66-68
доцент, кафедра культурологии
и социальной коммуникации,
Российская академия народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ
Россия, 119571, Москва, пр-т Вернадского,
д. 82
Тел.: +7 (499) 956-99-99
✉ kgusarova@gmail.com

Information about the author

Ksenia O. Gusarova

Cand. Sci. (Cultural Studies)
Senior Researcher, Institute for the Advanced
Studies in the Humanities, Russian State
University for the Humanities
Russia, GSP-3, 125993, Moscow,
Miusskaya Sq., 6
Tel.: +7 (499) 250-66-68
Associate Professor, Department of Cultural
Studies and Social Communication,
The Russian Presidential Academy
of National Economy and Public
Administration
Russia, 119571, Moscow,
Prospekt Vernadskogo, 82
Tel.: +7 (499) 956-99-99
✉ kgusarova@gmail.com

Г. С. Зеленина ^{ab}

ORCID: 0000-0001-9411-4102

✉ galinazelenina@gmail.com

^a Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова (Россия, Москва)

^b Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
(Россия, Москва)

«ИСТОРИЧЕСКОЙ РОДИНОЙ СЫТ ПО ГОРЛО»: РЕЭМИГРАЦИЯ ИЗ ИЗРАИЛЯ И СОЗДАНИЕ ОБРАЗА «СИОНИСТСКОГО АДА»

Аннотация. В секретной аналитике израильских ведомств конца 1970-х годов сквозит тревога в связи с ростом *неширы* — эмиграции выехавших по израильской визе советских евреев в страны Запада. *Нешира* шла об руку с другим тревожным феноменом — *йеридой*, отъездом новорепатрировавшихся советских евреев из Израиля в Европу или Америку или возвращением их в Советский Союз. О последнем явлении с совсем иной интонацией твердила советская пресса; сведения о «реэмигрантах» содержатся и в советской секретной межведомственной переписке. В статье анализируются негативные впечатления новых иммигрантов от Израиля — как тиражируемые в антисионистских публикациях в советской печати, так и изложенные в эго-документах, причем вторые верифицируют содержание первых, и обсуждается то, как оценка иммиграционного опыта связана с системой ценностей этих недавних советских граждан, проводимой ими социальной стратификацией и представлениями о человеческом достоинстве.

Ключевые слова: еврейское национальное движение в СССР, эмиграция, Израиль, КГБ, эго-документы

Для цитирования: Зеленина Г. С. «Исторической родиной сыт по горло»: реэмиграция из Израиля и создание образа «сионистского ада» // Шаги/Steps. Т. 9. № 4. 2023. С. 286–314. <https://doi.org/10.22394/2412-9410-2023-9-4-286-314>.

Статья поступила в редакцию 11 января 2023 г.

Принято к печати 24 апреля 2023 г.

G. S. Zelenina^{ab}

ORCID: 0000-0001-9411-4102

✉ galinazelenina@gmail.com

^a Lomonosov Moscow State University (Russia, Moscow)

^b The Russian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration
(Russia, Moscow)

“FED UP WITH THE HISTORICAL HOMELAND”: RE-EMIGRATING FROM ISRAEL AND CREATING THE IMAGE OF THE “ZIONIST HELL”

Abstract. Israeli secret analytical reports from the late 1970s expressed anxiety over the growth of *neshira* — “dropping out” of Jews who left the Soviet Union on Israeli visas but chose to reside in other Western countries. *Neshira* went hand in hand with another disturbing phenomenon — *yerida*, the departure of new Soviet immigrants from Israel to Europe or America, or their return to the Soviet Union. The Soviet press kept reporting about “re-emigrants” with a completely different intonation, as did KGB reports. The article examines negative impressions of Israel as transmitted, perhaps in an aggravated form, by Soviet journalists, and as presented in the ego-documents of new immigrants, future re-emigrants included. The stories of the absorption experience related in the ego-documents and therefore deemed trustworthy confirm the relative authenticity of newspaper reports and reveal that the main reason for disappointment were not financial, climatic or other difficulties, but the attitude of the Israeli bureaucracy and fellow citizens perceived as deliberate humiliation of human dignity. When relating their Israeli experience, former Soviet Jews demonstrated their commitment to familiar values, including a preference for the spiritual over the material (e. g., human dignity over prosperity), and social stratification habits, such as differentiation between educated cultural Jews from the big cities and provincial, or *shtetl*, Jews.

Keywords: Jewish national movement in the USSR, Jewish emigration, Israel, KGB, ego-documents

To cite this article: Zelenina, G. S. (2023). “Fed up with the historical homeland”: Re-emigrating from Israel and creating the image of the “Zionist hell”. *Shagi / Steps*, 9(4), 286–314. (In Russian). <https://doi.org/10.22394/2412-9410-2023-9-4-286-314>.

Received January 11, 2023

Accepted April 24, 2023

Историография советского еврейства в целом и еврейского национального движения 1970–1980-х годов в частности уделяет мало внимания антисиионистской кампании в советской печати¹, хотя эти материалы тщательно собирались². Идеологически историография движения зачастую наследует самому движению³ и видит в советской прессе врага, а в ее полемике с сионизмом и эмиграционными настроениями — насквозь лживую пропаганду, содержание которой зиждется на подтасовке фактов и клевете. К анализу советской печати исследователи обращались скорее при дефиците иных источников⁴, или так делали авторы, пишущие в другой историографической парадигме и географической перспективе⁵. Большинство историков еврейского движения если и интересовались внешними факторами, то не антиизраильской пропагандой, а позицией властей в отношении Израиля и прежде всего эмиграции и ее флуктуациями — т. е. тем, что оказывало непосредственное воздействие на отказников и предопределяло динамику движения⁶. Между тем интересно, как и кем в советской печати создавался антисиионистский нарратив, служивший почти единственным и самым доступным — в отличие от глушившихся «голосов», прежде всего «Коль Исраэль», — источником информации об Израиле, призванным убедить советское еврейское большинство в том, что выезд в Израиль не в его интересах, и, очевидно, неплохо выполнявшим свою задачу.

По той же причине преимущественной солидарности со своими героями, борцами за выезд в Израиль, историография еврейского движения практически игнорирует *ноширим* («отправших», эмигрантов, выехавших по израильской

¹ Например, в одной из лучших обзорных монографий по истории российского и советского еврейства XX в. антисиионистской кампании посвящено ⅓ абзаца [Гительман 2008: 250–251]. Скрупулезная история еврейского движения М. А. Морозовой [2011] сосредоточена почти исключительно на деятельности отказников и основывается на интервью с ними или на созданных ими документах; лишь одна глава посвящена внешним обстоятельствам — но только репрессиям, а не публикациям в прессе.

² Центр документации восточноевропейского еврейства при Еврейском университете в Иерусалиме издавал серию сборников материалов из советской печати 1960–1985 гг. [Евреи и еврейский народ 1962–1988].

³ Некоторые историки движения были прежде его участниками (Юлий Кошаровский, Михаил Бейзер); некоторые зарубежные авторы в 1970–1980-е годы были активистами кампании в поддержку отказников (Soviet Jewry movement) или близки к ней. См., например, видеоинтервью Идит Роговин Френкель в цифровом архиве Йешива-университета в коллекции Soviet Jewry Movement Oral History Project (<https://digital.library.yu.edu/object/digital34788>).

⁴ См., например: [Pinkus 1988] (ивритский оригинал вышел в 1986 г.).

⁵ Прежде всего Г. В. Костырченко, который в своем двухтомнике «Тайная политика: от Брежнева до Горбачева», венчающем серию книг о «тайной» — еврейской — политике советских лидеров начиная со Сталина, посвящает пространную, почти стостраничную главу «идеологическому сопровождению» борьбы с сионизмом [Костырченко 2019: 468–563]. Конкретно антисиионистским публикациям в советской прессе посвящена магистерская диссертация норвежского исследователя [Gjerde 2011].

⁶ Например, в наиболее новом и полном коллективном исследовании еврейского движения, вышедшем в 2012 г., есть глава «За кулисами: отношение режима и общества к еврейской эмиграции» [Frankel 2012], но речь в ней идет только об отношении властей; автор основывается на сборнике документов [Морозов 1998], об обществе и выражении его отношения в письмах в газеты речь не идет. В обзорной главе М. Бейзера о еврейском движении в третьем томе новой «Истории еврейского народа в России» также есть двухстраничная глава об отношении властей к движению [Бейзер 2016: 345–347].

визе, но отдавших предпочтение Европе или Северной Америке, которые составили к концу 1970-х две трети всей еврейской эмиграции) и тем более *йордим* («спустившихся» из Земли обетованной — в противоположность иммигрантам-*олим*, «поднявшимся» в нее, особенно тех из них, кто, приехав из СССР, вернулся в него, в советской терминологии *реэмигрантов*), иногда даже сомневаясь в их реальном существовании.

Далее мы увидим, из чего состоял и как конструировался образ Израиля в советской печати 1970-х годов, верифицируем существование реэмигрантов и их участие в создании этого образа и на материале эго-документов посмотрим, совпадали ли ключевые тезисы антиизраильской пропаганды с подлинными причинами разочарования в Израиле *йордим* и других недовольных и каковы были главные из этих причин.

«Когда Рабинович едет в Израиль, советские граждане ему не завидуют»: образ Израиля в советской печати

Для многих позднесоветских евреев, даже для тех из них, кто уже решился на отъезд, Израиль оставался почти «пустым» понятием, не наполненным информацией. «Мы очень мало знаем об Израиле, — жаловались в письмах отказники, — <...> именно дремучее незнание направило многих прямо в США» [Лазарис 1986: 103]. Молодой человек из Харькова, встреченный иностранными туристами — эмиссарами западных еврейских организаций в ленинградской синагоге, — признался, что не собирается пока совершать алию отчасти потому, что хотя он «не очень хорошо живет в этой стране, но и гои тоже живут так же», отчасти потому, что «мало знает о положении в Израиле, а правду трудно узнать. Ведь здесь все время говорят одну правду, а по “Голосу Израиля” — совсем другую. “И хотя я знаю, — прибавил он, — что большинство того, что говорят здесь, не является правдой, все же сложно узнать, что происходит на самом деле”» [Вайнгорт, Трау 1971]⁷. Действительно, многие старались ловить «Голос Израиля» и другие «голоса» («Голос Сиона для диаспоры», «Свободу», «Голос Америки» и пр.), читали письма уехавших; активистам и людям, входящим в отказные круги, были доступны, как они именовались в советской риторике, «книжки и фото пленки сионистского характера», получаемые по почте и через туристов-эмиссаров. Советская печать характеризовала эти каналы и получаемую по ним информацию как «радиоложь», провокацию и сфабрикованные письма «зазывал» и стремилась опровергать рекламу «сионистского рая», в том числе признаниями реэмигрантов:

Мое представление об Израиле складывалось из той информации, которую передавала радиостанция «Голос Израиля» на русском языке, различных публикаций, привозимых туристами из Израиля и западных стран. Израиль изображался как прогрессивное, современное и цивилизованное государство. Фактически он оказался полной противоположностью: отсталой, клерикальной страной [Белая книга 1979: 32].

⁷ Благодарю М. Л. Гринберга за возможность ознакомиться с этим текстом.

В то же время, согласно наблюдениям отказников, сионистские источники информации не доходили до масс или были слишком скудны, и большинство советских евреев довольствовались отечественной пропагандой, которая успешно отвращала их от идеи «репатриации»:

...в России почти нет евреев, которые хотят ехать в Израиль <...> мало кто из русских евреев готов к тяжелым условиям жизни в Израиле <...> Они безоговорочно верят всей лжи, которую газеты сообщают об Израиле и его армии. <...> Когда Рабинович едет в Израиль, советские граждане ему не завидуют <...> обыватель верит в израильский ад [Лазарис 1986: 104, 120].

Израильские аналитики придерживались того же мнения, называя одними из подлинных причин *неширы*, «отпадения», антиизраильскую пропаганду в советских медиа и параллельно — глушение израильских радиотрансляций на Советский Союз и затруднение советским евреям общения с их родственниками и друзьями в Израиле, т. е. блокирование каналов поступления положительных сведений [Га-алия ми-Брит га-моацот 1977: 106].

Из чего состояла газетная картина «израильского ада»?

Образ Израиля конструировался — или по меньшей мере выглядел — как «антимир» (понятие, чрезвычайно актуальное в те годы⁸), как мир, перевернутый относительно СССР (его идеального образа) в советской пропаганде и относительно идеального образа Израиля (воображаемого Запада) в пропаганде сионистской. Если центральными компонентами этих образов были прогресс (понимаемый по-разному, в советском случае — как успешная ликвидация «опиума для народа»), гуманизм, социальное равенство и взаимопомощь, гражданское или национальное единство, — то Израиль в советской печати изображался полной противоположностью, своего рода адом, причем иммигранты из Советского Союза оказывались в самом нижнем его круге.

Политически Израиль не удостоивался статуса самостоятельного врага и изображался агентом большего зла, филиалом мирового сионизма, базирующегося в Америке [Иванов 1970: 111, 126–128], а последний рассматривался как «одно из орудий» или «пособник» американского империализма [Осипов, Дадани 1980: 46], необходимый для контроля над Ближним Востоком и воздействия на евреев всего мира. Выражаясь более образно, Израилю отводилось «амплуа мальчика, начинающего кулачную потасовку» [Там же: 135], и эта концепция систематически обыгрывалась в политической карикатуре.

При изображении Израиля и сионизма использовались, конечно, такие традиционные приемы, как дегуманизация и демонизация, знакомые по антисемитской и антифашистской карикатуре: персонаж-Израиль/сионизм изображался с утрированно семитскими чертами внешности (курчавые волосы, крупный рот, длинный нос) [Зенин 1971; Андреев 1982], с рогами и клыками [Кершин 1972а], в виде хищной птицы или паука [Зенин 1971; Ефимов 1975;

⁸ «Антимир — слово, рожденное хрущевской эпохой. Оно фигурирует как образец новояза даже в издании “Новые слова и значения” [1971] <...> Под антимиром понималось нечто сугубо противоположное обычному, традиционному, нормальному» [Лебина 2008: 257].

Гинуков, Горохов 1975; Черепанов 1976], волчка, оружия или машины [Андреев 1982; Чепрунов 1980; Волков 1976]. Его политическая принадлежность обозначалась значками доллара и вплетенными в изображение очертаниями свастики [Чепрунов 1980; Фомичев 1975]. Изредка можно обнаружить следы средневековых юдофобных изображений: мотив иудейской слепоты, выраженный в сокрытии глаз персонажа надвинутым на лицо головным убором⁹, и образ *Judensau*, трансформировавшийся в образ слона/слонихи — американской администрации, которую доят разные темные силы, включая Израиль [Агаев 1982] (см. ил. 1–2).

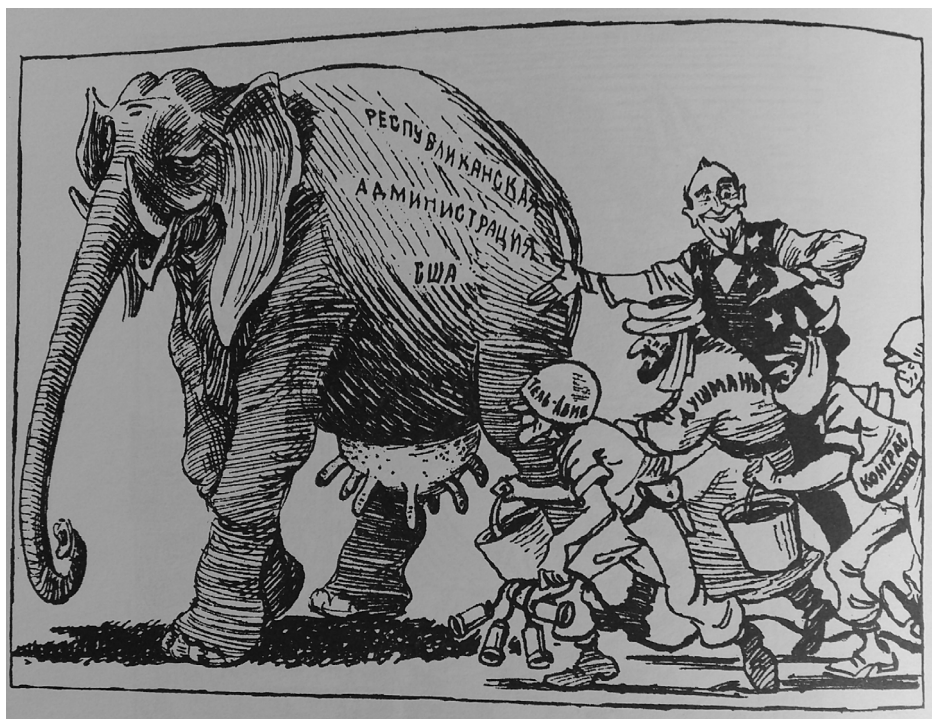


Ил. 1. Раскручивают... Рис. А. Андреева (Красная звезда. 1982. 12 июня)

Fig. 1. *Spinning it faster...* By A. Andreev (Krasnaia Zvezda. 1982. June 12)

Нередко Израиль предстал в образе гипермаскулинного агрессивного солдата: огромные ботинки, стекающая с пальцев кровь, зверское выражение лица, обвешанный оружием торс — буквализация советского клише «вооруженная до зубов израильская военщина». Однако эта агрессивная маскулинность была неправильной и комичной: выдающийся живот и тонкие конечности, волосяной покров на груди и на руках, но не на голове, небритость [Циновский 1973; Стерлев 1971a], — разительно отличающейся от нормативной маскулинности советских и арабских рабочих: высокий рост, фигуры и лица

⁹ Впрочем, это может быть и разновидностью более универсального сокрытия глаз отрицательных персонажей, например, за темными очками.



Ил. 2. Кормилец. Рис. Д. Агаева (Правда. 1982. 10 ноября)

Fig. 2. Benefactor. By D. Agaev (Pravda. 1982. November 10)

будто высечены из камня, мощные бицепсы, выбритые скулы [Ефимов 1973; Тернавский 1971]. Преимущественно же Израиль персонифицировался в виде гендерно-сексуального субалтерна при американском партнере-патроне: это либо женщина (чаще всего окарикатуренная Голда Меир [Фомичев 1970; 1971; Кузнецов 1970; 1971], но не только она [Черепанов 1984; Баженов 1970; 1971b; 1972a; 1972b; Латынин, Арыскин 1972; Волков 1972] — см. ил. 3–4, иногда с атрибутами Моше Даяна или Гитлера [Продолжается флирт 1971; Кершин 1972b]) при американском партнере-мужчине, либо маленький мужчина, в два раза ниже ростом, чем дядя Сэм, как правило в коротких штанишках, или мальчик, который ориентируется на большого дядю (папу) [Табачнюк 1973; Кершин 1970], в частности, пытается шагать в его ботинках [Ефимов 1971; Циновский 1971], а тот ему помогает, прежде всего оружием или деньгами, и натравливает на арабские страны [Волков 1974; Рыбалко 1986; Трунов 1971; Чуркин 1972]. При этом тема союза и помощи визуализируется как кормление, а иногда как завуалированный сексуальный акт — оральная или анальная пенетрация (захват за ягодицы, завод ключом, укол, накачивание из насоса, кормление из бутылочки с насадкой-ракетой или монетами, кормление грудью — денежным мешком [Латынин 1971; Стерлев 1971b; 1971c; Тильман 1973; Малахов 1970; Абрамов 1976; Жаринов 1976], см. ил. 5–7). В подоб-

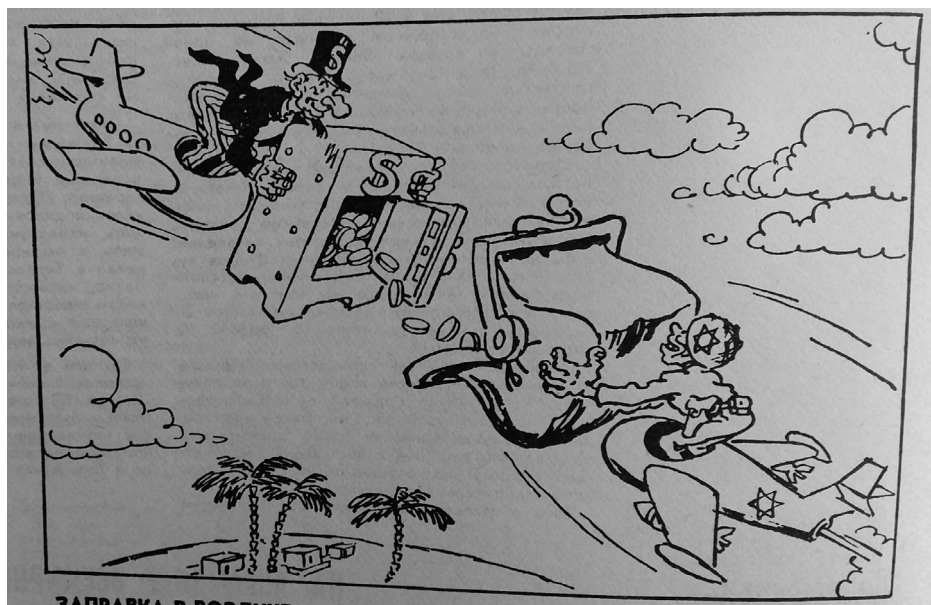


Ил. 3. У любви, как у птички, — крылья... Рис. А. Баженова (Правда. 1972. 19 марта)

Fig. 3. Love is a rebellious bird... By A. Bazhenov (Pravda. 1972. March 19)

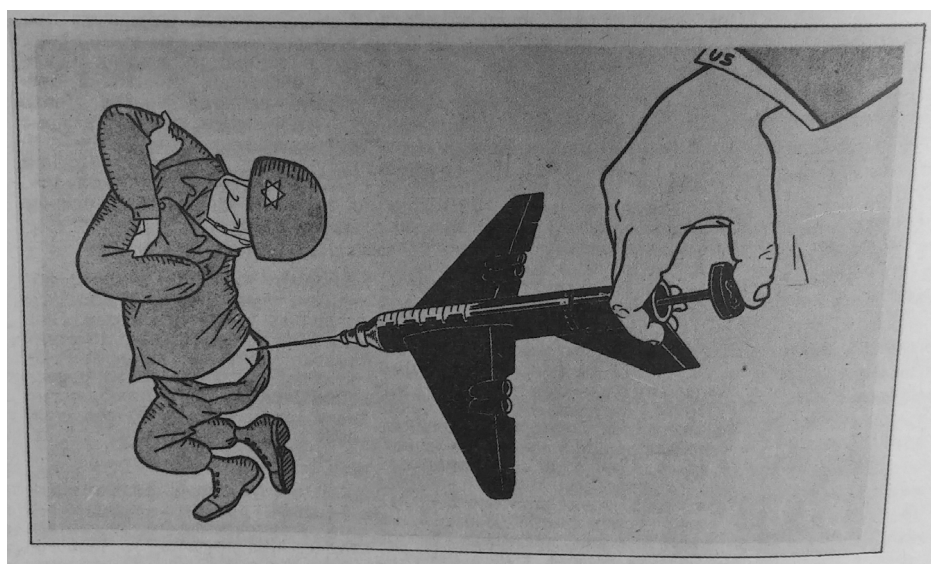
ной гендерно-сексуальной позиции — женщины или инфантилизированного за счет роста, шорт, женских аксессуаров (сумочки или женского кошелька [Волков 1971; Баженов 1971a]) мужчины при более взрослом, рослом и могущественном партнере — в советской карикатуре изображался не только Израиль¹⁰, однако уникально израильских черт (шорты, семитский фенотип) достаточно, чтобы предположить здесь не просто тиражирование стандартного образа прислужника американского империализма, а отражение каких-то представлений о специфической еврейской маскулинности. Политический смысл такой визуализации Израиля состоял в том, чтобы показать его несомненную злонамеренность, враждебность и агрессивность — и при этом бессилие: в отличие от «фашистской гадины» или «дяди Сэма» Израиль не мог быть признан равным противником, и все эти пейоративные изображения подчеркивали его несамостоятельность.

¹⁰ Так, наряду с Израилем в роли верных псов или детей дяди Сэма изображается ЮАР. Ср. также с наблюдением Эрики Фрейзер о том, что в советской политической карикатуре все капстраны, приспешницы США, квиризируются: например, Германия в лице канцлера Аденауэра в драг-костюме вступает в брак с дядей Сэмом (1950). См.: [Fraser 2019; 2019].



Ил. 4. Заправка в воздухе. Рис. А. Баженова (Правда, 1971, 17 мая)

Fig. 4. Refueling in flight. By A. Bazhenov (Pravda, 1971, May 17)



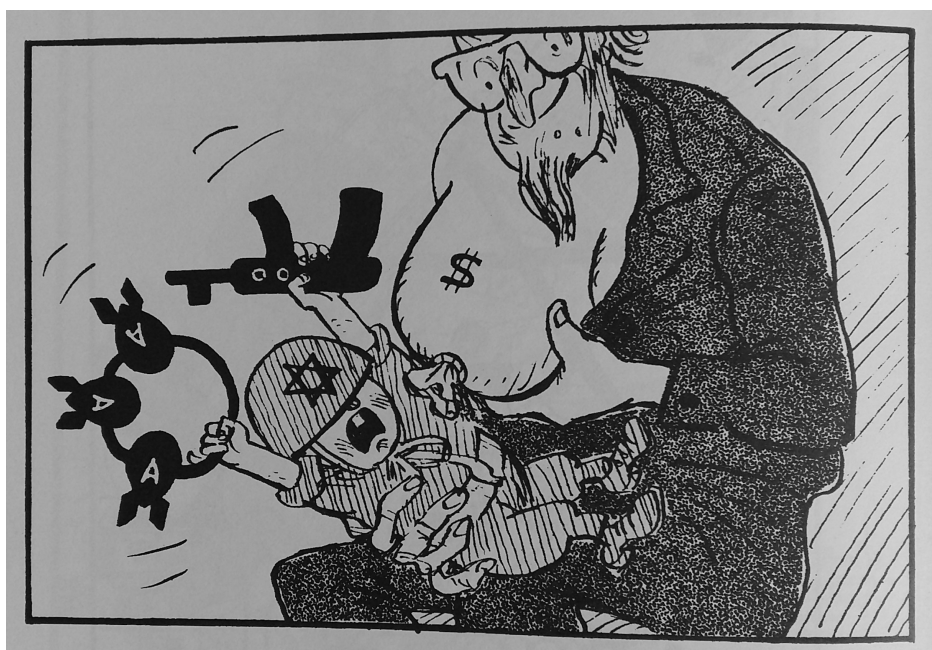
Ил. 5. Инъекция. Рис. В. Тильмана (Крокодил, 1973, № 4)

Fig. 5. An injection. By V. Tilman (Krokodil, 1973, No. 4)



Ил. 6. На новый год. Рис. В. Стерлева (Комсомольское знамя. 1971. 25 июня)

Fig. 6. For the New Year. By V. Sterlev (Komsomol'skoe znamia. 1971. June 25)



Ил. 7. Выкормыш. Рис. В. Жаринова (Крокодил. 1976. № 20)

Fig. 7. Nursling. By V. Zharinov (Krokodil. 1976. No. 20)

Впрочем, для тех, кто задумывался об эмиграции, внешнеполитический облик Израиля должен был быть не так важен, как состояние дел внутри стра-

ны, и текстовые публикации об Израиле уделяли много внимания последнему. Израиль описывался как государство капиталистическое и фашистское, т. е. дискриминирующее и угнетающее разные группы своего населения по социальному и этническому принципу. Социалистические институты, такие как гистадрут (профсоюз) или киббуцы, объявлялись псевдодемократическими фикциями, на деле — элементами капиталистической экономики и военной индустрии [Осипов, Дадияни 1980: 25–27], сионизм — «наиболее реакционной формой еврейского буржуазного национализма», подразумевающей достижение крупной буржуазией своих «узко классовых целей» [Беренштейн и др. 1981: 4]. Соответствующий курс «правлящей верхушки Израиля» приводил к социальному неравенству, инфляции и росту цен, сокращению бюджета на медицину и образование, дороговизне жилья и тому, что большая часть населения оказывалась за чертой бедности [Гура 1981: 86–96].

Израильское общество изображалось как жестко иерархизированное по классовому принципу и принципу происхождения. Резиденты сеговоли на социальное неравенство, разобщенность и враждебность. Если в Советском Союзе «человек человеку друг, товарищ и брат», то в Израиле человек человеку волк: «Каждый сам по себе, и никому до другого нет дела» [Правда 1972]. Если сионистский нарратив гласил, что взаимопомощь и национальное единство — «отличительная черта и примета евреев» [Лазарис 1986: 96], то *йордим* делали обратное заключение: «Там, в Израиле, все друг другу чужие. (...) Там нет единого народа, нет нации. Местные евреи и выходцы из других стран открыто враждуют, ненавидят друг друга» [Баннов 1972].

В советских антиссионистских публикациях Израиль по своему социально-экономическому строю представлял как капиталистическое государство, а по идеологии — как расистское и /или фашистское [Осипов, Дадияни 1980: 38]. Меня себя «Великим Израилем», государством «избранного народа», сионистский режим культивировал идею «превосходства еврейской расы над другими» и «расистско-националистические концепции о “богоизбранности”, “исключительности” евреев, “особой миссии еврейства” в человеческом обществе» [Беренштейн и др. 1981: 4]. Практическим следствием этого была шовинистическая политика по отношению к арабам [Иванов 1970: 114], «зверства и насилие», не уступающие фашистским [Иванов 1970: 141; Беренштейн и др. 1984: 76–87; Гура 1981: 100–110]. Сионистский расизм не ограничивался отторжением арабов, но также делил евреев на высшую и низшую «касты»: высшей считались создатели государства — ашкеназы, низшей — представители более поздних волн иммиграции. В итоге в Израиле происходило «экономическое, социальное, политическое и религиозное угнетение» сефардов и «жесткая культурная дискриминация» восточных евреев [Иванов 1970: 115, 131–132]. От дискриминации — на этот раз в силу норм религиозного права — страдали и другие группы населения: незаконнорожденные, которых раввинат, проявляя «свойственную всем расистским идеологиям заботу о чистоте расы», поставил в «положение неприкасаемых», «запрещая им сочетаться браком с чистыми евреями» [Гура 1981: 98], и женщины — «граждане второго сорта», зачастую не имеющие начального школьного образования [Гура 1981: 99], лишённые «права на развод, на получение имущества по наследству», жертвы «варварских религиозных обычаев и традиций», попирающих

их «человеческое достоинство» [Маяцкий 1969: 101]. Предвосхищая теорию интерсекциональности как пересечения и наложения разных форм доминирования и угнетения, советская пропаганда особенно сочувствовала сефардкам и арабкам, «подпадающим под двойную дискриминацию: как представительницы притесняемых этнических групп и как женщины» [Гура 1981: 100].

Но на самой нижней ступени израильской иерархии в изображении советской печати оказывались самые новые иммигранты — евреи из социалистических стран [Беренштейн и др. 1981: 9], и сведения об их злоключениях излагались наиболее подробно, будучи, конечно, релевантными для советских читателей. Вновь приехавшие страдали от издержек абсорбции и некоторых особенностей израильской жизни, которые интерпретировались как злонамеренное издевательство и унижение. Расселение родственников по разным центрам абсорбции осуждалось как «разделение семей», цинично обесмысливающее репатриацию, которая шла под знаменем «воссоединения семей» [Солодарь 1975: 16]. Трудности изучения иврита наводили на мысль, что он искусственно сделан столь сложным — такой язык «могли придумать только антисемиты» [Шульмейстер 1984: 106]; отдельно возмущала невозможность пользоваться идишем, которым многие советские евреи, особенно старшего поколения, владели и который считали полноправным еврейским языком:

...объясняться в учреждениях на идиш, как и по-русски, строжайше запрещено. Невероятно: язык, на котором создали литературные шедевры Шолом Алейхем и Менделе Мойхер-Сфорим, на котором писали Давид Бергельсон и Лев Квитко, на котором сегодня пишут у нас и в других странах мира прогрессивные еврейские писатели, этот язык оказался для израильского государства неполноценным [Солодарь 1975: 12].

Языковые претензии были рифмой к жалобам еврейских активистов на то, что в Советском Союзе они лишены «родного языка» — иврита. Иудаизм, пронызывающий израильскую правовую систему, школьное образование, повседневность, события годового и жизненного цикла, воспринимался советскими евреями, воспитанными в атеистическом духе, как «фанатизм» [Беренштейн и др. 1981: 4; Шульмейстер 1984: 3], «средневековое религиозное мракобесие» [Баннов 1972], унижение и насилие: «...заставляли совершать унижительные религиозные обряды» [Трудный путь 1971], «...разве я могу примириться с тем, что мой ребенок обязан из-под палки изучать талмуд!» [Солодарь 1975: 4–5].

Но «больше всего» иммигрантов «разочаровывало» «отсутствие теплоты к ним со стороны еврейских собратьев» [Как живут 1973]. Этот эвфемизм обобщает длинный ряд однотипных жалоб на унижения, которым новых иммигрантов подвергали старожилы: «Нигде нас так не оскорбляли, как в Израиле. Над нами глумились за то, что мы жили в Советском Союзе» [Белая книга 1979: 30]; «Надо мной глумились за то, что я жил в Советском Союзе, меня считали человеком десятого сорта» [Баннов 1972]; «В Израиле мы стали рабами. Нас презирали за то, что мы из СССР, что не знаем местного языка, что не молимся в синагоге» [Белая книга 1979: 35]; «Над нами смеются, называют *русиш юден*» [Белая книга 1979: 52]; «Нас все время спрашивали здесь, были

ли у нас в России квартиры, канализация и водопровод» [Белая книга 1979: 62]; «Хозяева нас водили по квартире и откручивали то один кран, то другой: это горячая вода, это холодная... У вас ведь этого в домах нет... От обиды я заплакала: они нас считают дикарями» [Вергелис 1986: 72]. Ненужность и презрение особенно болезненно воспринимались по контрасту с благополучным социальным положением, которым незадачливые эмигранты прежде обладали в Советском Союзе, — востребованностью и уважением: «В Одессе я <...> был всем нужен... А что человеку еще надо?» [Правда 1972]; «Там все нас считали людьми. А здесь мы — последние рабы» [Каплан 1972].

Столь сильные разочарования доводили *олим* из Советского Союза до заболеваний и смерти, сумасшествия, самоубийства; кульминацией рассказов о трудной и безрадостной жизни в Израиле зачастую становятся упоминания того, как тот или иной знакомый рассказчика повесился, отравился газом, бросился под машину или выбросился из окна [Белая книга 1979: 37, 60–61; Солодарь 1975: 23–24; Белая книга 1984: 32].

Если внешнюю и внутреннюю политику Израиля советские публицисты могли бичевать на основании открытых источников, в том числе публикуемых израильскими коммунистами или арабами, то истории неудачной абсорбции иммигрантов приводились со ссылками на письма недовольных *олим* своим близким в Советский Союз, на рассказы *йордим*, покинувших Израиль и встреченных, например, Ароном Вергелисом в Вене, и на рассказы реэмигрантов, вернувшихся в СССР и готовых делиться своим печальным опытом. Все рассказы сопровождалось многословными душещипательными уверениями в своем раскаянии и бесповоротном отречении от Израиля: «...дорогой ценой мы поплатились за свое недомыслие и упрямство»; «умоляет простить его необдуманный, легкомысленный поступок» [Резник 1972]; «...ныне они знают из собственного горького опыта <...> что Советский Союз <...> является их настоящей родиной» [Вена 1972]; «...теперь эти люди не могут простить себе своей ошибки»; «исторической родиной сыт по горло» [Михайлов 1973]; «...мы были одурманены <...> нам нет оправдания»; «...мы совершили тяжкую ошибку» [Правда 1972].

Аудитория советских газет, по крайней мере ее часть, не могла не задаваться вопросом, подлинны ли эти отзывы и правдивы ли впечатления, в них изложенные. Если многие читатели, возможно, большинство, «безоговорочно верили в израильский ад», меньшинство, прежде всего отказники и активисты еврейского движения, не верили ни одному слову¹¹. В частности, отказники, целью жизни видевшие репатриацию в Землю обетованную, подвергали сомнению само существование *йордим* — тех, кто по собственной воле покинул Израиль и даже вернулся в Советский Союз. Некоторые исследователи, идеологически солидарные со своими героями, разделяют это сомнение, подозревая, например, что 50 разочарованных эмигрантов, разрешить которым вернуться в СССР предлагал Ю. В. Андропов в своей записке в ЦК от 31 августа 1973 г. [Морозов 1998: 185–186] — с тем, чтобы они дискредитировали Израиль в выступлениях в медиа и личном общении со знакомыми евреями, —

¹¹ «В годы отказа мы были абсолютно уверены, что все, что пишут в советских газетах об Израиле, стопроцентная ложь. Гораздо позже, уже пожив здесь [в Израиле], я стала понимать, что это не так» (мое интервью с московской отказницей Наталией Р., 2016).

были изначально специально засланными в Израиль агентами КГБ [Frankel 2012: 173–174, n. 15].

Как свидетельствуют в переписке и отчетах сотрудники органов госбезопасности — те, кому это было доподлинно известно, — источниками очернения «сионистского рая» выступали как агенты, так и аутентичные недовольные *йордим*, желавшие вернуться или уже вернувшиеся в Советский Союз.

«Правдивые рассказы об увиденном»: реэмигранты и их роль

То, что сам феномен *йериды* — отъезда новых репатриантов из Израиля — не был выдумкой КГБ, подтверждают разные источники, к примеру, исследования израильских аналитиков [Leshem et al. 1979], посвященные преимущественно *нешире*, но затрагивающие и *йериду* (рассматривая ее как отложенную *неширу* с остановкой в Израиле) и свидетельствующие о том, что *йерида* наравне с *неширой* волновала руководство страны, а следовательно, была явлением не совсем маргинальным. Точной статистики в этих исследованиях не приводится за отсутствием таковой. Аналитики основываются на данных МВД (сведениях о количестве заявлений о намерении эмигрировать, количестве выехавших за границу и не вернувшихся в течение года), данных зарубежных еврейских организаций, заботящихся об эмигрантах из Израиля советского происхождения, статистике Министерства абсорбции и Еврейского агентства и приходят к приблизительному выводу о том, что *йерида* из Израиля в конце 1970-х годов составляла около 5–6% всей алии [Га-алия ми-Брит га-моацот 1977: 111–112]. *Йордим* возвращались в Европу, большая часть перебиралась в США, часть — в Западную Германию, кто-то стремился вернуться в Советский Союз. О том, что реэмигранты действительно существовали и это были не единичные случаи, а заметное явление, свидетельствуют фольклорные источники — анекдоты, зафиксированные в 1970–1980-е годы. Например:

Что такое дважды еврей Советского Союза? — Это еврей, уехавший в Израиль и возвратившийся оттуда назад, в СССР [Мельниченко 2014, № 5677].

Встретились в море два корабля. Один из СССР направлялся в Израиль, другой из Израиля в СССР. Пассажиры сгрудились вдоль бортов, и все крутят пальцами около висков... [Там же, № *5736А].

Впрочем, можно предположить, что анекдоты откликались не на реальность, видимую глазу, а на реальность газетную. Наличие *йериды* и реэмиграции подтверждают эго-документы советских евреев, где упоминаются знакомые, вернувшиеся из Израиля или стремящиеся к этому¹². Но наиболее точным источником являются документы тех властных структур, которые ку-

¹² Например, московский учитель истории Леонид Липкин в 1972 г. записал в своем дневнике: «В парке читал, разговаривал с евреем сторожем. Он рассказал, что его приемный сын и жена уехали в страну обетованную, а теперь ноют. Сын перебрался в ФРГ и просится обратно в СССР» [Липкин 1951–1989 (28 июля 1972 г.)].

рировали возвращение незадачливых эмигрантов в Советский Союз и заставляли их платить за оказанную милость.

Подозрения отказников, что рассказы об Израиле в советской печати сфальсифицированы, не были совсем беспочвенны. Действительно, для распространения негативных сведений о жизни новых иммигрантов среди прочего использовались и агенты КГБ. Например, в 1971 г. КГБ УССР готовил агентов «Фрида» и «Ростовского» «для вывода в Израиль» [Крикун 1972. Л. 279]. В Израиле агенты занимались «укреплением оперативных позиций» в спецслужбах или перебирались дальше на Запад и внедрялись в «зарубежные сионистские центры» или иные структуры, а также — параллельно со шпионской деятельностью — способствовали дискредитации Израиля перед советской публикой. Так, в 1975 г. глава украинского КГБ отчитывается перед ЦК КПУ в том, что «оперативные источники КГБ выведены (...) на длительное оседание в Израиль», где, в частности, добывают информацию о социально-экономических трудностях и «растущем недовольстве в среде иммигрантов из СССР (...) что подтверждается другими источниками и соответствует действительности» [Федорчук 1975а. Л. 103–104]. В начале 1980-х годов органы госбезопасности Молдавской ССР отчитывались об успешном проведении пропагандистских мероприятий с «использованием агента “Моисеева”, побывавшего в 1982 году по частным делам в Израиле» и «других негласных помощников, посетивших не так давно по частным делам Израиль» их «правдивые рассказы об увиденном, о выехавших семьях, о трудностях, с которыми они там столкнулись, воспринимались слушателями с доверием»; «учитывая предубеждение эмиграционно настроенной части еврейского населения к официальным пропагандистским мероприятиям», нужный эффект был достигнут за счет того, «что информация о положении бывших жителей республики в Израиле доводилась до их сведения очевидцами» [Волков 1984: 77; Полторак, Иммер 1986: 33].

Но гораздо чаще, чем агентов, «органы» использовали подлинных недовольных эмигрантов — для начала их письма родным и близким в СССР, которые перлюстрировались, или, как эвфемистически формулировали сотрудники КГБ, «фиксировались»: «...немалую помощь — с удовлетворением отмечали офицеры молдавского КГБ — оказывает служба ПК (перлюстрации корреспонденции. — Г. З.), фиксирующая корреспонденцию, в которой описываются трудности устройства бывших советских граждан за рубежом, инфляция, безработица, пренебрежительное отношение коренных жителей Израиля к лицам, приехавшим из СССР, и прочие “прелести” израильской действительности» [Полторак, Иммер 1986: 32]. Кроме того, разочарованные эмигранты, желавшие вернуться в СССР, в своих ходатайствах о возвращении должны были каяться и критиковать израильскую действительность, так что их «письма и обращения» «убедительно иллюстрировали лживость сионистского мифа о “земле обетованной”» и могли использоваться «в интересах контрпропаганды» [Там же: 32].

Содержание личных писем эмигрантов, ходатайствующих о возвращении в Советский Союз, прекрасно известно «органам» благодаря перлюстрации, предопределяло судьбу их авторов. Обрато на советскую родину допускали далеко не всех; парторганизации полагали «нецелесообразным выдавать разрешения на возвращение в СССР» гражданам с низким общеобразовательным уровнем и судимостями [Муха 1975а. Л. 281], а также тем, кто не представлял

пользы для контрпропаганды. Например, сапожнику, который в письмах друзьям восхвалял Израиль, в возвращении отказали [Федорчук 1973. Л. 87–88]. И наоборот, шофера-механика Давида Гершовича Ковригара из Львова, уже выехавшего из Израиля и в Австрии ожидавшего решения советских властей, писавшего своей матери во Львов «письма о тяжелых условиях жизни эмигрантов из СССР, которые использовались в антиссионистской пропаганде», КГБ УССР просил допустить в Советский Союз «с целью дальнейшего использования в мероприятиях по контрссионистской пропаганде» [Федорчук 1975с. Л. 144–145]. Ковригар был не единственным многообещающим кадром. Ильяхови Яировичу Фузайлову из Ташкента, выехавшему из Израиля в Италию, разрешили въезд в СССР по ходатайству советского посольства в Италии, так как он «направлял из Италии в редакции газет “Правда”, “Известия” и “Правда Востока” письма, разоблачающие сионистскую пропаганду о хороших условиях жизни эмигрантов из СССР»; сразу же по прибытии в СССР, на станции Чоп в Закарпатье, «от Фузайлова были получены материалы о тяжелом положении в Израиле ряда его знакомых, прибывших из Узбекистана, для опубликования их в газете “Закарпатская правда”» [Муха 1975а. Л. 343]. Врач-терапевт из Одессы Самсон Михайлович Патлис, эмигрировавший в Израиль в 1972 г., а к 1975-му оказавшийся в Канаде и ходатайствовавший о возвращении в СССР вместе с родными — отцом, матерью и сыном (притом что бывшая жена, с которой он развелся уже за границей, по национальности русская, собиралась остаться в Канаде), — критическими письмами похвалить не мог, но заявил в консульском отделе, что, если его пустят обратно, «сделает все возможное, чтобы оправдать доверие» [Федорчук 1975b. Л. 337–338]. Оправдали доверие следующие реэмигранты: киевлянин Бравштейн и черновчане Крайзер и Зельцер, выступившие на пресс-конференции в московском Доме журналиста, организованной органами госбезопасности в рамках «комплекса мероприятий по нейтрализации и компрометации» сионистской конференции в Брюсселе («этого сионистского сборища»). Они рассказали о провокациях сионистских организаций, «а также о тяжелых материальных, социально-экономических условиях жизни трудящихся в Израиле и других капиталистических странах» [Там же. Л. 283]. Весьма полезными оказались их земляки: киевлянин актер Шныпарь, черновчанин токарь Ройзман и примкнувший к ним одессит сантехник Конный. Еще находясь в эмиграции, они опубликовали в нью-йоркской газете «Русский голос» ряд статей «резко антиссионистской направленности», после чего ходатайствовали о возвращении в СССР, и КГБ просил разрешить им въезд ради «более активного использования их в контрссионистских мероприятиях» [Федорчук 1976а. Л. 42–43]. По дороге в Советский Союз Шныпарь, Ройзман и Конный участвовали в пресс-конференции в Брюсселе, устроенной Агентством печати «Новости» для иностранных журналистов; в своих выступлениях они «на конкретных фактах разоблачили антисоветскую деятельность сионистских центров, рассказали о преследованиях и провокациях, которым они подвергались со стороны сионистов в Израиле и США, призывали своих соотечественников не допускать тех ошибок, которые они совершили» [О выступлении 1976. Л. 258]. Конференция расценивалась «органами» как успех, Шныпаря, Ройзмана и Конного намечались и дальше, по возвращении в СССР, «использовать в контрпро-

пагандистских мероприятиях», например, «подготовить и осуществить с их участием телепередачу, разоблачающую подрывную деятельность сионизма», и за это «оказать им содействие в трудоустройстве и обеспечении жилплощади» [О выступлении 1976. Л. 259; Федорчук 1976b. Л. 285].

Подобные примеры можно множить. Резмигранты не были фикцией, и их гневная критика израильской действительности не была фальсификацией. Но была ли она искренней, или же они сочиняли по заказу — «под руководством и с участием партийных органов» [Федорчук 1976b. Л. 284] — любую клевету, справедливо видя в ней вождеденный билет обратно в Советский Союз?

«Огонь возмущения толкал мое перо»: случай Евгения Кармазина

Подтвердить искренность возмущения *йордид*, по крайней мере некоторых из них, способны эго-документы.

Киевлянин Евгений Зиновьевич Кармазин (род. в 1929 г.) в своих воспоминаниях «Повесть о времени и о себе», написанных в Париже в 1996–2004 гг., подробно излагает обстоятельства своей эмиграции в июне 1973 г.: причины, подтолкнувшие его к этому решению, которое, «оглядываясь назад», он находит «безумным» («...если бы мне пришлось начать жизнь сначала, я ни за что не решился бы эмигрировать» [Кармазин 1996–2004: 134–135]), и впечатления нового репатрианта, заставившие его вскоре покинуть Израиль.

К эмиграции его побуждала «память о сталинских репрессиях, о кампании против космополитов, которая не была осуждена властью, о продолжающейся дискриминации по пятому пункту и остановка десталинизации...» [Кармазин 1996–2004: 131]. В мемуарах Кармазин утверждает, что его родители уже в 1920-е годы «с отвращением» относились к режиму и адвокатами стали, чтобы «защитить несчастных от советской власти»; отец его полагал, «что в этой невыносимой жизни при советской власти ничего хорошего нельзя добиться», а сам он еще мальчиком собирался «послать Сталину письмо печатными буквами — Сталин, что ты делаешь с народом! — но, конечно, не послал, понимая, что непременно найдут автора. Ходили слухи, что во всех школах произвели проверку всех тетрадей, чтобы найти, где вырвана страница» [Там же: 14, 21, 46]. Верифицировать подобные воспоминания невозможно, не исключено, что автор экстраполирует во времени свой антисталинизм, в действительности оформившийся лишь после дела врачей или с XX съезда. Так или иначе, обвинял ли он в этом режим и питал ли к нему отвращение с детства, но на протяжении всей жизни Кармазин страдал от антисемитизма — в школе «дети били и задирали»; не приняли в университет, несмотря на медаль; он бывал уволен с работы или не принят на нее («...обошел 35 мест и везде мне отказали — несомненно, по пятому пункту анкеты» [Там же: 30, 105]); и в целом, как еврей и как гражданин, он всегда ощущал себя жертвой обстоятельств и государства, «маленьким человеком» под дамокловым мечом, в существовании которого черная полоса сменяется белой, а белая — черной, сам же он над этим чередованием не властен¹³. Помимо далекого государства его притесняли

¹³ Ср. с описанием Ириной Паперно общих черт постсоветских мемуаров, написанных преимущественно представителями культурной элиты, которые стандартно видели себя жертвой истории, иногда «перемолотой ее жерновами» [Паперно 2009: 13].

коллеги по работе — интриганы и завистники, недобросовестные врачи, жадные начальники; даже тесть и теща, в чьей квартире он проживал, оказались в итоге «угнетателями и оскорбителями» [Кармазин 1996–2004: 112]. Будучи человеком нерелигиозным, Кармазин верил в некую высшую справедливость, которая, видимо, и заставляла черную полосу сменяться белой и обеспечивала возмездие гонителям («судьба наказала всех виновников моего страшного несчастья»: уволены, отправлены в колхоз и т. д. [Там же: 88]).

На момент эмиграции Кармазин как раз находился посреди белой полосы: работал начальником планового отдела на заводе, жил в отдельной кооперативной квартире, «драме за получение» которой он уделяет в мемуарах гораздо больше внимания, чем своим жене и ребенку (последний упоминается лишь однократного упоминания) и о потере которой сокрушается более всего («бросить замечательную квартиру, о которой я и теперь жалею» [Кармазин 1996–2004: 128–130, 134]). Была другая, возможно, более важная причина, заставившая его рискнуть и покинуть советскую родину ради неведомой, но многообещающей заграницы, — нереализованные амбиции: «...толкал меня и осознанный к тому времени талант — я хотел писать научные и журналистские статьи» [Там же: 135]. Кармазин считал себя человеком талантливым и оригинально мыслящим; с первых страниц воспоминаний он скрупулезно фиксирует свои — еще детские — «нетривиальные поступки» и «необычные высказывания»¹⁴. Экономист-плановик, он не был удовлетворен своей работой — хотел писать и публиковаться. В 1960-е годы Кармазин выступил с новаторским, по его мнению, рацпредложением: устанавливать цены на новые изделия на основе себестоимости второго года серийного выпуска; он писал в Бюро цен и в «Экономическую газету», но его идеи никого не заинтересовали, а позже реформа была проведена без упоминания Кармазина: «...украли они мое изобретение, стоявшее, конечно, как минимум, кандидатской научной степени» [Там же: 120]. Ему удалось опубликовать единственную статью о ценах, причем без подписи и без гонорара, в разделе «Письма читателей» журнала для служебного пользования «Вопросы ценообразования». Обиженный, он был уверен, что академический истеблишмент («бездарные академические умы») специально блокирует появление «новых людей и новых идей» [Там же: 126]. Виня государство в невозможности реализовать свои таланты («...если бы советская власть нашла способ отнестись ко мне со вниманием, с учетом моих способностей и возможностей, я бы не уехал») и в неуважении к технической интеллигенции вообще («...огромное влияние на меня имела и отвратительная практика посылки заводской интеллигенции на работы с лопатой в руках», «с традиционным для советской власти презрением...») [Там же: 135, 132]), Кармазин понадеялся, что в «свободном мире» его оценят по достоинству.

Израиль не оправдал его надежд. Жизнь там оказалась хуже, чем в Советском Союзе, а государство почти таким же тоталитарным. Описание горестей абсорбции в мемуарах в целом и в частности совпадает с сетованиями и инвективами советской печати. Враждебные власти все делают назло новым иммигрантам, демонстрируя свое хамство и «издевательское отношение»: зна-

¹⁴ Например: «...в Киеве во время голода постыдился идти в детский сад в новых ботиночках» [Кармазин 1996–2004: 3, 5].

комых и родственников расселяют по разным концам страны, так что они не могут общаться; им подбирают чиновников, врачей, экскурсоводов, которые не говорят по-русски. «Антисемитский язык» иврит специально придуман таким сложным, чтобы народ оставался безграмотным и его было проще подавлять¹⁵; в стране вопиющее имущественное неравенство, богатым хорошо, бедным плохо, причем не то что разбогатеть — найти работу невозможно; новые иммигранты никому не нужны, непонятно, зачем их сюда звали. Религиозное семейное законодательство создает дополнительные сложности в и без того сложной действительности, и, наконец, медицинское обслуживание из рук вон плохое [Кармазин 1996–2004: 136–148]. Все эти угнетающие обстоятельства приводят к депрессиям и самоубийствам, но подобные случаи замалчиваются. Главными причинами недовольства, похоже, опять стало неуважение к группе (если в Союзе это была «заводская интеллигенция» или евреи, то в Израиле — иммигранты из СССР, которые испытывают «хамское отношение», «издевательство») и непризнание его личных достоинств: Кармазин пытался устроиться в Тель-Авивский университет на советологию, но его не взяли и пренебрежительно отнеслись к его статье.

По его наблюдениям, все вокруг «возмущались и отчаивались так же». Отчего же его не предупредили, когда он еще был в Союзе, недоумевал Кармазин. Ответы вроде «чтобы нас было больше» и «не писать же в письмах, которые читает советская власть», его не убедили, и он сам стал писать письма в СССР — из лучших побуждений, чтобы предупредить тех, кто собирался уезжать [Кармазин 1996–2004: 142–143]. Стремясь «любой ценой прорвать заговор молчания», он написал несколько десятков личных писем, заметки в газеты, жалобы в разные посольства и даже в ООН.

Скажу сразу — вся эта история — громадная ошибка, возможно, смертельная, — писал он своей корреспондентке в Киев. — Счастлив тот, кого остановили вовремя, и он не уехал. Дело в том, что правительством против нас. Все то хорошее, что нам писали о здешней жизни, — правда. Но есть еще больше плохого, о котором нам не писали. Здесь могут приспособиться только окраины — Черновцы, Прибалтика и т. д. Киевляне и даже одесситы — в ужасе. Одесситы массами удирают на Запад, но это нелегко. <...> Вся эта система выглядит как издевательство, садизм <...> Инструментом этого насилия служит иврит, которого ты не знаешь <...> Я пытался устроиться на работу научную, но пока не вышло, они боятся конкуренции. Я усиленно пытаюсь отсюда удрать <...> Рад, что мог тебя информировать... [Письмо Лене 1973].

«Ненависть к израильскому режиму» придала Кармазину силы, он завалил письмами Сохнут и ХИАС, и в итоге ему удалось «выбраться из израильской

¹⁵ Эта мысль посещала не одного Кармазина. Сионист, правозащитник, активист еврейского движения Эйтан Финкельштейн вспоминает свою беседу с Шимоном Пересом о проблемах абсорбции, из которой он вынес, что препоны советской алии чинились «сознательно и искусственно» и «что пока человек не знает иврита, пока не понимает, как функционирует общество, он тише воды, ниже травы. Пересу нужно было, чтобы тише воды, ниже травы» [Финкельштейн 2004].

западни» [Кармазин 1996–2004: 144]. ХИАС вывез его в Европу, но США и Канада отказали в визе, несмотря на его многочисленные обращения и апелляции. «В этом отчаянном и безвыходном положении» Кармазин придумал «оригинальный ход: просить у советского посольства политического убежища от преследования американскими и израильскими сионистами» [Там же: 156]. Как мы знаем, ход был не оригинальный; например, на «систематическое запугивание и травлю» со стороны сионистов и даже избиения жаловались вышеупомянутые Ройзман, Шныпарь и Конный [Цена ошибки 1975]. Но Кармазину не пришлось разыгрывать эту карту. Ему неожиданно дали статус лица без гражданства и разрешение на работу во Франции и он осел в Париже: «...после пяти лет катастрофы все вдруг стало развиваться как по мановению волшебной палочки» [Кармазин 1996–2004: 156] — вновь черная полоса сменилась белой. Он поступил счетоводом на швейную фабрику, где ввел советскую систему сверки и «с громадным энтузиазмом отыскивал ошибки в бухгалтерских счетах, чтобы добиться их полного совпадения (ажура)» [Там же: 157]. Впрочем, Кармазин и тут не перестает жаловаться: на Claims Conference, не выплатившую ему компенсацию как эвакуированному советскому еврею; на еврейскую эмигрантскую организацию в Париже, которая предложила ему квартиру, но с недостатками — без душа и без кухни; наконец, на советскую власть, которая «отрезала нас не только от эмиграции, но и от информации об эмиграции, и мы совершенно не понимали, какие трудности нас ожидают. Несомненно, если бы я понимал, что не смогу освоить иностранный язык, я бы никуда не поехал» [Там же: 169].

Кармазин все-таки сумел стать журналистом — его статьи публиковала русскоязычная эмигрантская монархистского толка газета «Наша страна» (Буэнос-Айрес); среди прочих он написал более 30 статей с критикой израильского режима. «Свои статьи я обычно писал в полемической форме, — с удовлетворением резюмирует Кармазин в мемуарах. — Жгучее возмущение фальшью и замалчиваниями, на которых основаны советская и, к сожалению, эмигрантская пресса, — переполняло меня. (...) Огонь возмущения толкал мое перо» [Кармазин 1996–2004: 165]. Помимо Израиля возмущенное перо осуждало все происходящее в Советском Союзе: поклонник Хрущева и его экономических реформ, существенно увеличивших благосостояние его собственной семьи, Кармазин считал необходимым сохранение социализма, плановой экономики и целостности Союза, а перестройку и распад СССР клеймил как «вредительство» по заказу «заокеанских покровителей» [Там же: 176, 178]. Ругал он и диссидентов, и представителей третьей волны русской эмиграции, не принявших его в свои круги и не печатавших в своих изданиях; в частности, он ставил им на вид то, что они недооценили Хрущева и не разбирались в советской экономике.

Журналистский успех Кармазина были весьма скромным, ограниченными страницами маргинальной аргентинской эмигрантской газеты. Ему не удалось примкнуть к пишущей интеллигенции ни в Союзе, ни в Израиле, ни в Париже. Возможно, отчасти компенсировало эту неудачу признание со стороны несколько неожиданной для бывшего израильтянина, проживающего в Париже на деньги еврейских организаций, институции — Православной русской академии, ставившей своей целью «духовное сплочение Русского, в целом — Славянского, народа (...) на православной основе»; в 2012 г. академия присво-

ила Кармазину «ученое звание профессора по специальности политическая журналистика Зарубежной Руси»¹⁶.

Тексты об израильской жизни Кармазина, включающие многочисленные письма и воспоминания, а также пересекающиеся с ними газетные статьи, представляются наиболее репрезентативным эго-документальным корпусом, отражающим опыт разочарованных иммигрантов 1970-х, но есть и другие автобиографические тексты на эту тему, не предназначенные для советской печати и потому вызывающие доверие.

Искусствовед из Москвы¹⁷ Клара Наумовна Пруслина, приехавшая в Израиль в 1978 г., когда *нешира* уже значительно превосходила алию, и удрученная этими явлениями — *неширой* и *йеридой*: «...едва ли не $\frac{2}{3}$ моих знакомых буквально сидят на чемоданах, ожидая удобного случая... Очень обидно», — постаралась проанализировать свой опыт абсорбции, чтобы объяснить, почему «евреи из СССР, в особенности их наиболее интеллигентная и квалифицированная часть, стали “сворачивать” в другие страны, и не только из Вены, а зачастую уже из Израиля...» [Письмо Этингеру б. д.] В очерке «Еще раз о нешире (Впечатления новопривывшей из СССР)» [Пруслина 1978] Пруслина вспоминает досадные моменты в жизни нового репатрианта: испорченный апельсин и маленькое яблоко в столовой центра абсорбции, грязную комнатушку и грязный матрас, лампочку в 25 ватт вместо 60, вычет из пособия денег за такси, которое она была вынуждена взять, чтобы добраться ночью до центра абсорбции, и проч. — и подчеркивает, что расстраивали не сами неприятности, а то, что они были (или воспринимались) намеренным унижением: «Я понимала, что, поскандалив, я возвращу эти лиры. Но не в них было дело. Главное было в отношении...». Ее знакомые по центру абсорбции и по ульпану, москвичи и ленинградцы, покидали Израиль или по меньшей мере не советовали своим родным ехать сюда: «Конечно, надо уезжать, но не в Израиль — уж очень нас здесь не уважают» [Там же: 13]. Пытаясь понять, почему в центре абсорбции не считаются с их чувством собственного достоинства, а видят в них «наглых нищих», причем больше всего страдают столичные интеллигентные евреи, Пруслина предполагает, что директор центра, будучи сам местечковым евреем, принимает как своих других «местечковых», а к столичным испытывает зависть и антагонизм. Это наблюдение перекликается с наблюдением Кармазина о том, что в Израиле могут приспособиться только «окраины» — те же «местечковые» евреи из небольших городов, в то время как киевляне и одесситы — украинский вариант москвичей и ленинградцев — «в ужасе». Подытоживая, Пруслина представляет лейтмотивом эмиграции защиту своего достоинства, а лейтмотивом абсорбции — его поругание: «Мы добились разрешения «...» покинуть страну [СССР], защищая свое чувство собственного достоинства. Мы бросали все, зачастую тяжелым трудом добытое имущество, общественное положение, которое тоже нам не преподнесли на блюдецке, и были готовы встретить новые трудности на незнакомом пути... Мы были готовы ко всему, но не к унижениям и оскорблениям» [Пруслина 1978: 18].

¹⁶ Диплом хранится в фонде Кармазина в Archiv der FSO.

¹⁷ Кандидат наук, специалист по керамике, автор книги «Русская керамика (конец XIX — начало XX в.)» (М.: Наука, 1974).

* * *

Рассмотренные выше источники дают частичное подтверждение достоверности антиссионистского нарратива в советской печати: не в том радикальном смысле, что «сионистский рай» на самом деле был «капиталистическим адом», а в том, что таким его на самом деле увидели некоторые новые иммигранты. Журналисты не сочинительствовали, а тенденциозно подбирали материал из перлюстрированных писем или интервьюировали *йордим* и вполне правдиво излагали их истории, рассказанные, конечно, с учетом известных конвенций, но тоже, вероятно, вполне правдиво отражавшие подлинные впечатления — иначе бы эти люди не покидали Израиль и не возвращались в СССР. При этом — как утверждают и газетные памфлеты, и воспоминания репатриантов — главной причиной разочарования, ферментом, сквашивающим опыт абсорбции в неудачу, «ад» и «ужас», были не материальные, профессиональные, климатические или иные трудности, а отношение: отсутствие уважения и признания, горизонтальные коммуникации, взаимодействие с государственными структурами, религиозные практики, воспринимавшиеся как хамство, издевательство, намеренное унижение человеческого достоинства. Мы можем увидеть здесь пример сохранения иммигрантами аксиологии, этики, понятий страны исхода: они по-прежнему классифицировали евреев на «местечковых» и «интеллигентных» (ключевая дихотомия в еврейском сознании образованного советского еврея из большого города¹⁸) и, относя себя ко второй категории, подчеркнуто отдавали приоритет духовным ценностям над недостойными упоминания материальными, и центральной среди духовных оказывалось «достоинство», одно из ключевых понятий в «полемике» об эмиграции («национальное достоинство», которое нужно защищать от антисемитизма и которое требует отъезда на историческую родину, vs достоинство советского гражданина, исключающее измену родине путем эмиграции)¹⁹. Тот факт, что новые иммигранты страдали от потери статуса и неуважения более, чем от каких-либо лишений или трудностей, не только отражает советскую аксиологию, но и, шире, опровергает экономический детерминизм и подтверждает разнообразные наблюдения ученых, сделанные на совершенно иных примерах: от антрополога Джеймса Скотта, показавшего, что крестьянское сопротивление обусловлено не столько бедностью, сколько потерей статуса, пренебрежением их достоинством, социальной маргинализацией [Scott 1985; 1990], до философа Фрэнсиса Фукуямы, утверждающего, гораздо более спекулятивно, что люди желают не только материальных ценностей, но и отношения других людей, уважения их человеческого достоинства, и одной из движущих сил истории полагающего жажду признания [Фукуяма 2007] — ту самую, что заставляла некоторых бывших советских граждан мучиться в Израиле и покидать его, возвращаясь к советскому status quo или осваивая новые горизонты.

¹⁸ Подробнее о ней см.: [Зеленина 2017].

¹⁹ Подробнее об этой категории см.: [Зеленина 2022].

Источники

Архивные

Вайнгорт, Трау 1971 — *Вайнгорт А., Трау Х.* Отчет о нашей поездке в СССР, 21 июля — 10 августа 1971 г. Машинопись. Частный архив.

Га-алия ми-Брит га-моацот 1977 — Га-алия ми-Брит га-моацот ли-Израэль бе-шаним 1968–1977 = Emigration from the Soviet Union to Israel, 1968–1977. САНJP. СЕЕJ. Files 1103, 1101. 116 p.

Кармазин 1996–2004 — *Кармазин Е.* Повесть о времени и о себе. Париж, 1996–2004. Рукопись. Archiv FSO. F. 30.132: Ewgenii Karmazin.

Крикун 1972 — Специальное сообщение зампреда КГБ при СМ УССР С. Крикуна от 12.9.1972. ОГА СБУ. Ф. 16 (1053). Оп. 3. Д. 2. Т. 11: Дело с подлинниками докладных записок, спецсообщений и информации (возврат из ЦК КПУ), 17.08–16.09.1972. Л. 277–281. Цит. по фотокопии на сайте проекта «J-Дос». URL: <https://zikaron.nadavfund.org.il/items/show/905>.

Липкин 1951–1989 — *Липкин Л. Я.* Жизнь маленького человека: Дневник и воспоминания, 1951–1989. Архив Центра «Прожито» (Европейский университет в Санкт-Петербурге).

Муха 1975a — Докладная записка в ЦК КПУ от зампреда КГБ УССР С. Муха от 20.8.1975. ОГА СБУ. Ф. 16 (1108). Оп. 7. Д. 2. Т. 4: Дело с подлинниками докладных записок, сообщений и информации (возврат из ЦК КПУ), 15.07–2.09.1975. Л. 280–281. Цит. по фотокопии на сайте проекта «J-Дос». URL: <https://zikaron.nadavfund.org.il/items/show/917>.

Муха 1975b — Информационное в ЦК КПУ от зампреда КГБ УССР С. Муха от 26.6.1975. ОГА СБУ. Ф. 16 (1106). Оп. 7. Д. 2. Т. 7: С подлинниками докладных записок, сообщений и информации (возврат из ЦК КПУ), 15.05–30.06.1975. Л. 343–344. Цит. по фотокопии на сайте проекта «J-Дос». URL: <https://zikaron.nadavfund.org.il/items/show/916>.

О выступлении 1976 — О выступлении перед иностранными журналистами лиц, выезжавших на жительство за границу. ОГА СБУ. Ф. 16 (1115). Оп. 7. Д. 2. Т. 2: Дело с подлинниками докладных записок, сообщений и информации (возврат из ЦК КПУ), 26.2–28.4.1976. Л. 258–259. Цит. по фотокопии на сайте проекта «J-Дос». URL: <https://zikaron.nadavfund.org.il/items/show/942>.

Письмо Лене 1973 — Письмо Е. Кармазина Лене от 13.9.1973. Archiv FSO. F. 30.132: Ewgenii Karmazin.

Письмо Этингеру б. д. — Письмо К. Пруслиной Шмуэлю Этингеру. [Б. д.]. САНJP. СЕЕJ. File 1264.

Пруслина 1978 — *Пруслина К. Н.* Еще раз о нешире (Впечатления новоприбывшей из СССР). 18 с. САНJP. СЕЕJ. File 1264.

Федорчук 1973 — Записка председателя КГБ при СМ УССР В. Федорчука председателю президиума Верховного Совета УССР Грушецкому И. С. от 16.10.1973. ОГА СБУ. Ф. 16 (1080). Оп. 3. Д. 2. Т. 2: Дело с подлинниками докладных записок, информсообщений (возврат из ЦК КПУ), 9.10–1.11.1973. Л. 87–88. Цит. по фотокопии на сайте проекта «J-Дос». URL: <https://zikaron.nadavfund.org.il/items/show/907>.

Федорчук 1975a — Докладная записка в ЦК КПУ Щербицкому В. В. от председателя КГБ при СМ УССР В. Федорчука от 29.5.1975. ОГА СБУ. Ф. 16 (1106). Оп. 7. Д. 2. Т. 7: Дело с подлинниками докладных записок, сообщений и информации (возврат из ЦК КПУ), 15.05–30.06.1975. Л. 100–107. Цит. по фотокопии на сайте проекта «J-Дос». URL: <https://zikaron.nadavfund.org.il/items/show/916>.

- Федорчук 1975b — Докладная записка председателя КГБ при СМ УССР В. Федорчука в ЦК КПУ В. В. Щербицкому от 23.10.1975. ОГА СБУ. Ф. 16 (1109). Оп. 7. Д. 2. Т. 5: Дело с подлинниками докладных записок, сообщений и информации (возврат из ЦК КПУ), 2.09–23.10.1975. Л. 337–338. Цит. по фотокопии на сайте проекта «J-Doc». URL: <https://zikaron.nadavfund.org.il/items/show/918>.
- Федорчук 1975c — Докладная записка председателя КГБ при СМ УССР В. Федорчука в ЦК КПУ В. В. Щербицкому от 18.12.1975. ОГА СБУ. Ф. 16 (1112). Дело с подлинниками докладных записок, сообщений и информации (возврат из ЦК КПУ), копия без обложки, 25.11–31.12.1975. Л. 144–145. Цит. по фотокопии на сайте проекта «J-Doc». URL: <https://zikaron.nadavfund.org.il/items/show/941>.
- Федорчук 1976a — Докладная записка в ЦК КПУ Щербицкому В. В. от председателя КГБ при Совмине УССР В. Федорчука от 12.1.1976. ОГА СБУ. Ф. 16 (1115). Оп. 7. Д. 2. Т. 2: Дело с подлинниками докладных записок, сообщений и информации (возврат из ЦК КПУ), 26.2–28.4.1976. Л. 42–43. Цит. по фотокопии на сайте проекта «J-Doc». URL: <https://zikaron.nadavfund.org.il/items/show/942>.
- Федорчук 1976b — Специальное сообщение председателя КГБ при СМ УССР В. Федорчука в ЦК КПУ В. В. Щербицкому от 17.2.1976. ОГА СБУ. Ф. 16 (1115). Оп. 7. Д. 2. Т. 2: Дело с подлинниками докладных записок, сообщений и информации (возврат из ЦК КПУ), 26.2–28.4.1976. Л. 283–285. Цит. по фотокопии на сайте проекта «J-Doc». URL: <https://zikaron.nadavfund.org.il/items/show/942>.
- Leshem et al. 1979 — *Leshem E., Rosenbaum Y., Kahanov O.* The “drop-out” phenomenon among Soviet Jews: Main findings and recommendations. Jerusalem: The HUI: The Center for research and documentation of East European Jewry, 1979. САНJP. CEEJ. File 1104.

О п у б л и к о в а н н ы е

- Баннов 1972 — *Баннов Б.* Мракобесы // Советская Латвия: [Газ.; Рига]. 1972. 20 янв.
- Белая книга 1979 — *Белая книга: Свидетельства. Факты. Документы.* М.: Юрид. лит., 1979.
- Белая книга 1984 — *Белая книга: Новые факты, свидетельства, документы.* М.: Юрид. лит., 1984.
- Беренштейн и др. 1981 — Введение // *Идеология и практика международного сионизма: Сб. науч. тр. / [Ред. кол.: Л. Е. Беренштейн (отв. ред.) и др.].* Киев: Наук. думка, 1981. С. 3–9.
- Беренштейн и др. 1984 — [*Беренштейн Л. Е., Гура В. К., Пода Н. Г. и др.*] Сионизм — враг мира и социального прогресса (Антинародная сущность политики сионистского израильского руководства и ее последствия): Сб. ст. / [От. ред. Л. Е. Беренштейн]. Киев: Наук. думка, 1984.
- Вена 1972 — Вена: запоздалое прозрение // Советская Литва: [Газ.; Вильнюс]. 1972. 7 янв.
- Вергелис 1986 — *Вергелис А.* Два письма из города Вены // Вергелис А. Встречи в пути: Статьи. Выступления. Путевые очерки. Интервью. Письма. Хабаровск: Кн. изд-во, 1986. С. 68–79.
- Волков 1984 — *Волков Г.* Шестидесятилетие органов госбезопасности Молдавии // Сборник статей об агентурно-оперативной и следственной работе Комитета государственной безопасности. № 102. М.: [б. и.], 1984. С. 73–80.
- Гура и др. 1981 — *Гура В. К.* Обострение социально-экономического положения в Израиле — следствие политики сионистов // *Идеология и практика международного сионизма: Сб. науч. тр. / [Ред. кол.: Л. Е. Беренштейн (отв. ред.) и др.].* Киев: Наук. думка, 1981. С. 86–111.
- Евреи и еврейский народ 1962–1988 — *Евреи и еврейский народ: Ежеквартальный сб. из советской печати.* В 111 т. Иерусалим: Еврейский ун-т в Иерусалиме; Центр документации восточноевропейского еврейства, 1962–1988.

- Иванов 1970 — *Иванов Ю.* Осторожно: сионизм! М.: Изд-во полит. лит., 1970.
- Как живут 1973 — Как живут иммигранты в Израиле // Литературная газета: [Москва]. 1973. 25 апр.
- Каплан 1972 — Из письма Исаака Каплана: Еще раз о «земле обетованной»: история одного самоубийства // Литературная газета: [Москва]. 1972. 1 марта.
- Лазарис 1986 — В отказе: Сб. / Сост. В. Лазарис. Иерусалим: Б-ка-Алия, 1986.
- Маяцкий 1969 — *Маяцкий Ф. С.* Современный иудаизм и сионизм. Кишинев: Картя молдовеняскэ, 1969.
- Мельниченко 2014 — *Мельниченко М.* Советский анекдот (Указатель сюжетов). М.: Нов. лит. обозрение, 2014.
- Михайлов 1973 — *Михайлов В.* Поверив щедрым посулам // Советская Белоруссия: [Газ.; Минск]. 1973. 22 февр.
- Морозов 1998 — Еврейская эмиграция в свете новых документов / Под ред. Б. Морозова. Тель-Авив: Тель-Авивский ун-т, 1998.
- Осипов, Дадиани 1980 — *Осипов Г. В., Дадиани Л. Я.* Научная несостоятельность теоретико-методологических основ социальных и социологических концепций сионизма. М.: Наука, 1980.
- Полторак, Иммер 1986 — *Полторак К., Иммер В.* С активных позиций // Сборник статей об агентурно-оперативной и следственной работе Комитета государственной безопасности. № 110. М.: [б. и.], 1986. С. 31–36.
- Правда 1972 — Правда о «земле обетованной» (репортаж спецкоров ЛГ) // Литературная газета: [Газ.; Москва]. 1972. 12 янв.
- Резник 1972 — *Резник И.* Заблуждение // Советская культура. 1972. 22 янв.
- Солодарь 1975 — *Солодарь Ц. С.* Бывшие: Из документальных записей о судьбах бывших советских граждан в Израиле. М.: Правда, 1975.
- Трудный путь 1971 — Трудный путь домой // Комсомольская правда: [Газ.; Москва]. 1971. 22 мая.
- Финкельштейн 2004 — [Интервью Юлия Кошаровского с Эйтаном Финкельштейном]. 2004 // Юлий Кошаровский. URL: <http://kosharovsky.com/интервью/эйтан-финкельштейн>.
- Цена ошибки 1975 — Цена ошибки // Правда: [Газ.; Москва]. 1975. 31 дек.
- Шульмейстер 1984 — *Шульмейстер Ю.* Совесть и бесчестье: Pamфлеты, очерки, статьи. Львов: Каменяр, 1984.

Визуальные

- Абрамов 1976 — Любимое дитя / Рис. М. Абрамова // Правда [Газ.; Москва]. 1976. 28 июля.
- Агаев 1982 — Кормилец / Рис. Д. Агаева // Правда [Газ.; Москва]. 1982. 10 нояб.
- Андреев 1982 — Раскручивают... / Рис. А. Андреева // Красная звезда [Газ.; Москва]. 1982. 12. Июня.
- Баженов 1970 — Милые бранятся — только тешатся / Рис. А. Баженова // Правда [Газ.; Москва]. 1970. 26 янв.
- Баженов 1971a — Заправка в воздухе / Рис. А. Баженова // Правда [Газ.; Москва]. 1971. 17 мая.
- Баженов 1971b — Не бойтесь, дорогая, поплывем вместе / Рис. А. Баженова // Правда [Газ.; Москва]. 1971. 3 июля.
- Баженов 1972a — Вашингтонский кройщик / Рис. А. Баженова // Правда [Газ.; Москва]. 1972. 25 февр.

- Баженов 1972b — У любви, как у пташки, крылья / Рис. А. Баженова // Правда [Газ.; Москва]. 1972. 17 марта.
- Волков 1971 — Приветствие по-израильски / Рис. В. Волкова // Правда [Газ.; Москва]. 1971. 2 сент.
- Волков 1972 — Секретная примерка / Рис. В. Волкова // Советская Россия [Газ.; Москва]. 1972. 13 янв.
- Волков 1974 — Пригрели / Рис. В. Волкова // Красная звезда [Газ.; Москва]. 1974. 11 марта.
- Волков 1976 — Военная помощь Израилю / Рис. В. Волкова // Советская Россия [Газ.; Москва]. 1976. 19 апр.
- Гинуков, Горохов 1975 — Бездонная пасть хищника / Рис. В. Гинукова, Л. Горохова // Известия [Газ.; Москва]. 1975. 23 февр.
- Ефимов 1971 — Захваченные арабские земли / Рис. Б. Ефимова // Крокодил. 1971. № 6. С. 6.
- Ефимов 1973 — Солидарность с арабскими народами / Рис. Б. Ефимова // Известия [Газ.; Москва]. 1973. 8 апр.
- Ефимов 1975 — Одной веревочкой связаны / Рис. Б. Ефимова // Известия [Газ.; Москва]. 1975. 7 янв.
- Жаринов 1976 — Выкормыш / Рис. В. Жаринова // Крокодил. 1976. № 20. С. 12.
- Зенин 1971 — Сионистский тенетник / Рис. А. Зенина // Советская Молдавия [Газ.; Кишинев]. 1971. 27 авг.
- Кершин 1970 — Ведомый и ведущий / Рис. Ю. Кершина // Известия [Газ.; Москва]. 1970. 27 марта.
- Кершин 1972a — Очертя голову... / Рис. Ю. Кершина // Гудок [Газ.; Москва]. 1972. 18 марта.
- Кершин 1972b — Шабаш антикоммунистов / Рис. Ю. Кершина // Советская торговля [Газ.; Москва]. 1972. 20 янв.
- Кузнецов 1970 — Поддержка... агрессора / Рис. М. Кузнецова // Красная звезда [Газ.; Москва]. 1970. 1 дек.
- Кузнецов 1971 — Ожерелье дяди Сэма для тети Голды / Рис. М. Кузнецова // Сельская жизнь [Газ.; Москва]. 1971. 17 авг.
- Латынин 1971 — У сионистов (видим мы на деле)... / Рис. А. Латынина // Казахстанская правда [Газ.; Алма-Ата]. 1971. 4 июня.
- Латынин, Арыскин 1972 — ФАНТОМаску агрессору / Худ. А. Латынин, В. Арыскин // Казахстанская правда [Газ.; Алма-Ата]. 1972. 18 янв.
- Малахов 1970 — «Отец»-кормилец... / Рис. В. Малахова // Учительская газета [Газ.; Москва]. 1970. 21 марта.
- Продолжается флирт 1971 — Продолжается американо-израильский флирт // Учительская газета [Газ.; Москва]. 1971. 1 мая.
- Рыбалко 1986 — Только регулярные тренировки могут принести результат! / Рис. К. Рыбалко // Социалистическая индустрия [Газ.; Москва]. 1986. 10 янв.
- Стерлев 1971a — Выколачивают... / Рис. В. Стерлева // Комсомольское знамя [Газ.; Киев]. 1971. 8 апр.
- Стерлев 1971b — На Новый год / Рис. В. Стерлева // Комсомольское знамя [Газ.; Киев]. 1971. 25 июня.
- Стерлев 1971c — Накачка / Рис. В. Стерлева // Комсомольское знамя [Газ.; Киев]. 1971. 10 июня.
- Табачнюк 1973 — Подручный / Рис. М. Табачнюка // Правда Востока [Газ.; Ташкент]. 1973. 24 янв.

- Тернавский 1971 — Договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и ОАР / Рис. Вс. Тернавского // Бакинский рабочий [Газ.; Баку]. 1971. 26 июня.
- Тильман 1973 — Инъекция / Рис. В. Тильмана // Крокодил. 1973. № 4. С. 12.
- Трунов 1971 — Чтобы дитя не плакало / Рис. С. Трунова // Правда Украины [Газ.; Киев]. 1971. 27 апр.
- Фомичев 1970 — Из-под полы / Рис. В. Фомичева // Правда [Газ.; Москва]. 1970. 24 июня.
- Фомичев 1971 — С доставкой на дом... / Рис. В. Фомичева // Красная звезда [Газ.; Москва]. 1971. 17 апр.
- Фомичев 1975 — Одного корня / Рис. В. Фомичева // Известия [Газ.; Москва]. 1975. 1 янв.
- Циновский 1971 — Сапоги с хозяйской ноги / Рис. Д. Циновского // Литературная Россия [Газ.; Москва]. 1971. 2 апр.
- Циновский 1973 — Опасное сходство... / Рис. Д. Циновского // Литературная Россия [Газ.; Москва]. 1973. 29 июня.
- Чепрунов 1980 — Загребущие «руки» / Рис. Л. Чепрунова // Социалистическая индустрия [Газ.; Москва]. 1980. 5 сент.
- Черепанов 1976 — Птицы одного оперения / Рис. Ю. Черепанова // Правда [Газ.; Москва]. 1976. 14 апр.
- Черепанов 1984 — С милым и в шалаше рай / Рис. Ю. Черепанова // Правда [Газ.; Москва]. 1984. 9 марта.
- Чуркин 1972 — На словах и на справе / Рис. А. Чуркина // Звезда [Газ.; Минск]. 1972. 16 февр.

Сокращения

- ОГА СБУ — Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины (Украина, Киев).
- Archiv FSO — Archiv der Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen (Германия, Бремен).
- САНЖР — The Central Archives for the History of the Jewish People (Израиль, Иерусалим).

Литература

- Бейзер 2016 — *Бейзер М.* Еврейское национальное движение в СССР 1960–1980-х гг.: причины, истоки и сущность // История еврейского народа в России. От революций 1917 года до распада Советского Союза. Т. 3 / Под ред. М. Бейзера. М.: Мосты культуры, 2016. С. 321–356.
- Гительман 2008 — *Гительман Ц.* Беспокойный век: Евреи России и Советского Союза с 1881 г. до наших дней / [Авториз. пер. с англ. А. Б. Каменского]. М.: Нов. лит. обозрение, 2008.
- Зеленина 2017 — *Зеленина Г. С.* «Гевалт, это же простые базарные люди!»: советские евреи на пути от местечковости к интеллигентности // Семиотика поведения и литературные стратегии: Лотмановские чтения — XXII / Ред.-сост. М. С. Неклюдова, Е. П. Шумилова. М.: РГГУ, 2017. С. 322–356.
- Зеленина 2022 — *Зеленина Г. С.* Ехали не за колбасой — за достоинством»: понятие достоинства в позднесоветской полемике о еврейской эмиграции // Электронный научно-образовательный журнал «История». Т. 13. № 6 (116). 2022. <https://doi.org/10.18254/S207987840021759-3>.
- Костырченко 2019 — *Костырченко Г. В.* Тайная политика: от Брежнева до Горбачева. Ч. 1. М.: Междунар. отношения, 2019.

- Лебина 2008 — *Лебина Н.* Антимирь: принципы конструирования аномалий. 1950–1960-е годы // Советская социальная политика: сцены и действующие лица, 1940–1985 / Под ред. Е. Р. Ярской-Смирновой, П. В. Романова. М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2008. С. 255–265.
- Морозова 2011 — *Морозова М. А.* Анатомия отказа. М.: РГГУ, 2011.
- Фукуяма 2007 — *Фукуяма Ф.* Конец истории и последний человек / Пер. с англ. М. Б. Левина. М.: АСТ, 2007.
- Frankel 2012 — *Frankel E. R.* Behind the scenes: The attitude of the regime and society toward Jewish emigration // *The Jewish movement in the Soviet Union* / Ed. by Y. Ro'i. Washington, D. C.: Woodrow Wilson Center Press; Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press, 2012. P. 166–197.
- Fraser 2000 — *Fraser E. L.* Masculinity and the sexual politics of self and other in Soviet political cartoons, 1945–1955: MA Thesis / Univ. of British Columbia. Vancouver, 2000.
- Fraser 2019 — *Fraser E. L.* Military masculinity and postwar recovery in the Soviet Union. Toronto: Univ. of Toronto Press, 2019.
- Gjerde 2011 — *Gjerde A. B.* Reinterpreting Soviet “anti-Zionism”: An analysis of “anti-Zionist” texts published in the Soviet Union, 1967–1972: Master’s Thesis / Univ. of Oslo. Oslo, 2011.
- Paperno 2009 — *Paperno I.* Stories of the Soviet experience: Diaries, memoirs, dreams. Cornell Univ. Press, 2009.
- Pinkus 1988 — *Pinkus B.* The Jews of the Soviet Union: The history of a national minority. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1988.
- Scott 1985 — *Scott J. C.* Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance. New Haven: Yale Univ. Press, 1985.
- Scott 1990 — *Scott J. C.* Domination and the arts of resistance: Hidden transcripts. New Haven: Yale Univ. Press, 1990.

References

- Beizer, M. (2016). Evreiskoe natsional’noe dvizhenie v SSSR 1960–1980-kh gg.: prichiny, istoki i sushchnost’ [Jewish national movement in the USSR in the 1960–1980s: Causes, origins and the essence]. In M. Beizer (Ed.). *Istoriia evreiskogo naroda v Rossii. Ot revoliutsii 1917 goda do raspada Sovetskogo Soiuza* (Vol. 3, pp. 321–356). Mosty kul’tury. (In Russian).
- Frankel, E. R. (2012). Behind the scenes: The attitude of the regime and society toward Jewish emigration. In Y. Ro'i (Ed.). *The Jewish movement in the Soviet Union* (pp. 166–197). Woodrow Wilson Center Press; Johns Hopkins Univ. Press.
- Fraser, E. L. (2000). *Masculinity and the sexual politics of self and other in Soviet political cartoons, 1945–1955* (MA Thesis, Univ. of British Columbia).
- Fraser, E. L. (2019). *Military masculinity and postwar recovery in the Soviet Union*. Univ. of Toronto Press.
- Fukuyama, Fr. (2007). *The end of history and the last man*. The Free Press.
- Gitelman, Z. (2001). *A century of ambivalence: The Jews of Russia and the Soviet Union, 1881 to the present*. Indiana Univ. Press.
- Gjerde, A. B. (2011). *Reinterpreting Soviet “anti-Zionism”: An analysis of “anti-Zionist” texts published in the Soviet Union, 1967–1972* (Master’s Thesis, Univ. of Oslo).
- Kostyrchenko, G. V. (2019). *Tainaia politika: ot Brezhneva do Gorbacheva* [Secret politics from Brezhnev to Gorbachev] (Pt. 1). Mezhdunarodnye otnosheniia. (In Russian)
- Lebina, N. (2008). Antimiry: printsipy konstruirovaniia anomalii, 1950–1960-e gody [Anti-worlds: principles of constructing anomalies in the 1950–1960s]. In E. R. Iarskaia-Smirnova

- va, & P. V. Romanov (Eds.). *Sovetskaia sotsial'naia politika: stseny i deistvuiushchie litsa, 1940–1985* (pp. 255–265). OOO “Variant”: TsSPGI. (In Russian).
- Morozova, M. A. (2011). *Anatomiia otказа* [The anatomy of the refusal]. RGGU. (In Russian).
- Paperno, I. (2009). *Stories of the Soviet experience: Diaries, memoirs, dreams*. Cornell Univ. Press.
- Pinkus, B. (1988). *The Jews of the Soviet Union: The history of a national minority*. Cambridge Univ. Press.
- Scott, J. C. (1985). *Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance*. Yale Univ. Press.
- Scott, J. C. (1990). *Domination and the arts of resistance: Hidden transcripts*. Yale Univ. Press.
- Zelenina, G. S. (2017). “Gevalt, eto zhe prostye bazarnye liudi!”: sovetskie evrei na puti ot mestechkovosti k intelligentnosti [“Gevalt, they are simple market folks!” Soviet Jews on the way from shtetl to intelligentsia]. In M. S. Nekliudova, & E. P. Shumilova (Eds.). *Semiotika povedeniia i literaturnye strategii: Lotmanovskie chteniia — XXII* (pp. 322–356). RGGU. (In Russian).
- Zelenina, G. S. (2022). Ekhal ne za kolbasoi — za dostoinstvom’: poniatie dostoinstva v pozdnesovetskoi polemike o evreiskoi emigratsii [“They left not for sausage, but for dignity”: The concept of dignity in late Soviet polemics on Jewish emigration]. *Elektronnyi nauchno-obrazovatel’nyi zhurnal “Istoriia”*, 13(6, no. 116). <https://history.jes.su/s207987840021759-3-1>. <https://doi.org/10.18254/S207987840021759-3>. (In Russian).

* * *

Информация об авторе

Information about the author

Галина Светлояровна Зеленина

кандидат исторических наук
доцент, кафедра иудаики, Институт стран Азии и Африки, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Россия, 125009, Москва, ул. Моховая, д. 11, стр. 1
Тел.: +7 (495) 629-42-84
старший научный сотрудник, Лаборатория историко-культурных исследований, Школа актуальных гуманитарных исследований, Институт общественных наук, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Россия, 119571, Москва, пр-т Вернадского, д. 82
Тел.: +7 (499) 956-99-99
✉ galinazelenina@gmail.com

Galina S. Zelenina

Cand. Sci. (History)
Associate Professor, Department of Jewish Studies, Institute of Asian and African Studies, Lomonosov Moscow State University
Russia, 125009, Moscow, Mokhovaya Str., 11, Bld. 1
Tel.: +7 (495) 629-42-84
Senior Researcher, Center for Cultural Studies, School for Advanced Studies in the Humanities, Institute for Social Sciences, The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
Russia, 119571, Moscow, Prospekt Vernadskogo, 82
Tel.: +7 (499) 956-99-99
✉ galinazelenina@gmail.com

Е. А. Ключикова

ORCID: 0000-0003-0650-9126

✉ kliuikova25@gmail.com

Пермский государственный национальный
исследовательский университет (Россия, Пермь)

КОРЕЙСКОЕ *хан* И ДИАСПОРАЛЬНАЯ МЕЛАНХОЛИЯ

Аннотация. Статья посвящена понятию меланхолии, применяемому в психоаналитических, гендерных и постколониальных исследованиях, в контексте изучения диаспоры и ее литературы. Диаспоральная меланхолия связывается исследователями с травмирующими событиями исторического прошлого диаспоры и утратой исторической родины, мыслимой в качестве идеальной абстракции. В то же время в исследованиях литературы корейской диаспоры в США в качестве альтернативного «меланхолии» термина часто используется культурно и политически маркированное понятие *хан*, как правило обозначающее сочетание гнева, печали и отчаяния. Значение коллективного национального эмоционального состояния возникает у понятия *хан* не раньше колониального периода, однако именно это значение становится востребованным как в Южной Корее (в учениях некоторых христианских церквей и сфере искусства), так и у корейской диаспоры в США — в литературных текстах и научных работах. В этих работах *хан* воспринимается как врожденное чувство, определяющее этническую идентичность, и несет в себе неустранимый даже во втором поколении остаток памяти об исторической родине, препятствующий ассимиляции в американском обществе.

Ключевые слова: меланхолия, скорбь, *хан*, диаспоральные исследования, корейская диаспора, *минджун*, *пхансори*

Для цитирования: Ключикова Е. А. Корейское *хан* и диаспоральная меланхолия // Шаги/Steps. Т. 9. № 4. 2023. С. 315–328. <https://doi.org/10.22394/2412-9410-2023-9-4-315-328>.

Статья поступила в редакцию 15 мая 2023 г.

Принято к печати 30 июня 2023 г.

E. A. Kliuikova

ORCID: 0000-0003-0650-9126

✉ kliuikova25@gmail.com

Perm State University
(Russia, Perm)

KOREAN *HAN* AND DIASPORAL MELANCHOLIA

Abstract. The article is devoted to the Freudian term melancholia, which is widely used in psychoanalysis, gender studies and postcolonial studies, and is also applied to diaspora studies. Scholars link diasporic melancholia with the traumatic experience of diaspora history and loss of the homeland, which is thought of as an ideal abstraction. At the same time, in studies of Korean-Americans' literature, the word *han* is often used instead of the term 'melancholia', despite the fact that the scholars cite works by Freud and Judith Butler. *Han* is a Korean politically and culturally labeled term of emotion which denotes a combination of rage, sadness and despair. The meaning of *han* as a collective emotional state was not developed until the colonial period (1910–1945), however, this meaning became essential in South Korea, where it is used in the doctrine of some Christian churches (as so-called minjung theology) and in the realm of art. Among Korean-Americans *han* also became a popular concept in literary autobiographies and academic papers. In these works, *han* is interpreted as an inherent emotion which defines ethnic and cultural identity. Even for the second generation *han* carries inexpungible remains of memory of the lost homeland, and this interferes with assimilation into American society.

Keywords: melancholia, mourning, *han*, diaspora studies, Korean diaspora, *minjung*, *pansori*

To cite this article: Kliuikova, E. A. (2023). Korean *han* and diasporal melancholia. *Shagi / Steps*, 9(4), 315–328. (In Russian). <https://doi.org/10.22394/2412-9410-2023-9-4-315-328>.

Received May 15, 2023

Accepted June 30, 2023

Работа с литературой корейской диаспоры потребовала от меня поиска подходящего теоретического аппарата. Отчасти он был найден в области диаспоральных исследований. В то же время я обратилась к работам, посвященным англоязычной литературе корейской диаспоры в США. При сопоставлении исследований диаспоры в целом и корейской диаспоры в частности обнаружилось особенности текстов, связанные в первую очередь с языком описания диаспоры, а именно с использованием понятия «меланхолия» и корейского термина *хан*, который отчасти может быть назван его заместителем.

Понятие меланхолии в современных работах восходит к эссе Зигмунда Фрейда «Скорбь и меланхолия» (1917). Скорбь рассматривается Фрейдом как реакция на утрату объекта — человека или некой абстракции (родины, идеала и т. д.). Работа скорби состоит в постепенном высвобождении либидо от связи с этим объектом, в результате которой Я освобождается.

Меланхолия тоже может быть реакцией на утрату, но утрату более идеальную — когда потерян объект (и его потеря осознается), но в то же время остается неясным, что же именно было утрачено. Если при скорби мир опустошается при утрате объекта, то при меланхолии за счет фиксации на объекте оскудевает само Я, снижается чувство собственного достоинства, меланхолик начинает изводить себя упреками и самобичеванием. Фрейд связывает меланхолию с «с неосознанной утратой объекта, в отличие от скорби, при которой в утраченном нет ничего бессознательного» [Фрейд 1995: 253].

Для развития меланхолии чрезвычайно важным является амбивалентное отношение к объекту — любовь и ненависть. Именно из-за того что меланхолик не может отказаться от утраченного объекта, он делает его частью собственного эго. В то же время поскольку он и ненавидит утраченный объект, который уже стал частью его собственного Я, меланхолик начинает переносить ненависть на себя, что и запускает меланхолию.

Фрейд рассматривал скорбь как здоровое проявление психики, обладающее культурной продуктивностью, тогда как меланхолия имела для него исключительно патологическое измерение.

Понятие меланхолии оказалось приложимым к различным направлениям критических исследований. Так, Джудит Батлер разрабатывает теорию меланхолийного гендера, согласно которой момент определения гендера ведет к неосознанному отказу от прочих психологических и социальных потенциалов и, таким образом, к неизбежной меланхолии: «Но что происходит, когда определенное перекрывание любви становится условием возможности социального существования? Разве это не производит социальность, пораженную меланхолией, социальность, в которой утрата не может быть оплакана, поскольку не может быть признана утратой, поскольку то, что утрачено, никогда не имело полномочий на существование?» [Батлер 2002: 33].

Однако прежде чем перейти непосредственно к диаспоральному измерению меланхолии, обратимся к статье Славоя Жижека «Меланхолия и действие». Определяя меланхолию, Жижек пишет о том, что она первична по отношению к скорби. Работа скорби по освобождению Я воспринимается им как предательство объекта: «Скорбь — это своего рода предательство, второе убийство (утраченного) объекта, тогда как меланхолия остается верной утраченному объекту, отказываясь отречься от его или ее привязанности к нему»

[Žižek 2000: 658]. Жижек предлагает не путать нехватку и потерю («...меланхолия истолковывает нехватку как потерю, как если бы недостающим объектом некогда обладали, а затем потеряли» [Ibid.: 659–660]). Меланхолия, таким образом, указывает не столько на привязанность к объекту, сколько на «привязанность к самому жесту его утраты» [Ibid.: 660].

В то же время Жижек обращается к использованию меланхолии этническими группами, которые, находясь под угрозой поглощения глобальным капитализмом, должны не отречься от своего происхождения и прошлого через работу скорби, а сохранять меланхолическую привязанность к утраченным корням. Жижек указывает на цинизм, с которым постколониальные исследования эксплуатируют понятие меланхолии. В постколониальной ностальгии оказывается важным не то, что это «утопическая мечта о мире, которого они (диаспоры. — *Е. К.*) никогда не имели, а то, как эта мечта используется для легитимации обратного — полного и беспрепятственного участия в глобальном капитализме» [Žižek 2000: 659].

Дальнейшие исследования меланхолии постколониальных сообществ хоть и цитируют это высказывание Жижека, но продолжают пользоваться термином «меланхолия», отрицая заявленное цинично-утилитарное применение. Так, литературовед Ранджана Ханна отмечает, что меланхолия в принципе «присуща области постколониальных исследований и всегда была ее движущей силой» [Khanna 2006]. Если для Калпаны Сешадри-Крукс, от мнения которой Ханна отталкивается, это связано с институционализацией постколониальных исследований, приобретением ими статуса в академической среде, что диссонировало с отключенным от привилегий объектом их исследований [Seshadri-Crooks 2000: 19], то для Ханны признаком меланхолийности этой сферы исследований является неустранимая возможность для критики всей области, в том числе и от самих исследователей постколониальности: «В самом деле, крайне затруднительно найти кого-то, кто поддерживал бы термин “постколониальный”, или кто не был бы критичен по отношению к некоторым заявлениям в этой области, или осторожен к кажущейся новизне того, что она объявляет» [Khanna 2006].

Меланхолия, будучи, с одной стороны, неотторжимой частью постколониальных исследований, а с другой — критическим инструментом, с помощью которого можно вскрывать «ложь, присущую современным представлениям о суверенитете», воспринимается как надежда на будущее развитие области [Khanna 2006].

Диаспоральные исследования, близкие постколониальным, также активно подключают термин «меланхолия» к анализу диаспоральной идентичности. Часть подобных работ строится на анализе художественных текстов авторов, принадлежащих диаспоре. Так, Виджай Мишра, исследуя литературу индийской диаспоры, пишет о том, что если внимательно изучить характеристики меланхолии у Фрейда, то можно поразиться, насколько соответствует меланхолия памяти диаспоры о родине. Он предполагает, что «диаспоральное воображаемое — это состояние (и воображаемое здесь — ключевой термин) невозможной скорби, которая трансформирует скорбь в меланхолию» [Mishra 2007: 9]. Мишра также отмечает, что «те стадии, которые определяют меланхолию (сначала утрата объекта, затем амбивалентные отношения с утратой и, нако-

нец, регрессия либидо внутрь эго) также параллельны стадиям жизни диаспорального субъекта» [Mishra 2007: 10]. Соответственно, меланхолия диаспоральных субъектов развивается в связи с представлениями об исторической родине, всегда не соответствующими реальности. Жижек указывает на то, что ряд предметов в сознании меланхолика структурирован вокруг пустоты. Если эта пустота обнаруживает себя, то реальность для меланхолика распадается и, чтобы сохранить ее, необходимо поставить в центр этой пустоты один из элементов реальности, «лакановский *objet petit a*» [Žižek 2000: 663]. В диаспоральных исследованиях в качестве этого объекта предлагается воспринимать представление/миф об исторической родине. Диаспоральная меланхолия, таким образом, оказывается связана с моментом травмы и историческими реалиями, ее порождающими.

В диаспоральном контексте упомянутая ранее амбивалентность объекта (утраченной родины) связана с состоянием изгнания/отчужденности от родины и в то же время с желанием вернуться. Важно, однако, что желаемая родина в воображении диаспорального субъекта никогда не соответствует родине в реальности. Виджай Мишра также отмечает, что «диаспора конструирует родину способами, крайне далекими от тех, которыми жители этой родины конструируют себя» [Mishra 2007: 18].

Представление о родине диаспоры, пишет далее Мишра, одновременно важно не только для самой диаспоры, но и для «принимающего» сообщества, так как оно определяет и сохраняет представление о чужеродности диаспоры.

Диаспоральную меланхолию напрямую связывают с расовой проблематикой. Так, Джудит Батлер еще в интервью 1999 г. предлагает исследовать меланхолийную проблематику расовой истории: «...помимо того, что история расы связана с историей диаспоральных смещений, мне кажется, что там есть меланхолия, что там как будто есть вписанный в “расу” потерянный и неоплакиваемый источник, своего рода невозможность возвращения, но также и невозможность сущности (*essence*)» [Bell 1999: 169–170].

Американские социологи Дэвид Л. Энг и Синхи Хан обращаются к понятию расовой меланхолии (*racial melancholia*) для интерпретации социального положения американцев азиатского происхождения, относящихся к поколению X, с которого как раз начинается наиболее массовый процесс образовательной эмиграции; кроме того, именно к этому поколению относится второе поколение корейских эмигрантов, уехавших в США после Корейской войны.

Как и авторы, анализирующие другие диаспоры, Энг и Синхи Хан ставят целью депатологизировать меланхолию, рассмотреть ее не как индивидуальный процесс, а как «коллективную социальную операцию» [Eng, Han 2019: 37]. В то же время они отмечают, что, хоть меланхолия непатологична для американцев азиатского происхождения, которые ее переживают, само наличие азиатских расовых субъектов воспринимается как патология для американского общества, независимо от того, изображаются они как «зловещая желтая угроза или как вызывающее восхищение образцовое меньшинство» [Ibid.]. Отчасти именно сомнения «белого» общества в возможности принятия американцев азиатского происхождения как равноправной части «плавильного котла» порождают меланхолию у последних. Авторы переносят патологию с отчужденного субъекта на привилегированное принимающее общество.

Таким образом, «меланхолия» как рабочий термин пересекающихся сфер постколониальных, диаспоральных и расовых исследований депатологизируется и диверсифицируется. Меланхолийным воображаемым начинает обладать и условное большинство, которое, в свою очередь, воспринимается как более патологичное, чем меньшинства.

Корейское *хан*: происхождение и использование

Перейдем непосредственно к корейскому контексту. Дело в том, что в литературоведческих исследованиях, а также в культурологических или социологических работах, которые в качестве материала используют литературные произведения, написанные представителями корейской диаспоры, очень редко используется термин «меланхолия». Если этим понятием оперируют исследователи литературы индийской, арабской или еврейской диаспоры, то корейские авторы (неважно, из США или Кореи) зачастую используют понятие *хан*.

Слово *хан* (恨) имеет китайское происхождение и обладает несколькими значениями, в совокупности которых, по-видимому, и сложился культурный концепт.

Первое значение слова *хан* связано с индивидуальными печалью и скорбью. В этом значении термин *хан* использовался в корейской литературе и до XX в. Так, А. Ф. Троцевич упоминает «внутреннее ощущение» *хан* при обзоре поэтического творчества «Трех уединившихся» (XIV в.) — ощущение «“страдания”, “тоски”, “чувства абсолютного бессилия”, которое, как замечают корейские исследователи, и сегодня так свойственно творчеству корейских писателей» [Троцевич 2004: 89]. Это состояние отчасти вызвано и политическими событиями, что впоследствии станет особенно важно. В этом значении *хан* используется как термин, означающий эмоциональную выразительность в народном корейском музыкальном искусстве *пхансори*, которое окончательно сложилось, по-видимому, в XIX в.; «...*хан* кажется одним из важнейших выразительных элементов при исполнении напряженных и драматических фрагментов *пхансори*» [Mesorio et al. 2021: 9].

Второй контекст употребления этого слова этнографический и связан с корейским шаманизмом. Обряд общения с духом (乩, *кун*) включает часть, которая называется *ханпхури*. Элемент *пхури* в данном контексте означает ‘решать, разрешать, развязывать’, т. е. *ханпхури* буквально означает «разрешить *хан*»: это ритуал освобождения духа от его скорбей и страданий. *Хан* в этом случае записывается тем же иероглифом 恨. Следует отметить, что большинство публикаций, в которых описывается *ханпхури*, посвящены уже поздним историческим коллективным переживаниям корейцев и их разрешению в контексте теологии *минчжун*, которая сформировалась в Республике Корея в период президентства Пак Чонхи.

Значение коллективной эмоции, коллективной специфически корейской скорби и чувства утраты появилось, по-видимому, незадолго до колониального периода, когда возникла острая потребность в обособлении своей культуры, себя от японского влияния. Корейский историк и культуролог Пак Мёнкю также указывает на то, что в конце XIX и первой трети XX в. эмоциональный код, основанный на неоконфуцианской морали, стремительно ослабевал, тог-

да как *хан*, «специфическое корейское психологическое свойство, сложенное из чувств сожаления, скорби и фрустрации, стало высоко социализировано» [Park 2015: 269].

Британский культуролог корейского происхождения Майкл Шин прямо помещает превращение *хан* в коллективную эмоцию в колониальный период. Он обращается к роману одного из первых корейских новых прозаиков Ли Гвансу «Бессердечный» (무정, 1917), где обнаруживает трансформацию *хан*: «Хан первоначально был чем-то, что Ёнчэ (героиня романа. — Е. К.) переживала в одиночку, но затем реакции персонажей предполагают, что они разделили и интернализировали его — параллельно с опытом читателей романа. Как только *хан* Ёнчэ распространяется среди персонажей, он проявляет себя и вовне» [Shin 2018: para. 3]. Одним из катализаторов проявления и популяризации *хан* в колониальный период Шин считает смерть последнего императора Корейской империи Сунджона. Похороны Сунджона 10 июня 1926 г. вылились в так называемое антиколониальное движение 10 июня; они «продемонстрировали, как *хан* функционировало в качестве способа идентификации с нацией. Ассоциация с *хан* предполагает, что народ воспринял его смерть как травматическое напоминание об утрате страны, некоторые описания даже изображали это как признак конца Чосонской цивилизации» [Ibid.: para. 7].

В то же время Сандра Ким, опираясь на работы, посвященные японской литературе 1910–1930-х годов, возводит появление идеи *хан* как корейской национальной черты к возникшим в японской печати колониального периода представлениям о том, что корейское искусство выражает «красоту скорби» (beauty of sorrow, *hiai no bi*) [Kim 2017: 260]. Это представление, с одной стороны, распространялось в японской печати, что позволяло, несмотря на политику «единых корней», несколько экзотизировать корейцев, а с другой стороны, оно было воспринято корейскими активистами движения за независимость, поскольку давало возможность отделить себя от навязывавшейся японской идентичности.

Особую популярность понятие *хан* как обозначение коллективного явления получает после Корейской войны и преимущественно, если не исключительно, к югу от 38-й параллели. Например, оно используется в проповеднической практике в некоторых корейских протестантских церквях. Например, в 1970-е годы в период президентства Пак Чонхи развивается так называемая теология *минджун* («богословие угнетенных»). Понятие *минджун* (민중) в данном контексте означает как корейский народ в целом, на протяжении всей своей истории угнетаемый зарубежными странами и собственными правителями и начальниками, так и отдельные угнетенные социальные группы [Lee 1996; Park 2019]. По словам теолога Пола С. Чуна, «...теология минчжун устанавливает свою цель, прислушиваясь к протесту (корейский термин для этого — *хан*, обозначающий совокупное и корпоративное чувство жертвы) тех, кто отчужден, угнетен, подавлен и маргинализирован в обществе» [Chung 2009: 188]. Для этой национальной корейской церкви *хан* приобретает значение сочетания скорби и гнева, который владеет угнетенными *минджун* и который проповедник должен разрешить. Американо-корейский богослов Саниль Пак сравнивает проповедников с шаманами, проводящими обряд *ханпхури*. По его мнению, *ханпхури* (разрешение *хан*) необходимо всем корейцам, а

потому «шаман должен быть священником для всего народа» [Park 2008: 25]. Разрешение *хан* в обряде происходит при помощи нарратива, который является частью *кута*, и именно на этот элемент Саниль Пак рекомендует обратить внимание проповедникам — приверженцам теологии *минджун*: «рассказывая истории одновременно о своем *хан* и о *хан* слушающих, шаман, священник приводит людей к излечению от их *хан*» [Ibid.: 26].

Хан в понимании теологов *минджун* является ответом на угнетение. Когда угнетение становится невыносимым и не устраняется, *хан* становится сильнее и вызывает атаки гнева у угнетенного. Подобное понимание *хан* характерно для южнокорейской традиции. Крайней степенью *хан* считается болезнь *хвабён* («огненная болезнь, гневная болезнь») — психическое расстройство, которое рассматривается как специфически корейское, вызываемое долгим нахождением в стрессовой ситуации, результат длительной подверженности социальной агрессии, с которым преимущественно женщины среднего возраста даже в эмиграции обращались к американским психиатрам [Chung Pang 1990; Min 2009].

Хан или меланхолия?

Несколько иная трактовка *хан* обнаруживается в диаспоральном контексте — *хан* воспринимается как часть корейской идентичности, которая не дает раствориться в иноэтничном окружении.

Единичные случаи эмиграции корейцев в США известны и в первой половине XX в. Так, первым корейским автором-эмигрантом, писавшем на английском языке, считается Кан Ёнхиль. Наиболее известны два его романа: «Травяная крыша» (Grass Roof, 1931) и «Восток идет на Запад» (East Goes West, 1937). Массово корейская диаспора в Америке начала формироваться после Корейской войны. Значительную часть эмигрантов 1950 — начала 1960-х годов составляли женщины, вышедшие замуж за американских военных, вслед за которыми переехали члены их семей. Грейс Чо отмечает, что невесты военных и их родственники составляли около половины этнических корейцев в Соединенных Штатах» [Cho 2008: 23]. В 1960-е годы в США переезжали уже и молодые люди с целью получить образование, затем и готовые специалисты, получившие образование в Корее.

Обращение к *хан* обнаруживается в литературе американских корейцев второй половины 1990-х — 2000-х годов. В этот период появляются автобиографические романы, мемуары, эссе авторов второго поколения переселенцев (Хайнс Инсу Фенкль, Нора Окча Келлер, Джейн Чон Тренка и др.), рефлексирующих о своем эмигрантском опыте, отчуждении от американского общества и от корейской исторической родины одновременно, о сложностях коммуникации с родственниками (преимущественно с матерями), а также о травматичной транспоколенческой памяти о Корейской войне.

Так, в романе Хайнса Инсу Фенкля «Воспоминания о моем призрачном брате» (Memories of My Ghost Brother, 1997) *хан* упоминается в контексте исполнения одной из женщин *пхансори*. Пение, в котором воплощается *хан*, приводит на окружающих ошеломляющее воздействие, однако в то же время

это событие не является чем-то исключительным, это часть обычного выходного дня:

Внезапно мать Чонхи начала петь одна резким голосом, который шел из *хан* в глубине ее сердца. Пока она пела, слезы катились по ее лицу, ее голос дрожал, но она продолжала петь, пока песня не закончилась. Все женщины плакали, особенно Каннан. Мужчины смотрели вниз на деревянный пол, пряча влажность своих глаз, пока дождь и деревья шумели на улице. Все сидели тихо, пока плач не прекратился, и после все сказали матери Чонхи, какая она замечательная певица [Fenkl 1997: 22].

В автобиографическом романе Джейн Чон Тренка «Язык крови» (*The Language of Blood*, 2003) *хан* упоминается уже в современном значении врожденной корейской эмоции. Автор была усыновлена американцами, которые жили в провинциальном городе в Миннесоте, других корейцев в этом городе не было, и она все время ощущала тревогу и отчужденность, пока, наконец, в финале романа не поняла, что все это время в оторванности от исторической родины и семьи в ней «прорастало» *хан*:

Что должны были знать мои родители о неизбежном голосе памяти поколений, о расовой памяти, о ландшафте — если они никогда не были отделены от своего народа? Что они должны были знать о девочке, чье присутствие требовало от них больше, чем они когда-либо были готовы или способны дать? Они не знали этой эмоции или этого слова — *хан*, — но тем не менее оно поднималось с другой части Земли, через подошвы ее ступней, через ее ноги и тело как колонны здания и выкристаллизовывалось в тоске, которая застревала в горле, для которого новая и беспмятная жизнь становилась удавкой [Trenka 2003: 208].

На границе художественного текста и социологического исследования находится книга Грейс Чо «Преследуя корейскую диаспору: стыд, тайна и забытая война» (*Haunting the Korean Diaspora: Shame, Secrecy, and the Forgotten War*, 2008). В этой работе содержатся художественные фрагменты автобиографического характера, что позволяет тоже учитывать ее как своего рода эго-документ. Автор обращается к истории *янгонджу* — женщин, которые работали при американских военных базах, и рассматривает их как наследниц «женщин для утешения», которые оказались забыты в послевоенной корейской истории. Как правило, именно *янгонджу* (или *GI brides*) становились женами американских военных и переезжали с ними в США. Эти женщины оказываются носителями *хан*, которое будет перевезено ими в новую американскую жизнь:

Призрачные остатки *хан* янгонджу — это излишества, которые нельзя ассимилировать ни в доминирующий нарратив, такой как история азиатской ассимиляции или почетной белизны, ни в контрнарратив о трудностях корейских военных невест в Америке [Cho 2008: 161].

Обратим внимание на очевидные пересечения в описании *хан* с определением меланхолии. *Хан* воспринимается как неуловимая, но органическая часть корейского диаспорального субъекта в Америке, которая препятствует полной ассимиляции в принимающее общество. Грейс Чо ссылается в своей работе на труды и Фрейда, и Батлера, однако не использует понятие меланхолии, ситуативно выбирая для выражения подобного явления корейское обозначение.

Перечисляя случаи употребления слова *хан* в произведениях американских корейских авторов, Сандра Ким пишет, что *хан* появляется «как выражение одновременно опыта вечной чужеродности и психического влияния корейской истории на личные судьбы» [Kim 2017: 269]. Кроме того, она отмечает, что *хан* представляется корейским и американским авторам (таким, как К. Конни Кан, Ан Бёнсон, Дэвид Бэннон) непереводаемым словом и непостижимой для иностранца исключительно корейской эмоцией. Тем не менее о *хан* зачастую пишут именно англоязычные корейские авторы.

Впервые *хан* поместил в психоаналитический контекст американский антрополог Рой Ричард Гринкер. Отталкиваясь от определения Фрейдом скорби, Гринкер определяет *хан* как «неспособность скорбеть» в том случае, если мы воспринимаем скорбь как примирение с нескончаемым потоком текущих травматических событий [Grinker 1998: 78]. Гринкер не упоминает меланхолию, но за него это позднее делает Майкл Шин, говоря о том, что «разница между скорбью и *хан* подобна разнице, которую Зигмунд Фрейд анализировал между скорбью и меланхолией» [Shin 2018: para. 7]. Однако исследователи корейской диаспоры используют именно *хан* в качестве термина для описания проблем диаспоральной идентичности и исторической памяти диаспоры.

Так, Соён Чу использует термин «*хан* постпамяти» (*postmemory han*) для описания переживания писателями второго поколения эмигрантов трагедии Корейской войны, через которую прошли их родители:

...если *хан* проблематично, то *хан* постпамяти, *хан*, которое течет в крови американцев корейского происхождения, бесконечно более проблематично. Американку корейского происхождения, принадлежащую второму поколению эмигрантов, могут преследовать страдания ее родителей, но ее будет преследовать и знание, что она сама не была прямой жертвой событий, которые к этому привели [Chu 2008: 98].

Таким образом, *хан*, о котором говорит Соён Чу, описывает ситуацию острых переживаний по поводу отсутствующего опыта, которым субъект никогда не обладал, что очень близко подходит к приводимым нами ранее определениям меланхолии.

Кроме этого, Соён Чу сравнивает опыт европейских эмигрантов, среди которых память о травмах первого поколения эмигрантов второму поколению уже не передается, несмотря на все старания, с корейскими эмигрантами, и это сравнение оказывается не в пользу легко забывающих прошлое европейцев:

Неважно, насколько старательно родители пытаются передать память о родине своим детям, живая текстура этих воспоминаний остается недоступной второму поколению [Chu 2008: 101].

У корейцев же транспоколенческая память преследует и второе поколение эмигрантов: «...корейские эмигранты стараются избежать обсуждения опыта своего выживания, и, тем не менее, их опыт все равно преследует второе поколение» [Chu 2008: 101–102]. Соён Чу воспринимает *хан* как примордиальную корейскую черту, которая определяет устойчивость транспоколенческой памяти «вне зависимости от того, дает ли на него согласие родитель (или ребенок)» [Ibid.: 102].

Наконец, свой вариант встраивания *хан* в терминологическую базу (в определенном смысле логически завершающий) предложила Дженнифер Чо, используя окказиональный термин «ме-хан-холия» (*mel-han-cholia*). Автор обращается к анализу экспериментального романа американки корейского происхождения Терезы Ча Хаккён «Диктант» (*Dictée*, 1982). Роман представляет собой сложную конструкцию, включающую стихотворные, прозаические, графические и документальные фрагменты, посвященные историческим фигурам (таким, как Жанна д'Арк, героиня Первомартовского восстания Ю Гвансун), собственной матери, вымышленным персонажам. Дженнифер Чо воспринимает роман традиционно в контексте пересборки идентичности автора и обнаруживает в этом процессе неисчезающий остаток — *хан*:

...невозможность когда-либо полностью эвакуировать корейское диаспорное сознание *хан* говорит о его способности изменять форму. Неразрешимое по своей природе, *хан* может постоянно переделывать и переопределять себя, чтобы избежать надвигающегося момента окончательного разрешения и перевода в символический регистр нации, который работает на исцеление и стирание культурных различий [Cho 2011: 39].

Сопротивление, которое *хан* оказывает при ассимиляции в новом обществе, с одной стороны, порождает меланхолию, а с другой — дает творческий импульс и позволяет сохранить память об исторической родине.

Хан в исследованиях американской корейской диаспоры активно включается в академические нарративы, где в ряде работ приобретает статус термина. Этот факт, на мой взгляд, несколько парадоксален из-за очевидного колониального происхождения значения *хан* как коллективной эмоции. В то же время этот термин, постулируемый как непереводаемый и незаменимый, позволяет авторам академической и художественной литературы о корейской диаспоре выделить ее среди других и указать на ее уникальный опыт. Тем не менее *хан* по своему значению оказывается идентично диаспоральной меланхолии, как ее понимают исследователи постколониального дискурса, — это тот самый неассимилируемый остаток, обеспечивающий верность утраченному объекту.

Источники

Fenkl 1997 — Fenkl H. I. *Memories of my ghost brother*. New York: Plume, 1997.

Trenka 2003 — Trenka J. J. *The language of blood: A memoir*. St. Paul, Minnesota: Borealis Books, 2003.

Литература

- Батлер 2002 — *Батлер Дж.* Психика власти: теории субъекции / Пер. З. Баблюяна. Харьков: ХЦГИ; СПб.: Алетейя, 2002.
- Троцевич 2004 — *Троцевич А. Ф.* История корейской традиционной литературы (до XX в.). СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2004.
- Фрейд 1995 — *Фрейд З.* Скорбь и меланхолия // Фрейд З. Художник и фантазирование: Сб. / Пер. с нем. Р. Ф. Додельцева и др. М.: Республика, 1995. С. 252–259.
- Bell 1999 — *Bell V.* On speech, race and melancholia: An interview with Judith Butler // *Theory, Culture & Society*. Vol. 16. No. 2. 1999. P. 163–174. <https://doi.org/10.1177/02632769922050593>.
- Cho 2008 — *Cho G. M.* Haunting the Korean diaspora: Shame, secrecy, and the forgotten war. Minneapolis; London: Univ. of Minnesota Press, 2008.
- Cho 2011 — *Cho J.* Mel-han-choia as political practice in Theresa Hak Kyung Cha's *Dictée* // *Meridians*. Vol. 11. No. 1. 2011. P. 36–61. <https://doi.org/10.2979/meridians.11.1.36>.
- Chu 2008 — *Chu S.-Y.* Science fiction and postmemory han in contemporary Korean American literature // *MELUS*. Vol. 33. No. 4. 2008. P. 97–121. <https://doi.org/10.17613/1qnm-a892>.
- Chung 2009 — *Chung P. S.* Constructing irregular theology: Bamboo and Minjung in East Asian perspective. Leiden; Boston: Brill, 2009.
- Chung Pang 1990 — *Chung Pang K. Y.* Hwabyung: The construction of a Korean popular illness among Korean elderly immigrant women in the United States // *Culture, Medicine and Psychiatry*. Vol. 14. No. 4. 1990. P. 495–512. <https://doi.org/10.1007/BF00050823>.
- Eng, Han 2019 — *Eng D. L., Han Sh.* Racial melancholia, racial dissociation: On the social and psychic lives of Asian Americans. Durham: Duke Univ. Press, 2019.
- Grinker 1998 — *Grinker R. R.* Korea and its futures: Unification and the unfinished war. New York: St. Martin's Press, 1998.
- Khanna 2006 — *Khanna R.* Post-palliative: Coloniality's affective dissonance // *Postcolonial Text*. Vol. 2. No. 1. 2006. URL: https://www.postcolonial.org/pct/article/viewArticle/385/815#_ednref2.
- Kim 2017 — *Kim S. S. H. Ch.* Korean *han* and the postcolonial afterlives of “The Beauty of Sorrow” // *Korean Studies*. Vol. 41. 2017. P. 253–279. <https://doi.org/10.1353/ks.2017.0026>.
- Lee 1996 — *Lee S. T.* Religion and social formation in Korea: Minjung and millenarianism. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 1996.
- Mecorio et al. 2021 — *Mecorio F., Santangelo F., Jang, S., Kweon T., Gucciardo A. G.* Pansori today: aesthetic demands vs. vocal health // *Revista de Investigación e Innovación en Ciencias de la Salud*. Vol. 3. No. 2. 2021. P. 3–23. <https://doi.org/10.46634/riics.57>.
- Min 2009 — *Min S. K.* Hwabyung in Korea: Culture and dynamic analysis // *World Cultural Psychiatry Research Review*. Vol. 4. No. 1. 2009. P. 12–21.
- Mishra 2007 — *Mishra V.* The literature of the Indian diaspora: Theorizing the diasporic imaginary. London; New York: Routledge, 2007.
- Park 2015 — *Park M.* From shame to sympathy: Civilization and emotion in Korea, 1860–1920 // *Civilizing emotions: Concepts in nineteenth-century Asia and Europe* / Ed. by M. Pernau et al. Oxford: Oxford Univ. Press, 2015. P. 269–287.
- Park 2008 — *Park S.* Korean preaching, Han, and narrative. New York: Peter Lang, 2008.
- Park 2019 — Revisiting minjung: New perspectives on the cultural history of 1980s South Korea / Ed. by S. Park. Ann Arbor: Univ. of Michigan Press, 2019.
- Seshadri-Crooks 2000 — *Seshadri-Crooks K.* At the margins of postcolonial studies: Part 1 // *The pre-occupation of postcolonial studies* / Ed. by F. Afzal-Khan, K. Seshadri-Crooks. Durham: Duke Univ. Press, 2000. P. 3–23.

Shin 2018 — *Shin M.* Korean national identity under Japanese colonial rule: Yi Gwang-su and the march first movement of 1919. London: Routledge, 2018. <https://doi.org/10.4324/9781315544717>.

Žižek 2000 — *Žižek S.* Melancholy and the act // *Critical Inquiry*. Vol. 26. No. 4. 2000. P. 657–681. <https://doi.org/10.1086/448987>.

References

- Bell, V. (1999). On speech, race and melancholia: An interview with Judith Butler. *Theory, Culture & Society*, 16(2), 163–174. <https://doi.org/10.1177/02632769922050593>.
- Butler, J. (1997). *The psychic life of power: Theories in subjection*. Stanford Univ. Press.
- Cho, G. M. (2008). *Haunting the Korean diaspora: Shame, secrecy, and the forgotten war*. Univ. of Minnesota Press.
- Cho, J. (2011). Mel-han-cholia as political practice in Theresa Hak Kyung Cha's *Dictée*. *Meridians*, 11(1), 36–61. <https://doi.org/10.2979/meridians.11.1.36>.
- Chu, S.-Y. (2008). Science fiction and postmemory han in contemporary Korean American literature. *MELUS*, 33(4), 97–121. <https://doi.org/10.17613/1qnm-a892>.
- Chung, P. S. (2009). *Constructing irregular theology: Bamboo and Minjung in East Asian perspective*. Brill.
- Chung Pang, K. Y. (1990). Hwabyung: The construction of a Korean popular illness among Korean elderly immigrant women in the United States. *Culture, Medicine and Psychiatry*, 14(4), 495–512. <https://doi.org/10.1007/BF00050823>.
- Eng, D. L., & Han, Sh. (2019). *Racial melancholia, racial dissociation: On the social and psychic lives of Asian Americans*. Duke Univ. Press.
- Freud, S. (1969). Trauer und Melancholie. In S. Freud. *Gesammelte Werke* (Vol. 10, pp. 428–446). Fischer-Verlag. (In German).
- Grinker, R. R. (1998). *Korea and its futures: Unification and the unfinished war*. St. Martin's Press.
- Khanna, R. (2006). Post-palliative: Coloniality's affective dissonance. *Postcolonial Text*, 2(1). https://www.postcolonial.org/pct/article/viewArticle/385/815#_ednref2.
- Kim, S. S. H. Ch. (2017). Korean *han* and the postcolonial afterlives of “The Beauty of Sorrow”. *Korean Studies*, 41, 253–279. <https://doi.org/10.1353/ks.2017.0026>.
- Lee, S. T. (1996). *Religion and social formation in Korea: Minjung and millenarianism*. Mouton de Gruyter.
- Mecorio, F., Santangelo, F., Jang, S., Kweon, T., & Gucciardo, A. G. (2021). *Pansori* today: aesthetic demands vs. vocal health. *Revista de Investigación e Innovación en Ciencias de la Salud*, 3(2), 3–23. <https://doi.org/10.46634/riics.57>.
- Min, S. K. (2009). *Hwabyung* in Korea: Culture and dynamic analysis. *World Cultural Psychiatry Research Review*, 4(1), 12–21.
- Mishra, V. (2007). *The literature of the Indian diaspora: Theorizing the diasporic imaginary*. Routledge.
- Park, M. (2015). From shame to sympathy: Civilization and emotion in Korea, 1860–1920. In M. Pernau et al (Eds.). *Civilizing emotions: Concepts in nineteenth-century Asia and Europe* (pp. 269–287). Oxford Univ. Press.
- Park, S. (2008). *Korean preaching, Han, and narrative*. Peter Lang.
- Park, S. (Ed.) (2019). *Revisiting minjung: New perspectives on the cultural history of 1980s South Korea*. Univ. of Michigan Press.

- Seshadri-Crooks, K. (2000). At the margins of postcolonial studies: Part 1. In F. Afzal-Khan, & K. Seshadri-Crooks (Eds.). *The pre-occupation of postcolonial studies* (pp. 3–23). Duke Univ. Press.
- Shin, M. (2018). *Korean national identity under Japanese colonial rule: Yi Gwangsu and the march first movement of 1919*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315544717>.
- Trotseвич, A. F. (2004). *Istoriia koreiskoi traditsionnoi literatury (do XX veka)* [History of Korean traditional literature (pre-20th century)]. Izdatel'stvo Sankt-Peterburgskogo universiteta. (In Russian).
- Žižek, S. (2000). Melancholy and the act. *Critical Inquiry*, 26(4), 657–681. <https://doi.org/10.1086/448987>.

Информация об авторе

Екатерина Александровна Ключикова

кандидат филологических наук
доцент, кафедра русской литературы,
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
Россия, 614068, Пермь, ул. Букирева, д. 15
Тел.: + 7 (342) 2396-374
✉ kliuikova25@gmail.com

Information about the author

Ekaterina A. Kliuikova

Cand. Sci. (Philology)
Associate Professor, Department for Russian
Literature, Perm State University
Russia, 614068, Perm, Bukireva Str., 15
Tel.: + 7 (342) 2396-374
✉ kliuikova25@gmail.com

В. А. Коршунков

ORCID: 0000-0001-6150-8308

✉ vla_kor@mail.ru

Вятский государственный университет
(Россия, Киров)

ВЛАДИМИР КОРОЛЕНКО И ПРАВОСЛАВНАЯ ТРАДИЦИЯ

Аннотация. Летом 1879 г. В. Г. Короленко проезжал по территории Русского Севера на восток, в Вятскую губернию, в ссылку. Он тогда записал в своем дневнике, как на границе Костромской и Вятской губерний (в д. Дюково нынешней Костромской области) народ бурно отмечал некий праздник. По мнению Короленко, это было Всесвятское воскресенье и заговенье перед Филипповым (Рождественским) постом. Однако расчет времени показывает, что на самом деле тогда наступал Петров пост, а не Филиппов. Получается, что Короленко ошибся в послепасхальных неделях и перепутал два из четырех ежегодных православных постов: летний пост у него назван зимним. Столь странная оплошность означает оторванность молодого литератора от тогдашней живой народно-православной повседневности. В связи с этим в статье исследуется вопрос о религиозности Короленко, а также о времени и степени его ознакомления с традициями и бытовой повседневностью русского народа. Рассматриваются свидетельства об умонастроении Короленко в некоторые периоды его жизни, в том числе свидетельства автобиографические — из его книги «История моего современника». Делается вывод, что, судя по всему, даже наивная детская религиозность Короленко не была чересчур уж простой и ориентированной на обрядность. А затем, в молодости, у него выработалась своего рода внецерковная религиозность, для которой календарные и иные формальности не имели значения.

Ключевые слова: биография писателя, В. Г. Короленко, индивидуальная религиозность, этнография, фольклористика, традиционная культура русских, русское православие, Русский Север, Вятский край

Для цитирования: Коршунков В. А. Владимир Короленко и православная традиция // Шаги/Steps. Т. 9. № 4. 2023. С. 329–334. <https://doi.org/10.22394/2412-9410-2023-9-4-329-334>.

Статья поступила в редакцию 6 мая 2023 г.
Принято к печати 30 мая 2023 г.

V. A. Korshunkov

ORCID: 0000-0001-6150-8308

✉ vla_kor@mail.ru

Vyatka State University (Russia, Kirov)

VLADIMIR KOROLENKO AND THE ORTHODOX TRADITION

Abstract. In the summer of 1879 Vladimir Korolenko was sent to the east across the Russian North regions to Vyatka province, into exile. He noted in his diary that on the border of the Kostroma and Vyatka provinces (in the village of Dyukovo, present-day Kostroma oblast) people cheerfully and noisily celebrated a certain holiday. According to Korolenko that day was All Saints' Sunday and the eve of St. Philip's (Christmas) Fast. However, a calculation of the chronology shows that it was in fact the beginning of St. Peter's Fast, not St. Philip's. It turns out that Korolenko made a mistake in counting the weeks after Easter and mixed up two of the four annual Orthodox fasts, calling the summer fast the winter one. Such a strange oversight is a sign of the young writer's detachment from folk daily life and Orthodox tradition. For this reason, the paper deals with the question of Korolenko's religiosity, as well as the time and degree of his familiarization with the traditions and everyday life of the Russian people. The evidence of Korolenko's mindset during some periods of his life, including autobiographical evidence from his book *The History of My Contemporary*, is considered. We conclude that apparently even Korolenko's childish religiosity was not overly simple or oriented towards rituals. Subsequently, in his youth, he developed a kind of a non-church religiosity, for which the calendar and other formalities did not matter.

Keywords: biography of a writer, Vladimir G. Korolenko, individual religiosity, ethnography, folklore, Russian traditional culture, Russian Orthodoxy, Russian North, Vyatka region

To cite this article: Korshunkov, V. A. (2023). Vladimir Korolenko and the Orthodox tradition. *Shagi / Steps*, 9(4), 329–334. (In Russian). <https://doi.org/10.22394/2412-9410-2023-9-4-329-334>.

Received May 6, 2023

Accepted May 30, 2023

Максим Горький в 1901–1902 гг. неоднократно встречался в Крыму с Львом Толстым. Он в те дни многое успевал записывать, а позже напечатал подробные воспоминания о Толстом. При одной встрече они вспомнили о Владимире Галактионовиче Короленко. Толстой спросил:

— Он в бога верует?

— Не знаю.

— Главного не знаете. Он — верит, только стыдится сознаться в этом пред атеистами.

Говорил ворчливо, капризно, сердито прищунив глаза [Горький 1973: 284].

Короленко был литератором и общественным деятелем, популярным у молодой и вольнодумной интеллигенции. Если Горький записал правильно, то получается, что главным качеством Короленко Толстой считал религиозность — такое свойство личности, которое не слишком ценилось передовой молодежью. Но действительно ли тому была присуща религиозность? Если да, то каковой она была? Вправду ли Короленко веровал в Бога, как это предполагал Толстой?

В начале лета 1879 г. 26-летний Короленко, приговоренный к ссылке в Вятскую губернию, ехал в сопровождении жандарма и полицейского на наемном ямщике из Костромы на восток. Он тогда вел записи, которые уже после его смерти были опубликованы.

Находясь на границе Костромской и Вятской губерний, Короленко обратил внимание на бурное празднование в придорожных селах и деревнях:

Воскресенье и вместе праздник всех святых. По деревням народу пропасть. День солнечный, белые рубахи, красные кумачи и ситцы так и сверкают. Настоящие праздничные картины. Хороводы везде, песни.

По словам Короленко, «у въезда в Дюковское село» их хотели остановить, чтобы поднести пива. «Мы промчались мимо, обдавая грязью добродушных крестьян, желавших для праздника проезжих угостить». Отъехали недалеко: в этом самом поселении сделали остановку. Местные жители стали водить праздничные хороводы и петь песни возле избы, где они устроились. Наконец, проезжие тронулись в путь.

Деревня (Дюковская) из глаз исчезла, но по дороге народ встречается часто. С боченками идут за водкой. Пост наступает (филиппов, кажется), так это последний день — заговенье [Короленко 1933: 102, 104–105].

Дюковское (которое у Короленко то «село», то «деревня») — ныне деревня Дюково Шарьинского района Костромской области.

По догадке Короленко, там отмечали день Всех святых и начало Филиппова (т. е. Рождественского) поста. Он начинается на следующий день после празднования памяти апостола Филиппа (11 ноября; здесь и далее даты приводятся по старому стилю) и тянется сорок дней — до Рождества Христова.

Главное же, что это пост зимний, а ведь когда они проезжали по тем местам, было начало лета!

В объемной автобиографической книге «История моего современника» (она писалась гораздо позже и довольно долго) Короленко утверждал уже иное:

Погода была чудесная, время праздничное (троица и духов день), и все встречные деревни водили тоже хороводы и звенели песнями [Короленко 1954: 254].

В этом месте книги упомянуто и село Дюковское.

Итак, в созданной спустя много лет книге говорилось, что те праздники были Троицей и Духовым днем (день Святого Духа по православному календарю отмечается сразу после Троицы). А Всесвятское воскресенье (указанное в путевых записках Короленко 1879 г.), после которого начинается Петров пост, празднуется спустя неделю после Троицы. В день Всех святых справлялось заговенье на пост. Заговляясь, т. е. ожидая предписанных Церковью на определенный срок ограничений в еде, выпивке и развлечениях, люди обычно гуляли и пировали.

Вписанное в «Историю моего современника» уточнение, что начинавшийся тогда пост — не Филиппов, а Петров, верно. Вот очевидное подтверждение такого счета времени. Известно, что, пожив несколько дней в губернском центре — городе Вятке, Короленко отправился в уездный городок Глазов, где ему было предписано отбывать ссылку. В Глазов он приехал 3 июня [Хронологическая канва 1956: 594]¹. Троица в 1879 г. была 25 мая, а Всесвятское воскресенье, соответственно, — 1 июня. Так что если бы при въезде в Вятскую губернию он застал праздник Всех святых и заговенье на Петров пост, то никак не мог бы 1 июня оказаться в Глазове. Значит, сделанная позже, при подготовке «Истории моего современника» хронологическая поправка верна: все же это были Троица и Духов день. И православный пост (разумеется, Петров, а не Филиппов) наступал только через неделю.

Странно, что молодой Короленко перепутал зимний пост с летним. Точнее, запаматовал («филиппов, кажется»). В церковном календаре всего-то четыре ежегодных поста. Даже не слишком воцерковленный городской житель вольно или невольно должен был соотносить свой распорядок с чередой постов, мясоедов, православных праздников, тезоименитств, от которых зависела повседневная жизнь миллионов подданных российского императора, — присутственные и неприсутственные дни, официальные богослужения, куда необходимо было являться учащимся и служащим, и т. п. Да ведь и с тем праздником, который тогда на самом деле отмечался, Короленко тоже напутал — Троицу принял за Всесвятское воскресенье (правда, две эти воскресные даты отстоят друг от друга лишь на неделю).

Спустя десятилетие, в 1890 г. Короленко создал цикл очерков и рассказов под названием «В пустынных местах» — о соседней с Костромой и Вяткой северной местности, расположенной по рекам Ветлуге и Керженцу. В рассказе из этого цикла «Приемыш» приводились слова крестьянки о ее муже:

¹ См. также комментарии Б. В. Аверина [Короленко 1990: 650].

А пуще всего кручина извела его, как сынок у нас помер. Двадцатый год пойдет с Филипповок, как в сыру землю Мишаньку уложили [Короленко 1914: 258].

Филипповки — это и есть Филиппов пост. Привычное, всем тогда понятное указание на позднюю осень и начало зимы. Точно так же, как сделанное в разговоре упоминание о Петровом посте означало бы первую половину лета.

Между тем в литературоведческих и биографических работах о Короленко на его дорогу в вятскую ссылку внимание обычно не обращается. И уж тем более — на путаницу с православным календарем в разных его текстах. Например, в повествовании Г. М. Миронова лишь пересказаны наблюдения и воспоминания самого Короленко [Миронов 1962: 67–68].

Конечно, начинающий писатель Короленко в 1879 г. уже не был таким же наивно религиозным, как в малолетстве. В «Истории моего современника» рассказывалось о его детской искренней вере. А в тех главах, где описывались ссыльные 1879 и 1880 годы (уже и не в Глазове, а на далекой лесной окраине Вятской губернии, в Березовских Починках Глазовского уезда), говорилось о тогдашнем его умонастроении. Короленко признавался: «Я уже не мог назваться верующим человеком...». И затем:

Я уже отмечал в первом томе кое-какие свои религиозные переживания. В тот период моей жизни другие вопросы отодвинули их на второй план. Но у меня всегда оставалось уважение ко всякой искренней вере...

Кроме того, Короленко утверждал, что для него невозможно было «прикидываться и лицемерно исполнять обряд» (имея в виду обыкновение местных жителей креститься перед началом трапезы и в ее конце). Такое нелицемерное поведение для него означало «своего рода исповедание веры». Вообще-то он и в детстве не крестился столь часто, как это было принято в простом народе, т. е. при входе в чужой дом или перед трапезой [Короленко 1955: 19–20]².

Семейным языком для Короленко стал родной язык матери — польский. И на учебу его поначалу направили в польский пансион пана Рыхлинского. Такие обстоятельства не способствовали его сближению с православной традицией в ранние годы.

Похоже, что даже детская религиозность Короленко не была чересчур уж «простецкой», ориентированной на обрядность. Да и потом, в его молодости, «другие вопросы» заметно «отодвинули на второй план» [Короленко 1955: 20] религиозные побуждения — настолько, что по дороге в Вятку он перепутал и послепасхальные недели, и главное — два из четырех ежегодных православных постов. Все же у интеллигента-народника, каким был тогда Короленко, в юности выработались своего рода внецерковные религиозные убеждения: уважение ко всякой искренней вере, привычка сверять собственные действия с внутренними моральными установками, стремление помогать народу словом и делом, стойкое противодействие грубой силе государственной власти. При таком чувствовании календарные и иные формальности не имели значе-

² О религиозности Короленко см.: [Негретов 1999].

ния. И если Христа понимать как высший моральный авторитет, то, пожалуй, Лев Толстой был прав: Короленко в Бога верил.

А стараниями начальства у ссыльного Короленко вскоре появилась возможность ближе познакомиться с народной жизнью и русских, и удмуртов, а потом даже якутов.

Источники

Горький 1973 — *Горький М.* Лев Толстой // Горький М. Полн. собр. соч. Художественные произведения: В 25 т. Т. 16: Повесть, рассказы, очерки, стихи: 1917–1924. М.: Наука, 1973. С. 260–312.

Короленко 1914 — *Короленко В. Г.* В пустынных местах (из поездки по Ветлуге и Керженцу) // Короленко В. Г. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 5. СПб.: Изд. Т-ва А. Ф. Маркс, 1914. С. 222–317.

Короленко 1933 — *Короленко В. Г.* Записная книжка. 1879. Горький: Краевое изд-во, 1933.

Короленко 1954 — *Короленко В. Г.* Собр. соч.: В 10 т. Т. 6: История моего современника. [Кн. 2]. М.: Гос. изд-во худ. лит., 1954.

Короленко 1955 — *Короленко В. Г.* Собр. соч.: В 10 т. Т. 7: История моего современника. [Кн. 3–4]. М.: Гос. изд-во худ. лит., 1955.

Короленко 1990 — *Короленко В. Г.* Собр. соч.: В 5 т. Т. 4: История моего современника. Кн. 1–2. Л.: Худ. лит., 1990.

Хронологическая канва 1956 — Хронологическая канва жизни и творчества В. Г. Короленко // Короленко В. Г. Собр. соч.: В 10 т. Т. 10: Письма. 1879–1921 / Подгот. текста и примеч. С. В. Короленко. М.: Гос. изд-во худ. лит., 1956. С. 592–611.

Литература

Миронов 1962 — *Миронов Г. М.* Короленко. М.: Мол. гвардия, 1962.

Негретов 1999 — *Негретов П.* Религиозные искания Короленко, или Фаусты и Вагнеры // Вопросы литературы. 1999. № 6. С. 290–298.

References

Mironov, G. M. (1962). *Korolenko* [Korolenko]. Molodaia gvardiia. (In Russian).

Negretov, P. (1999). Religioznye iskaniiia Korolenko, ili Fausty i Vagnery [Korolenko's religious searches, or Fausts and Wagners]. *Voprosy literatury*, 1999(6), 290–298. (In Russian).

* * *

Информация об авторе

Владимир Анатольевич Коршунков

кандидат исторических наук

доцент, кафедра истории и политических наук, Вятский государственный университет

Россия, 610000, Киров, ул. Московская, д. 36

Тел.: +7 (8332) 208-937

✉ vla_kor@mail.ru

Information about the author

Vladimir A. Korshunkov

Cand. Sci. (History)

Assistant Professor, Department of History and Political Sciences, Vyatka State University

Russia, 610000, Kirov, Moskovskaya Str., 36

Tel.: +7 (8332) 208-937

✉ vla_kor@mail.ru

Ж. М. Юша

ORCID: 0000-0002-4076-4553

✉ zhanna-yusha@yandex.ru

Музей антропологии и этнографии
им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
(Россия, Санкт-Петербург)

ЧЕРКЕССКИЙ АНКЛАВ ТУРЦИИ: СПЕЦИФИКА ФОЛЬКЛОРА В ИНОЭТНИЧНОМ ОКРУЖЕНИИ

Рецензия на: Паштова М. М. Фольклор черкесской диаспоры: локальная традиция и ее носитель. Майкоп: ИП Паштов З. В., 2020. 338 с.

Для цитирования: Юша Ж. М. Черкесский анклав Турции: специфика фольклора в иноэтническом окружении // Шаги / Steps. Т. 9. № 4. 2023. С. 335–341. <https://doi.org/10.22394/2412-9410-2023-9-4-335-341>.

Рецензия поступила в редакцию 30 октября 2023 г.

Принято к печати 8 ноября 2023 г.

Shagi / Steps. Vol. 9. No. 4. 2023
Book Reviews

Zh. M. Yusha

ORCID: 0000-0002-4076-4553

✉ zhanna-yusha@yandex.ru

Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography
(Kunstkamera), Russian Academy of Sciences
(Russia, St. Petersburg)

CIRCASSIAN ENCLAVE IN TURKEY: THE SPECIFICS OF FOLKLORE IN A FOREIGN ETHNIC ENVIRONMENT

A review of: Pashtova, M. M. (2020). *Fol'klor cherkesskoi diaspori: lokal'naia traditsiia i ee nositeli* [Folklore of the Circassian diaspora: Local tradition and its bearer]. IP Pashtov Z. V. 338 p. (In Russian).

To cite this review: Yusha, Zh. M. (2023). Circassian enclave in Turkey: The specifics of folklore in a foreign ethnic environment. *Shagi / Steps*, 9(4), 335–341. (In Russian). <https://doi.org/10.22394/2412-9410-2023-9-4-335-341>.

Received October 30, 2023

Accepted November 8, 2023

В современной отечественной гуманитарной науке феномен анклавных культур зарубежья является одной из актуальных и перспективных тем. К изучению традиционной культуры разделенных государственными границами народов, которые в силу исторических обстоятельств оказались в других странах в инокультурной среде, обращаются многие исследователи [Кляус 2015; Михалев 2022; Цыбикова 2014; Юша 2018 и др.].

Монография М. М. Паштовой посвящена комплексному изучению устной фольклорной традиции черкесского анклава Узун-Яйлы, длительное время проживающего в Турции в иноэтничном окружении и в отрыве от материнского этноса. Во введении автор характеризует основные причины массовой миграции черкесов в 1858–1865 гг. за пределы исторической родины; описывает историю изучения черкесской диаспоры Турции отечественными и зарубежными исследователями; обозначает выбор объекта исследования, а также очерчивает круг источников и методологию работы. Исследовательница оперирует такими терминами, как «локальная фольклорная (культурная) традиция», «локальный текст», «узун-яйлинский текст», «узун-яйлинский нарратив», «материнская традиция», «островная традиция», «историко-культурная память»; говорит о «локальной идентичности», проявляющейся в фольклорном дискурсе. В работе анализируются преемственность и бытование фольклора в инородной среде, исследуется функционирование мифологических нарративов, устных рассказов, песен и преданий, обнаруживаются сходства и различия локального текста с материнской традицией, определяется степень сохранности и трансформации фольклорной культуры в современной анклавной традиции.

Источниками исследования стали архивные и опубликованные материалы, а также полевые материалы, собранные М. М. Паштовой в регионе Узун-Яйла в 2009, 2011, 2014, 2015 и 2018 гг. В научный оборот вводятся аутентичные фольклорные материалы, этнографические факты и ценные наблюдения собирателя, стационарно работавшего в поле.

Автор подробно анализирует семантику и типологию, структуру и прагматику мифологических нарративов, смеховых жанров и игровых институтов; коммуникативно-прагматические аспекты функционирования гостинного дома *хачеш*, а также языковые особенности фольклорного диалекта узун-яйлинского черкесского анклава, существующего в условиях преобладающего иноязычного населения. Как считает М. М. Паштова, основными составляющими локальной этнокультурной идентичности черкесов Турции являются следующие важные факторы — историко-культурная память, социальная память, границы ареала, особенности функционирования топонимикона и антропонимикона, способы самоописания традиции, фольклорный репертуар и навыки исполнительства, обрядовая культура, типы хозяйственной деятельности, — которые до сего дня имеют большое значение для диаспоры. Для исследуемой анклавной традиции приведенные факторы играют значимую роль, с их помощью происходит осознание носителями культуры особенностей социальной структуры своей общины, и, как следствие, формирование специфических способов и каналов коммуникации (с. 279). В устных нарративах исследовательница выявляет и анализирует не только устойчивые традиционные фольклорные формы, но и новообразования,

которые постепенно появились на новой территории проживания черкесской диаспоры. Благодаря сопоставлению культурной традиции анклава с материнским полем становится видно, что в связи с отсутствием контактов с исторической родиной, а также с запретом на обучение родному языку в фольклоре черкесов Турции начали происходить новые процессы. Например, для анклавной культуры характерна фольклоризация реальных лиц, в результате которой «бытование устных рассказов расширяется, сюжеты об известных узунйилинцах выходят за географические пределы анклава и распространяются по всему анатолийскому региону» (с. 46).

Интересны наблюдения и выводы М. М. Паштовой о полевой работе в черкесском анклав. В книге охарактеризованы поведенческие стратегии собирателя и информанта во время фиксации материала. Как опытный полевик, автор рассуждает о языковой и профессиональной компетентности собирателя, о его статусе в исследуемой традиции (свой или чужой, посвященный или профан); обращает внимание на гендерный аспект полевой работы и взаимозависимые ролевые ситуации во время общения с информантами; отмечает ситуации полилога во время записи, когда полевая коммуникация приобретает соревновательные черты, что «диктуется поведенческим типом черкесов» (с. 75). Мы согласны с мнением автора о том, что успешность экспедиции во многом зависит и от давности «погружения» собирателя в среду, и от его умения создать атмосферу психологического комфорта и неофициальности общения.

В книге наглядно показана специфика анклавного фольклора. Так, М. М. Паштова демонстрирует особую иерархию фольклорного репертуара, которую выстраивают черкесы островной традиции. По их мнению, фольклорные тексты делятся на «престижные» (предания, рассказываемые в кунацких; байки, рассказываемые у стен мечети) и «менее престижные» (тексты, относящиеся к детскому, крестьянскому и женскому быту). Как показывает автор, эта иерархия обусловлена тем, что Узун-Яйла является последним оплотом потомственной черкесской аристократии, здесь с середины XIX в. осели многочисленные дворянские семьи (с. 56).

Персонажи актуальной мифологии черкесов Турции сопоставляются с таковыми в текстах материнского поля, при этом автор выявляет универсальные и локальные особенности. Примечательно, что в отличие от материнского поля в анклавном фольклоре обнаруживается мотив «старения» и обезображивания черт женских мифологических персонажей; имена мифологических персонажей варьируются, изменяются локусы их обитания, а сами они могут визуализироваться в образе животных, распространенных в местной фауне. С одной стороны, это свидетельствует о десакрализации архаических образов, о трансформации функций мифологических персонажей. С другой стороны, изменения обусловлены ландшафтом в местах нового расселения черкесов (где отсутствуют леса и глубокие реки), знакомством с новыми фауной и флорой, а также социально-историческими условиями жизни диаспоры среди преобладающего иноязычного населения. На наш взгляд, здесь автору можно было бы сопоставить внешность и функции черкесских мифологических персонажей с турецкими.

В фольклорный репертуар анклавной традиции входят тексты о мудреце и философе XVIII в. Жабаги Казаного, бытующие в форме исторических преданий, сказаний и притч. М. М. Паштова рассматривает мотивно-сюжетный фонд этих текстов, распространенных в анклаве и метрополии; приводит схему синхронного описания, в которой выявляет основные сюжеты и мотивы. Из 16 сюжетов сказаний и притч, записанных в Узун-Яйле, 12 полностью совпадают с известными в метрополии, что наглядно свидетельствует о наличии устойчивого пласта в общечеркесском нарративном фонде. Кроме устных рассказов, исследовательница выявляет архаические ритуальные ограничения, связанные с трауром, обычаи вызова противника на поединок, устные афоризмы, фразеологизмы и речевые клише, которые считаются в Узун-Яйле наследием Жабаги (с. 116).

В работе представлены локальные особенности и прагматические функции героических преданий и песен-плачей о Кавказской войне, о массовом выселении черкесов в Османскую империю. Как утверждает автор, сохранность исторических нарративов и песен в коллективной памяти диаспоры является устойчивым элементом традиции, связанным с этнокультурной идентичностью обосновавшихся в Турции черкесов. Носители традиции относят эти фольклорные тексты к престижным («мужским», «аристократическим») жанрам, увезенным полтора века назад с Кавказа во время Стамбульского исхода (с. 121). Автор отмечает, что в дискурсе о Кавказской войне фигуры народных героев образуют своеобразную иерархию; в анклавном фольклоре наиболее узнаваемым и популярным является образ хаджиретского князя Магомета-Аше Атажукина. В общечеркесской традиции посвященные ему нарративы представляют собой развитый цикл с устойчивыми сюжетами и мотивами, с классическими признаками фольклоризации исторического персонажа.

Как показывает М. М. Паштова, память о войне — неотъемлемый элемент фольклорного нарратива черкесов о заселении новых территорий. В фольклорных текстах периода Кавказской войны, бытующих в анклавной традиции, частотны мотивы прощания с исторической родиной и последнего завещания предков; для них характерна мифологизация утраченной родины (топика «золотого века» и «утраченного былого изобилия»). В этих текстах актуализируются ценностные категории черкесских рыцарской этики (*уэркьыгъэ*) и этикета (*уэркь хабзэ*) — мужество, выносливость, скромность, надежность, уважение к женщине (с. 139).

Описаны функции и роль гостиного дома *хачеш*, являющегося сугубо мужским пространством и имеющего статус социально-коммуникативной площадки, регулирующей социально-бытовую, обрядовую и даже морально-правовую сторону жизни черкесов Турции. Рассматривая фольклор узун-яйлинского гостиного дома, автор в комплексном ключе анализирует коммуникативные и обрядовые ситуации, в которых на первый план выступают важные для анклавной культуры оппозиции: дар красноречия — умение молчать, говорение — молчание, умение поддерживать беседу — умение «правильно» молчать. По мнению исследовательницы, в локальном коммуникативном контексте эти оппозиции выступают как форма особого, но постепенно утрачиваемого в настоящее время социально маркированного

знания (с. 159–160). Отдельно рассматриваются рассказы о благородстве и плебействе как совокупностях телесных и духовных признаков, которые в фольклорном сознании черкесов существуют в синкретическом единстве — благородство «наследуется» и благородство «приобретается». Кроме того, автор анализирует нарративы об имуществе и деньгах в контексте традиционных представлений черкесов, выявляя свойственные им в современном бытовании следующие функции: адаптивную, идентификационную и социорегулятивную.

В монографии рассмотрено функционирование смеховых жанров и игровых институтов в анклавной традиции. О традиционной смеховой культуре черкесов М. М. Паштова пишет: «Каждая субэтническая группа выстраивает свое представление об истинном адыгстве (благородстве) и в связи с этим утверждает свое превосходство. Все это, как правило, облекается в игровую форму, умение парировать реплику или целое послание в подобных смеховых поединках — дело чести каждого» (с. 179). Смеховые жанры, исполняемые в бытовых ситуациях или во время застолий, включают в себя анекдоты, мемораты, устойчивые выражения и тексты-диалоги. Автор приводит образцы межгрупповых дразнилок, колкостей и подшучиваний, адресуемых друг другу восточными (кабардинцы) и западными черкесами (хатукайцы, абадзехи); анализирует фольклорную диалектность и вариативность структуры данных текстов. Кроме того, выявляются условия, определяющие изменение свойств направленности смеха: 1) противопоставление одного сильного субэтнического сообщества другому, менее сильному; 2) ситуация ритуализованных встреч; 3) ситуация утраты культурных смыслов и вербально-речевых навыков (с. 193).

Особое внимание автора обращено на описание врачевательного обряда — *чапшу*, имеющего форму увеселительных ночных посиделок возле постели больного, — в структуру которого включены приуроченные к нему игры, песни и танцы, исполняемые участниками ритуала. На основе устных нарративов описана тщательная подготовка к обряду, выявлены его временные, предметные, вербальные и пищевые характеристики, проанализированы основные функции и действия главных участников, а также ритуально-мифологическая символика. Как отмечает М. М. Паштова, в современной традиции черкесов данный обряд утерятил былое значение и статус чапшевых нарративов в сравнении со статусом эпического текста несравненно более низок и менее престижен (с. 225).

Интересны рассуждения автора о необходимости составления словаря фольклорного диалекта анклавной традиции, включающего в себя обрядовую лексику, лингвокультурные концепты и др. На примере мифологического текста, ритуальной терминологии и фразеологического материала в книге показаны лексические, морфологические, фонетические отличительные особенности родного языка черкесов Турции. Особенное внимание в этом аспекте уделяется паремийному фонду узун-яйлинских черкесов в сравнении с метрополией. Выявляются общие признаки и прагматическая направленность пословиц и поговорок. Исследовательница отмечает, что в диаспорном поле встречаются нарративные пояснения к паремиям, которые представлены композиционно завершенными текстами, от краткого фило-

софского комментария до развернутого сюжетного нарратива — предания или новеллы (с. 266).

К сожалению, в работе отсутствуют приложения, в которых можно было бы разместить визуальную информацию: карту расселения черкесской диаспоры в Узун-Яйле; карту черкесских гостиних домов-*хачеш*, расположенных в городах Турции; карту полевой работы автора; таблицу, в которой можно было бы наглядно показать наличие или отсутствие того или иного жанра в материнском поле и в островной традиции.

Завершая обзор, хочется еще раз подчеркнуть, что рецензируемая монография имеет большое значение не только для кавказоведения, но и для изучения фольклорно-этнографических традиций зарубежных анклавов в сопоставлении с материнским полем в целом. В ней исследованы специфика и условия бытования черкесского фольклорного диалекта в инокультурном и иноязычном окружении, проанализированы семантические особенности мифологического нарратива и продемонстрирована степень его сохранности, изучены смеховые жанры, охарактеризован фольклор гостиного дома и врачевательного обряда, рассмотрены языковые особенности фольклорных нарративов узун-яйлинцев, выявлены основные черты анклавной традиции, показаны ее специфика и особенности по сравнению с материнским полем. Издание снабжено фотоиллюстрациями, которые дают читателю визуальное представление о носителях традиции, жилищах и предметах материальной культуры.

Литература

- Кляус 2015 — Кляус В. Л. «Русское Трёхречье» Маньчжурии: Очерки фольклора и традиционной культуры. М.: ИМЛИ РАН, 2015.
- Михалев 2022 — Михалев М. Великий восточный лимитроф: Трансграничные народы в государственной политике России и Китая. М.: ИДВ РАН; Вост. лит., 2022.
- Цыбикова 2016 — Цыбикова Б.-Х. Б. Фольклор шэнэхэнских бурят. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2016.
- Юша 2018 — Юша Ж. М. Фольклор и обряд тувинцев Китая в начале XXI века. Структура. Семантика. Прагматика. Новосибирск: Наука, 2018.

References

- Kliaus, V. L. (2015). "Russkoe Trekhrech'e" Man'chzhurii: Ocherki fol'klora i traditsionnoi kul'tury [The "Russian Three Rivers" of Manchuria: Essays on folklore and traditional culture]. IMLI RAN. (In Russian).
- Mikhalev, M. (2022). Velikii vostochnyi limitrof: Transgranichnye narody v gosudarstvennoi politike Rossii i Kitaia [The Great Eastern limitrophe: Cross-border peoples in the state policy of Russia and China]. IDV RAN; Vostochnaia literatura. (In Russian).
- Tsybikova, B.-Kh. B. (2016). Fol'klor shenehenskikh buriat [Folklore of the Shanahan Buryats]. Izdatel'stvo BNTs SO RAN. (In Russian).
- Yusha, Zh. M. (2018). Fol'klor i obriad tuvintsev Kitaia v nachale XXI veka. Struktura. Semantika. Pragmatika [Folklore and ritual of the Tuvans of China at the beginning of the 21st century. Structure. Semantics. Pragmatics]. Nauka. (In Russian).

* * *

Информация об авторе

Жанна Монгеевна Юша

*доктор филологических наук
ведущий научный сотрудник, отдел
этнографии Сибири, Музей антропологии
и этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера) РАН
Россия, 199034, Санкт-Петербург,
Университетская наб., д. 3
Тел.: +7 (812) 328-41-42
✉ zhanna-yusha@yandex.ru*

Information about the author

Zhanna M. Yusha

*Dr. Sci (Philology)
Leading Research Fellow, Department
of Ethnography of Siberia, Peter the Great
Museum of Anthropology and Ethnography
(Kunstkamera), Russian Academy
of Sciences
Russia, 199034, St. Petersburg,
Universitetskaya Emb., 3
Tel.: +7 (812) 328-41-42
✉ zhanna-yusha@yandex.ru*

Научный журнал
Academic journal

Шаги / Steps
Shagi / Steps

Т. 9. № 4. 2023

Основан в мае 2015 г.

ISSN 2412-9410

Учредитель издания: Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ

Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ФС77–61736 от 07.05.2015,
выдано Роскомнадзором

При перепечатке ссылка на журнал обязательна.

Подписано в печать 15.12.2023

Формат 70×100/16

Объем 23,5 а. л.

Тираж 500 экз. (1-й завод — 200 экз.)

Отпечатано в типографии РАНХиГС

ШАГИ

ШКОЛА АКТУАЛЬНЫХ
ГУМАНИТАРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ